

Ночью в Иокогаме, стоя на берегу,  
Корабельных названий разглядеть не могу.  
Мрак – на многие мили, молчаливая высь...  
Теплоходы забыли, как при свете звались.  
Невеселое чудо я провижу вдали:  
Я ведь тоже забуду, как меня нарекли.  
И от хлеба, от соли, от земного труда  
Я в тот день поневоле уплыву навсегда –  
Не в заморские страны, не к добру и не злу –  
Кораблём безымянным в безымянную мглу.

*В. Шедер*



К 100-летию со дня рождения  
Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной

Лина Кертман

*Книга дочери*



Лина Кертман

*Книга дочери*

К 100-летию со дня рождения  
Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной

Лина Кертман  
*Книга дочери*

К 100-летию со дня рождения  
Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной

Издательский центр «Титул»  
Пермь 2017

## С о д е р ж а н и е

<i>От издательства</i> .....	3
Предисловие.....	4
КНИГА ДОЧЕРИ	
Глава первая.....	7
Глава вторая.....	37
Глава третья.....	84
Глава четвертая.....	128
Глава пятая.....	162
Глава шестая.....	191
Глава седьмая.....	224
Глава восьмая.....	274
Глава девятая.....	322
Глава десятая.....	350
Глава одиннадцатая.....	380
Эпилог.....	398
ГРИГОРИЙ КЕРТМАН ОБ ОТЦЕ.....	401
Фотографии.....	414

*Издательский центр «Титул»  
выражает глубокую благодарность всем,  
кто оказал организационную  
и финансовую поддержку этой книге*

Фотографии для книги предоставлены  
*Л. Л. Кертман, Н. Е. Васильевой, Г. Букиревой*

#### От издательства

Это книга – проект филологического факультета Пермского классического университета, посвященный памяти супругов, профессоров Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной, приуроченный к их юбилейной дате – 100-летию со дня рождения.

Автор книги – их дочь, Лина Львовна Кертман, живущая ныне в Израиле, известный российский литературовед. В книгу вошли также воспоминания их сына, Григория Львовича Кертмана, историка и политолога, живущего и работающего в Москве.

Л. Е. Кертман и С. Я. Фрадкина связали свои судьбы с Пермью с 1949 года (они приехали из Киева в глухие годы борьбы с космополитизмом) и были верны нашему городу не только биографически, но и самым смыслом прожитой здесь жизни. Оба состоялись в Перми как ученые: Л. Е. Кертман – значимая фигура в исторической науке, С. Я. Фрадкина – известный в стране литературовед. Пермский период их жизни ознаменован огромными свершениями научного, педагогического, творческого характера; для многих поколений филологов и историков, преподавателей и студентов пермских (и не только пермских!) вузов их имена стали символом высокой культуры, интеллигентности, профессионализма. Их помнят, знают, любят и сегодня.

Издательство благодарит выпускников и преподавателей филологического и исторического факультетов Пермского государственного национального исследовательского университета и лично Г. Л. Кертмана за финансовую поддержку, благодаря которой выход этой книги стал возможным.

*Поколенье, где краше  
Был – кто больше страдал!  
Поколенье! Я – ваша!  
Продолженье зеркал.*

Марина Цветаева

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В прошлом году я закончила большую работу о Марине Цветаевой. Написала три книги, которые внутренне воспринимаю как трилогию. Исполнила мечту, к воплощению которой рвалась много лет, но трудные жизненные обстоятельства долго не пускали в то безоглядное погружение в мир Поэта, без которого работа была невозможна. Родители уже не увидели моих книг. Папа – ни одной, мама успела порадоваться лишь первой. Мне очень горько. Папа так хотел, чтобы я творчески состоялась, ему это было особенно важно.

Неизбывную эту горечь ощущаю и в минуты самой волнующей радости. Так было год назад, когда израильский Союз русскоязычных писателей присудил мне премию имени Юрия Нагибина за две книги – «Безмерность в мире мер» и «Воздух трагедии». Мы с родителями любили Нагибина, не раз читали вслух его рассказы...

Однажды по приглашению знакомых, собравших у себя дома в Хайфе много гостей, я проводила презентацию одной из книг (в Израиле часто практикуется такая форма встреч). Хозяин дома горячо поблагодарил меня «за вдохновенный рассказ» о драматичной истории любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона: «Как глубоко вы проникли в их чувства, как много знаете об их жизни, кажется, все, что можно знать!» И вдруг добавил: «Наверное, о своих родителях вы знаете гораздо меньше». Я, конечно, поняла ход его мысли и ее грустный подтекст: в XX веке почти исчез эпистолярный жанр, люди редко вели дневники, торопливый ритм жизни упразднил прежние семейные застолья. Родители мало рассказывали детям о своей жизни, часто молчали из страха, боясь осложнить жизнь младшего поколе-

ния излишней откровенностью. Все это нетрудно было прочесть в той короткой фразе, тем более что хозяин дома уточнил: «Они ведь не писали таких писем!»

Этот человек исходит из своего жизненного опыта. Ему очень нравятся строки Евгения Евтушенко: «И про отца родного своего / Мы, зная все, не знаем ничего...» Как было убедить его, что нельзя обобщать, что мой жизненный опыт совсем иной? И глубокие письма мои родители всю жизнь писали друг другу, мне и брату, своим родителям, родным и друзьям. И всегда интересные семейные застолья у нас бывали. И о жизни своей родители много рассказывали, не считая правильным скрывать от нас с братом мрачные стороны жизни страны... Этот человек никак не мог поверить в существование подробной семейной переписки и тем более в то, что я довольно глубоко знаю «детство – отрочество – юность» моих родителей. Именно тогда я (не в первый раз, но как-то особенно остро) почувствовала свой долг – рассказать.

Я сберегла огромный родительский архив, сохраненный мамой. Перевезла его сначала из Перми в Москву, из большой квартиры на Комсомольском проспекте – в маленькую однокомнатную квартирку, а потом (так уж распорядилась жизнь!) – в Израиль, где мы с мужем живем в съемной квартире. Здесь архив занял все полки большого стенового шкафа (массе книг не хватило места, и они остались в пачках на полу). Письма родителей, бабушек и деда, киевских друзей родителей, после 1949 года разбросанных по городам и весям, папины стихи и поэмы, мамины мемуары я везла в поезде и в самолете в двух больших чемоданах.

Но и это еще не все. Многое живет просто в моей памяти. «Какие прекрасные лица, / И как это было давно!» Эти строки всплывают во мне (и не важно, что они совсем о других лицах), когда я вспоминаю своих молодых родителей и их чудесных друзей. Помню их неповторимые интонации («слышу», перечитывая письма!), захватывающие рассказы, шутки и грустные раздумья. Я много думала и продолжаю думать об их непростых судьбах. Грустно сознавать, что осталось мало людей, сердечно помнящих все это. Было бы жаль, если бы этот неповторимый мир ушел со мной. Я как-то вдруг почувствовала, что дальше откладывать не стоит. И решила, наконец, на эту книгу.

Мне было очень страшно браться за нее, страшнее, чем за все, о чем писала прежде. Боялась не справиться с сюжетом на том уровне, к которому взывают жизни ушедших людей – а ведь они не смогут ничего в этой книге исправить, если вдруг мне изменит чутье! Но знаю: никто другой этого написать не сможет. Тех, кто мог бы – возможно, гораздо лучше меня, уже нет.

Для внутренней поддержки вспоминаю известные слова, которые давно цитируются без ссылки на первоисточник, и твержу себе: «Я хотя бы попробовала...»

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Все, что было не со мной, помню...» Знаю, эта строка много раз пародировалась, но рассказы моих родителей были так ярки, что многое из их детства и юности я в самом деле помню так, как будто была там с ними. И многое вижу за скупыми строками их официальных биографий.

*Родилась в 1917 г. в Москве. В 1924 г. с родителями переехала в г. Киев.*

*Родился в 1917 г. в г. Киеве, в семье служащего аптеки, еврей.*

Могу уточнить адрес папы – улица Рейтарская, дом 7. Квартира на первом этаже. Там прошли детские и ранние юношеские годы моего отца. Он жил там с родителями и старшим братом. Там жили друзья папиного раннего детства. Там жил Лев Копелев. Он, правда, был старше и больше дружил с папиным старшим братом Семёном. Они не брали на свои вечерние прогулки моего маленького папу (четыре года – огромная разница!), и он с завистью смотрел им вслед. У них был дружный двор. Дети очень любили своего дворника: он защищал их, когда требовалось, от разгневанных родителей, иногда даже от милиционера, громко оповещал, когда по улице шел мороженщик, и одалживал на мороженое деньги. Вернувшись в Киев после войны, папа в первый же день побежал на Рейтарскую повидаться с дворником. Они встретились по-родственному: дворник минуту присматривался – узнал, взволнованно всплеснул руками, обнялись. Дворник рассказал, что знал о ребятах, – кто вернулся раненый, кто пропал без вести, на кого пришла похоронка. На многих... При нем папа плакал, не стесняясь. Помянули.

Слушая этот рассказ, я еще не знала многого страшного о киевских дворниках, выдававших немцам не успевших эвакуироваться евреев. Но я и сейчас уверена, что тот любимый дворник папиного детства был не таким.

Я никогда не жила в том доме на Рейтарской, но каждый раз, приезжая в Киев из других городов, а потом и из других стран, непременно иду в папин двор. Он небольшой и очень

уютный – минуешь арку и попадаешь в защищенный со всех сторон круг. Папа приходил туда в каждый свой приезд. И меня тянет туда с не меньшей силой, чем во двор своего собственного детства на улице Саксаганского...

«Два клена в ряд, за третьим, разом / Соседней Рейтарской квартал». В те далекие годы еще не было этих строк великого поэта, и имени Бориса Пастернака, так много значившего для него в юности и всю жизнь потом, мой папа не знал. Но он все детство прожил на Рейтарской, каждый день видел те два клена, и после появления в 1931 году этих стихов в самом названии родной улицы возникла какая-то магия, какое-то новое поэтическое измерение. Это осталось навсегда.

Папин старший брат Семён Ефимович Кертман начал свои воспоминания о детстве младшего с грустного вздоха: «Осталось очень мало людей, которые могут вспомнить об этих ранних его годах. Прошло уже более полувека, многое стерлось в памяти, тем более что я никогда не думал не гадал, что мне придется писать воспоминания о младшем брате». Но потом, погрузившись памятью в те годы, он сумел трогательно воскресить милые уютные эпизоды, о которых никто, кроме него, уже не знал.

«В дни семейных праздников его, четырех-пятилетнего малыша, невозможно было загнать в постель. Он был пухлым и немного неуклюжим мальчиком (дома его называли медвежонком, а во дворе почему-то «самоварчиком»), но очень любил танцевать. Наплясавшись (под музыку и без нее), он усаживался с какой-нибудь игрушкой на полу, а через несколько минут сваливался на бочок и засыпал».

А вот одно из первых осознанных воспоминаний моего отца. Он их не записал, но подробно рассказывал.

Киев. Январь 1924 года. Папе шесть с половиной лет, его брату десять с половиной. Семья за обеденным столом – родители, два сына, младшая сестра мамы Нелли, тогда юная девушка. В их тихий обед врывается заполошный крик без стука вбежавшей соседки: «Умер Ленин!» Нелли в слезах выскочила из-за стола и, громко всхлипывая, убежала на улицу, где уже собралось много народу. Стихийно, не сговариваясь, люди медленно двинулись к главной площади города. Несмотря на многолюдство, было очень тихо.

Эту картину я представляю по воспоминаниям мамы. Ей тоже было тогда 6 лет. Она стояла со своим отцом возле дверей дома на Крещатике, где тогда жили, и видела большую, долго не кончающуюся колонну. «Запомнились мне январские дни 24-го года, когда по Крещатику мимо нашего дома долго шли толпы (в первое время после приезда в Киев мы жили на Крещатике, 14), шли они по направлению к Октябрьской площади и дальше – к Бессарабке, многие плакали: умер Ленин. Плакала и мама, а папа был спокоен. Он говорил, что, вероятно, что-то теперь изменится (из более поздних разговоров запомнилось, что хвалил Троцкого, противопоставляя другим как талантливого оратора), но с книгой (очередной, которой был увлечен) и в этот день надолго не расставался. Папа всегда жил не «над бытом», а скорее вне быта...»

Такие разные реакции самых близких маме людей! Но тогда это прошло мимо ее сознания.

Папа не видел происходившего в тот день на улице – он оставался дома. Соседка убежала оповещать жильцов других квартир, и за семейным столом снова воцарилась тишина. После короткой паузы папин отец спокойно сказал: «Ну, давайте обедать, а то суп остынет!» И вот этот контраст поразил маленького Лёву – так по-разному реагировали на важное известие его родные, одинаково любимые им горячей детской любовью! До глубоких осмыслений, тем более до размышлений на тему, кто из них прав, было, разумеется, еще очень далеко, но сама возможность настолько по-разному поступать и реагировать запомнилась ему с этого дня и, может быть, подсознательно повлияла на некоторые нестандартные решения его детства.

Папа никогда не был пионером. В моем пионерском детстве это сильно поражало, и я часто приставала к папе с вопросами. По достижении девяти лет всех детей принимали в пионеры большими группами. Зная правила, принятые в советской школе 1940–50-х и далее годов, я никак не могла понять, как такое было возможно чисто практически – не вступить, когда вступали все? Мне самой даже в голову не приходила возможность поступить по-другому! Папа объяснил, что в 1920-е годы детская жизнь строилась иначе: пионерских организаций в школах не было, они были в клубах при фабриках и других

учреждениях, и оставалась свобода выбора. Многие, правда, вступали в пионеры охотно – там шла веселая, еще не скованная формальностями и догмами жизнь. Жизнь, в которую не вмешивались школьные учителя – с остроумными стенгазетами, пионерскими песнями, в которых были лихость и озорство («Ах, картошка, объединье, / Пионеров идеал, / Тот не знает наслажденья, / Кто картошки не едал!»), и еще не было железобетонной пафосности. В воскресниках не было скучной обязаловки, а в выездах в лес с палатками была не отягощенная идеологией романтика. Гордо маршируя по городу, пионеры азартно и весело били в барабаны и гудели в горны.

Позднее я прочла несколько книжек, где детство тех лет подавалось в романтической тональности, и, как и героям этих книжек, мне нравилась та жизнь. С грустью сравнивая ее с нашими скучными школьными буднями 1950-х годов, с нудными классными собраниями и обязательными мероприятиями, я завидовала пионерам двадцатых годов: какая интересная жизнь раньше была! Но папа явно не разделял этих восторгов (ни моих, ни так завораживающе действующих на меня писателей), и я никак не могла понять почему. Практическую сторону дела папе легче было объяснить, чем свои психологические мотивы. Он немного смущенно говорил: «Знаешь, мне почему-то даже смотреть на них было... немного неловко, немного смешно: ни с того ни с сего так шумно идут – дуют в горны, бьют в барабаны, орут песни – как будто все время празднуют неизвестно что. А уж чтобы я сам стал так ходить – это вообще было немыслимо!» – «Да почему?!» Он искренне старался вспомнить себя тогдашнего: «Да ну что ты! Я ведь тоже был очень застенчивый!» («тоже» – потому что знал, как я мучилась угловатой подростковой застенчивостью). И немного подумав, добавил: «Да и времени на такие глупости было жалко... Лучше почитать! Или поиграть в шахматы».

Кстати, в шахматы он начал играть с самых ранних лет. Об этом интересно вспоминал его старший брат: «У нас в семье все играли в шахматы, весьма посредственно, но играли, и в четыре-пять лет Лёвушка стал осваивать азы шахматной игры, а в шесть лет уже играл увлеченно и осознанно. Так как не всегда находился партнер, то нередко он играл сам с собой. Называлось это играть «с ним». Как каждый ребенок,

он не любил проигрывать, и при игре «с ним» «партнер» часто делал, мягко говоря, не лучшие ходы. Однако, когда кто-либо из старших обращал внимание Лёвушки на ошибочный ход «партнера», он отвечал: «А что я могу сделать, если он хочет так пойти!» Как бесценна память о таких вот неповторимых интонациях!

«На такие глупости» папе бывало жаль и моего времени. Ему казалось, что наше развитие искусственно затормаживают, задерживая нас в глупом детстве. Помню его недовольное ворчание, когда в школе нам велели приготовить к новомуднему утреннику маскарадные костюмы, и мне поручено было исполнить роль зайчика. Это сильно напрягло всю семью: ни мама, ни бабушки – обо мне и говорить нечего! – не умели шить. Сшила костюм соседка по университетскому общежитию, но – не помню почему! – уши нам с мамой пришлось пришивать самим. Глядя на наши неуклюжие старания, папа недовольно ворчал: «Какие зайчики?! Тебе уже девять лет! Мне это было бы дико... Да я через четыре года уже работать начал!» В запале он явно преувеличил – точнее, преуменьшил! – возраст своего «выхода в люди», но разве в этом было дело! Главный пафос его выступления – «Растят каких-то недоразвитых!» – оставался неизменным. И круг моего чтения в 10–11 лет казался ему «затянувшимся детским».

До сих пор не знаю, правильно ли это было, но папа действительно рано начал читать очень всерьез. Лет с тринадцати подолгу просиживал в библиотеке, изучая редкие исторические книги, читал в те годы еще доступные стенограммы партийных съездов 1920-х годов, где будущие «враги народа» вели относительно свободные дискуссии, сталкивались противоположные позиции, звучали развернутые аргументы каждой стороны – в общем, было о чем подумать! И ему это было по-настоящему интересно.

Хорошо сказала о нем Надежда Гашева: «Незаурядная личность не укладывается в обычные рамки. Сильный молодой ум не может бездействовать. Очень рано юноша осознал цель: выработать собственную систему взглядов. Это происходило и происходит далеко не со всеми».

Лев Кертман никогда и не был «как все». Работа духа – он это понял очень рано – должна идти непрерывно, напряженно и быть при этом – радостью.



Такая оценка в полной мере относится, пожалуй, все же к более поздним годам, но свободная мысль начала пробиваться в самом деле рано. Об этом вспоминал и папин старший брат: «В одном из литературных кружков, объединявших ребят нашего района, были и мы с братом, Лёва – в самой младшей группе. На занятиях младших групп присутствовали некоторые старшие ребята. После нескольких занятий его перевели в среднюю группу – поразило количество стихов, которые он знал на память, и, главным образом, активное участие в обсуждении читавшихся на занятиях рассказов».

Думаю, что участие было не просто активное, но умное и творческое.

\* \* \*

Мама тоже захлеб читала с самых ранних лет, правда, ее круг чтения был несколько иным. Помню ее рассказ о романе Вербицкой, где маму страшно потрясли страницы (авторское отступление?) с метафорическими словами о жизни и смерти. Люди идут по жизненному полю, сначала быстро и весело, потом все тяжелее и медленнее, потом совсем уставших, кто не в силах дальше идти, засыпает песком, а остальные, не оглядываясь, двигаются дальше и забывают пропавших навсегда. Она всю ночь плакала, уткнувшись в подушку и очень боясь, что родители услышат и начнут спрашивать о причине слез. Мама не забывала то потрясение всю жизнь: «Утром вспомнилось, как я лет 12–13-ти рыдала, пряча под подушкой книгу Вербицкой «Горе шедшим, горе павшим» <...>, над тем, как все заносится песком и люди перестают помнить лица ушедших...» (из ее письма 1972 года).

Но такой – ранимой и впечатлительной девочкой – ее мало кто знал, разве что любимый брат... Подобное загонялось в самую глубину. На поверхности она была совсем другой, и это не было притворством. В детстве она искренне не поняла бы папину отстраненность от пионерской жизни, ей все это нравилось. Очень любила свою школу, с удовольствием ездила в пионерские лагеря, сперва юной пионеркой, потом юной воспитательницей. И в комсомол охотно вступила, тоже в отличие от папы, который и комсомольцем никогда не был. (Об этом я уже почти не спрашивала – перестала удивляться.) «Нас с тобой разде-

ляет Октябрьская революция!» – сформулировал папа годы спустя. Он родился 1 сентября 1917 года, мама – 26 декабря.

Но постепенно мамины взгляды менялись – под влиянием папы, да и разных исторических событий. Она многое рассказала об этом в своих мемуарах.

В отличие от мамы, папа мало рассказывал мне о школе, откуда ушел после 7-го класса. Помню одно его впечатление об уроке русского языка: изучали правильные ударения, и ему казалось, что проще этой темы просто быть не может! Он был поражен, что в течение длинного урока одноклассники никак не могли понять эту простейшую вещь и продолжали ставить ударения неправильно. Ему было очень скучно. Он был рад окончанию школы и никогда не скучал по ней.

Хотя однажды, много лет спустя, когда я была школьницей, папа вдруг вспомнил о каких-то эпизодах своей школьной жизни по-другому. Это случилось на родительском собрании... Впрочем, об этом речь пойдет в другом месте.

*С 1925 по 1935 г. училась в 45 школе г. Киева.*

*В 1931 г., после окончания 7-летней школы, поступил в фабрично-заводское училище Киевского учебного автокомбината. В 1932 г. перешел в техникум при том же комбинате (автотранспортный). Однако в апреле 1932 г. в связи с тяжелым материальным положением семьи вынужден был оставить учебу. С этого времени до сентября 1935 г. работал на Киевском заводе им. Лепсе в качестве младшего конструктора отдела главного механика.*

В техникуме на папу произвел сильное впечатление преподаватель истории. Не только уровнем лекций и диалогов с учениками, но – в не меньшей степени! – и внешним обликом, манерой держаться: неизменный галстук-бабочка, модный пиджак... Такой не пролетарский вид в то строгое время был почти вызывающим, но чувствовалось, что ни о каких вызовах этот человек не думал и держался естественным для себя образом. Ребята шутили, что и во время пожара Алексей Леонтьевич останется невозмутим и не выйдет из горящего дома без пиджака и «бабочки». Это был будущий академик Нарочницкий. Дружба с ним прошла через всю папину жизнь –

при том, что политические взгляды их были настолько разными, что могли бы категорически развести. Папа был склонен к широкой терпимости и, как в его любимой Англии, где непримиримые оппоненты в перерывах между парламентскими заседаниями могли мирно пить кофе, беседуя на общечеловеческие темы, вполне допускал дружеское общение с человеком «не своих взглядов». Мама не всегда соглашалась с такой установкой, но папа с юмором повторял свою любимую шутку: «Я всегда говорил, что нас с тобой разделяет Октябрьская революция! Я – за парламентские дискуссии, а ты – большевичка!»

Но и мама, конечно, понимала, что папин особый пиетет к Алексею Леонтьевичу связан с сентиментальной памятью ранней юности, когда этот человек впервые пробудил в нем бескорыстный интерес не просто к истории (это было и раньше), но именно к исторической науке. Говорю «бескорыстный», потому что папа тогда еще не стремился к профессии историка, собираясь поступать на филфак.

Годы учебы в техникуме и работы на заводе папа любил вспоминать больше, чем школьные. Он тогда явно стал общительнее и активнее. И творческая натура проявлялась во всем. В качестве младшего конструктора папа даже изобрел какое-то оригинальное приспособление к вагонетке (очень жаль, что по своей полной технической «темноте» не могу сказать, какое именно!). Знаю только, что папа показал свой чертеж механикам, и по заводу пошли слухи о любопытном семнадцатилетнем изобретателе. Однажды в их отдел зашел директор завода. Это само по себе было не рядовым событием. Главный механик ошарашенно ответил на несколько необязательных вопросов, но директор все не уходил. Ни о чем больше не спрашивая, он сел на стул у двери, достал газету, закурил и явно никуда не торопился, смущая народ. В конце концов, начальник отдела не выдержал и осторожно поинтересовался, что заставило директора уделить их отделу столько времени, и услышал: «Да вот жду, когда вагонетка Кертмана выедет!»

С таким же добрым юмором относились к юному энтузиасту молодые рабочие. Он охотно принял первую в его жизни общественную нагрузку – что-то среднее между политинформатором и культторгом. Отдел был тесно связан с одним из цехов, где собралась симпатичная и не слишком образованная

молодежь, в большинстве все же постарше семнадцатилетнего лектора. В том возрасте, как известно, несколько лет разницы играют существенную роль, и ребята дружелюбно опекали странного новичка, иногда с интересом прислушиваясь к его нестандартным «политбеседам», в которых звучали и стихи, и живые слова, так, что было «все понятно, все на русском языке». Но это были всего лишь короткие беседы в цехах в перерыве, а папе хотелось большего – он рвался по-настоящему просвещать молодых рабочих, хотел расширить их кругозор и заинтересовать всем, что было интересно ему самому. Сейчас думаю: не было ли в этом стремлении и некой «генетической памяти»? Папина мама Мария Самойловна Кертман в юности вела занятия в рабочих кружках, за что, несмотря на самый невинный характер этих занятий (география, русский язык, литература), угодила в 1910 году в Астраханскую тюрьму...

Не раз вспоминал папа один воскресный выезд на велосипедах на загородную прогулку. Потребовалась немалая его настойчивость, чтобы все организовать – народ предпочитал другое воскресное времяпрепровождение. Папа старательно и, как всегда, творчески готовился к популярной лекции (что-то о политике, что-то о культуре), потом предполагал устроить спортивные соревнования, но у потенциальных слушателей были другие планы – они готовились к веселому пикнику, и «у них с собой было». Доехав до уютной поляны, они расположились небольшими компаниями, доставая закуску и уверяя растерявшегося «руководителя», что устали с дороги и надо подкрепиться! «А лекция, Лёва, потом! Не волнуйся – все успеем!» А он и еды захватить не догадался – до такой степени мыслил в другом направлении! Стало неловко, но ребята начали наперебой приглашать его присоединиться то к одному, то к другому кружку («А то обидишь!»). Пришлось выпить за здоровье если не каждого, то многих, и за его здоровье пили... А еще в самом начале пиршества одна девушка попросила прокатить ее на велосипеде, и остальные активно поддержали эту просьбу: «Она плохо катается, еле доехала, устала! А места посмотреть хочет. Покажи ей, ты ведь здесь бывал?» Просьбы звучали убедительно, отказать было неловко. Усадив девушку на раму, он повез ее по знакомой дороге, чтобы показать красивую поляну, и больше всего боялся не удержать руль – все же первые

рюмки были уже выпиты, и не был ли это его первый опыт такого масштаба?! Сделав круг, папа еле-еле довез девушку до места, сдал с рук на руки друзьям и торопливо отошел в другой конец поляны – закружилась голова, стошнило, потом, кажется, внезапно заснул. Дальнейшее утонуло в тумане. Ребята бережно доставили его домой и, стараясь не слишком напугать шокированных родителей, все же спросили: «Где он спит? Извините, мы лучше доведем до места». Авторитет юного лектора после этой истории не пострадал, и несомненное дружеское расположение молодых рабочих особенно проявилось год спустя, когда во время вступительных экзаменов в университет папу не приняли на филфак. Блестяще сдав все другие экзамены, он споткнулся на сочинении на украинском языке. Возмущенные рабочие целой бригадой явились в университет, прорвались в кабинет ректора и застучали кулаками по столу, выкрикивая что-то о недопустимой дискриминации «их заводского парня».

Много лет спустя папа рассказал о той неудавшейся культурной вылазке маминым кузенам. С неизменной самоиронией вспоминал он свою тогдашнюю наивность, говоря, что совсем не понял, чего хотела от него та девушка и что имели в виду ее друзья... «И где теперь та девчонка?» – пародируя лирические сцены советских кинофильмов, «вздыхнул» мамин старший кузен, речь о котором еще не раз пойдет в этой книге. Как мы хохотали!

Об одном важном факте в папиной официальной автобиографии не упоминается. Видимо, на это у него были какие-то свои соображения, но здесь мне было бы жаль забыть об этом. Параллельно со всеми заводскими занятиями он серьезно занимался на курсах английского языка и уже в 17 лет поступил на работу в «Интурист», несколько лет пробыл гидом. Общение с иностранцами, при всех ограничениях тех лет, помогло преодолеть подростковую застенчивость и обрести определенную уверенность в себе.

Таким поступил он на первый курс истфака Киевского университета.

\* \* \*

Мамино детство проходило совсем рядом. Стрелецкая улица, куда их семья переехала еще в ее дошкольные годы, про-

ходила очень близко от Рейтарской (впрочем, она и сейчас там проходит), мамин двор был буквально в пяти минутах ходьбы от папиного, их водили гулять в один и тот же Золотоворотский сквер, но тогда они об этом не знали.

Главным человеком маминого детства был старший брат. Она написала о нем в последний год своей жизни: «Главный герой моего раннего детства – Гера, мой Гера – не сын Гера, а брат Гера, который не просто рядом во всех проблесках памяти, а всегда – опора, всегда – надежное прикрытие, защита, нежность, опека – то, чего минутами остро не хватает теперь.

В старости это столь же необходимо, как и в младенчестве. В этом, может быть, и заключается смысл народной мудрости, когда говорят «впал в детство».

В Киеве, на Стрелецкой, я не боялась выходить одна на улицу. Когда меня пугали: мальчишки побьют! – я знала, что найдется «просвещенный» мальчишка, который сразу предупредит: «Не трогайте ее, а то ее брат (а он был старше на 2,5 года, а сильнее, по моим представлениям, во много раз) так врежет!» И не трогали. Под этой опекой я вступала в жизнь. И на всю жизнь запомнила это, как и многое другое...

Гораздо позже поняла я «диалектику его души»... С одной стороны, младшая сестра – соплюшка, «хвостик», от которого часто хочется отделаться, с другой – доверенная тебе душа, за которую отвечаешь, которую в обиду – нельзя! И всплывает в памяти, как, разъяренный дразнилками «нянька! нянька!», он выскакивает во двор и лупит, лупит в них снежками, а печка тем временем догорает (забыл закрыть), а в комнате все холоднее, и у меня с тех пор надолго какой-то желтый отек внизу, на ногах (тогда я с ужасом думала – на всю жизнь!). И когда папа и мама приходят с работы поздно вечером (не помню где, но помню, что каждый работал на двух работах), ему здорово влетает.

И еще о его «диалектике души». Когда к нему уже в школьные годы приходили товарищи, а я приставала, ребята заманивали меня на антресоли в кухне, где в сундуке – приманка для меня неотвратимая – книги (помню однотомник Жуковского с прекрасными иллюстрациями – от него трудно было оторваться!), и уносили в коридор лестницу, по которой я взбиралась. Я жалобно молила, чтобы меня спустили на пол, а мальчишки ехидно скалились и не помогали. Гера скрепя зубы

тоже скалился за компанию, но потом, когда ребята, отвле-  
ченные чем-то, застревали в комнатах, он принимал меня на  
руки, при этом подтверждая им, что я «сама спрыгнула». По-  
хожее бывало и когда вредные мальчишки поддавливали меня  
«на слабо»: слабо, мол, пройти через четыре темные комнаты  
при условии, что свет будут зажигать, идя за мною (для про-  
верки). Было очень страшно, но я заводилась и отважно шла  
в темноте, а в конце путешествия, на пороге четвертой (дет-  
ской) – навстречу мне выскакивало «привидение» в белой  
простыне. Я дико визжала, а Гера хохотал в хоре с моими му-  
чителями, а сам поскорее обнимал меня, чтобы я перестала  
трястись.

А какое было наслаждение, когда он – рядом со взрослыми  
парами – снисходительно танцевал со мной! Какое это счастье –  
старший брат! Осознала я это позже, но ощущение счастья, гар-  
монии, душевного покоя окрашивает те годы. И когда я слыша-  
ла реплики: «Вы только посмотрите, как они похожи – прямо  
копия, но он – красавец, а она...», я не только не обижалась и  
не завидовала, а радовалась: «Вот он у меня какой!» «У меня» –  
я чувствовала именно так.

А сколько было гордости, когда он приобщал меня к своей  
жизни! Вот он увлекается боксом, и ему надо, чтобы я поняла,  
как это здорово – бокс! И он берет меня на занятие секции, а я  
сажу и зажмуриваюсь, когда его колотят, а потом, вечером, пе-  
ред сном, он учит меня боксировать, а когда мама входит, чтобы  
утихомирить нас и потушить свет, в нее летит подушка, наце-  
ленная на Геру (мы уже перешли в другую фазу единоборства)».

\* \* \*

Папа не успел написать мемуары – он ушел из жизни слиш-  
ком рано. У него было много творческих планов, поэтому он  
еще не думал о воспоминаниях, а если и подводил какие-то  
итоги, то в глубине души ощущал их скорее предваритель-  
ными. Думаю, если бы судьба послала ему больше времени и,  
главное, «сад на старость лет», он взялся бы, скорее, за роман,  
в котором звучали бы и мемуарные мотивы. Но этого, к огром-  
ному сожалению, не случилось.

Мама прожила на 12 лет дольше, и эти годы были очень тя-  
желы для нее. В первые годы после папиного ухода она часто

в какой-то острой растерянности повторяла: «Была одна жизнь,  
а эта – совсем другая...» И глубокое погружение сначала в дале-  
кие годы самого раннего ее детства, а потом – в долгие и раз-  
ные годы их с папой общей жизни помогало хотя бы на какое-  
то время отвлечься от отчаяния. Она не дописала мемуары  
до конца – во всяком случае, на полях ее тетради обозначены  
планы подробнее рассказать о чем-то едва затронутым, наме-  
чены еще многие темы. Но все же мама успела рассказать о  
многом. Она определенно ощущала, что вступила в пору окон-  
чательного подведения итогов. И хотелось успеть как можно  
больше вспомнить, в том числе такого, до чего во все прежние  
годы руки не доходили.

«Сейчас, когда мы прощаемся с XX веком, подводим какие-  
то итоги, пытаемся осмыслить себя и свое место в истории, во  
многих мемуарно-биографических книгах возникает генеало-  
гическое дерево, люди пытаются укрепить свои связи с прош-  
лым. У нашего поколения этого не было. Напротив – и это  
было закономерно для годов коренного перелома после 1917 го-  
да, когда «до основанья» разрушились былые общественные  
отношения, перевернулась система ценностей, прервались  
многие семейные связи (семьи выгонялись из домов и губи-  
лись), когда «сбрасывалась с корабля современности» классика,  
в которой жила память о прежних отношениях между людьми  
и прежних ценностях, когда память о прошлом стиралась,  
интерес к нему не поддерживался, и многое сознательно за-  
малчивалось. И вот теперь (в 1999-м году) я не могу рассказать  
своим детям о том, что представляли собой мои дедушка и  
бабушка (их прадедушка и прабабушка) по моей отцовской  
линии. Я не была знакома с ними, и это – знак истории. Мать  
моего отца была, видимо, женщиной волевой и суровой. Сына  
своего (моего отца) она хотела сделать раввином. Его опреде-  
лили в йешиву. И там, и дома говорили только по-еврейски  
(видимо, на идиш; впрочем, и иврит изучали, отец хорошо  
знал оба эти языка). Когда мой будущий папа заявил, что не  
хочет быть раввином, мать выставила его из дома. С 13 лет он  
жил самостоятельно, зарабатывая на жизнь уроками русского  
языка (подчеркиваю это!), а когда в тридцатые годы началась  
обязательная украинизация, он давал и уроки украинского.  
У него были блестящие способности к языкам. И не только

к языкам. В гимназию путь ему был закрыт (пятипроцентная норма), но он сдал экзамены экстерном (а потом окончил учительский институт). Помню, как в начале тридцатых годов, когда началась сплошная коллективизация, под Ростовом (на станции с экзотическим названием Верблюды) организовали институт механизации сельского хозяйства. Папа в тот момент был безработным, и брат моей мамы, который был заместителем наркома по сельскому хозяйству (в 1937 году его арестовали и расстреляли вместе с другими делегатами XVI съезда партии), предложил ему преподавать математику в этом институте. Хорошо помню, как дядя Митя спросил, изучал ли он высшую математику и сможет ли ее преподавать. Папа ответил, что если ему дадут пару месяцев на подготовку, то сможет. Помню, как папа читал лекции в палатке (я приезжала туда на каникулы) в тридцатиградусную жару, часть слушателей была в трусах. Когда он кончил курс, его так восторженно качали, что я дрожала, как бы его не уронили на землю.

<...> Последнее место работы моего папы – книжный магазин в Киеве на углу Саксаганского и Красноармейской, где он заведовал букинистическим отделом. Моя дочка, которая очень любила деда, в один из своих приездов в Киев – уже после его смерти – заходила туда и взволнованно рассказывала, как тепло и благодарно вспоминали его там: как он помогал молодым продавщицам, учившимся в вечерней школе или в техникуме, решать задачи и писать сочинения, как объяснял теоремы, как рассказывал им содержание не прочитанных ими к экзамену книг, какая потрясающая память была у него, как он знал и любил книги, какой талантливый и яркий был человек.

Когда в какой-то анкете спрашивалось «кто, по-твоему, самый умный человек?» – я ответила: «Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин и мой папа». Сталин не входил в эту четверку не потому, что я пророчески разглядела или предчувствовала, что придет в нашу жизнь с ним, а просто в двадцатые годы культа личности (во всяком случае, на поверхности) еще не было. <...> Папа всегда жил не над бытом, а скорее вне быта: когда мама бушевала из-за не положенной на место вещи, он не откладывал книгу; не мешал ей, когда она

очищала его пиджак от табака (прямо на нем!), если при этом не отбиралась книга – подобные попытки им мягко пресекались.

С нами папа был терпим, с раннего возраста относился к нам уважительно и доверчиво. Мама могла и шлепнуть, и накричать, папа – в принципе нет, но когда один раз (за всю жизнь!) он сильно отшлепал Геру, это было ошеломительно, но справедливо, и запомнилось Гере и его товарищу на всю жизнь. Они тогда без спроса вскочили на телегу, проезжающую мимо нашего дома, и заехали очень далеко, заночевали в какой-то деревне, и Гера явился домой... утром (ему не было еще и десяти лет), а родители всю ночь сходили с ума.

Характерно, что папа – в отличие от мамы! – никогда не «демонстрировал» детей: когда нас на детских именинах ставили на стулья, чтобы мы «выступали», Гера вырывался, убегал и прятался, и папа к этому относился с пониманием, а я отбивалась лишь для виду, чтобы поуговаривали, а потом с удовольствием декламировала, долго и выразительно. Мама восторгалась и радовалась вежливым похвалам гостей, а папа смотрел насмешливо. Коронным номером нашим были стишки собственного сочинения к юбилею (кажется, золотой свадьбе) бабушки и дедушки:

Вашу радость разделяем,  
Вас сердечно поздравляем.  
Мы вас любим бесконечно  
И любить вас будем вечно.

В тот раз, кажется, вопреки своим принципам, папа помог нам в создании этого «шедевра». Этим опытом моя поэтическая деятельность началась... и завершилась <...> У папы была потрясающая память. Лучшие, самые праздничные минуты общения с ним были, когда он читал нам вслух (особенно запомнились рассказы Шолом-Алейхема в его исполнении). А еще – стихи... Почти весь его репертуар я запоминала сразу и на всю жизнь: Пушкин, Есенин, Надсон, Некрасов... А как он подмигивал в сторону комнаты бабушки-дедушки, когда доходил (в романсе на стихи, кажется, Некрасова) до строчки: «И обидно покажется теще...!» Какое великолепное чувство юмора было

у него, и как он не щадил и себя! Такие дедушки необходимы в настоящей семье. И сколько раз я горевала, что папа не успел подружиться с Герой (моим сыном, своим внуком Герой). Он успел только обнаружить у двухлетнего Геры математические способности <...>

Мой папа очень хорошо пел, помню это с раннего детства. У него – единственного в семье! – хороши были и слух, и голос (еще у Марьи Самойловны, моей свекрови). А вот Лёву, когда он, «охмуряя» меня, иногда громко запевал на улице, я умоляла прекратить, а он с серьезным видом спрашивал: «Неужели тебе не нравится? А все находят, что я отлично пою!». Но в лодку с ним я соглашалась сесть только после того, как он клятвенно обещал мне, что не начнет громко петь, пока мы не окажемся подальше от берега, на середине Днепра. Вообще у нашей семьи всегда были своеобразные отношения с музыкой: когда мы переезжали из Гомеля в Киев (мне было 5-6 лет), мама была очень озабочена переправкой пианино, но папа уговорил ее не осуществлять это громоздкое мероприятие: «Проще и легче будет в Гомеле продать, а в Киеве – купить». В Киеве, однако, он «коварно» не поленился сводить нас с Герой к знакомому учителю музыки, чтобы проверить наш музыкальный слух – очень уж он не любил «бросать деньги на ветер»! Я запомнила выражение его лица, когда он «докладывал» маме, что слуха не оказалось ни у одного из отпрысков. А еще очень запомнилось, как мы с папой и мамой пришли на концерт в школу Геры, где он пел в хоре (он был во втором или в третьем классе), и нам пришлось прятаться за чьи-то спины, чтобы Гера нас не увидел – если бы увидел, убежал бы. Подозреваю, что его немзыкальность папа в своем «отчете» несколько преувеличил.

В связи с дедушкиной «нелюбовью бросать деньги на ветер» вспоминаю мамины рассказы о его самоиронии на эту тему. Когда бабушка иногда отправляла его с детьми на воскресный рынок (чтобы самой на свободе заняться домашними делами) и моя маленькая мама надеялась после совершения обязательных покупок на что-нибудь приятное, смотрела на него умоляющими глазами, он нарочито вздыхал, затем долго, может быть, не так уж нарочито, что-то подсчитывал и наконец покупал стакан ее любимых белых семечек со словами: «От сердца отрываю!». И прекрасное дедушкино пение я тоже помню.

«Папа очень не любил «суетиться» и отрываться от очередной книги, которую «глотал» (это словечко из фольклора соседей из их коммуналки – восьмикомнатной квартиры, по семье в каждой комнате, где они с мамой жили в последние их годы – на Саксаганского, 44) <...> Соседи «подстерегали» папу – когда он «вынырнет» из книги и станет доступен к общению, чтобы получить необходимый совет на самые разные темы (от вопроса, как правильно прочесть подтекст очередной газетной официозной статьи – «не начинается ли опять что-нибудь такое?» – до просьбы о «педагогических рекомендациях», а то и о практической помощи, когда у их детей «хромал» какой-нибудь школьный предмет). <...> У мамы же была в квартире другая функция – «мать всех скорбящих» (по нежно-ироническому определению папы). Вот ситуация, очень характерная для мамы. Вернулись однажды все мы откуда-то поздно домой, а соседи говорят: «Проходите через наш коридорчик – вас обокрали, у вас милиция!». Наша Маруся была все время дома и спала на антресолях в кухне, ничего не слышала (по ее словам). На полу в коридоре – разбросанные вещи (кто-то из соседей услышал подозрительный шум и вызвал милицию – не все успели вынести). Кого подозревать? Неужели Марусю? Нет, ни в коем случае! Милиционер, однако, сказал: «Мы ее заберем. Если не виновата, утром вернется!». Маруся и мама плачут. Мама собирает ей еду. Утром звонок: «Она призналась!». Оказалось, что ей необходимо было сделать аборт (а в те годы аборты были запрещены), и цыгане пообещали ей, что сделают, если она в условленное время откроет им дверь в коридор, а сама будет якобы крепко спать на антресолях. Но как догадался обо всем милиционер?! Он обратил внимание, что среди разбросанных на полу (не унесенных) вещей, среди всякой никому не нужной ерунды (галoши, старые скатерти) – несколько хороших летних шелковых платьев (моих). Маруся, как выяснилось, поставила им такое условие (и они его честно выполнили!) – чтобы оставили мои платья. Мы с ней дружили, она меня любила. Утром (после вечернего звонка из милиции) мама встала пораньше и понесла ей еду...»

\* \* \*

Читая разные страницы этой большой тетради (порой с трудом разбирая почерк), во многих местах вспоминаю живые рассказы мамы, но многое важное узнала впервые.

«Я начинаю с первых детских впечатлений не потому, что таков закон жанра, а потому что чем ближе к закату, тем отчетливее запечатлевается восход. Я, в отличие от Льва Николаевича, не помню себя в пеленках, но что-то отпечатавшееся закрепилось, быть может, благодаря крупицам фантазии – и так уже и будет. <...> По каким законам память поднимает из глубин и удерживает – и упрямо несет через жизнь – какую-то подробность, деталь, эмоцию, в которых годы спустя вдруг обнаруживаются черты времени? Если бы я сознавала тогда, что участвую в трагедии гражданской войны... Мы бежали ночью из какого-то пригорода, где уже бушевал еврейский погром, в Гомель. Ничего этого я тогда не понимала, но в памяти сохранилась фигура дедушки, точнее, прадедушки – очень высокого, с густыми седыми волосами. Ему было 92 года. Когда стало ясно, что погромщики приближаются к нашей улице, он приказал бросить тяжелые вещи и бежать (и это помогло «младшим» выйти из оцепенения). Меня – самую маленькую – он посадил на плечо, и я гордилась, что сижу выше всех, и мне все видно...»

Об этом мама точно никогда не рассказывала!

«Дедушке моему трудно было объясняться по-русски – вспомнилось вдруг, как он произносил «палцы» (без мягкого знака), а его дети, в том числе моя мама, свободно говорили на русском и на еврейском (идиш) – на последний часто переходили, когда говорили о чем-нибудь не предназначавшемся для моих и Гериных ушей. Дедушка с бабушкой были очень разными, но жили на редкость дружно: он никогда не называл ее по имени, только «тайринька» («дорогая» по-еврейски), даже когда сердился или был обижен на нее, если она смешивала посуду «трефную» и «кошерную» или даже в дни Пасхи нарушала запреты. В эти дни в доме не должно было быть ни крошки хлеба, только маца, а бабушка, заходя в нашу детскую комнату, могла «незаметно» откусить хлебца. Дедушка, увидев или заподозрив нарушение, хватал злополучную тарелку, вилку, рюмку и бежал к раввину, чтобы освятить молитвой. (Вот этот забавный и трогательный рассказ хорошо помню! Очень смеялась! – Л. К.)

Бабушка была по сравнению с ним вольнодумкой и посмеивалась над таким педантизмом, а мы – «отбившиеся от рук»

внуки, приблизившись к пионерскому возрасту, громко распевали, шагая по улице:

Долой, долой монахов, раввинов и попов!  
Мы на небо залезем – разгоним всех богов!

После этого, правда, я бежала домой и с аппетитом ела бабушкин очень вкусный пасхальный обед. И не видела в этом никакого противоречия! И еще надо было незаметно вытащить из-под подушки, на которую опирался дедушка, кусок мацы и получить за него «выкуп». <...> Дедушка был очень добрый, мягкий (не помню случая, чтобы он повысил голос), типичный джентльмен. Он очень смущал моих девочек, когда, провожая их до дверей, подавал пальто, и, если они приезжали ко мне в гости «издалека» (на городском транспорте), непременно провожал их до остановки и подсаживал на трамвай. При этом он иногда отступал от правил: в субботу по закону нельзя носить палку, без которой он не мог выходить (в ней было железо), но не проводить девочек (детей!) он не мог – это было бы нарушением нравственного закона <...> Когда наша бабушка умерла, у нее под подушкой нашли завещание – кремировать и похоронить в могиле деда. Все ее дети, при всем знании ее «вольномыслия», были потрясены. И выполнили завещание».

Здесь не могу не вспомнить, забегая далеко вперед, не менее потрясшее детей завещание другой моей прабабушки (по папиной линии): не хоронить – сделать так, чтобы ее скелет послужил науке. Прабабушка умерла во время войны, в эвакуации в Перми (тогда городе Молотове), и завещание было выполнено. Всю жизнь бабушка была глубоко религиозной женщиной, но когда узнала о расстреле в Бабьем Яре многих тысяч евреев, в ее душе произошел трагический переворот – она напрочь утратила веру, сказав: «Если бы Бог был, он не мог бы допустить ТАКОЕ. Значит, его просто нет». Много страшного случилось потом. Но еще не пора уходить из маминого детства, еще можно немного побыть там...

«Я никогда не была маменькиной дочкой, с раннего детства рвалась к самостоятельности, радостно осваивала все новое, активно лидировала. Вспоминаю, как в 5-6 лет участвовала в гражданской жизни двора (кажется, еще в Гомеле), в которой,

как я понимаю сейчас, своеобразно отражалась идеологическая окрашенность всего нашего бытия. Точкой отсчета почему-то стал вопрос о происхождении человека. Старшие ребята задумывались об этом, читая книги, готовя уроки, слушая учителей, соглашаясь или споря с ними, а мы, малыши-дошколята, воевали за компанию. Столкнулись два взгляда: 1) Человек произошел от обезьяны. 2) Человек возник из клетки. (Религиозные взгляды, если они и были у кого, в те времена не озвучивались.) И вот две партии воевали (кулаками, камнями, снежками), выкрикивая соответствующие лозунги. Запомнилось, как «клеточники», когда побеждали, забивали нас, «обезьянников», снежками, набивали снег за пазуху, за спину – долго потом не проходило это ощущение тающего и стекающего по спине снега. Но я гордо не уходила с поля битвы (правда, незаметно стараясь пробиться поближе к Гере – рядом с ним чувствовала себя увереннее) и яростно сражалась вместе с ветеранами, пока меня не выставляли, чтобы не путалась под ногами.

Эту историю «об идеологической борьбе» маленьких «ровесников Октября» я не раз слышала в детстве, и она очень забавляла меня, я часто просила повторить ее, как сказку, и очень любила, когда мама рассказывала это моим маленьким подругам. Нас очень смешила эта битва: «от обезьяны!» – «нет, от клетки!»

«Хорошо помню день, когда мы прибыли в Киев (из Гомеля) – на Костельную, 5 (напротив костела на углу улиц Костельной и Трехсвятительной), где в большой квартире жила семья дяди Симона. Это старший брат моей мамы. У бабушки было шестеро детей, называю по старшинству: Симон, Эля, Рива (моя мама), Митя, Олег, Маня (самая младшая), она жила тогда у Симона. Он был старший и неплохо устроенный (образование он – до 1917-го года! – получил в Париже, чем в 1920–1930-е годы в СССР «не хвастался»), опекал младших детей (своих братьев и сестер). Нам он прислал вызов в Киев и помог устроиться. Второго (по старшинству) своего дядю Элю я видела только на фотографии, где он с женой и двумя детьми снят возле собственной (это было для нас чем-то фантастическим, невообразимым, из другой жизни!) машины. Он уехал в Америку еще во время Первой мировой войны. Помню, как радовались каждой весточке от него бабушка и дедушка... В годы НЭПа он подбрасывал им немного долларов, на них в Торгсине покупались

вкусности, которых не было в наших магазинах. Но ко второй половине двадцатых годов НЭП закончился, а вскоре началась и «охота на ведьм», и связь с Элей («родственником за границей») прервалась...»

В семье моей прабабушки по папиной линии тоже было шестеро детей – пятеро сестер и один брат. Я тоже могу перечислить их, только в порядке старшинства не уверена: Поля, Мунця (моя бабушка, папина мама), Хана, Арон, Бадя, Нелли. (Точно знаю, что Нелли – самая младшая.) И вот, точно так же, как в большой семье мамы, где младшая сестра Маня, уехав из родительского дома на учебу, жила в семье у старшего брата, папина младшая тетя Нелли, учась в Киеве, жила в семье папиной мамы, старшей, точнее, второй по старшинству сестры. Семейные связи, вопреки разделяющему Времени, оставались крепкими (разумеется, кроме «родственников за границей», упоминания о которых в анкетах при малейшей возможности старательно избегали).

На других страницах своих мемуаров мама размышляет об этом: «В романе В. Гроссмана «Жизнь и Судьба» меня очень взволновало место, где он говорит о том, что страшному сталинскому режиму все-таки не удалось разорвать простые семейные связи (дедушки, бабушки и внуки, родители и дети, любящие жены и мужья, братья и сестры, племянники), и это спасло народ от полного обезчеловечивания и одичания. Думаю о нашей большой семье. Вспоминаю, как Митя поклялся создать родителям светлую хорошую старость. И выполнил клятву. Выполнить помогла его первая жена, мать моей двоюродной сестры Ляли (Лидии) Герчиковой, с которой мы во взрослые годы подружились. Они разошлись, но сохранили добрые отношения, и она со вторым мужем поселилась в Москве (кстати, с Митиной помощью) в одной квартире с его родителями и преданно ухаживала за ними, они любили ее. Слава Богу, они не дожили до его ареста!»

И еще о детстве (очень понимаю, как хотелось маме подольше задержаться в нем!): «Первое мое соприкосновение с чудесами техники XX века – больше 70 лет отделяет меня от него! Этот миг, когда я с мамой вошла в открытую дверь какого-то маленького коридорчика (как показалось тогда), сделала еще шаг... и завопила! Пол под ногами зашевелился, и мы



с мамой вдруг поехали наверх – этот миг незабываем! Это ощущение движущейся клетки, дверь которой сама закрылась – мне никто не объяснил, что такое лифт и как им пользоваться, – было пугающим. Это было в первый день нашего приезда в Киев, когда мы остановились на Костельной улице у дяди Симона (в доме №5 на пятом этаже), где прожили первые несколько недель. После ошеломляющего впечатления от лифта, дверь которого и открылась сама (!), еще одно ошеломление: мы очутились в большой светлой комнате – таких я прежде, в Гомеле, не видела! – где лежал в кресле запеленатый младенец. Рядом стоял мальчуган с лукавой улыбкой, с задранной носиком. «Хочешь посмотреть на братика Алика?» – предложил он и протянул мне «сверток». Я – пятилетняя! – взяла его, в этот момент младенец закричал, вбежали взрослые, отобрали, строго сказали, что нам нельзя брать его на руки, и что слушать брата Зорю, когда он предлагает всякие глупости, я не должна. Я с трудом и не сразу поняла, что младенец и озорной мальчик – родные братья и что оба они – мои двоюродные. Таково было мое первое знакомство с братьями Герчиковыми, дружба с которыми прошла через всю жизнь».

Дом этих колоритных братьев и в моей жизни занял большое место, но произошло это, естественно, значительно позже. И раз уж я решила придерживаться хронологического принципа (хотя уже чувствую, что отступить от него иногда неизбежно придется), расскажу об этом в положенном месте. А пока...

«В детстве Зоря был хулиганом, упорно не поддававшимся воспитанию. Наш дедушка все пытался сеять в нем разумное, доброе, вечное, но когда Зоря приходил к нам со своими «шуточками» (не всегда добрыми: однажды вызвал меня, младшую на два года, что в том возрасте было существенно, на соревнование – кто перетянет! – и мы стали тянуть дверь каждый в свою сторону, а он вдруг резко отпустил, и я полетела и больно ударилась), терпение дедушки лопалось, и он прогонял его, да еще наивно грозил милицией, кричал ему вслед: «Хулиган! Бандит! Чтобы духу твоего здесь больше не было! В другой раз милицию вызову!» (Зоре было не больше десяти лет!) Да Зоря и Алик (его младший брат) и сами не очень-то любили тогда к нам ходить: «Опять начнут Сарру и Геру ставить в пример – как они дружно живут да что учебный год закончили без переэкзаменовок по географии!»

На страницах, где мама пишет о начальной школе, я неожиданно для себя увидела новое: «После первых недель на улице Костельной мы какое-то время жили на Крещатике напротив почтамта (это было в начале 1924 года, потому что я помню, как в день смерти Ленина шли толпы народа по Крещатику), а потом переехали в квартиру в доме на Стрелецкой (угол Рейтарской), где прошли все мои детские годы (и начало студенческих). Оттуда в 1925 году я пошла в 45-ю школу, она находилась на углу Пушкинской и бульвара Шевченко (это была бывшая мужская гимназия). Тогда в школу принимали с 8 лет, и я начала заниматься со второго семестра (в начале 1924 года, когда мне еще не исполнилось 8 лет, меня не взяли). Запомнились учителя младших классов: Алексей Николаевич – молодой, красивый, добрый – и Этя Николаевна. Они были классными руководителями в двух параллельных младших классах и, как нам (малышам) казалось, очень подходили друг другу, мы их мысленно поженили. (Не помню – а может, так и не знала тогда! – были ли для этого какие-нибудь основания в реальности.)»

Если бы мама когда-нибудь рассказывала эти милые подробности, я бы непременно запомнила, как помню ее рассказы об учителях старших классов. К началу ее подростковых лет относится самая загадочная история маминого детства (во всяком случае, для меня это так). В мемуарах это рассказано коротко (может быть, мама планировала еще остановиться на этом эпизоде подробнее): «Лето с мамой в Волочайске (или в Остре?). И задержанный пограничниками молодой красавец. Он перешел границу и сам «объявился» властям – из Польши (если память меня не подводит), хочет жить в Советском Союзе (по убеждениям). (Потом выяснилось, что такова была его легенда.) Он играл с нами в волейбол, гулял – и почему-то каждый раз предлагал новое место для игры, обошел с нами много мест. Мы все – девчонки лет 14-15-ти – влюбились в него и были возмущены, когда его увели прямо с площадки. Бурно выступали в его защиту. Олег (брат бабушки Ривы был тогда пограничником. – Л. К.), с которым я горячо спорила, привел нас, нескольких девчонок, на крыльцо дома, где пограничники с ним беседовали. (Вспоминаю сейчас и сама удивляюсь такой «деревенской простоте» нравов, но это было в малень-

ком приграничном поселке, и был еще лишь 1931-й год.) Мы услышали, как арестованный после долгого спора был вынужден (якобы для подтверждения невиновности) снять ботинки, после чего опытной рукой пограничника был отвинчен каблук и обнаружен спрятанный чертеж наших пограничных укреплений».

Хорошо помню рассказ мамы об этом случае. Она много говорила тогда о редком обаянии того юноши, напомнившего ей школьного пионервожатого, в которого была влюблена. Было понятно, что она остро пережила эту историю и не была уверена в справедливости ареста. Но и об усталой снисходительной улыбке дяди Олега (в ответ на шумное возмущение «глупых девчонок») тоже говорила со взрослым, позднее пришедшим пониманием.

Кстати, очень, по-моему, характерная черта времени, когда задним числом люди начинали вспоминать «подозрительные подробности» в поведении арестованного человека – ведь перемена мест игры в волейбол прежде ничем не насторожила девчонок, да это и в самом деле могло быть абсолютно невинным свойством энергичного подвижного человека... Похожие психологические повороты встречаются во многих произведениях о том времени – люди укоряют себя: «Как же мы не заметили?», начинают видеть в черном свете слова или поступки, на которые до ареста им и в голову не приходило обратить внимание. В первый раз мама рассказывала этот случай, когда мне было примерно 13 лет, тогда мне и в голову не приходило усомниться, что юноша действительно был шпионом. Но однажды, много лет спустя, мы по какому-то поводу вспомнили об этом, и я спросила, как она оценивает ту давнюю историю теперь, когда мы столько знаем о происхождении похожих «признаний» и самооговоров. Мама ответила, что чертеж, спрятанный в ботинке, все-таки был, и значит... Может быть, она и была права – не знаю.

Резюмируя эту историю, мама пишет: «Время (тридцатые годы) было полно противоречий. Репрессии, «тройки». Дикое пренебрежение к личности (аресты на много лет за 20 минут опоздания на работу – при отвратительной работе транспорта, за унесенную с поля горсть зерна – когда люди умирали от голода). Но и настоящие шпионы бывали».

Повествование дошло до знаменитой киевской 45-й школы. Эти страницы меня по-особому взволновали... «В те годы обязательное образование было семилетним, но когда мы заканчивали 7-й класс (в 1932-м году), в Киеве начали формировать восьмые классы (впервые в стране!), для начала всего в нескольких школах города, и наша 45-я вошла в их число. Отбирали из всех школ самых способных...»

Скажу, забегаю вперед, что из их класса вышло много ярких ученых: физики-теоретики, профессора Ю. Е. Перлин и М. Ф. Дейген, главный конструктор радиоэлектронной техники Г. М. Кунявский, доктор технических наук, подводник Л. А. Емельянов, биолог – профессор А. З. Колчинская.

Асю Колчинскую я хорошо знала, она была маминной близкой подругой, сохранилась их переписка. Об этой потрясающей женщине я еще расскажу. Как и о Юре Перлине, о котором колоритно рассказано в воспоминаниях мамы.

«Наш класс был самым старшим, выпускным. И отношение к нему было особое. Предоставлялось больше свободы, во многом с нами обращались, как со взрослыми: парни открыто курили вместе с преподавателями (девушкам тогда это просто не приходило в голову!)»

Этот класс остался самым легендарным в истории легендарной школы, младшие смотрели на него с восхищением и запомнили на всю жизнь. В 1998-м году, когда мама (со мной) в последний раз приехала в Киев (она и осознавала тот приезд как последний – хотела проститься с Городом), мы остановились у родственницы в доме напротив оперного театра. В гости зашла соседка, увидела маму и сразу воскликнула: «Вы ведь Сарра Фрадкина? Нет-нет, не старайтесь вспомнить. Вы меня не знаете! Я училась в сорок пятой школе в шестом классе, когда вы были в десятом, и мы, конечно, знали всех вас!»

«В старших классах очень запомнилась Анна Пантелеймоновна (мы прозвали ее «Панталоновна»), она преподавала литературу и, вопреки духу времени, прививала нам вкус к настоящей литературе. И к хорошему языку. Она приходила в ужас от «мещанского» слова «кушать» и внушала нам, что надо говорить «есть». Помню ее старомодные седые букли – она вся была из XIX века. С каким сочувствием и пониманием говорила она о Раневской из чеховского «Вишневого сада»,

о чеховских интеллигентах: «Их сейчас принято ругать, а ведь это были истинно культурные люди». (Догадывались ли мы тогда о подтексте ее слов?..) С ее уроков на всю жизнь запал в душу и память мою Шекспир. Сколько сочинений про Гамлета я тогда написала! Для половины класса, наверное... Самое интересное, что это даже и не очень скрывалось – во времена бригадного метода такое как бы и не противоречило принятым правилам: я выдавала сочинения, а со мной «расплачивались» чертежами, решением задачек и т. п. Только сейчас понимаю, как грустно было Анне Пантелеймоновне от этого метода... Мне всегда хотелось быть перед ней на высоте (она ведь знала или, во всяком случае, догадывалась о моем авторстве десятков сочинений по «Вишневному саду» и по «Гамлету»). Однажды я истощилась и не знала, что еще придумать про Гамлета. Придя поздно вечером с работы, мама застала меня ревушей, и мы с ней кинулись умолять папу помочь. Он немного посопровтивлялся (такое противоречило его педагогическим убеждениям), но все же сдался и выдал такие блестящие интеллекта, что Анна Пантелеймоновна пришла в восторг и с пафосом зачитывала отрывки на уроке. Свой курс литературы она заканчивала Блоком, помню «Двенадцать» с выразительными иллюстрациями. Горького она нам не читала.

Она была одинока. Во время войны не имела возможности эвакуироваться, оставалась в Киеве. Очень нуждалась, но работать в школу при немцах не пошла – отказалась. Умерла до освобождения Киева (может быть, от голода). Не помню, кто был рядом с ней, но до нас после войны дошли слухи, что перед смертью она завещала свои книги любимым ученикам, что вспоминала и меня <...>.

Химик Леонид Николаевич казался нам слишком требовательным и скучным, а после войны мы узнали, что он добровольно – с женой – пошел в Бабий Яр. <...>

Занимались мы на отшибе (чтобы не подавать «дурной пример» младшим!) – из отделенного от широкого большого коридора отсека дверь вела только в наш класс и еще в спортивную комнату. Там наши мальчишки соревновались в боксе, и я, немного обученная братом, «боролась за равноправие» и сражалась с ними (не знаю, наравне или они все же делали мне снисхождение, но помню «суровые поединки» свои с Да-

лей Кунявским, Леней Емельяновым, Юрой Перлиным). Я вообще была для мальчишек- одноклассников «своим парнем»: они свободно говорили при мне о своих любовных похождениях, делились со мной своими переживаниями. Я считала тогда, что меня как девушку никто не воспринимает, школьных романов у меня не было, разве что моя первая любовь в 4-м классе – уввы, безответная! – Сёма Шифрин, который вылил чернила на мою тетрадь. Правда, много лет спустя Миля Бляшов потряс на даче в Остре мою дочь-девятнадцатилетнюю признанием, что был влюблен в меня в 9-м классе. Но как по-детски это проявлялось! Обедали в школьной столовой, однажды стащили там ложки и по дороге домой остановились над какой-то ямой, бросали туда ложки и соревновались, чья быстрее долетит до дна.

Первый настоящий поклонник появился у меня только после 9-го класса, когда я поехала в пионерский лагерь воспитательницей (!) и заработала – впервые в жизни! – 450 рублей, на которые купила свое «знаменитое» красное пальто. (Я с удовольствием носила его все студенческие годы, и когда Лёва начал ухаживать за мной и поджидал у входа в университет, высматривая в толпе, приятели дразнили его насмешливым куплетом: «Ах, это красное пальто! / – Не то!» Такие пальто были тогда в моде, и носили их многие девушки.) Приехала я в лагерь с направлением (кажется, горкома комсомола), но мой юный вид, вполне соответствующий тогдашнему возрасту моему, не настраивал принимающих на работу на серьезное отношение. «Отдыхать приехали?» – «Нет! Работать!» – «Кем?!» – «Воспитательницей». – «Ну-у? И в старшую группу пойдете?» Самоуверенно: «Пойду!» (С ребятами из той группы разницы в возрасте вообще не было.) И пошла. И гордилась завоеванным, как мне казалось, авторитетом: добилась, чтобы называли по имени и отчеству, и быстрее, чем в других группах, затихали после отбоя. Правда, с условием, что я буду им на ночь рассказывать что-нибудь – «сериями», как называли бы это сейчас, и рассказывала то из «Графа Монте-Кристо», то из «Трех мушкетеров», а то и из «Женщины в белом», и заслушивались! Каково же было мое разочарование, когда «коллега» (не помню, какова была его функция в лагере – физкультурник или музыкальный работник) открыл мне глаза, разоблачив ребят. Во-первых, выяснилось, что старшие загоняли

младших на отбой кулаками; во-вторых, он в темноте незаметно подвел меня к окну спальни мальчиков старшей группы, поднял на плечах повыше, чтобы я лучше расслышала – и я услышала, с какой циничной откровенностью они говорили обо мне, разбирая по косточкам мои «статьи». Я была потрясена и, не объясняя причины, попросила начальство перевести меня в группу помладше (к тем, кому 11–12, а не 15–16). Возможно, впрочем, что о причинах начальство догадывалось, да и с самого начала в направлении меня в старшую группу было полускрытое стремление сбить спесь... Просьба была удовлетворена, но с 11–12-летними меня ожидало другое потрясение. Мальчик из моего отряда сбежал из лагеря, была большая паника, я места себе не находила и сбежала на поиски, оторвавшись от всех. Нашла (чудом догнала!) его шагающим по рельсам в город, довольно уже далеко от лагеря... Во всех этих переживаниях меня опекал и утешал тот самый «коллега», что открыл мне глаза. Ему было 24 года, мне – 16. У него были синие глаза и черные брови. Он играл на гитаре и пел: «Да, бывают такие минуты, что на сердце ложатся, как ночь». Серьезно пел, без юмора. Он и предложение мне сделал «серьезное» – стать его женой, когда окончу школу, он готов подождать. Говорил, что я ему очень нравлюсь, только одно его огорчает и даже удивляет – почему такая культурная девушка из хорошей семьи не играет на рояле?! Выражал надежду, что, когда мы поженимся(!), у нас в доме обязательно будет рояль, и я научусь играть. Подарил свою фотографию с трогательной надписью.

С какой гордостью я осенью демонстрировала одноклассникам (именно мальчишкам!) это доказательство влюбленности в меня взрослого человека – не чета им! Словам моим они не поверили, пока не притащила фотографию и победоносно не предъявила им. Особенно запомнилась реакция Дальки Кунявского (с ним – это мы выяснили много лет спустя! – мы были знакомы еще с детского сада, расположенного на крыше дома Гинзбурга): «Да у него подбритые брови!» У моего папы этот «претендент на мою руку» тоже не вызвал, мягко говоря, восторга, когда мы с ним (папой) были на авиапараде, и «претендент» торжественно подошел познакомиться. Еще определеннее выразил отношение брат Гера, возмущенный, что к его несовершеннолетней сестренке приста-

ет какой-то непонятный тип: «Если появится снова – спущу с лестницы!» Но окончательно этот роман закончился, когда «герой» прислал письмо – о ужас! – с грубыми грамматическими ошибками. Если учесть, что и с чувством юмора, так высоко ценимом в нашей 45-й, у него было не очень – это было уже слишком! Я и к своим ребятам придиралась, когда писали с ошибками, но у них это искупалось остроумием и живостью. Тот же Далька Кунявский однажды (он тогда болел и долго не приходил в школу) прислал мне через навещавших его ребят записку с предваряющими ее стихами (на самом деле Михаила Светлова, но тогда я поверила, что его собственными):

К моему смешному языку  
Ты не будь жестока и придирчива –  
Я ведь не профессор МГУ,  
Я всего лишь скромный сын Бердичева.

Ну как тут было «не простить» ошибки!

<...> В 10-м классе Бебка Яхинсон подсел к Фене Понаровской. У нее с... (забыла фамилию) была не детская любовь. Тот парень был спортивный, широкоплечий, симпатичный, по-взрослому обаятельный. Бебка в сравнении с ним выглядел маленьким мальчиком, да и внутренне был еще ребенком и уж никак не представлял для него опасности как соперник, да и не думал об этом. И вдруг тот подскочил и ударил Бебку. Мы все были возмущены, а Миля Бляшов – самый добрый и справедливый из нас! – схватил его за воротник и вышвырнул из класса <...> Феня Понаровская и тот парень погибли на фронте.

<...> А вот с Юрой Перлиным мы в 9-м классе поссорились и не разговаривали целых полтора года: шли из школы и заспорили, какой дорогой лучше идти – по Рейтарской или по Подвальной. Юра спросил, как мне показалось, этак высокомерно-снисходительно: «Хочешь, чтобы я тебя проводил?» А я, памятуя папино неизменное: «Девушка должна быть гордой!» – и задетая самоуверенностью Юры, его уверенностью, что осчастлививает меня этим предложением, ответила: «Да какая разница, бубнит кто-то над ухом или нет!» Он оскорбился, резко повернулся и ушел. И до окончания школы мы старательно демонстрировали безразличие. Помирились только

на выпускном вечере, да и то не по инициативе кого-то из нас: одноклассники настойчиво подталкивали нас друг к другу, а мы капризничали и сопротивлялись, как гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Самое забавное, что в этой истории не было никакой романной подоплеки» <...> Мы дружили всю жизнь, и с Лёвой их связала настоящая мужская дружба. Но это уже другая история».

Как я любила эти рассказы! О маминой школе мне никогда не надоедало слушать. В один из наших приездов в Киев в шестидесятые годы, когда я уже была студенткой, мы с родителями, как всегда, куда-то спешили (нужно было успеть за короткое время обойти множество родственников), но у ворот Золоторотского сада маму окликнула поначалу показавшаяся ей незнакомой женщина: «Сарра! Ты же Сарра Фрадкина? Я тебя сразу узнала! А ты меня? Неужели не узнаешь?» Мама какие-то минуты вглядывалась, потом узнала одноклассницу (не помню ее имени), а та вдруг воскликнула, глядя на меня: «Твоя дочка так на меня смотрит, как будто она меня узнала!» – «Я сразу поняла, что вы из 45-й школы!»

А с «дядей Юрой» у меня однажды возник разговор о той их с мамой ссоре (интересно же выслушать другую сторону, да еще после стольких лет!), и он уверял, что мама тогда сказала: «Ты вовсе не такой умный, как воображаешь!». Именно это его так обидело. Но этих своих слов мама не помнила, а он так никогда и не понял, почему она так долго избегала примирения.

Маминых одноклассников – и хорошо мне знакомых взрослых, и тех, кто остался в моей памяти в качестве «легендарных» героев тех давних времен – я всю жизнь воспринимала как родственников – близких, но и «в облаке легенды»... О них еще не раз пойдет речь в других главах, где я смогу войти в повествование уже как полноправная героиня, с которой они делились порой неожиданными мыслями и психологическими откровениями, на всю жизнь запомнившимися. Но все это было потом. Ничего такого не предполагала моя восемнадцатилетняя мама, когда в 1935 году отправилась на вступительные экзамены на филфак киевского университета – и надолго окунулась в другую жизнь.

На вступительных экзаменах они встретились с папой.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*В 1935 г. поступила и в 1940 г. окончила филологический факультет Киевского государственного университета, получив диплом с отличием. Будучи студенткой, преподавала (с 1937 г.) русскую литературу и язык в учебном комбинате Наркомвнуторга, а затем – на курсах по подготовке в Академии РККА при ДКА.*

*В 1935 г. поступил в Киевский университет им. Т. Г. Шевченко, исторический факультет которого окончил с отличием в 1940 г. Во время учебы в университете начал свою преподавательскую, лекторскую и журналистскую деятельность, преподавал историю в средних учебных заведениях, на различных курсах, читал лекции на международных темах, публиковал статьи в республиканских и областных газетах.*

Одну подробность папа, видимо, счел не существенной для официального документа, но как часть его психологической биографии она, безусловно, важна: сначала он хотел поступать на филфак (писал стихи, задумывал разные сюжеты), но «срезался» на сочинении на украинском языке (при отличных отметках на всех других экзаменах), и его не приняли. Тогда-то и явились к ректору рабочие со своими «классовыми аргументами». Ректор сказал, что на филфаке сейчас нет свободных мест, и предложил папе временно (!) поступить на истфак с обещанием перевода на филфак через год. Но к тому времени папа раздумал – глубоко увлекся историей.

При жизни отца я, естественно, не читала этих строк его официальной биографии и увидела их, лишь когда разбирала архив годы спустя. Только тут, в таком сгущенном перечислении, я увидела, как много он уже тогда работал, и гораздо лучше, чем за все предыдущие годы, поняла, почему моя лирическая романтизация их якобы беззаботных студенческих лет вызывала у него некоторое раздражение. Дело в том, что я больше всего помнила (по их же рассказам!) веселые вечеринки, прогулки на Владимирской Горке, остроумные шутки и розыгрыши, романы их друзей и подруг, их любимые стихи и песни, их с мамой молодую влюбленность в прекрасном

южном городе... Об этом я готова была слушать без конца – давала много вопросов, всплывали все новые милые подробности, и получалось, что их молодость видится мне как какой-то сплошной праздник. И папа досадовал на себя и на маму за невольную «лакировку действительности», против чего он возражал еще в годы войны в астраханском госпитале, когда в стихотворном послании друзьям писал:

Отчего вы плачете? – Выдумали сказку!  
<...>  
Думаете, в Киеве много счастья было?  
А о том забыли вы, как в ночную тьму  
Черные, угрюмые шли автомобили...  
Эти люди – кто они, как и почему?

Это начало большого стихотворения. Позднее папа был поражен удивительной переключкой последних трех строк с Наумом Коржавиным, чьи слова – «Гуляли, целовались, жили-были, / А между тем, гнусавя и урча, / Шли в ночь закрытые автомобили, / И дворников будили по ночам» – он узнал, как все мы, только в середине 1960-х годов.

Со мной, впрочем, дело было в другом – меня не требовалось переубеждать, как некоторых папиных ровесников в далекие сороковые годы. О трагедии тридцатых годов я, естественно, знала, и мы немало говорили об этом и в связи с их неповторимой, как у всех на свете, молодостью, и в более широком плане. Говорили иногда вдвоем или втроем с мамой (имею в виду годы своего отрочества и ранней юности, когда мой брат, впоследствии принимавший активнейшее аналитическое участие в таких беседах, был еще мал), но и в присутствии других собеседников тоже. Моя школьная подруга однажды спросила: «Очень страшно было жить в годы террора?» Хорошо помню, как папа задумался, стараясь честно вспомнить свое душевное состояние тех лет, и с искренним удивлением и как будто только в ту минуту до конца осознанной трудностью объяснить это не жившим в те годы, ответил: «Знаешь, нет! Самому сейчас странно, как все это могло сочетаться, но, многое зная, мы вовсе не вздрагивали постоянно от страха и вообще далеко не каждый день

думали об этом...» В заключение разговора папа процитировал те строки Коржавина.

Сейчас я подумала, что нам, жившим, по слову Анны Ахматовой, в «вегетарианские» времена, не стоит так уж поражаться этому психологическому феномену: разве мы не знали о деле Бродского, потом Синявского и Даниэля, да и о так недалеко от Перми расположенном лагере «Пермь-36», наконец, об аресте многим в Перми знакомого талантливому скульптору Рудольфа Веденева – за «чтение запрещенной литературы» после ввода наших танков в Прагу? И разве, зная все это, мы не жили своими жизнями, вовсе «не каждый день» об этом вспоминая?..

Все, что ими в той жизни в каком-то смысле «выносилось за скобки» (не совсем, конечно! но об этом скажу после), я знала, но при погружении в живую молодость родителей и их друзей все же больше всего любила слушать, как они «гуляли, целовались, жили-были...»

Что же в этом моем восприятии так не нравилось папе? Казалось бы, с его тонкой эмоциональностью и поэтическим строем души такое проникновенно равнодушное отношение дочери к их молодости могло бы скорее радовать его (и это тоже было), но... Забавно и немного грустно сейчас вспоминать – он был «родительски-педагогически» озабочен моей, как ему казалось, тягой к сибаритскому образу жизни, неорганизованностью и, попросту говоря, ленью. Все это было (или, во всяком случае, оказалось!) не совсем так, что, надеюсь, достаточно доказали следующие годы моей жизни, но увы! – в молодости у меня не было и не могло быть таких аргументов. Будущего не могли знать ни я, ни папа, и случались у нас столкновения, которые сейчас вспоминаются как забавные, но тогда такими не казались. Вспоминаю, как уже в аспирантские мои годы (в самом деле относительно расслабленные по сравнению с жизнью тех, кто писал диссертации «без отрыва от производства») мы с папой одновременно оказались в Москве. Я приехала из Свердловска, где училась в аспирантуре, в командировку для сбора материала и... собирала, конечно, но и бегала по театрам, много встречалась с друзьями, долгими вечерами слушая еще хриплые, с плохо различимыми словами записи Высоцкого, и вообще жила молодой жизнью. С одной стороны, папа все это понимал, но с другой – тревожился и временами сильно раздражался.

Однажды мы вместе шли в гости к московским родственникам и проходили мимо библиотеки (тогда Ленинской), откуда в тот момент выходили потоки читателей, и папа с явным укором сказал: «Вот видишь – люди работают, занимаются в библиотеке с утра до вечера!» – «Откуда ты знаешь, – мгновенно вскинулась я, – что они тут с раннего утра? Может, забежали часа на два? Да я тоже часто сюда забегаю и иногда выхожу из этих дверей в эти самые часы, тогда и на меня кто-нибудь может указать, как на образцовую труженицу!» – «Опять ты споришь по мелочам и делаешь вид, что не понимаешь главного, о чем я говорю! А главное: когда я писал диссертацию, все время был напряжен и нервничал из-за всего, что отрывает от работы, а отрывало так многое... Да, не отрицаю, иногда я и сам отрывался на какое-нибудь зрелище или встречу (гораздо реже, чем ты!), но потом сильно расстраивался и ночи не спал, чтобы компенсировать потерянное время, а ты вот совсем не волнуешься, что можешь не успеть написать к сроку, спокойно идешь в гости. Ну да, сейчас скажешь, что я сам тебя позвал! Действительно позвал – видел, что ты что-то совсем загрузила (такое папа всегда очень тонко чувствовал без слов...), жалко стало, захотелось тебя развеять и отвлечь, да и вечер с тобой провести хотелось, мы же теперь редко видимся. Но ты-то могла отказаться, сказать, что у тебя все запущено, и надо заниматься, вот это меня бы порадовало!» – «Ну и зачем звать с собой в гости, если по дороге так портить настроение? Хороша же я там буду!» – Глаза мои уже были «на мокром месте».

Сейчас думаю, что это было трудноразрешимое противоречие – у каждого из нас была своя правда. Кстати, вот сейчас, когда пишу эту книгу, нахожусь почти в самом ее начале и знаю, как неоглядно много еще надо рассказать, я гораздо лучше понимаю напряженное волнение при отрывах от большого труда, о котором говорил папа, как и страх не справиться или не успеть. Но тогда в моей молодой жизни все же преобладали другие волнения, как, впрочем, при всей интенсивности его «трудовой биографии», было в молодости и у самого папы. Но я слишком забежала вперед...

Это воспоминание всплыло у меня именно при поразившем перечислении (в автобиографии) таких разнообразных его за-

нятий – ведь все это происходило параллельно со студенческими делами, причем не только с зачетами и экзаменами, но и с началом серьезных научных исследований. О первой его серьезной работе я узнала много лет спустя из очень интересной статьи Павла Юхимовича Рахшмира (доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой новой и новейшей истории Пермского университета, бывшего когда-то папиным учеником) «Постоянство и многообразие творчества», вошедшей в книгу «Мир Личности. Творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана». Эта книга вышла в 1991 году, через несколько лет после смерти моего отца.

«Исторический факультет Киевского университета имел серьезные научные традиции. <...> Под руководством Киктева, специалиста по новой истории и незаурядного педагога, Л. Е. Кертман написал работу о родоначальнике консерватизма, британском политическом деятеле и мыслителе Э. Берке. За нее он был даже удостоен премии. Важнее, пожалуй, было то, что начинающий историк ощутил свои силы, вкус к серьезной исследовательской работе. Автору этих строк трудно удержаться от небольшого комментария. Л. Е. Кертман как-то упоминал, что Е. В. Тарле предлагал ему заняться Берком всерьез. (О судьбоносной, поистине перевернувшей жизнь встрече моего отца с Евгением Викторовичем Тарле расскажу дальше. – Л. К.) Ведь одно только эпистолярное наследие этой многогранной личности составляло 16 увесистых томов. После определенных раздумий и колебаний выбор Льва Ефимовича пал на Грановского. Тем не менее ранняя студенческая работа, видимо, крепко запала в душу и в ум Льва Ефимовича. Впервые имя Берка автор этой главы, будучи студентом, услышал во время лекции Л. Е. Кертмана по истории Великой французской революции. Конечно, с одной стороны, включение такого, с точки зрения многих, необязательного материала свидетельствовало о присутствии Л. Е. Кертману нестандартном подходе к лекционному курсу, но с другой, – наверное, все же сказалось и раннее научное увлечение. Тогда (в 1955 году) мне не могло прийти в голову, что консерватизм и в известной мере сам Берк станут предметом моих научных интересов. Порой так неожиданно возобновляется, казалось бы, разорванная связь времен. Для Льва Ефимовича нередко знание или незнание Берка

служило одним из критериев эрудиции студентов, и особенно аспирантов, намеревавшихся специализироваться по истории Англии».

Этого папа мне никогда не рассказывал, но очень узнаю в этом воспоминании его увлекающуюся натуру...

Кое-что (немногое) о его научных занятиях студенческих лет я знала (мама, кстати, тоже уже тогда читала публичные лекции и немного преподавала в школе), но все-таки больше родители рассказывали о другом. Я и сейчас думаю, что это было естественно и правильно – ведь, что бы кто ни говорил, истории любви, как и воспоминания о ней, волнуют больше всего. Так, во всяком случае, было в их и в моей молодости.

Итак, первая встреча родителей. «Наши первые впечатления друг от друга были далеко не радужными», – вспоминает мама. Она показалась ему маменькиной дочкой с белым бантом, типичной зубрилой-отличницей, особенно когда после экзамена вышла с огорченным видом и чуть ли не с отчаянием воскликнула: «Провалилась!», а потом оказалось, что всего-навсего получила четверку. Блестящей выпускнице 45-й школы и это казалось провалом. (Этот момент папа ей часто припоминал, и однажды, уже в 1970-е годы, вспомнил в письме, говоря о похожей ее реакции на какие-то служебные неприятности.) Впрочем, и она в ту встречу была далеко не в восторге: «Мне запомнилось, как какой-то «пижон» хвастал, что приехал на экзамен на машине. На самом деле Лёва приехал тогда не на такси (хотя и так «щегольнуть» любил при возможности), а на интуристской машине, – он подрабатывал гидом и совершенствовался в английском».

Из слишком разных миров пришли они в киевский университет. За спиной мамы была 45-я школа. Ее одноклассники тоже пижонили, но как-то по-другому – их остроумие было ей ближе и понятнее, и она легко вступала с ними в соревнование, бойко обмениваясь остротами. Уметь быстро и остроумно парировать ехидные реплики считалось в 45-й школе делом чести и было у них важным критерием оценки. Помню, как, много лет спустя слушая «Линию жизни» с Андреем Мироновым, мама восхитилась каким-то особенно остроумным его ответом: «О! В нашей 45-й он бы прошел!» Папа, впрочем, считал, что их шутки редко достигают уровня высокого остроумия и

часто скатываются к поверхностному остроловию – он вообще недолюбливал «снобизм 45-й школы», это порой насмешливо звучало у него уже и на моей памяти.

Мне кажется, я хорошо представляю момент, когда папино предубеждение исчезло, и он увидел мою юную маму совсем другими глазами. Интересно, что когда папа рассказывал мне об этом (в мои 12 лет), я еще не знала о первой встрече с взаимными негативными впечатлениями (совместный юмористический рассказ родителей об этом прозвучал позже), и папа «подал» это как первую встречу: «Вхожу на вступительный экзамен по математике, мы тогда все сдавали, математику тоже, и вижу: такая смешная девочка сидит, решает задачки, волнуется, что-то у нее не получается, очень славная и смешная! Она мне сразу очень понравилась». Правда, тот разговор шел в особом контексте – папа хотел помочь мне хоть немного избавиться от подростковых комплексов. Оставаясь общительным южным ребенком, типичной киевской девочкой с «не славянской внешностью», я бывала для уральских детей экспансивно открытой, часто натывалась на грубоватые насмешки и очень остро переживала (в старших классах перешла в другую школу, и это прошло). Папа хотел убедить меня, что и мама сталкивалась с подобным. И хотя таких насмешек в ее школе не было, она тоже страдала из-за отношения мальчишек, видящих в ней «своего парня» и влюбляющихся в совсем других девчонок, а в школьные годы она, как и я, думала, что никогда не сможет никому понравиться – и вот как хорошо все кончилось!

Кстати, мамины мемуары подтверждают мучающую ее в школьные годы и даже в начале отношений с папой неуверенность в себе: «Помню, как жаловалась ему (ее брату Гере, уже совсем взрослому, ненадолго приехавшему в отпуск из авиационного училища. – Л. К.) на Лёву: он говорит, что у меня красивые руки. Смеется, наверное? Издевается? (Дело в том, что наш папа – высший авторитет для меня! – говорил, что все у меня «слишком длинное – и руки, и ноги, и особенно нос». Это потом я поняла, что он так меня воспитывал, чтобы не задалась и не кокетничала.)»

Красивые руки были у мамы всю жизнь. В студенческие годы она уже не была угловатым подростком – высокая, стройная, волосы каштанового цвета мягко обрамляли обаятельное



лицо типичной киевской девочки. (Очень хорошо сказал о таких девочках Наум Коржавин в одном из лучших своих стихов: «Довоенные девочки! Детство мое! Киевлянки!..»)

Меня же в рассказе моего папы больше всего поразило слово «смешная». «Пап, значит, «смешная» – это ничего, да?» – «Глупенькая, ну конечно! Я тебе даже больше скажу: это гораздо лучше, чем «скучная»! А уж это тебе абсолютно не грозит!»

Позднее я сопоставила эти «две версии» первой встречи родителей и поняла, что в тот раз папа все же рассказывал про вторую, когда в его душе что-то растопилось. Под маской самоуверенной и иногда даже неприятно высокомерной девушки он вдруг увидел ее настоящую – растерянную беззащитную девочку, на самом деле многого о жизни не знающую и вовсе не такую смелую, какой старается казаться. Она даже плавать не умела! С этим, правда, связана особая история. Лет в тринадцать они с подружкой сбежали с уроков на еще пустынный майский пляж, зашли в холодную воду Днепра и через несколько шагов неожиданно попали в яму или в водоворот. Они обе не умели плавать, и их чудом спас какой-то нерастерявшийся мужчина. Приведя в чувство, он сильно обругал «глупых девчонок». Мама рассказывала, что хорошо помнит свою последнюю мысль перед тем, как захлебнулась и потеряла сознание: «Теперь папа узнает, что я нарушила обещание!» Она обещала своему отцу не заходить в воду. После такого стресса мама так и не решилась учиться плавать.

Позволю себе небольшое личное отступление. Всю жизнь я во многом «отставала» от мамы – не научилась вальсировать и вообще толком танцевать, кататься на велосипеде, играть в теннис и волейбол – все это она умела и любила. Я же никогда не была спортивной, и в студенческие годы подруга поддразнивала меня цитатой из Евтушенко: «А ты не лыжница – ты книжница». Но плавать научилась! Не скажу, что самостоятельно – несколько лет (от слова «лето») подряд с редким даже для него терпением обучал меня папа, стойчески перенося мои приступы страха, когда судорожно цеплялась за его руку с криком: «Не отпускай!» И уже мало кто верил в успех, но в какой-то «мистический» момент страх вдруг отпустил, произошел прорыв, и я легко поплыла. И с тех пор плаваю уверенно и хорошо. Никогда не задумывалась о причинах папиной

многолетней настойчивости, но сейчас впервые подумала: не было ли это связано с памятью о той маминой психологической травме? Во всяком случае, папа не раз объяснял мне, как не впадать в панику при усталости в воде, учил расслабляться и отдыхать, а потом плыть без судорожности, не спеша...

\* \* \*

Один раз увидев и поняв в маме все такое – с глубинной беззащитностью связанное, папа уже никогда не смог забыть ее настоящую, и душу его охватила нежность, какой до этого он никогда не испытывал. К тому времени он уже не был так наивен, как в день незабываемого «культмассового» выезда за город – за его спиной уже был некоторый мужской опыт отношений «без черемухи». (Это выражение людям их поколения не надо было объяснять, так назывался рассказ А. Ромашова, опубликованный в 1926 году и в студенческие годы родителей еще хорошо известный. Тетя Нелли вспоминала, что в годы ее молодости этот рассказ вызвал много неистовых бурных дискуссий, даже на комсомольских собраниях обсуждался: там шла речь о грубо упрощенных отношениях, без всякой лирики и романтики, и слова «без черемухи» стали почти паролем.) Когда пришло настоящее чувство, папе больно было вспоминать о том опыте, он говорил маме об этом, а она по своей неопытности даже не все в тех его словах поняла.

Папа начал трогательно опекать и оберегать ее. Мама любила вспоминать, как задолго до определившихся отношений он помогал ей справляться с плохим настроением – изобретательными наводящими вопросами помогал вспомнить, до какого момента у нее было хорошее настроение и от чего испортилось, что было первым толчком. Оказывалось, что вспомнить не так легко (но интересно!), и в итоге могло оказаться, что это какой-то совсем незначительный пустяк. Когда момент удавалось «поймать», папа чаще всего умел убедительно доказать, что такая ерунда не стоила таких огорчений, и в конце концов не только поднять настроение, но даже рассмешить. Сейчас это назвали бы психотерапевтическими беседами. Годы спустя в их взрослой переписке иногда звучат такие мотивы... Думаю, что уже тогда, в тех беседах, был новый для мамы, более высокий уровень общения. Она пишет об этом: «Сейчас, из 1980–1990-х

годов, мне видится все яснее и отчетливее, насколько принципиальной была роль Лёвы в моем взрослении (в переходе от 45-й школы к 1-му курсу филфака в 1935/36 учебном году) – намного большей, чем казалось тогда. <...> При встрече с Лёвой я была еще очень далека от понимания истинной поэзии, истинных ценностей, истинной любви». (Дальше мама вспоминает, что в десятом классе она еще искренне рыдала над строками «Да, бывают такие минуты, / что на сердце ложатся как ночь» и со слезами декламировала «Белое покрывало». «Потом, через несколько наших уже семейных лет, когда он «перевоспитал» меня, я иногда «угрожающе» говорила: «Сейчас начну читать «Белое покрывало!» – когда хотела настоять на чем-нибудь, а он упрямылся».)

Бережная опека проявлялась и в совсем других ситуациях. Один случай мама подробно описала: «Случайным ли был тот вечер у Иры Овруцкой? Много о ней тогда не договаривалось, и умолчания, как мне понятно сейчас, связаны были с ее ранним созреванием, сексапильностью, ее философией «свободной любви», отрицанием «предрассудков». <...> Моя принципиальность, видимо, воспринималась ею как ханжество, раздражала и вызывала желание подразнить, спровоцировать... Может быть, и неожиданное приглашение меня к ней на вечер тоже было продуманным эпизодом негласного «соревнования»? <...> Это был мой первый и последний вечер у Иры. Место за столом было приготовлено для меня возле Алеша, в бокал с вином несколько раз доливалась водка, и, когда в голове уже очень зашумело, Алеша предложил выйти на воздух – пройтись, проветриться, но до улицы мы не дошли. Внизу, в коридоре, прислонившись (к стене? к двери? к телефону?), Алеша притянул меня к себе, и в этот момент рядом оказался Лёва (до этого я не фиксировала, как и когда он наблюдал за нами). Он взял меня за руку и увел в комнату Иры, где никого не было, уложил на диван, заботливо укрыл, и я тут же уснула, а он сидел и охранял мой сон, не оставляя меня ни на минуту. Такая была защищенность. <...> Когда я проснулась, Лёва увел меня домой и по дороге сказал, что любит меня и что этот дом (Ирин) я должна забыть. Что я и сделала».

Но не сразу и не во всем она стала так «послушна». В университете мама постепенно обрела женскую уверенность в себе

и стала пользоваться успехом. Появились поклонники – «три мушкетера» (Боря, Алеша и Лёва), и папа сначала был просто «одним из них», хотя его незаурядность, конечно, сразу ощущалась и поражала. Алеша не был столь интеллектуален, как Лёва, его любимыми стихами были «Только тот наших дней не мельче, / Только тот на нашем пути, / Кто умеет за каждой мелочью / Революцию мировую найти» (кажется, Безыменского). Уже в 1990-е годы, многое пересматривая, мама говорила мне, что представление о святости идеалов революции было настолько прочно вбито в головы их поколения, что очень долго усомниться в этом было для них «органически» невозможно и ощущалось бы как святотатство, а все мрачные стороны сложившейся в стране жизни, с большей или меньшей степенью глубины осознаваемые разными «ровесниками Октября», воспринимались как отклонение от прекрасного Начала и Замысла. Брат мамы тоже любил такие стихи...

«Незабываем мой день рождения на 1-м курсе – 26 декабря 1936 года... Геру отпустили на несколько дней – он специально подгадал короткий отпуск к 26-му декабря. Народу собралось столько, что у нас не могли поместиться – праздновали у однокурсницы (забыла фамилию, помню только, что в квартире на Большой Подвальной), и в центре всего был Гера – красивый, высокий, сильный, ясный, в защитной форме, и все девочки, конечно, были влюблены в него. А он, сравнивая моих «мушкетеров» (Алешу, Леню, Лёву), отдал тогда предпочтение не Лёве: его интеллигентность, манеры, попахивающие Англией, оказались слишком «беспартийными, не комсомольскими». Алеша с его любимыми строками – «Только тот наших дней не мельче...» – был Гере ближе, чем пропитанный Пастернаком Лёва... Не Пастернак, а Безыменский и Уткин были кумирами комсомольцев тридцатых годов.

Из любимых строк тех лет:

Да, это выше, выше, выше  
Разлук и холода в руке.  
Вы снились мне, и я Вас слышал  
На лазаретном тюфяке.  
И я пронес Вас сквозь разлuku,  
Сквозь дым, сквозь грохот канонад,

Как девочка больную куклу,  
Как руку раненый солдат.  
И даже предаваясь плоти  
С другим, вы слышите – с другим!  
Вы вашу нежность назовете  
Библейским именем моим...

*Иосиф Уткин».*

Мама напрямую не говорит здесь о своих собственных (а не обобщенно поколенческих) приоритетах тех лет, о тогдашнем своем отношении к стихам Уткина и Безыменского, но мне кажется, что в тот момент она и в этом находилась «на перепутье». Очень любя брата, во многом она совпадала с ним. Ее взглядам строки о мировой революции никак не противоречили, и художественный уровень таких стихов до какого-то момента она не судила строго. Но обаяние «папиного» Пастернака и «Раиных» (открытых ей подругой – Раей Кун, о которой речь впереди) официально почти запрещенных поэтов Серебряного века уже начинало действовать...

Еще о том забываемом дне рождения: «И подарок Лёвы – потрясающая сумка из КВЖД (на одолженные у Нелли деньги) – был, по мнению Геры, пижонским и «попахивал низкопоклонством».

Деньги были одолжены у той самой тети Нелли, что в 1924 году в день смерти Ленина выбежала из квартиры с рыданиями. А в связи с «пижонством» папы вспомнился забавный случай, не вошедший в мемуары. Перед каким-то вечером он пообещал маме, что заедет за ней на такси (или на «интуристовской» машине, точно не помню). Сейчас почти невозможно вообразить, насколько редкой и труднодоступной экзотикой был для молодежи тех лет подобный способ передвижения – как если бы сейчас пообещали прислать личный вертолет или самолет! И когда мама похвасталась брату, что скоро один знакомый заедет за ней на машине (кажется, тогда он еще не был знаком с Лёвой), он не поверил – решил, что кто-то просто разыграл ее. Обещанная машина долго не ехала, и, сидя у окна, брат то и дело подавал насмешливые реплики: «Вон грузовик едет! Наверное, за тобой? О! Целый автобус прислали!» Как она торжествовала, когда машина пришла, и Лев вышел и элеган-

тно распахнул перед ней дверь! Задрав голову, она незаметно показала брату язык.

Итак, брат поначалу предпочел Алешу. А вот у маминой бабушки, при всем ее «атеистическом вольнодумстве», было диалектическое отношение к Алеше, с его внешностью «радость славянофила». Глядя на него, бабушка вспоминала известное изречение: «Он, конечно, не антисемит, но в горячую минуту не скажет ли: «жидовская морда?» На таком фоне Лёва вызывал ее особенное доверие: черноволосый, сероглазый, с густой шевелюрой, выразительным интеллигентным лицом и мягкими манерами, он был ближе и понятнее, вызывал и у бабушки, и у родителей мамы почти родственное чувство.

И все же моя юная мама еще какое-то время была не совсем равнодушна к Алеше... Может быть, в нем было больше авантюрной лихости, нравящейся многим девушкам. Впрочем, это уже мои субъективные и, возможно, ошибочные догадки, ведь и Лёва вовсе не был «хлипким интеллигентом»: он никогда не пасовал при встречах с уличными хулиганами и не просто умел подраться, когда необходимо, но иногда даже «нарывался». Идя по противоположной стороне улицы и видя, что кто-то бьют (при не честном соотношении сил), бежал и бросался в драку на защиту слабого. Такие истории не раз случались в довоенные годы и даже пару раз в послевоенном Киеве. Мама рассказывала, как трудно ей бывало удерживать его, и что было время, когда ее это сильно волновало: «С тобой по улице нельзя спокойно пройти!»

В начале отношений папа опекал ее бережно и нежно, ей было тепло и уютно с ним, более того – подсознательно, какое-то время сама не понимая этого, она уже не представляла своей жизни без него. Но в подогретых романтической литературой девичьих мечтаниях любовь представлялась ей каким-то другим чувством. И она даже делилась с папой в их «психотерапевтических» беседах этими сомнениями. А он убеждал ее и в конце концов убедил, что как раз это и есть любовь. Но до того шла бурная молодая жизнь со всеми присущими ей противоречиями...

«Я так и не знала (и не узнаю), была ли у «мушкетеров» договоренность не встречаться со мной по одному или это получилось стихийно, но когда однажды Алеша вдруг пришел один

и надолго засел в моей комнате ждать меня, в этом было что-то нарочитое... как и в его неожиданном (без словесных комментариев) объятии. Я оскорбилась и резко выставила его из дома, сказав, что все это не по адресу – намекнув на известные ему другие адреса, где он, видимо, встречал в таких ситуациях «большее понимание», и что мой адрес ему следует забыть. Вообще в те годы я отличалась высокой принципиальностью. Об этом разрыве я на следующий день рассказала Лёве, немало его обрадовав...»

Другого поклонника папа легко отвадил сам. В Боре Минчине было что-то комическое. «В 18-летнем Льве Кертмане причудливо перемешались «аристократические замашки» (интуристовская школа манер) и «дворовые», «пролетарские заводские»: в «соревновании» за мое внимание с маменькиным сыночком Борей Минчиным Лёва победил явно не аристократическим методом. Помню вечер, когда они, случайно встретившись у меня, долго «пересиживали» друг друга. Никто не хотел уходить первым. Наконец я сказала им, что они не дают лечь спать моим родителям: в коридор из моей «детской» надо было проходить через их комнату; меня это смущало, тем более что до этого, еще до прихода Лёвы, Боря читал мне свои стихи, и... на строках «В пустыне страсти на твои колени / Стихов горячих сыпется песок» за стеной послышалось подозрительное «похрюкивание» – папин смех. И они ушли вместе, а на другой день в университете Боря Минчин торжественно объявил ребятам, что он убедился, что мы с Кертманом созданы друг для друга, и он не хочет быть препятствием нашему союзу. Подозреваю, что решающие аргументы, подтолкнувшие Боря к этому выводу, были если и словесные, то не «сугубо интеллектуальные», что в них заключалось некое предупреждение, что если он не забудет мой адрес, то...»

А вот с Алешей все оказалось сложнее, и тот «разрыв», судя по рассказанному далее, еще не стал окончательным. Кстати, не знаю, почему в маминых записях это слово упорно ставится в кавычки. Может быть, она хотела подчеркнуть несерьезность, некоторую еще «невзрослость» отношений, но если и так – накал страстей все равно был не шуточным, как, впрочем, и положено в молодости. «Наша компания часто собиралась у Раи, бывали танцы, кипели страсти...» – пишет мама. В другом ме-

сте она называет эти страсти «шекспировскими», снова кавычками подчеркивая свою взрослую иронию, но «все же... все же... все же».

Прежде чем продолжить рассказ о страстях, чувствую себя обязанной именно здесь – и мамиными, и своими устами – рассказать о самой близкой подруге маминых студенческих лет Рае Кун, той самой, у которой они часто собирались: «Рая была на несколько лет старше меня, пришедшей прямо из школы, и поражала меня знанием многих не известных мне писателей (от античности до Голсуорси, Томаса Манна, Романа Роллана), мировой поэзии, поэтов Серебряного века».

Мама рассказывала, что Рая пришла в университет с рабфака, до этого, видимо, года два проработав на производстве. Если папа вынужден был, не окончив техникум, пойти работать из-за трудного положения семьи, у Раи, по-моему, были другие причины: чтобы не возникло придинок к «не пролетарскому происхождению». Так в те годы часто делала молодежь «из прослойки».

Рая по-настоящему открыла маме многих писателей. Помню, что, кроме перечисленных, мама называла мне еще Анатоля Франса – его старые профессора, «старомодные книжники», живущие в своем особом, вне быта, мире, под влиянием Раи сильно очаровали маму, и память об их обаянии жила в ней всю жизнь. Может быть, они чем-то напоминали маме ее отца, редко отрывающегося от книги?.. В мои студенческие годы мама попыталась и меня пристрастить к Анатолю Франсу, но это не имело особого успеха. Я жила тогда в мире своего любимого Джона Голсуорси, и это почему-то оказалось несовместимым... Впрочем, мама не особенно настаивала и даже призналась, что почти не перечитывала А. Франса после студенческих лет и сейчас, возможно, восприняла бы его по-другому, но ей не хочется «перепроверять» то молодое впечатление, дорогое памятью о Рае, с которой они и Франса, как многое другое, читали вместе. (Кстати, вот это «не перечитывал(а)» было у нас с родителями устоявшейся, понятной посвященным семейной шуткой: на самом деле имелись в виду никогда не читанные книги, в незнании которых считалось неприличным признаваться, хотя на самом деле – убеждена! – почти у всех, самых читающих, людей есть такие пробелы.)

Любимой героиней на долгие годы стала тогда у мамы гордая и независимая Аннета Ривьер из «Очарованной души» Романа Роллана, и она культивировала в себе эти качества (как сейчас думаю, не совсем свойственные ей от природы, что-то в себе она с молодых лет переламявала, и это создавало порой неоправданное напряжение). С ее подачи я тоже с большим увлечением читала «Очарованную душу». Правда, моей героиней Аннета Ривьер не стала. Я всегда любила героинь с умным чувством юмора, как у Динни Черрел в «Конце главы» Голсуорси.

Горячей и насыщенной была их с Раей молодая дружба. Тогда же Рая подружилась и с папой – много лет спустя он вспоминал в одном из писем, как они втроем в Ботаническом саду «читали греков» (видимо, готовились к экзамену). Рая умела делать такое чтение захватывающим, и те романтические часы были никак не сводимы к чисто прагматическим целям. Папа всегда очень ценил такой подход. Мама рассказывала, что Рая была более созерцательной натурой, чем она: могла долго тихо сидеть на подоконнике и любоваться закатом, в другом настроении взалхлеб читала стихи. При этом Рая отнюдь не была «книжной девочкой», и о грубых сторонах жизни она знала больше мамы, но тем не менее часто идеализировала людей. Уже в более взрослые годы родители посмеивались, когда Рая приводила очередного своего поклонника – явного жлоба – и чуть смущенно уверяла, что «в нем что-то есть».

Я хорошо помню взрослую Раю Кун – она оставалась искренне увлекающимся человеком, была открыта новым впечатлениям, живо интересовалась новыми «молодежными» писателями. Сохранилось много ее писем родителям и несколько мне, шестнадцатилетней, – она спрашивала, как я и мои друзья воспринимают только что вышедший «Звездный билет».

Рая стала талантливой учительницей, и ученики преданно любили ее. По письмам и редким, но очень запомнившимся мне встречам с ней чувствовалось, что она хорошо помнит себя молодую и потому понимает молодых. А молодость ее была бурной... Мама довольно много написала об этом.

«...В те годы я отличалась «высокой принципиальностью» и часто воевала с моей самой близкой подругой Раей, обвиняя ее в беспринципности, когда она помирилась и как ни в чем не бывало принимала у себя в доме Шуру Ципировича, с которым

я навсегда поссорилась из-за обиды, ей нанесенной (она любила его и хотела родить ребенка, а он заставил ее сделать аборт), или когда – в те же дни! – она снисходительно приняла и согласилась поддерживать дружеские отношения со своим первым мужем Дусей Гениным, уход которого так сильно потряс ее, что она пыталась (несколько лет назад) покончить с собой. <...> «Биография» ее была по-взрослому бурной, и это не были бури в стакане воды...»

С годами мама начала сомневаться в своей правоте в подобных спорах с подругами (не только с Раей): не было ли то, что она в молодой горячности определяла как «беспринципность» и даже резче – как «отсутствие женской гордости» – мудрой терпимостью? Но тогда до мудрости было еще далеко... История жизни Раи, тесно связанная с историей жизни моих родителей и в молодости, и в другие годы, проходит через многие страницы маминих мемуаров и не раз еще всплывет в этой книге, но сейчас пора вернуться к «истории страстей» моих родителей.

«После нашего «разрыва» Алёша довольно долго не появлялся. 5 мая 1936 года, в день рождения Юзика Чигиринского (самого преданного поклонника Раи, долгие годы безответно влюбленного в нее), мы все собрались у него. Лёвы еще не было, он где-то задержался, а Алёша пришел. Большая часть компании еще оставалась в маленькой комнате за столом – допивали, а в соседней большой заиграл патефон. Вальс-бостон. Мы с Алёшей – в разных углах. И вдруг одновременно, не сговариваясь, поднимаемся и идем навстречу друг другу. И вот – его рука у меня на талии, моя – на его плече. Ни слова не сказано, но опрокинуто молчание нескольких недель. Пластинка доиграла, он отвел меня к «моему» дивану и вернулся на «свой». К концу вечера появился Лёва и по уже сложившейся традиции провожал меня домой. По дороге он сказал, что задержался потому, что должен был записать свой сон, и прочел мне эту запись. Я ахнула: это был тот самый вальс-бостон, в котором мы с Алёшей медленно шли навстречу друг другу. Подобной мистики не было больше никогда (ни с одним из нас)».

А я вспоминаю, как мама с папой танцевали вальс на своей серебряной свадьбе. Они оба очень хорошо танцевали и были красивой парой.

Подхожу, наконец, к одному из самых значительных моментов истории моих родителей, который они оба бережно вспоминали всю жизнь. Мама рассказывает об этом немного хаотично, точнее, воспроизводит шумный хаотичный фон, на котором сцена происходила, но и в этом, думаю, «знак времени», и в конце концов, не все, даже самые важные, клятвы произносятся на Воробьевых Горах, не все лирические объяснения происходят в беседке или на скамье в тихом саду.

«Но настоящее объяснение произошло позже. Это было в декабре 1935 года, в дни празднования 100-летия (или 120-летия?) КГУ (Киевского университета). Было много торжественных мероприятий в большом актовом зале, приезжали писатели из Москвы (Федин, Панферов). Впечатлений от этих дней тогда осталось много – и ярких, и смешных. В одном углу пьяный Андрей Угаров иступленно выкрикивал:

Что мне Уткин, что мне Жаров  
Если я – Андрей Угаров!

Когда он был совсем «готов» и свалился на руки Боре Минчину, тот прокомментировал: я держу на руках будущее русской поэзии! (Уткин и Жаров – известные и очень популярные в тридцатые годы комсомольские поэты – несколько раз приезжали в Киев, и их вечера на многих сценах, в том числе в большом актовом зале киевского университета, проходили с большим успехом.) Андрей Угаров – ярко-рыжий, шумный, простодушно верящий в свою гениальность – был у нас персонажем комическим, но все же я была польщена, когда он, «взрослый» и как-никак известный на факультете поэт, пригласил меня, зеленую первокурсницу, почему-то... в цирк. По такому случаю я даже выпросила у мамы роскошный старинный шарф. Впоследствии Лёва часто ехидно припоминал мне этот «высоко интеллектуальный» поход. Стихи Угарова часто пародировались, но многим и нравились: «Тихо ночь над городом парила, / Нынче мне взгрустнулось неспроста, / Я облокотился на перила / Старого днепровского моста. / Пары шли и проходили мимо, / Было их в тот вечер без числа. / Я грустил (или – взгрустнул?) о девушке любимой, / Что сегодня мной пренебрегла». (Несколько лет спустя – уже во время войны,

в госпитале, после тяжелого ранения, его имя мелькнуло в грустных стихах Лёвы о довоенной молодости нашей. <...> А Андрей Угаров погиб на фронте. Лёва этого еще не знал...)

Верная своей «принципиальности», я и в те торжества бдительно оберегала подругу (Дусю Глазберг из нашей 45-й – она поступила на романо-германское отделение) – и не пустила ее в машину то ли Ф. Панферова, то ли даже «самого» А. Фадеева, неотразимо красивого и обаятельного (не помню точно, кто из них настойчиво «посягал» на мою наивную Дусю). Не отпустила «показывать ему вечерний Киев», а ей очень хотелось поехать, она была так польщена вниманием знаменитого писателя! Но с нашего первого класса, с первой просьбы ее мамы «присмотреть» за Дусей (той самой, с которой они вместе чуть не утонули! – Л. К.), я ощущала ответственность за нее. В 9-м классе на производственной практике на заводе станок как-то затянул руку Дуси, я резко и быстро остановила станок (слава Богу, не растерялась!) и спасла ее руку, но палец она тогда потеряла. <...> Опоздавшие на торжества и не успевшие пройти в большой зал шатались «по большому кругу» (идя от входа в зал по коридору, мы приходили к этим же дверям с другой стороны и приземлялись у окон). Там происходили многие объяснения, выяснения отношений, начало и конец многих страстей... Об этом – строки Лёвы через много лет – «...то, что в тесноте большого круга / породило страсть декабрьских дней» или «помню, за этим окном впервые / руки твои иступленно гладил...»

В один из своих уже сравнительно недавних приездов в Киев мне удалось зайти в университет и пройти по этому кругу, глядя на окна и гадая – возле которого из них решилось, что я когда-нибудь появлюсь на свете?..

Тогда мама сказала, что тоже любит и хочет быть вместе «до березки». (Это выражение я часто слышала от нее.) Решили пожениться в наступающем 1937-м году. «На редкость удачное время выбрали!» – не раз говорили они оба с грустной улыбкой. 1 сентября – специально подгадали к папиному дню рождения. Этот день получился весело приключенческим.

«...Мы опоздали в ЗАГС, и чиновница не согласилась зарегистрировать, несмотря на все наши мольбы. Но дома нас ждали родители с праздничным обедом (и несколько самых близких

друзей, – шумные свадьбы тогда не были приняты) и с тостами «за новобрачных». Однако папа мой, пристально на нас взглянув, догадался и тихо так: «А ну-ка, покажите паспорта!» Пришлось сознаться... Расписываться мы пошли через несколько дней. Ох и поиздевалась над нами чиновница! – она запомнила бурный гнев Лёвы (после всех безуспешных «галантных» уговариваний...) и отплатила: «В который раз вступаете в брак?», «Есть ли дети от других браков?», «Были ли?» и еще – о здоровье (вопросы, от которых я краснела). А было нам по 20 лет, и, конечно же, все ей было понятно, но не отступила «от протокола» и заставила на все ответить. <...> На нашей свадьбе Рая познакомилась с Юликом. Она сразу начала кокетничать, хотя пришла со своим неизменным «верным рыцарем» – Юзиком Чигиринским. Видя, как страдает Юзик (мы с Лёвой его очень любили, да его и нельзя было не любить), и, как всегда, огорчась за него, я была так возмущена легкомыслием Раи, что, незаметно отозвав ее в ванную, пригрозила: «Если не перестанешь охмурять Юлика – выгоню!» Я потребовала, чтобы хотя бы в этот день – ради нашей свадьбы! – она была внимательнее к Юзику, по крайней мере, ушла, как и пришла, с ним. Не помню, послушалась ли она меня в тот день, но через 3 недели (!) она прибежала к нам. Мы с Лёвой через неделю после свадьбы свалились с брюшным тифом, Мария Самойловна ухаживала за нами, строго следя за соблюдением режима и никого не впускающая. Но Рая как-то то ли уговорила, то ли прорвалась – и с порога: «Выздоровливайте поскорее! У нас с Юликом скоро свадьба!»

Юлик был самым близким другом папы, и он проникновенно, с глубоким сопереживанием написал о начале их с Раей любви:

Ты помнишь ночь, когда ты был влюблен?  
Наш город пел, и сердце пело тоже...  
Ты говорил, что это только сон,  
А я – что это на любовь похоже...

Читая эти строки, я вспоминаю когда-то очень взволновавшие слова в стихах Наума Коржавина: «Ведь каждый из нас – современник / Того, что бывает с другим!..» Это ясно чувствуется и в маминых мемуарах. То, «что бывало с другим», оказы-

валось эмоционально важно, захватывало, волновало. А еще эти строки (в стихах папы) удивительно передают атмосферу, в которой происходило общение друзей. Они были по-настоящему открыты, доверяли друг другу, и глубоко заинтересованный, равнодушный взгляд друга мог открыть человеку – в том, что он чувствует! – что-то еще до конца не ясное ему самому. Папины слова – «что это на любовь похоже...» – может быть, сыграли решающую роль в судьбе двух людей.

«Его талант общения уходил в глубокие личные корни. <...> Он был в душе лирик, романтик, идеалист и в человеческих отношениях, помимо всего прочего, находил, ценил и открывал поэзию. С умалением роли общения он связывал существенные душевные потери, эмоциональный ущерб, глухоту непонимания и невникания. Он, как никто, понимал, что «синдром жлобства», который столь сегодня, к прискорбию, массов, сложился в результате вытеснения из личных отношений озарений идеализма, той частички Бога в нас, без которой общение обесмысливается, становясь сферой потребительского и «товарного» подхода. Без поэзии человек жлобеет – и это непоправимо».

Так написала о моем отце Нина Евгеньевна Васильева в статье «Личность – тайна одного». Как и все пермские друзья и коллеги, Нина Евгеньевна знала его в совсем другое время и в другом возрасте. Но самое главное и сокровенное в личности сохранялось, и потому папа «находил в своем жестком режиме минуты для задушевных бесед у камина, для участия в хлопотах и заботах о житейских пустяках, для сокровений и откровений о самом-самом. <...> А люди шли к нему – за советом, помощью, добрым словом, нуждаясь в его мудром участии, доброжелательности, внимании к их проблемам и трудностям...» (в той же статье).

Пусть часто минуты общенья растащим  
По крохам на годы, но все же, поверьте,  
Они наступают – во всем настоящем:  
В дружбе до смерти, в любви до смерти.  
Во всем настоящем они придут,  
И время их не покроет порошею,  
А кто их не знал подобных минут,  
Тот многого в жизни не знал хорошего...

В жизни папы было много таких минут. Но особенно в юности... Полноценные – какими они и должны быть, и бывают у тех, кому повезет – студенческие годы подарили моим родителям бесценные человеческие открытия, горячую и крепкую дружбу, ставших родными на всю оставшуюся жизнь людей. Давно пора сказать о друзьях папы. Самые близкие – Юлий Файн и Борис Погребинский. Три товарища... Не случайно через годы роман Ремарка стал одним из самых сокровенно любимых папой. Мне кажется, что, читая о друзьях Роберта, папа всегда горько вспоминал своих не вернувшихся с фронта друзей.

«1 мая 1937 года мы встретили на Владимирской Горке. Была большая веселая компания, гуляли всю ночь. Отмечали возвращение из Испании Раиного двоюродного брата Макса. Говорить об этом не полагалось, но он все же кое-что рассказал Рае (а она – мне и Лёве): что воевали они как французы, но «легенду» поддерживали с трудом и не слишком убедительно. Выделялись российским аппетитом – маленькие французские булочки были им на один зуб, съедали десятками; выдавал и акцент... С Лёвой Макс говорил (отстав на какое-то время от шумной компании) более откровенно и грустно – о многом, что открылось ему там. Сказал, кивнув на наших ребят, громко певших что-то веселое: «А ведь скоро начнется война, и кто знает, многие ли из них останутся в живых».

Папа был потрясен. Бывая после войны в том парке, он каждый раз вспоминал этот разговор. Вернулись немногие...

«К концу этого вечера Лёва сильно перебрал. Нашли извозчика (еще были!), но Лев решительно не садился, пока рядом не водрузилась я. С другой стороны сел Борис Погребинский – как «подъемная сила». Приехали на улицу Кецховели, где мы с Лёвой жили после женитьбы (до войны); Борис водрузил Лёву на плечи и доставил на 5-й этаж, а через 5 часов мы как ни в чем не бывало явились на первомайскую демонстрацию. Сбор был назначен возле оперного театра, ребятам из костюмерной (они были нашими шефами) выдали шаровары, рубахи, широкие кушаки, девушкам – бальные платья до земли (так непривычно для тех лет выбивались из-под плащей оборки!), и выстроилась наша колонна «Ровесников Октября». Мы так неузнаваемо смотрелись – «парубки и дивчины» (особенно «парубки!»), – что Хаим Симхович, отец Лёвы, не сразу узнал своего сына

в украинской рубахе и широких шароварах и удивленно спрашивал меня (они с Марьей Самойловной пришли к театру посмотреть демонстрацию), с кем это я и где Лёва».

«Радость и горе шли рядом...» – пишет мама об этом годе.

Но вернусь к папиным друзьям. Это была настоящая мужская дружба. Все трое были умными, думающими молодыми историками (пока студентами). Они задумывались о своем сложном времени.

Ты помнишь ночи в комнате моей?..  
Античный мир тогда почти нам снился...  
Студенческие споры трех друзей  
И мрачные гипотезы Бориса.

Какими были эти гипотезы? Мне так и не довелось толком расспросить папу об этом. Не потому, что он что-то скрывал – просто как-то не сложился сосредоточенный разговор. Не обо всем важном удастся поговорить даже за длинную жизнь. Только однажды папа коротко обронил: «Борис все понимал лучше нас». Но что включало в себя это «все»? Понимали ли трое этих юношей, даже все понимающий Борис, в какое страшное время живут? К каким-то прозрениям они приближались... Папа уже тогда начал подходить к мысли, что в стране образовался новый класс – гораздо раньше высказанного в позднее знаменитой книге Джиласа. В мемуарах мамы есть яркий эпизод, во многом объясняющий, какие впечатления могли подтолкнуть папу (или, накапливаясь, постепенно подвести) к этой мысли.

«Олег, брат мамы, был добрым человеком, но его «коллеги из параллельного ведомства» (Олег служил в погранвойсках), когда мы – в первый и в последний раз – встретились с ними в гостях у Олега и Лизы в доме напротив стадиона «Динамо», потрясли Лёву разнузданным хамством и ощущением своей безнаказанности. Они отплясывали под громкую музыку. Когда пришел сосед снизу и тихо, робко, вежливо попросил не шуметь так сильно – у них болен ребенок, Олег сочувственно пообещал исполнить просьбу, но один из гостей после ухода соседа чванливо поинтересовался, кто это такой. Услышав, что простой шофер, он вызывающе и намеренно громко топнул и



продолжал отплясывать. Лёва резко поднялся, и мы ушли. И на большие застолья в этот дом больше никогда не приходили».

Помню и я, как много лет спустя папа не раз эмоционально вспоминал тот вечер: «Я видел эти рожи!» Он говорил, что уже тогда, в свои 20 лет, начал понимать, что происходит в стране, какие люди пришли к власти. Но в полной ли мере постигли он и его друзья в свои студенческие годы безысходность трагедии страны? Думаю, что все-таки нет – во всяком случае, далеко не так, как Лидия Чуковская в написанной в те самые годы «Софье Петровне». Доведись им в те годы прочесть эту страшную повесть – думаю, они ужаснулись бы. Даже я, хотя читала ее, как все мы, в совсем иное время, и то подолгу не могла заснуть от ужаса. И не давала покоя мысль – каково же было ей, до такой степени без иллюзий все понявшей «изнутри» времени, в котором шла ее жизнь, еще столько нескончаемых лет жить в этом времени?..

Мне кажется, что в современных версиях мироощущения людей, живших в годы террора, преобладают две крайности: «ничего не знали» или «все все понимали, но не хотели знать, вытесняли из сознания». Бывало, наверное, и то и другое. Первое редко: все-таки трудно было совсем уж ничего не знать; второе – тоже не так часто: таких, которым на XX съезде не открылось ничего нового, как Лидии Чуковской, оказалось немного. Во время чтения «секретного» (на самом деле быстро ставшего всем известным) доклада Н. С. Хрущева люди падали в обморок, были инфаркты. Моим родителям тогда тоже многое открылось, многое потрясло. Когда я думаю о них и их друзьях, вижу, насколько диалектичнее все это было в живой жизни. Да, были аресты хорошо знакомых им людей, даже родственников.

Мама подробно рассказывает об этом: «Два маминых брата были арестованы в 37 году. <...> Переход на третий курс (в 37-м году) был отмечен семью свадьбами (историков с филологинями). И тогда же дошло известие об очередной «разоблаченной группе врагов народа» (в Москве), среди которых наш Митя. <...> Митя был «в эшелонах власти» (зам. наркома сельского хозяйства), жил с семьей в Доме на набережной – том самом, трифоновском, где внизу кинотеатр «Ударник». <...> Я вспоминала свое первое детское знакомство с дядей Митей: он тогда

приехал в Киев, чтобы познакомить родителей (бабушка и дедушка тогда жили с нами) со своей второй женой – красавицей Лялей Каннель. Митя тогда приехал из Москвы, а Ляля – из Германии. Она ездила туда (и теперь возвращалась) вместе со своей матерью Александрой Юлиановной Каннель и с Полиной Жемчужиной (женой Молотова). Александра Юлиановна была врачом кремлевской больницы и домашним врачом в семье Молотова и Калинина (других не помню точно). В тот раз она сопровождала Полину Жемчужину на рекомендованное той лечение в Германии, и эта поездка годы спустя дорого обошлась им всем, особенно ее дочери, красавице Ляле, которую она взяла с собой «посмотреть мир». Впрочем, нет никакой гарантии, что, не будь этой поездки, судьба Ляли сложилась бы благополучнее. (Александре Юлиановне «повезло» – она успела умереть до того, как к их дому подъехал черный автомобиль и были арестованы две ее дочери.)

А тогда я была поражена элегантностью и красотой матери и дочери, невозможностью поверить, что это мать и дочь, что одна из этих женщин по возрасту близка моей маме. С какой любовью и гордостью смотрел тогда Митя на жену! В другой раз он приезжал с Калининым – маленьким, худеньким, с острой бородкой. Про «дедушку Калинина» – «всесоюзного старосту» – тогда слышали даже маленькие дети, и я гордилась, что прошла несколько шагов, держась за его руку, что он погладил меня по голове. Но и Митя гордился своей близостью к Калинину. Когда моя мама, по привычке волнуясь за брата и хлопоча «о приличиях», шепнула ему, что рубашка на нем морщит, он с явным удовольствием ответил, что на нем рубашка Михаила Ивановича. (Годы спустя, в другой жизни, я читала о Калинине у Фазиля Искандера и вспоминала свое детское восприятие прототипа.) <...> Моя подруга Рая Кун, с которой мы в зимние каникулы на первом курсе ездили в Москву и заходили в Дом на Набережной в гости к дяде Мите, была поражена и долго вспоминала этот дом, эту квартиру (контраст с киевскими нашими коммуналками был впечатляющим, разительным), но особенно поразил ее маленький Юрочка, сын дяди Мити (ему было тогда лет 6–7). «Маленький лорд Фаунтлерой!» – восклицала она. Родителей не было дома, и он очень вежливо, по-взрослому, «светски» принимал нас. <...> С годами

разница в возрасте стерлась, и мы с моим кузеном Юрой Герчиковым подружались, встречались в каждый мой или наш с Лёвой приезд в Москву, однажды провели рядом, в подмосковной Загорянке, летний отпуск, и он многое рассказал... Он учился в привилегированной школе вместе со многими кремлевскими детьми, Светлана Аллилуева училась с ним в одном классе. Однажды он был на ее дне рождения, и на короткое время к детям вышел сам Сталин. Он подзывал каждого ребенка к себе и спрашивал фамилию. На фамилию Юры (Герчиков) вождь живо отреагировал: «А-а, Герчиков! Помню». Вернувшись домой, Юра радостно и гордо закричал: «Папа! Товарищ Сталин тебя помнит!» Но, вопреки его ожиданиям, отец совсем не обрадовался, а внезапно помрачнел и тихо сказал: «Очень жаль...» Он знал, что лучше не быть обозначенным в памяти вождя...»

Судьба Юры Герчикова, маминого двоюродного брата, – того нежного мальчика, так похожего на маленького лорда Фаунтлероя, – оказалась тяжелой. Когда ему было 14 лет, были арестованы и погибли родители (его мама – красавица Ляля, так поразившая некогда мою маму, тоже не вернулась). Жизнь Юры могла бы сложиться еще страшнее, если бы не Адольф, муж Лялиной сестры Дины Канель, тоже арестованной в 1937-м, но, слава Богу, вернувшейся в 54-м. Все эти годы Адольф верно и преданно ждал Дину и заботился о детях ее сестры. Только благодаря ему Юра не попал в детдом.

О трагической истории семьи Канель подробно рассказывается в книге Марии Белкиной «Скрещение судеб», посвященной Марине Цветаевой и ее семье. Дина Канель в Лубянской тюрьме оказалась в одной камере с Ариадной Эфрон, и они подружались на всю жизнь.

Чудом спаслась от ареста старшая сестра Юры (по отцу) – моя любимая тетя Ляля, чья квартира на Петровке, 26 (разумеется, мы не раз обыгрывали ее близкое соседство с Петровкой, 38!) с годами стала для меня не менее знаковой и полной воспоминаний, чем квартира братьев Герчиковых на Палихе, 2 «А». Много лет прожила она в этой квартире с мужем – известным философом Захаром Каменским – и двумя детьми. Я часто гостила там, особенно когда тетя Ляля осталась в своей большой квартире одна (муж умер, рано умерла от страшной болезни дочка; сын Митя, названный именем ее отца, был

давно женат и жил отдельно). Впрочем, Ляля редко бывала в одиночестве, приходили школьные друзья – такие разные, как теща Солженицына (Екатерина Фердинандовна Светлова) и дочь Кагановича, в доме Ляли они общались вполне «толерантно». Не забывали тетю Лялю и друзья ее покойной дочери.

Я заслушивалась ее рассказами, подолгу рассматривала старые фотографии, где она предстала в разных ролях (Ляля училась в театральном училище). Ляля и Юра были детьми Мити, а матери у них были разные (ко времени ареста он был в разводе с обеими женами). К сожалению, это не спасло мать Юры от ареста. Когда случилось страшное, Юра был еще маленьким, а Ляля – взрослой девушкой. Она жила с отцом в печально знаменитом Доме на Набережной, а ее мама со вторым мужем – далеко от центра. Ляля училась в той же привилегированной школе, что и Юра, и рассказывала, как постепенно арестовывали родителей ее одноклассников.

Митя был арестован днем прямо на работе. Не помню, как, но Ляля узнала об этом до того, как вечером пришли с обыском, и успела, торопливо собрав самое необходимое, уйти из страшного дома – в далекую скромную квартиру к своей маме, где ее, слава Богу, не искали. Потом она узнала, что в квартиру приходили еще несколько раз, спрашивали о ней. Но что же сочла дочь арестованного необходимым непременно взять с собой? Совсем немного. Одно любимое платье и... толстенный том «Капитала», заботливо уложенный ею в портфель – поразительный трагикомический штрих времени! С какой грустной самоиронией рассказывала она об этом годы спустя...

Самоиронии ей было не занимать. Братья Герчиковы рассказывали мне, что в молодости были на спектакле (кажется, студенческом), где юная Ляля играла Настю в горьковском «На дне», и их впечатлила ее талантливая игра. Но сама она не склонна была преувеличивать свои актерские способности и, рассказывая о подготовке к роли, соответственно своему характеру, выделяла комические моменты. Достаточно скромная, далекая от актерской богемы девушка из приличной семьи, Ляля представления не имела, как взяться за такую роль. Кто-то из подруг посоветовал ей одеться соответствующим образом (подсказали как и экипировали) и пойти на площадь, где в определенные вечерние часы собирались девушки этой

профессии. Она последовала совету, села на скамейку и огляделась вокруг, пытаясь «войти в роль». Успех превзошел ожидания – очень быстро к ней подошел явный завсегдатай этого места и решительно потребовал ее внимания. Ляля мгновенно забыла о роли и гневно воскликнула: «Что вы себе позволяете?! С ума сошли?!» – «Да брось ты неизвестно кого из себя строить, я тебя каждый вечер тут вижу!» Вот тут она так неудержимо захохотала, что потерявший все ориентиры «клиент» в испуге сбежал. Таков был ее первый сценический успех.

Забегая вперед, расскажу о пережитом Лялей в другом времени. Не могу – не считаю правильным! – об этом умолчать. Моя тетя Ляля (Лидия Михайловна Герчикова) была недолгое время актрисой, потом театроведом и написала хорошую книгу об актрисе Вере Пашенной, с которой была хорошо знакома, служа в Малом театре. Пашенная была там «барыней-царицей» (давала швейцару рубль, подставляя руку для поцелуя), при этом любопытно совмещая властность барыни прежних времен с уверенной категоричностью советской партийной дамы (она была в театре парторгом). В ней и в жизни было что-то от Вассы Железновой, которую играла долгие годы. Молодая Ляля искренне преклонялась перед талантом актрисы, которую считала великой, благоговела перед ней. Идеей книги о себе Вера Пашенная очень заинтересовалась и вообще относилась к Ляле благожелательно, приглашала к себе, много рассказывала, были долгие чаепития. Казалось, что у них самые теплые отношения. Ляля работала над книгой долго, увлеченно, самоотверженно, отрывая время от других своих официальных работ (преподавание на искусствоведческом факультете, заочное руководство курсовыми и т.п.). Но когда книга была готова, героине вдруг показалось, что, много рассказывая Ляле, она вполне заслужила роль автора (хотя, видит Бог, писательского таланта у нее не было!). Видимо, повлиял тот факт, что Ляля построила книгу как рассказ от первого лица. Не помню подробностей, но связи у В. Пашенной были мощные, и ей удалось за спиной Лидии Михайловны, ни словом ни о чем не предупредив ее, сделать так, чтобы на обложке целиком написанной Л. М. Герчиковой книги крупным шрифтом стояло имя Веры Пашенной в качестве автора. Л. М. Герчикова была обозначена редактором в выходных данных. Не в силах поверить

в такое предательство, Ляля прибежала домой к Пашенной. «Как же так? Как вы могли?!» – и услышала произнесенный без тени смущения, с цинично покровительственной улыбкой ответ: «Лялочка! Неужели вы хотите со мной бороться? Вы забыли, кто вы и кто я?! Вы – дочь врага народа, жена безродного космополита, а Я... Как вы думаете, кому поверят?» (Отец Лялиного мужа Захара Каменского был расстрелян, мать много лет провела в лагере. Они оба успели несколько раз прийти к Соловецкому камню и назвать имена своих погибших). Нечего и говорить, как пришиблена была Ляля этим человеческим разочарованием (упала маска).

Позднее Ляля все же сумела добиться литературного «суда чести», где ее поддержал, в частности, Виктор Шкловский, объяснявший судье, что первая фраза: «Я родилась в 18.. году» – монолог от лица героини, то есть литературный прием, – не дает оснований усомниться в авторстве человека, родившегося позже.

\* \* \*

А школьная дружба Юры Герчикова со Светланой Аллилуевой продолжилась и во взрослые годы. Он искренне исходил из того, что «дочь за отца не отвечает», да и ее судьбу не считал особенно счастливой. Мама однажды оказалась невольной свидетельницей поворотного момента жизни и судьбы Аллилуевой. Приезжая в 1970-е годы в Москву в командировки, на конференции или на ФПК (полугодовые курсы повышения квалификации), она часто встречалась со своими кузенами на Палихе. Юра тоже приходил на эти посиделки, когда мог. И вот, зайдя в один из маминых приездов в ней в гостиницу, Юра сказал, что на следующий день, скорее всего, не сможет прийти на Палиху: «У Светланы день рождения, надо поздравить. Вот только не знаю, приехала ли она; может, еще не вернулась».

Дальнейшие события маме очень подробно запомнились. «Затем он прямо при мне набрал ее номер. (Светлана Аллилуева после смерти мужа поехала в Индию, чтобы похоронить его там по традиционному обряду и по его завещанию.) Катя, дочь Светланы, ответила: «Мы ждем маму завтра». А на следующий день Юра – очень встревоженный – прибежал ко мне

ранним утром и попросил подробнее (по возможности дословно!) вспомнить, как проходил его разговор с Катей, какие слова он произносил, не сказал ли чего-нибудь «двусмысленного». Я очень удивилась этим вопросам, но оказалось, что буквально через час после того разговора Би-би-си передало, что Светлана Аллилуева, дочь Сталина, попросила политического убежища и остается в США. И понятно – в какой стране-то жили! – что разговоры прослушивались, и Юру охватила тревога. <...> Юра стал известным архитектором и со временем (разумеется, после хрущевской оттепели и реабилитации родителей) занял довольно высокий пост. Но страшная память и страх (как у очень многих людей нашего поколения) жили на дне души. Как коверкало время характеры, судьбы, человеческие отношения!..

И все же их давняя школьная дружба выдержала испытание временем: когда уже в 1980-е годы (до перестройки, при Черненко) Светлана с родившейся в Америке и не знавшей ни слова по-русски дочкой Олей приехала в СССР и, прожив год, поняла свою ошибку, поняла, как плохо здесь ее дочери, никогда этой жизни не знавшей, и решила уехать обратно, – Юра, если и испытывал прежнюю тревогу и страх за свое положение, преодолел, подавил это в себе и не отдалился от Светланы, поддержал ее в трудную минуту (один из немногих). И с какой теплотой и благодарностью она вспоминает его доброе участие в своей «Книге для внучек» (журнал «Октябрь», 1991 год, № 6)! Она не называет его имя, но все знающие Юру и знающие об их дружбе не могли не узнать его по описанию – «рыжие волосы, веснушки», и еще – о том, что они в детстве были похожи «как близнецы». Она пишет: «Его одобрение и понимание дорогого стоит» и «Ему я говорила все. <...> Он был единственный, кто сказал: «Ты всегда была умницей. И все правильно решила. Я не знаю, как бы ты смогла жить здесь после того, как привыкла жить там. Я очень рад за тебя, что разрешили уехать».

\* \* \*

Но вернусь в недоброй памяти тридцатые. Арест Мити резко отразился на судьбах многих родственников. Мама вспоминает: «Маму сняли с работы (она была зубным врачом в военной части погранотряда), Зорю Герчикова отчислили из

авиашколы. Только Геру почему-то не тронули (не успели? Хабаровск далеко – поэтому?)...»

Но что думали мои родители об этом аресте? Помню рассказ мамы об их «детективных версиях»: зная об авантюризме и честолюбии Мити, они вполне допускали мысль, что он впутался в какой-нибудь заговор, что, может быть, и вправду готовился переворот, и его могло соблазнить предложение более высокого поста. Об этом, конечно, говорилось шепотом – и без осуждения – скорее с сочувствием, что, видимо, «попался». Даже у самых «правоверно мыслящих» было подсознательное ощущение темных интриг в верхних эшелонах власти.

Труднее было объяснить арест другого брата бабушки. Олег не был честолюбив или склонен к авантюризму, скромно служил в пограничных частях. Впрочем, родственники могли воспринимать это как «расплату за брата» – если Зорю исключили из училища, Риву (мамину маму) выгнали с работы, то Олег, служивший в пограничных частях, мог своей родственной связью «с врагом народа» вызвать гораздо большее подозрение властей. Безумная логика безумного времени!

«Митя погиб, а Олег был выпущен в 1939-м году, когда на смену Ежову пришел Берия, и «крупницы» арестованных были освобождены (похожая судьба у Серпилина в «Живых и Мертвых» К. Симонова). (Эта аналогия очень естественна для мамы – лирика Константина Симонова много значила для их поколения, особенно в годы войны, а позднее мама написала книгу о нем. – Л. К.) Олег ни словом не упоминал о своих гугаговских годах (во всяком случае, при мне). Запомнилась только одна его горько многозначительная шутка: Лиза и Олег обедали у нас, и мама по старой привычке выбрала ему нежирное мясо (жирное не рекомендуется при язве желудка). И Олег сказал: «Моя язва за эти два года вылечилась!»

Бабушке Олег рассказал больше – видимо, в осторожность молодых он меньше верил. Но с сестрой поделился (у них были нежные доверительные отношения). И много лет спустя я узнала от бабушки, что были пытки (зажимали пальцы рук дверями), и что пытали его знакомые, может быть, сидевшие когда-то в гостях за его столом – пытали, смеялись и издевались. Больше он не возвращался на прежнюю работу, точнее, его не вернули (кажется, после войны он занимал какой-то скромный

пост в книготорге). Олега я хорошо помню – запомнилась его усталая снисходительная улыбка, их с бабушкой частые телефонные разговоры и как меня в детстве смешило, что она называла его, видимо, его детским именем – «Оля».

Мама написала важное о Лизе, жене Олега – то, что в молодости поразило ее на всю жизнь. «В 30-е годы, когда вместо Харькова столицей Украины стал Киев, многие «пограничники» переехали туда, и тогда мы ближе познакомились с семьей Олега. <...> Лиза – яркая красавица, типичная одесситка, бойкая и смешливая, острая и резкая на язык... в горячих спорах с Олегом допускала непарламентские выражения, от чего почтенные родственники были в шоке. <...> Она трудновато вписывалась в образ жизни и традиции нашей (большой) семьи, особенно бабушки и дедушки. Но когда Олег был арестован, Лиза за те два года ни разу не съела и не выпила ничего из того, чего был лишен он, а когда его выпустили, она ночью прибежала к нам и плакала – и как плакала! Это был первый и единственный раз, когда я видела ее плачущей...».

Такие проверки отношений устраивало время. Тетю Лизу я тоже хорошо помню – она и в старости оставалась яркой красавицей с непотускневшими черными глазами. Олег иногда с шутливой улыбкой напевал ей: «Очи черные...» Но мне и в голову не могло прийти, что у нее когда-то были трудности с «вхождением в семью». Помню, с каким колоритным юмором она рассказывала разные «одесские истории». А когда я изредка пыталась дать какое-то углубленное психологическое истолкование поведения героя или героини какой-нибудь из этих историй (эта «дурная привычка» появилась у меня в ранние подростковые годы и в тех ситуациях явно противоречила «законам жанра»), тетя Лиза энергично отмахивалась: «Это все беллетристика! Слушай дальше!»

А насчет проверки отношений... Мама рассказывала об одной совсем необычной романной ситуации. Эта история не вошла в ее мемуары, но я ее хорошо помню. Дина Львовна, соседка и близкая приятельница бабушки с дедом, была замужем за «человеком из органов» – простая, малообразованная русская женщина – за пожилым евреем. Видимо, любила его. Он был арестован за «разглашение государственной тайны». Как ни странно, состоялся открытый суд (то есть, может

быть, не совсем открытый, но близких родственников на заседания суда пускали, кажется, это было в самом начале 1930-х годов). И на суде выяснилось, в чем состояло его преступление: он предупредил свою любовницу, что за ее мужем скоро придут. Не помню, помогло ли это той женщине или ее мужу, но главное – только на том суде Дина Львовна узнала об измене мужа, о которой не подозревала. Та женщина выступала свидетельницей. И плакала Дина Львовна, приходя вечерами после суда к родителям мамы, от всего вместе. Мама помнила, как сильно она переживала. Но не оставила мужа в беде и не боялась рисковать: ходила на свидания, носила передачи, наняла адвоката, хлопотала о смягчении наказания. Как ни странно, обвинение было предъявлено не политическое – что-то вроде «нарушения служебной этики». Он просидел недолго, попал под амнистию. Тогда Дина Львовна сказала, что не может простить, и развелась. Эта история вызывала у мамы и ее подруг большое сочувствие, но не могла побудить всерьез задуматься.

В папиной большой семье никто, слава Богу, не был арестован. Хотела было высказать предположение – не связано ли это с тем, что никто из них «не крутился в коридорах власти» и не работал «в опасных местах», но устыдилась. Искать какую-то систему и логику в том страшном безумии, когда безопасность не была гарантирована НИКОМУ, простительна жившим тогда, но не сейчас, когда так многое стало известно. «Нас тасовали, как колоду карт», – сказал Борис Пастернак, объясняя не имеющую объяснения случайность того, что он не был арестован.

Не только аресты близких родственников врывались в жизнь моих юных родителей.

«Когда арестовали нашего однокурсника Лёню – фамилии не помню, мы вспоминали его роман со взрослой опытной женщиной, в которой, как нам казалось, было что-то демоническое, и шепотом строили «страшные предположения» – «она втянула наивного и безоглядно влюбленного в нее Лёню в какую-то авантюру». (Кстати, этот Лёня был, как и Олег, выпущен в 1939 году, когда с приходом Берии к власти на короткое время возникли иллюзии якобы наступившей «оттепели»). Никто, разумеется, ни о чем его не спрашивал, и он ни о чем не рассказывал».

Прочитав эти строки маминых мемуаров, я буквально вздрогнула, не веря глазам своим – до такой степени эта ситуация оказалась похожа на описанное Лидией Чуковской в «Софье Петровне». Когда арестовали директора издательства, внушавшего главной героине повести полное доверие, в первый момент Софья Петровна еще понимает, что он не может быть виноват в чем-то ужасном, но потом молодая сослуживица убеждает ее, что в судьбе директора, возможно, сыграла роковую роль женщина, втянувшая его в преступление...

Со страхом шептались с друзьями мои родители, сами себе боясь признаться, что совсем не верят в обвинения. Помню по их рассказам, что «обвинительного уклона» в их мыслях и разговорах о знакомых им арестованных не было, аресты воспринимались как несчастье, вызывавшее сочувствие. И все же им казалось, что несчастные могли дать какой-то повод. Нет, они не считали, что с ними такого ни в коем случае не может случиться, не оправдывали аресты таким горделивым: «Меня же не арестовывают!» Считали, что каждый может чего-то не учесть, на чем-то споткнуться, что-то сболтнуть, но все же надеялись, что, если быть осторожнее... Впрочем, друг их студенческих лет Яков Гордон свидетельствует, что страх был очень силен: «Страх жил в каждом из нас с тридцатых годов (студенты горько шутили: «В здоровом теле – здоровый страх»), и не столько страх смертельной опасности, сколько долговременный, стойкий, непреодолимый ужас перед НКВД». Его книга с колоритным названием «Исповедь «агента иностранной разведки» посвящена событиям 1949 года (я еще обращусь к ней), о тридцатых годах он написал немного, но, оглядываясь на прожитые десятилетия и говоря о том, что пережить трудные дни помогали только друзья и юмор, автор приходит к горькому выводу: трудных дней «было куда больше, чем обычных, а легких... кажется, тогда и вовсе не было». В маминых мемуарах время предстает как-то многоцветнее.

Одна ворвавшаяся в студенческую жизнь родителей история меня как-то особенно волнует. Что могли они предполагать при аресте их любимого профессора Евгения Исааковича Перлина?! Талантливый филолог, блестящий лектор, обаятельный человек, притягательный мужчина... На его лекции сбегались студенты других факультетов и даже не учившиеся

в университете молодые и не очень молодые люди. Много лет спустя я слышала восторженные отзывы о тех лекциях от бабушкиной сестры, бегающей на них при малейшей возможности. Он дружил с яркими талантливыми людьми – философом Валентином Асмусом, музыкантом Генрихом Нейгаузом, с Борисом Пастернаком. Летом 1930 года «четыре семейства» жили в Ирпене – прекрасном дачном поселке под Киевом (мы жили там одно лето в моем раннем детстве). Это лето воспел Борис Пастернак в известном стихотворении «Мне Брамса сыграют»: «И станут кружком на лужке интермеццо, / Руками, как дерево, песнь охватив, / Как тени, вертеться четыре семейства, / Под чистый, как детство, немецкий мотив». Папа очень любил эти стихи, и я с детства слышала, что «четыре семейства» – это Пастернаки, Нейгаузы, Асмусы и Перлины (родители того самого Юры, маминного одноклассника).

Я видела фотографию (не того, но тоже завораживающе прекрасного южного лета), где на поляне расположилась большая веселая компания: дети (Юра Перлин и его двоюродная сестра) свободно и уютно уселись на траве у ног родителей, очень красивая женщина – Зинаида (тогда еще Нейгауз) кокетливо смотрит на обаятельного Евгения Перлина. Этот снимок показала мне двоюродная сестра Юры, выросшая девочка с фотографии, в молодости вышедшая замуж за будущего знаменитого академика Валентина Ефимовна Шура-Бура. Уже в преклонном возрасте она очень ярко вспоминала и рассказывала мне, как играла во дворе, и к ней подошел «взъерошенный человек», взволнованно и каким-то необычным языком спросил, как пройти по такому-то адресу. Она показала, но он все равно был растерян и неуверенно попросил пройти с ним и показать точно, что она и сделала. Она говорила, что, не зная, кто это, сразу почувствовала: этот человек совсем не похож «на других взрослых»... Это был Борис Пастернак, до сумасшествия влюбившийся в Зинаиду, бывшую тогда женой Генриха Нейгауза. Он примчался за ней, еще колебавшейся, в Киев и часто бывал у Перлиных (Зинаида Нейгауз остановилась у близкой подруги, жены Николая Перлина, брата Евгения Исааковича). На фасаде дома, где жили Перлины (Чапаева, 9), сейчас висит бронзовая мемориальная доска, сообщающая, что в 1931 году здесь бывал Борис Пастернак. Вскоре после этого приезда Зинаида Нейгауз

навсегда уехала с Пастернаком. Те годы, по словам Валентины Ефимовны, в ее восприятии были по сравнению со следующими еще какой-то «другой жизнью»... Через несколько лет – в 1936 году – Евгений Перлин был арестован.

«В 1936 году он в числе других двенадцати профессоров был обвинен в участии в деятельности правотроцкистско-меньшевистского блока и расстрелян», – сказано в «Википедии». О расстрелах не сообщали, и, как правило, мало кто знал, что означает таинственная формулировка «10 лет без права переписки». Люди много лет жили надеждой, и многие только в годы хрущевской оттепели узнавали, что их близких давно нет в живых. Так было с Диной Канель, долго надеявшейся, что ее сестра жива, что после смерти Сталина ее выпустят. И только в середине 1950-х годов она узнала страшную правду. И Юра Герчиков только тогда узнал, что его мама никогда не вернется.

Я попросила Женю, сына Юрия Перлина, названного в честь деда, написать о известных ему подробностях, и он написал.

«После ареста и расстрела («10 лет без права переписки») Евгения Исааковича сначала выслали бабушку, которая к месту ссылки в Уил Актюбинской области была отправлена по этапу. Немного позже папу исключили из комсомола, из университета со второго курса и отправили туда же своим ходом. Первые месяцы им запрещалось работать, и они жили только за счет тех небольших денег, которые им присылали родственники, продававшие книги из библиотеки Е. И. Небольшую часть этой библиотеки (весьма ценной) удалось сохранить. Большая часть библиотеки была разграблена НКВД. Затем все же им разрешили работать. Бабушка стала бухгалтером в местном колхозе (или совхозе). Папа стал преподавать физику в местной школе. Его незаурядные педагогические таланты проявились уже в это время. В 1960 году мы с папой шли по ул. Ленина в Киеве. Какой-то мужчина примерно папиного возраста подошел к нам и, удостоверившись, что папу зовут Юрий Евгеньевич, сказал: «Вы у нас преподавали физику в Уиле в Казахстане, и мы до сих пор вспоминаем, как вы, Юрий Евгеньевич, были замечательным учителем». В 1939 году, когда папе уже разрешили вернуться на учебу, его вызвал к себе председатель райисполкома и сказал: «Юра, я понимаю, что ты все равно уедешь, но я все же не могу не

предложить тебе остаться в нашей школе. Обещаю хороший дом и повышенную зарплату».

Выпускники 45-й школы и в самых тяжелых обстоятельствах проявляли незаурядные таланты. Кстати, Женя – Евгений Юрьевич Перлин – достойно продолжил линию отца. Он доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного оптического института им. С. И. Вавилова и заведующий научным отделом Центра «Информационные оптические технологии», профессор Санкт-Петербургского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Я спросила, что ему известно об аресте деда. Оказалось, известно многое.

«Дед был арестован в 1936 году сразу после совещания в ЦК, где ему поручили написать новый учебник по русской литературе. Ему было 42 года. Планировался большой процесс над интеллигенцией по типу процессов над партийными и военными деятелями. Для этой цели и был придуман «правотроцкистско-меньшевистский блок». Потом от этой идеи отказались, 12 профессоров по-быстрому («тройка») получили по «10 лет без права переписки», и их в тот же день расстреляли в подвалах киевского НКВД (у мамы был сосед, молодой парень, работавший в НКВД шофером, он ей сразу же и рассказал). Иллюзий практически не было.

Арестованные содержались в не особо ужасных условиях. Никаких пыток и избиений. Разрешались посещения. Во время одного из них папа спросил деда, в чем его обвиняют, на что Е. И. с горькой усмешкой отвечал, что никого это совершенно не интересует».

Я спросила, как вели себя друзья его отца, и Женя ответил.

«Было исключение из комсомола, а потом из университета. Друзья вели себя по-разному. Некоторые предали (был такой Борис Вайсбурд, которого папа много лет вспоминал с отвращением, даже не переносил имя Борис). Другие поддержали. У меня есть фотография, которую ему в Уил прислали Миша Шура-Бура и Илья Биск (талантливый математик, погибший затем на войне). На лицевой стороне их портреты в профиль, а на обратной стороне – надпись «Товарищ, верь...». И мама не боялась с ним переписываться. (В то время Юра еще не был

женат, родители Жени поженились в 1940 году, после того как Юре было разрешено вернуться. – Л. К.) Юра Спектарев (одноклассник по 45-й школе – Л. К.) и его семья очень поддержали папу, когда он вернулся в Киев. Он у них жил некоторое время, зарабатывая на жизнь репетиторством».

\* \* \*

Вернусь к мучающему меня вопросу, на который, сама понимаю, точный ответ вряд ли удастся найти. Верили ли студенты в существование какого-то мифического «правотроцкистского блока»? Думаю, что даже если кто-то верил, мало кто из обожающих профессора Перлина слушателей поверил в его участие в этом блоке. Может быть, считали случившееся какой-то чудовищной ошибкой. Но главное – они (огромное большинство), безусловно, не представляли масштаба всего происходящего.

Современным людям трудно даже представить такое отсутствие информации. Но так было. Знали отдельные случаи, каждый свои, кто больше, кто меньше, в зависимости от того, насколько широк был близкий «квадрат», по которому били. Каждый случай пытались как-то осмыслить, еще не особенно обобщая. «Как наивны и далеки от страшной реальности были все наши предположения!» – напишет мама десятилетия спустя. Правда, взглядевшись во время войны в предвоенные годы, папа увидел, что страшных черных автомобилей в Киеве его юности было много. Но что человека могут взять вовсе без всякого повода и уже в процессе «следствия» соорудить любое обвинение – на такое их воображения не хватило.

Сейчас я думаю, что как раз в этом было их спасение – возможность не все время думать об этом, чему-то радоваться, погружаться в мир античности, писать стихи, любить... И они жили как-то отчаянно, захлеб. Почти одновременно в том же «удачно выбранном» году образовались три горячо влюбленные семейные пары – мои родители, Юлик и Рая, Борис и Люся. Три историка женились на трех «филологиях». Вся компания была связана нежной дружбой. Моя мама и Юлик называли друг друга «братиком» и «сестричкой».

«Первый семейный прием у Погребинских. Когда Борис озабоченно спросил Люсю, подходя к накрытому столу: «А по-

чему не серебряные ложки?», мы были «по-комсомольски» шокированы. <...> Забавный знак времени!» В самом деле, столько противоречивого было в них намешано!

«Мы «соревновались» с Раей и Юликом, кто больше публичных лекций прочтет или репетиторством подработает. (Учиться продолжали на дневном.) Лёва в микроконфликте с родителями отстоял нашу «материальную независимость» (они сначала уговаривали подождать с женитьбой до окончания университета, потом – чтобы учились не отвлекаясь, они помогут; Лёва отказался от обоих предложений). И потом долгие годы мы вспоминали, что «зажиточнее» всего жили студентами 4–5 курсов: в шкафу всегда вино, шоколад, и был спекулянт, который подбрасывал модные тряпки – в том числе и «особый» костюм, в котором успешно сдавались все экзамены. Установили сейчас в нашей компании правило – кому больше повезет (попадетя вопрос получше), ведет всех в кондитерскую кормить мороженым. Поить в те годы у нас как-то было не принято, мы и на вечеринках пили немного – нам и без этого бывало весело!»

Весело им в самом деле бывало. Спонтанно возникали артистичные розыгрыши.

«Гриша однажды пошел провожать домой после вечеринки мою подругу Густу Луфер (мы с ней жили напротив друг друга на улице Стрелецкой все годы детства и юности, дружили с дошкольных лет), с которой они только что познакомились. На следующий день Густа прибежала ко мне в восторге: «Какой обаятельный этот ваш ветеринар, какой остроумный, как много знает! Я просто заслушалась, забыла о времени!» («Ваш» – потому что Густа нечасто бывала в нашей «богемной» компании, не всех знала.) «Да о ком ты говоришь?! Какой ветеринар?» – «Как о ком? О Грише, конечно! Он сказал, что кончает ветеринарный факультет!» Мы долго хохотали».

\* \* \*

Гриша – это Григорий Скульский, будущий известный писатель, фронтовик. Он был старше моих родителей, родился в 1932 году, в 1937-м окончил факультет языка и литературы Киевского пединститута, после этого занимался в аспирантуре на философском факультете Киевского университета, писал стихи



Был умен, обаятелен, красив, красноречив, изобретательно остроумен. Молодые компании часто пересекались, мои родители и их друзья были хорошо знакомы с ним.

У Раи и Юлика – первых в их компании и вообще единственных в довоенные годы – родился сын. Мама помнила свое растерянное умиление, когда уже двухлетний Сашенька шел по узкому мостику и декламировал: «Идет бычок, качается...» Рая и тогда, и всю жизнь потом была «сумасшедшая мать» (это чувствуется в ее письмах), но все это – потом, когда Саша уже появился, а пока она была в ожидании – загрустила. Рая очень любила Юлика, но была угнетена наступившей обыденностью и отсутствием бурных страстей. Так, во всяком случае, мама истолковала ее напоминающий безумных героинь Достоевского порыв. Вдруг, ни с того ни с сего, она рассказала мужу о каком-то неведомом ему, достаточно давнем эпизоде из ее прежней жизни, что вызвало его острую ревность и мрачное настроение. В их доме на какое-то время воцарилась давящая атмосфера. Мама тогда часто заходила навестить Раю и сразу почувствовала: что-то не так. Рая в слезах рассказала ей, что произошло, и мама, которой стало обидно за Юлика, резко отругала ее. «Я больше не могла молчать! Почувствовала, что скрывать и недоговаривать нечестно по отношению к Юлику!» – пылко убеждала Рая. – «Ну конечно! – скептически улыбнулась мама. – Два года ты ничего такого не чувствовала, а сейчас вдруг... Скажи честно, что тебе просто скучно стало!» – «Ты не понимаешь... Все гораздо сложнее!» Рая была в своем репертуаре – эти слова она часто произносила по самым разным поводам. А еще она была огорчена естественным изменением внешности. В последний месяц беременности Рая почти не выходила из дома. Мама с юмором вспоминала, как они с Юзиком зашли навестить ее, когда она была уже совсем на сносях. В тот раз они почему-то особенно много шутили и возбужденно смеялись, а Рая была слегка раздосадована и раздражена их веселой свободой и энергичной подвижностью, не доступной ей сейчас. В конце концов она напрямую спросила Юлика: «Теперь, конечно, ты от меня окончательно излечился? – и утвердительно: Я же знаю, на меня теперь смотреть невозможно! Можешь радоваться!» – «Давно излечился! – не моргнув глазом, отреагировал Юзик. – А ты что хотела? Я уже давно за-

был все эти глупости!» Но когда они с мамой вышли от Раи, возбужденное веселье как-то мгновенно схлынуло (оба волновались за нее), и Юзик с печальной улыбкой сказал: «На самом деле я, конечно, ни от чего не излечился. Ты же понимаешь?» Мама понимала. Юзик любил Раю всерьез.

В тот год, когда родители соревновались с Раей и Юликом, кто больше заработает, они еще и копили деньги на свадебное путешествие. Начало записи о нем немного конспективно, но дальше картина разворачивается...

«Отправились летом 38-го года в свадебное путешествие – это был медовый месяц с опозданием на год (для нас важно было самостоятельно собрать деньги на него, зарабатывали без отрыва от учебы публичными лекциями и репетиторством): мы поплыли пароходом вниз по Днепру (маршрут Киев – Херсон – Одесса – Сочи). Много из того путешествия стоит перед глазами... Памятники на кладбище в Херсоне, поразившие нас надписи на них. Наткнулись и на могилу какого-то Железняк (может, и не того, но... вздох – и мы почти хором: «В степи под Херсоном...»). В Каневе на высокой горе над Днепром – могила Тараса Шевченко. Рядом с нашим пароходом – испанский теплоход. Зашли на палубу – все как из сказки или из Грина. Все пропитано воздухом Испании, так волновавшим нас тогда. И капитан – тоже весь из сказки. Он гостеприимно водит нас по теплоходу, показывает и капитанский мостик, и каюты, и музыкальный салон – удивительно красивый, поразивший нас редким сочетанием голубизны и позолоты. Они с Лёвой говорят на английском, и он говорит (Лёва, конечно, переводит мне), что очень рад принимать у себя такую романтическую пару. Он тонко почувствовал наше состояние: когда он подошел и заговорил с нами, Лёва читал мне свои стихи о Малине (с этим местом под Киевом у нас было связано много сокровенного; 2 мая – день, в который он неожиданно приехал туда ко мне, мы негласно отмечали всю жизнь): «Если б я был землею Малина, / По которой ходишь ты, / Я б у тебя позволение вымаливал / Растить для тебя цветы» (И еще: если... если... если...) В ту ночь мы так и не вернулись к себе на пароход и не легли спать. Нельзя, казалось нам, спать рядом с такой красотой, с таким редким великолепием. Утром расстались с капитаном друзьями...

А день и ночь, проведенные в Одессе, – тоже глава из сказки. Никогда до этого никто еще нас так не принимал, как Юра, брат Лизы (жены Олега Герчикова. – Л. К.). И таких квартир мы прежде не видели. В спальне, где нас устроили ночевать, – роскошный гарнитур. Между двумя белоснежными кроватями – столик, и на нем – соки и фрукты самые экзотичные, и дыня, и арбуз, и ягоды. Такого в нашей жизни еще не было, и как радостно было видеть, что Юра и сам наслаждается, купая нас в этом великолепии. Дальше мы поплыли на очень комфортабельном теплоходе. Там был бассейн, где мужчины и женщины купались по расписанию в определенные часы (разные). С этим связан забавный случай. Плавать я не умела (так никогда и не научилась). Не зная, как устроен бассейн, я ступила за полосу, где дно резко пошло вниз, и погрузилась в воду с головой... Раздался оглушительный женский визг. В женскую кучу врезался мужчина в брюках и рубашке... Это был Лёва, который, как оказалось, неотступно курировал мое пребывание в бассейне. С этого момента мы стали центром внимания: где бы (на теплоходе) мы ни появились, за нами раздавалось: «Это тот самый муж, который прыгнул в бассейн!».

Забегая вперед. Много лет спустя Лёва еще больше поразил народ и «прославился» на весь пляж в Остре, когда моя уже очень немолодая мама поскользнулась, выходя из лодки. Это было в двух шагах от берега, там было мелко, но Лёва этого не знал и, не раздумывая, прыгнул в воду. Теперь за ним раздавалось: «Это тот самый зять, который бросился спасать тещу!» <...>

Была на теплоходе одна волнующая встреча – значительная, сложная, очень запомнившаяся... Нашей спутницей оказалась бывшая одноклассница Лёвы – красавица Нина Родзевич, Лёва рассказывал мне о ней раньше, ее прозвали в школе «гордой полячкой». В ней действительно была польская кровь, но прозвище было связано не с этим, а с ее холодной манерой общения, с явной недоступностью. Мы с ней только в последний вечер перед прибытием в Сочи обнаружили, что едем вместе. В школе Лёва «не успел» влюбиться в нее, но тут их потянуло друг к другу. (Сейчас это мне видится сквозь встречу Даши и Телегина на пароходе.) Я почувствовала (с пониманием, похорошему), что им хочется поговорить. Приятно вспомнить,

как тактично я «устала и захотела лечь пораньше», оставив их вдвоем. И она излила душу – рассказала о неудачном браке, о том, что одинока. Лёву очень поразило и надолго запомнилось (он часто вспоминал это), как парадоксально Нина объясняла причины своего одиночества. Ей мешала ее строгая красота, многих отпугивала. Каждый, кто хотел бы к ней подойти, был заранее уверен, что пробиваться к ней пришлось бы через густую толпу поклонников, и именно из-за этого густой толпы не было... Они вспоминали школьную юность, что-то осмыслили по-новому. «Переигрывать» что-либо было поздно, но вечер получился проникновенный.

На берегу мы «подсчитали – прослезились», убедившись, что денег явно не хватит на жизнь в Сочи и на обратный путь, но с Лёвой всегда было как за каменной стеной. Прежде всего он нашел комнату. <...> Потом сказал: «И без денег не пропадем!» – и пошел... в общество по распространению знаний. Договорился о чтении лекций. У нас уже был опыт: в год столетия со дня смерти Пушкина (все тот же 37-й!), очень широко отмечавшийся, мы «на нем» немало заработали, и отзывы Лёва «на всякий случай» взял с собой в путешествие. (И опыт пригодился. Запомнилось, что у старушек в инвалидной артели был повышенный спрос на Некрасова: когда я декламировала из «Русских женщин» – «По-русски меня офицер обругал, / Внизу ожидавший в тревоге, / А сверху мне муж по-французски сказал: / – Увидимся, Маша, в остроге!» или «...Но прежде, чем мужа обнять, / Оковы к губам приложила» – они вытирали слезы). Лекции нас спасли. <...>

Мы плыли по «роскошной» программе: и в ресторане изысканность, и на берегу – праздничные сюрпризы. Долго помнили мы новороссийские груши, брызжущие соком. Правда, прибытие наше в Сочи было не таким праздничным: погода была беспокойной, теплоход не приняли, задержали, и пассажиров переправляли на берег на лодках. Лёву укачало, меня – нет, и все равно он вел, опекал, поддерживал. Составил план знакомства с Сочи, в центре было посещение дендрария. Это одно из самых ярких, самых трогательных впечатлений. Воздух, пропитанный запахом необыкновенных цветов, богатство красок, удивительная широта обзора, а над всем этим – любимый человек, который всю эту гармонию дарит тебе. И я бла-

годарно преклонила колени и запомнила эти минуты на всю (такую огромную) оставшуюся жизнь».

А путь их домой был страшен. «Счастье и горе шли рядом», – так написала мама не на этой – на других страницах, где пыталась в более широком плане осмыслить диалектику жизни своего поколения. Но именно здесь эти слова до жути буквально говорят о происходящем. И еще больше – вот это:

...Нас повело неведомо куда.  
Пред нами расступались, как миражи,  
Построенные чудом города,  
Сама ложилась мята нам под ноги,  
И птицам с нами было по дороге,  
И рыбы поднимались по реке,  
И небо развернулось перед нами...  
Когда судьба по следу шла за нами,  
Как сумасшедший с бритвою в руке.

*Арсений Тарковский*

Здесь, как и маме во время создания этих мемуаров, мне становится невыносимо тяжело – и так же, как ей, хочется притормозить. Мама пишет: «Я нарушаю хронологию и включаю всякую ерунду... потому что пришло время прощаться с Герой, и сразу – комок в горле, дрожит рука и на недели (даже месяцы) откладывается эта тетрадь, и всплывают детали кровотока».

И у меня перехватывает горло, как будто я все это пережила. А ведь меня тогда и на свете не было... Задумываюсь, почему мамин брат стал летчиком? Это не было, как у некоторых мальчишек, мечтой его детства. Он любил математику, любил шахматы. Был очень способен к точным наукам. Отец хотел, чтобы он пошел по этой линии. И когда Гера после седьмого класса пришел на завод, он, может быть, и имел в виду, как многие тогда, года через два поступить в вуз. Но его избрали секретарем комсомольской организации, и был призыв к молодежи – страна нуждается в летчиках! Геру никто не заставлял поступать в авиашколу, формально он мог поступать, куда хотелось. И родители пытались отговорить, но он сказал: «Как же я могу призывать других, если сам не пойду?» Выходит, не мог. «Таковы тогда были души и чувства», – сказано Мариной

Цветаевой про совсем других людей, но почему-то вспомнилось. Мама часто пишет, что такими, как ее брат, были юноши тридцатых годов. Но она, конечно, сама понимала, что не все, далеко не все... В ее брате удивительно сочетались теплая домашность и комсомольский романтизм. Недаром его любимой песней была: «Дан приказ ему на запад, / Ей – в другую сторону, / Уходили комсомольцы / На гражданскую войну». В моем пионерском детстве эту песню часто исполняли по радио, и бабушка всегда плакала...

Он был нежным сыном, писал своей маме ласковые письма, заботливо успокаивал. «...Мой брат Гера, при всей своей вере во многое, что внушалось тогда таким вот чистым честным мальчишечкам... при всей «комсомольской твердости» своей – неизменно нежный и заботливый с мамой и со мной, по-взрослому ответственно думающий о нас. <...> В 1937-м году усилилось напряжение на Дальнем Востоке, куда Гера был направлен после окончания авиашколы. Было это в наш с Лёвой медовый месяц. Я теряю покой и все вспоминаю наш разговор с Герой в прощальную ночь. У него уже было направление в Хабаровск, и он говорил, что летчики долго не живут, и неизвестно, встретимся ли мы скоро и встретимся ли вообще. Он имел в виду не только приближающуюся войну, хотя, конечно, и ее тоже. Чувство вперед смотрящего, место которого на передовой, было – увы! – органично для него. И он внушал мне, что я должна быть готовой к ответственности за родителей. А пока что настойчиво просил меня не отказываться от половины его стипендии, которую он будет мне пересылать. «Не надо!» – энергично шептала я. Разговор шел шепотом, чтобы не разбудить родителей за стенкой. «У меня все есть!» А он: «Ну ты же знаешь, что папа не любит тратить деньги «на ерунду»! Вечная папина присказка действительно была: «Надо помнить о черном дне!» Он сказал маме тогда, что понимает: молодой девушке нужно иметь карманные деньги. И пересылал, как решил.

Гера еще успел жениться, но очень мало успели они с женой побыть вместе – меньше года. Познакомились на заводе. Мама мало написала об этом и рассказывала мало. Мне кажется, что он поразил эту заводскую девушку несовременной заботливостью, нежностью и душевной чистотой. Они очень любили

друг друга, она собиралась ехать к нему в Хабаровск, долго шло оформление – не успела... «Дан приказ ему на запад...»

Но еще не досказано возвращение мамы из свадебного путешествия. В последние дни ее охватила тревога, и она уговорила папу поспешить домой. «Всю дорогу в поезде я не находила себе места, не могла ни есть, ни спать. На вокзале нас встречал папа. Всю недолгую дорогу домой он отбивался от моих настойчивых вопросов о Гере, но вот мы уже приехали, входим в подъезд, поднимаемся по лестнице, звоним в дверь, я слышу шаги мамы, папе уже совсем некуда отступить, и за секунду до того, как открылась дверь, он сказал. Обнявшись с мамой, рыдаем. Тяжелая миссия выпала тогда папе: и мне, и маме пришлось ему сообщать страшную весть. Когда почтальон принес телеграмму о гибели Геры, дверь открыл он, прочел – и несколько дней не решался сказать маме. Молча нес в себе этот ужас, а в это время продолжали приходить письма от Геры, и мама радовалась им. Папа только один раз сказал: «Письма идут слишком долго, поэтому я им не верю». Это рассказывала потом Марья Самойловна, мать Лёвы – она сказала, что ее поразила эта странная фраза. <...> Мама и Миля судорожно собираются в путь, в Хабаровск. Им прислали вызов (без вызова ехать туда было нельзя). Вернувшись, они рассказывали, как их встретили, как любили в полку нашего Геру (как везде – и на заводе, и в авиашколе), как командир полка говорил на похоронах о его мужестве, о том, как он спас самолет, пожертвовав собой: «А ведь жизнь его была дороже самолета». Смотрю сейчас на фотографию, с которой мама не расставалась – она у могильного холма. Мама тогда за несколько дней почти потеряла зрение – уже не могла ни работать, ни читать. А мой повторяющийся сон – это явь: он в перевернутом самолете – в реке, задыхается, – и те двое, которые оказались сверху и уцелели...»

«Сын мой, командир-летчик, погиб над озером Хасан» – из автобиографии моего деда Якова Григорьевича Фрадкина, написанной в 1948 году. С этой гибелью окончательно закончилась мамина юность. В любимой песне ее брата поется: «Ты мне что-нибудь, родная, / На прощанье пожелай! / И родная отвечала: / Я желаю всей душой: / Если смерти, то мгновенной, / Если раны – небольшой...» Не сбылось.

«Позднее, где-то через месяц после возвращения мамы и Мили, я достала из почтового ящика пакет из Хабаровска – наши возвращенные «за отсутствием адресата» письма. И несколько писем Геры. Потом говорили, что я много часов безостановочно рыдала (я этого не помнила), а потом потеряла сознание. И годы спустя меня не утешала мысль, что через два-три года, в большой войне, его бы все равно не стало...»

Еще бы! Такая мысль не может утешить. Было бы еще три года жизни и молодого счастья, родился бы ребенок... Миля очень переживала, что не было ребенка – не успели.

«А Миля долго после смерти Геры не могла встречаться со мной («слишком похожи»). Так недолго прожили они с Герой, а всю жизнь она его помнила. В нее влюблялись, делали предложения (красивая, с чудесной фигурой гимнастки – в комсомольской юности она на демонстрациях парила над толпой – несли на огромном шаре) – она всем отказывала. «После Геры – такого – она не может никого полюбить», – это рассказывала нашей маме ее сестра. <...> Миля вышла замуж и родила сына только после сорока лет – почти 20 лет спустя после гибели Геры. Со мной она впервые захотела повидаться, когда узнала, что у меня родился сын, названный Герой. Захотела увидеть его, племянника своего Геры, когда он подросток. Я уезжала после летнего отпуска в Пермь (из Москвы) с Линой и Герой, и Миля пришла на вокзал... Очень взволновала всех нас эта встреча. Она говорила: «Я всю дорогу себе внушала: не буду плакать! не плакать! И расплакалась, глядя на Герку: похож!»

Незадолго до смерти мама сказала мне: «Уже никто на свете не помнит лица моего Геры. Мне очень хочется, чтобы ты и Герка помнили его. Сбереги ту его большую фотографию, которую так любила бабушка. Пусть его чудесное лицо живет в ваших домах.»

Я с раннего детства помню эту фотографию – она висела над кроватью, где я спала, приезжая на каникулы – в маленькой комнате бабушки и деда в киевской коммунальной квартире. И я сберегла. Она живет в доме «за тремя морями», где я живу сейчас. Я часто смотрю на своего дядю – такого юного... Мне кажется, я бы его очень любила. Потом эта фотография перейдет брату и его детям.

Так много горестного и радостного было пережито родителями в предвоенные годы. И уже так немного оставалось до войны. Но все же они успели с отличием окончить университет (в 1940 году). Мама поступила в аспирантуру, папа ушел в армию.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*В 1940 г. была принята в аспирантуру по кафедре русской литературы. В июле 1941 г. эвакуировалась в г. Актюбинск, где работала старшим преподавателем кафедры литературы Учительского института.*

*В 1940 г., по окончании университета, был призван в Красную Армию. Служил в 705 стрелковом полку в г. Жлобине Белорусской ССР; в составе этого полка начал Отечественную войну на Западном фронте. После перестройки служил в особом мото-пулеметном батальоне (стрелок-пулеметчик).*

Он был призван на год – сам предпочел этот вариант посещению военных занятий в университете. Очень хорошо написала об этом годе Надежда Гашева: «Ему повезло. В его взводе оказались ребята с высшим образованием. Среди них – Марк Максимов, будущий поэт. (Мне запомнилась одна строчка его стихов, написанных к приезду мамы в часть после нескольких месяцев разлуки. Мама очень любила вспоминать ее: «К нашему товарищу приехала жена...» И дальше – как радовался этому весь взвод. – Л. К.) Они читали друг другу лекции – по античности, архитектуре, истории... Читали стихи. Они спешили. Ведь скоро, очень скоро, они чувствовали это, им будет не до античности, не до архитектуры, можно даже сказать – не до истории, если бы им самим не пришлось делать эту историю».

Завтра была война. А пока – романтическая тоска по молодой жене, по любимому городу:

Этот ветер, может быть, до Киева  
Донесет тоску мою, и скоро  
Ринется с высот горы Батыевой,  
Как когда-то варвары, на город.

Забушает на широких улицах,  
Поднимая снежные столбы,  
И тебе, родная, вдруг почудится  
Призрак человеческой судьбы.  
<...>

Будет день, и грозными раскатами  
Век напомнит, что ты слишком стар,  
Как снежинки, разнесутся атомы  
Наших мышц, и мыслей, и мытарств.

Не горюй – пока я брежу Киевом,  
Варварами у мостов Днепра,  
Первомайским садом – это ты его  
Влюбила в наши вечера.

Впрочем, может, я придумал варваров,  
Может быть, и не было Батыя?  
Может быть, всегда в закатном зареве  
Над Днепром висел громадой Киев.

*1940 год, декабрь. Жлобин*

«Не горюй»... Все еще не страшно... Всего полгода осталось до конца службы – оглянуться не успеем, как они пролетят. И тогда, наконец...

О начале войны мама написала очень подробно и хотя не менее эмоционально, чем о предвоенных годах, но как-то более последовательно, без естественной хаотичности воспоминаний. Эта часть ее мемуаров почти не требует комментариев.

«Война коснулась каждого. У каждого свой опыт, своя память. Я много лет писала о литературе войны, сейчас хочу обратиться к собственному опыту, попробовать что-то понять изнутри него. В июне 41-го Лёва оказался в Киеве. <...> У него был острый гайморит, и была намечена рекомендованная операция (чтобы сделать ее, папу отпустили из армии в короткий отпуск. – Л. К.) В воскресенье 22-го июня утром я ехала навестить его.

Помню очень переполненный трамвай, в котором я услышала о начале войны. В больнице все уже знали, и все, кроме тяжелобольных, попросили о срочной выписке. Лёва был уже готов (не в больничной одежде) и только ждал меня. (От операции сразу отказался: «Сейчас не до того!» – Л. К.)

25-го июня я провожала его на фронт. Но до этого был один тяжелый ночной разговор. Мы резко поспорили: Лёва говорил, что очень велика вероятность, что Киев скоро будет взят, и поэтому я с родителями должна уехать как можно скорее, не затягивая. Родители Лёвы Мария Самойловна и Хаим Симхович вскоре после начала войны эвакуировались с Сюней и его заводом (Сюня – старший брат папы Семён Ефимов – Л. К.). В первые дни войны я была искренне возмущена таким его «капитулянтским настроением». Я была тогда еще очень «правовой» комсомолкой, верящей предвоенной пропаганде, даже песенкам типа «И врагу не сунуть рыло / В наш советский огород!» или «Наша поступь тверда, / И врагу никогда / Не гулять по республикам нашим...», а также тому, что война будет вестись на территории противника, и гневно восклицала: «Как ты можешь даже мысль такую допускать, что Киев будет сдан?! Не может этого быть, не будет!» Я тогда даже тревожно задумалась о «пропасти» между нами – такое глубокое расхождение во взглядах! Но Лёва оказался прав (как и во многих других своих прогнозах), и это выяснилось слишком быстро: не прошло и месяца после этого спора, а мы с родителями уже в панике штурмовали пароход, до предела набитый...

Но сначала расскажу о проходах Лёвы на фронт. Мне казалось важным продемонстрировать бодрость – «мы не сдаемся! Жизнь продолжается!» – и потому по пути на вокзал, увидев в витрине хорошую настольную бумагу, которую мы давно искали, обрадовалась и, отстав на минутку от Лёвы и его родителей, провожающих до условленного угла, забежала в писчебумажный магазин. Тогда, видимо, Хаим Симхович и сказал Лёве – тихо, чтобы не услышала Мария Самойловна, – то, о чем он мне рассказал только годы спустя: «Лёвушка, на всякий случай пусть у тебя в кармане всегда будет записка – фамилия, имя и адреса, по которым можно написать...» А я ни о чем подобном не думала – и, догнав их, довольным голосом громко сообщила, что купила эту бумагу. Выражения боли на лице

Лёвы я тогда не заметила, а он с горечью помнил эти минуты долгие годы, уже после войны. И сколько раз потом я казнила себя за это... И даже уже тогда – в то страшное утро, когда долго глядела вслед ушедшему поезду, я начала что-то понимать».

Это горестный эпизод папа не раз вспоминал. Хорошо помню их прощание именно в его рассказе. Папа был тогда потрясен и неожиданными словами своего отца, после которых и сам, может быть, внезапно до конца осознал, КУДА едет, и на этом фоне с особенной болью воспринял легкомыслие своей молодой жены и режущий контраст их настроений. Впрочем, слово «легкомыслие» в его устах почти не звучало – это была бы все же относительно мягкая оценка, а ему было слишком больно. В тот далекий день ему показалось, что мама не дорожит последними минутами прощания, раз способна в такой момент думать о чем-то постороннем. Долгое время я воспринимала то прощание полностью «на папиной волне». Но сейчас вдруг впервые подумала, что и в том горьком эпизоде была своя диалектика. Ведь в недавней мирной жизни они ВМЕСТЕ искали эту хорошую настольную бумагу, мама купила ее для их общего дома, и, может быть, в ее «демонстрацию бодрости» входило и подсознательное желание ободрить уходящего на фронт мужа: все еще будет, наш Дом продолжит свою жизнь! Но если и так – этот «жест» слишком противоречил всей окружающей атмосфере, которую они с папой в тот момент настолько по-разному воспринимали. Он был убежден, что ей с родителями нужно как можно скорее эвакуироваться, мама же верила, что Киев не будет взят, еще можно заботиться о доме, продолжать учебу в аспирантуре, вообще жить прежними заботами. Следующие слова ее подтверждают это настроение.

«Я продолжала «демонстрировать бодрость» – прямо с вокзала поехала сдавать экзамен (и гордилась этим! – «Война не нарушит наших планов!»). У меня шел первый год аспирантуры, и надо было сдавать древнерусскую литературу. Символично, что я тогда с энтузиазмом докладывала доценту Маслову о военной повести XV–XVIII веков (я тогда и подумать не могла, что через много лет после этой – только еще начинавшейся – войны я буду писать о стихах, повестях, романах, ей посвященных, что о ней будут писать еще много лет после ее

окончания!). Все еще только начиналось... В университете полным ходом шла подготовка к эвакуации в Среднюю Азию, но мы с родителями долго (сравнительно долго – время тогда как-то «сжалось» и шло убыстренным темпом) не понимали, что отъезда не избежать. И только когда начались панические слухи, что немцы уже в Голосеевском лесу (совсем близко от Киева), мы бросились на пристань. Вещей взяли немного... потому что верили, что очень скоро вернемся обратно, что это не может быть надолго – немцев отобьют от города, и мы вернемся. Сейчас, с высоты всего пережитого, поражаюсь степени нашей наивности – даже папа, при всем его скептицизме, говорил: «Маруся посторожит, не будем разрушать квартиру, – мы ведь ненадолго, переждем на другой стороне Днепра, пока отобьют – и обратно!» В эту квартиру мы больше никогда не вернулись. Пропало все, что в ней оставалось. У меня не осталось ни одной моей детской фотографии, ни одного письма тех лет. Мама взяла фотографии и несколько писем Геры – то, с чем не расставалась никогда. А детские фотографии Лёвы сохранились благодаря его родителям, взявшим их как самое дорогое».

...Ни одной детской карточки мамы не осталось. Школьные фотографии ее класса и ее самой в подростковом возрасте тоже пропали – и пришли к маме от сумевших что-то сохранить одноклассников только через десятилетия, за давностью ушедшего времени особенно взволновав. Папа считал, что фотографии и письма в любой спешке надо было взять: «Ведь даже из пожара люди стараются вынести самое дорогое!» И грустно говорил: такие вещи зависят от системы ценностей... Но мама и ее родители не думали, что все это может бесследно пропасть, и были очень растеряны.

«И вот – почти безнадежно штурмуем набитый до предела пароход. И каким счастьем было увидеть в этом скопище знакомое лицо! Хаим Критман (двоюродный брат отца Лёвы). Если бы не он, нам вряд ли удалось бы попасть на пароход. Я не была уверена, что он в этих труднейших условиях будет нам помогать – что мы ему? Но он протолкнул нас на палубу, а потом и в каюту, которую «отбил» для своей беременной жены, запустил нас с чемоданами, а сам не уехал на этом пароходе – вернулся на работу, в школу, где был директором. (Не знаю, как ему удалось потом выбраться из Киева. Как-то удалось, слава Богу...) <...>

Мы поплыли в Кременчуг, где у Критманов были родственники, рассчитывая перебиться там недолгое время – и назад. Пароход тронулся, но я еще не понимала, какой путь мы начинали, а когда в том доме в Кременчуге нас приветливо приняли и даже выделили для нас троих отдельную комнату, я как-то успокоилась и ощутила комфорт (после парохода). Папа покорила сердца хозяев, объясняя им (в ответ на их «почтительные» вопросы!), что к чему; я выяснила, где находится библиотека, и отправилась туда. Запомнилось, что первая строчка в первой книге, которую я там открыла, была «Нам нельзя раздельно умирать»... Так прошло дней 10 «мирной жизни» – бомбежки почти каждый день загоняли нас в вырытые ямы. Привыкли... Но однажды выстрелы послышались совсем близко, проехала колонна мотоциклов, мальчишки на улице закричали: «Немецкий десант высадился!», а нам крикнули: «Прячьтесь куда-нибудь, они евреев расстреливают!» Мы вскочили, и мой первый рефлекс был выброситься из окна, но дом-то был двухэтажный, и я стала командовать: завернуть в одеяло наиболее ценные и необходимые вещи. Мы сделали три свертка и выбежали с ними – до вокзала недалеко. Но навстречу нам бежали и кричали люди: «Вокзал горит!» Мы остановились в растерянности. И тут какой-то мальчишка лет двенадцати закричал нам: «Идите дальше! Там, за вокзалом, есть еще пути!» Бежим. Оказалось – пригородные пути, по которым ездят «летние», дачные вагоны. Но там стоял поезд дальнего следования, и мы успели. А мальчишка взял у мамы ее сверток (она задыхалась от бега и хотела бросить, мы с папой договаривали не бросать – там зимнее пальто!) и изо всех сил бежал за нами. И забросил его в вагон, и бежал за поездом, махал нам рукой. Если бы не он, мы бы не спаслись.

Запомнилось, какая близость всех нас – чудом спасшихся – возникла в том вагоне. Ехали как одна семья. Чайник оказался только у кого-то одного – его пускали по кругу, и все пили. Когда раздавался шум самолета, все прижимались друг к другу и закрывали глаза детям (не только своим). Когда мы добрались до Харькова, там не было Олега и той части, с которой он должен был там быть (как выяснилось из его уже послевоенных рассказов, им сразу же по приезде вручили другую бумагу, предписывающую отправляться в Актюбинск). А завод Сюни,

в конце концов, обосновавшийся на годы войны в Казани, тогда два раза отправляли – сначала из Киева в Харьков, потом из Харькова не помню куда, потом вдруг снова в Харьков. Так Сюня с родителями и колесили по стране несколько недель, так «воевали» в начале войны...»

Мысленно обращаясь в те месяцы к будущему историку, мой отец, тяжело раненый, писал:

Если ты хочешь быть честным и точным,  
Наши архивы тебе не нужны.  
Я предлагаю отличный источник –  
Первые письма моей жены.

...Сколько десятилетий должно было минуть, сколько эпох в жизни страны смениться, чтобы в простые письма давних лет действительно вчитывались как в бесценные, ни с чем не сравнимые исторические свидетельства! И как жаль мне сейчас, что письма, о которых говорится в этих стихах, не сохранились.

«Когда мы приехали в Актюбинск (как мы добирались туда – отдельная история), оказалось, что Олега и там уже нет – их часть перевели в Алма-Ату. Мама очень хотела быть в одном месте с Олегом и его семьей, очень надеялась на это, но тут она вдруг категорически заявила, что больше никуда не поедет, с места не сдвинется – а местом этим была привокзальная площадь, где мы сидели в усталости и растерянности. Папа пытался ее переубедить – он считал, что надо доехать до Алма-Аты, где был Олег, или во всяком случае поближе к тем местам (в Среднюю Азию). Ведь мы остались без зимних вещей и почти без денег, а там хотя бы теплее (зимы в Актюбинске нам еще предстояло узнать...), да и дешевле, и знакомые есть, и Киевский университет, наверное, уже в Алма-Ате. Но мама не поддавалась – после длительного путешествия в полутемном вагоне у нее (с ее ослабленным зрением) возникла клаустрофобия, очень мучившая. Долгий горячий спор между родителями шел возле вокзала, а пока что нам негде было ночевать, а к вечеру сильно похолодало. Нам повезло: на нашу троицу обратил внимание дежурный по вокзалу, он нам очень помог – привел в Дом колхозника и договорился, чтобы нас пустили

ночевать. Не забыть, с каким искренним сочувствием он смотрел на маму... Обещал прийти на другой день, чтобы чем-то помочь – хотя бы договориться с начальством Дома колхозника оставить нас там еще на несколько дней, если не найдем ничего другого.

Через несколько дней мы вынуждены были оттуда уйти, так ничего и не найдя и не решив. Шли по улице с чемоданом (купленным здесь на рынке – наши киевские чемоданы были брошены в Кременчуге) и со свертком с постельным бельем. Мама и папа продолжали спорить: папа еще больше укрепился в убеждении, что необходимо ехать дальше, мама – что надо остаться. Встреча с дежурным по вокзалу укрепила ее в убеждении, что свет не без добрых людей. И тут мой взгляд упал на надпись – Актюбинский учительский институт, и я вдруг сказала: «Вы здесь подождите, а я пойду устраиваться на работу!»

Оставив родителей сидеть на чемоданах (в буквальном смысле слова!), я храбро отправилась к приличного вида зданию, выделяющемуся на этой улице. Переодевшись в подворотне в единственный приличный наряд (с экзотическим названием «труакар»), надев хорошие туфли (тоже единственные), вхожу в кабинет ректора, представляюсь и прошу о работе. Слышу в ответ: «У нас нет вакантных ставок» – и удаляюсь. В коридоре ко мне подошел человек в гимнастерке с рукой в гипсе (раненый на фронте): «Что у вас случилось? Что вы здесь делаете?» – Объясняю. – «Вы комсомолка?» – «Да». – «А с кем вы здесь?» – «С родителями». – «А муж у вас есть?» – «На фронте». – «А справка об аспирантуре у вас есть?» – Показываю. – «А стаж?» – «Вела занятия на 1-м курсе (в 1-й год аспирантуры) и по языку в школе для взрослых». – «Дайте ваши документы! Мы вас зачислим, если вы завтра же выедете со студентами в колхоз». – «Я готова, но не могу же я оставить родителей на улице». – «Сейчас созвонюсь!» И после короткого разговора: «Вот вам адрес – улица Амангельды, 20 (врезалось в память!). Отведите их, устройте, а завтра к восьми утра – в институт». Так все и решилось.

Несколько недель в колхозе на хлопке запомнились жуткой жарой, духотой, постоянной усталостью, но и светлое было – дружелюбные и доверительные отношения со студентками сложились. Одни тосковали по женихам, другие кокетничали



с военными (из выздоравливающих, которые тоже были посланы на хлопок). Запомнилось, как мы увидели, как готовят еду (обеда в столовой) – месили ногами тесто для лапши, и мы с девушками решили готовить для себя сами. Постепенно, казалось, привыкала к знойным дням и холодным ночам.

В страшный день 22-го сентября я услышала в сводке по радио, что Киев пал. Мне очень сочувствовали (я одна здесь была киевлянкой), а я не могла заснуть, ходила по ночной степи и прощалась с Киевом. И убеждалась (уже не в первый раз), насколько Лёва прозорливее меня. О нем я давно ничего не знала, казалось, что кончено все – и Киев, и... (Не в эти ли жуткие дни Лёва написал пронзительное: «По городу юности нашей / Немецкий полковник идет»?) Жить не хотелось. Только жалость к родителям еще держала. Но что-то во мне надорвалось, и через несколько дней я грохнулась без чувств – на поле, в разгар трудового дня. Солнечный удар».

...Годы спустя я расспрашивала многих киевлян, как они вдали от родного города пережили это жуткое известие, и многие говорили, что даже на фоне тяжелых событий, пережитых ими после войны, это был самый страшный день их жизни.

Куда мы придем? Но не будем  
О новых страданиях гадать.  
Сегодня растерзаны люди,  
Селения и города.

Сегодня слезами полита,  
Как ливнем, большая земля  
И черная тень Мессершмита  
Ложится на наши поля.

И груб, беспощаден и страшен,  
Как зверь неизвестных широт,  
По городу юности нашей  
Немецкий полковник идет.

Так написал мой отец ровно через месяц после этого дня – 22 октября 1941 года. В это время они с мамой еще ничего не знали друг о друге. И о солнечном ударе, и обо всем, что было дальше, мама рассказала ему потом.

«Меня от греха подальше отправляют в город (обратно в Актюбинск, в институт). Надолго запомнилось короткое путешествие на вокзал на верблюде (лошадей не было, машин тем более). В поезде мест не было. Я пристроилась на площадке (тамбуре?) между двумя вагонами. Ветерок приятно обдувал, это казалось спасением от жары, и мне по неопытности показалось, что это лучше, чем в душном вагоне, что мне чуть ли не повезло. Но надвигалась ночь, а я была в легком летнем платье. Потом я узнала, как опасны здесь ночные холода – люди на этих площадках замерзали насмерть. Я бы тоже замерзла, но снова спасла доброта незнакомых: сперва подошла проводница и объяснила, что здесь происходит, какой мороз будет ночью. А у меня уже и вечером зуб на зуб не попадал от холода. Мой сосед по площадке (он вскочил после меня и сильно меня напугал, я сжалась в своем уголке, и молчание казалось мне напряженным) был одет гораздо теплее меня и держал в руках узел с одеялом. Проводница сказала, чтобы он поделился со мной одеялом, пока не нужным ему. Он не хотел, но она настояла и быстро закутала мне ноги. Подошли трое мужчин в железнодорожной форме – проводники. Сначала я испугалась: сейчас ссадят как безбилетницу – и это еще в лучшем случае, если только ссадят! Но они сказали совсем не то, чего я в страхе ожидала: «Здесь вы замерзнете, мы вас можем взять в свое купе и довезти до Актюбинска, только... – тут я испугалась другого! – только мы иногда грубо выражаемся, когда играем в домино, в общем, ругаемся... Вы не испугаетесь?» – У-ф-ф! – «Не испугаюсь! Возьмите, пожалуйста! Да и вообще... я плохо слышу!» (болтала «на радостях» сама не знаю что). Взяли. И напоили горячим чаем, обогрели. «А спать будете в другом купе – с проводницей». Запомнились ее страшные рассказы о том, как снимали они замерзших насмерть с крыш вагонов и с площадок – люди не знали о такой опасности, очень уж жаркие здесь были дни и вечера. Запомнился удививший меня вопрос: «Вы из Польши?» – «Нет, из Киева». Перед самым прибытием в Актюбинск по вагону прошел старший проводник (или бригадир поезда) и сказал, что ночью умер (замерз) тот ругатель, который не хотел поделиться одеялом и не поверил им, когда его тоже звали в вагон – видимо, подумал, что заманивают, чтобы или отобрать что-то, или вызвать милицию, –

яростно матерился и никуда не ушел с площадки. А я им почему-то сразу поверила... С какой горячей благодарностью я с ними прощалась! – «Будете в Актюбинске – обязательно заходите! Запишите адрес: «Амангельды, 20». И они зашли однажды – меня, к сожалению, не было дома, но мама приняла их очень по-родственному. Накормила обедом, что было тогда непросто – они знали это и смущенно отказывались, но мама настояла: «Вы же моей дочке жизнь спасли!».

Вскоре пришло известие от Лёвы. Примчалась я тогда домой, а навстречу мама в слезах: «Лёвушка жив! Пришла открытка от Симона».

Мамин дядя Симон (брат бабушки Ривы) не захотел эвакуироваться и остался в своей московской квартире. Этот адрес был известен всем его родным и друзьям, вынужденно покинувшим свои дома и разбросанным по самым дальним углам страны: Москва, Палиха, 2 «А», кв. 16. Это звучало, как волнующие позывные – последняя связь с прежней довоенной жизнью, последняя надежда найти друг друга. Все сообщали дяде Симону о своих передвижениях и новых адресах, и он еще и поэтому считал своим долгом не двигаться с места. Жена его умерла, когда война уже шла к концу. Дядя Симон ждал сыновей. И не дождался.

Оба его сына – те самые братья Герчиковы (Зоря и Алик), о которых мама впервые с юмором упоминает, вспоминая о раннем детстве и переезде из Гомеля в Киев, – всю войну были на фронте. Зоря к началу войны стал бы летчиком, если бы его не исключили из авиашколы после ареста дяди Мити. Помню рассказ папы о том, что в сорок первом году Зоря воевал под Москвой, и ему иногда удавалось прибегать домой, что-то принести родителям. Папа говорил, что это, наверное, было какое-то особое чувство... Известные тогда всем фронтовикам строки Константина Симонова – «Если дорог тебе твой дом...» – для Зори звучали волнующе буквально: он воевал, чтобы не пустить немцев в свою Москву, защищал свой дом на Палихе, своих родителей. Алик был призван сразу после школы – то самое поколение, что уходило на фронт после выпускных вечеров и так многие из которого не вернулись. И Зоря, и Алик встретили День Победы очень далеко от Москвы (в разных местах) – и вернулись в свой дом. Но родителей уже не

было. Симон умер за несколько месяцев до окончания войны. Он был еще не старым человеком. Но надорвался. Скольким людям, могущим бесследно потерять друг друга, он успел помочь...

Вернусь к рассказу мамы.

«Открытка Симона пришла раньше, чем письмо от Лёвы. В ней было сказано, что Лёва в госпитале в Сталинграде. Ревем. (Мы слышали – боясь думать, боясь даже друг с другом об этом говорить – что весь их полк, который был очень близко от границы, погиб. Так и было, но Лёва, как мы узнали потом, не успел догнать свой полк – он служил в Жлобине до начала войны, хотел проехать из Киева туда, к своим однополчанам, но было поздно. Пришлось примкнуть к другому полку, с которым они потом, разбившись на маленькие группы, выходили из окружения.) Гадаем, какое ранение – руки? Ноги? Глаза? Потом вдруг опоминаемся: какое бы ни было ранение, главное – жив! Как мы ждали письма от Лёвы!.. Оно пришло через несколько недель: когда выпишут – приедет!

Ждала я напряженно, но угадать день приезда было невозможно – поезда шли не по расписанию, иногда несколько дней не было ни одного... В тот день я была в институте, за мной прибежала хозяйская дочка (из той квартиры, где нас поселили – хозяйка произносила вместо «эвакуированные» – «выковыренные» – гениальное искажение слова!) – прибежала, открыла дверь аудитории и закричала: «К вам муж приехал! С фронта!» Я помчалась, бегу через гору изо всех сил, задыхаюсь – и девчонка бежит за мной в том же темпе, ни на шаг не отставая. Спрашиваю: «А ты-то чего так мчишься?» – «Хочу увидеть, как вы встретитесь, как целоваться будете!» Добежали, врываюсь в дом: Лёва опирается на костыли, но стоит на ногах. Мама изо всех сил усаживает его, но для него было очень важно встретить меня на ногах. Заросший (не стриженный), изможденный, в поношенной пилотке набекрень, без сапог – их стянули, как и часы, в обмотках, в прохудившихся ботинках, с костылями, к которым почему-то были привязаны больничные тапочки, но – на ногах!

На следующий день, когда мы с ним шли в военкомат (он должен был встать на учет), какая-то женщина обогнала нас, оглянулась и прошипела: «Чем так – на костылях – прийти,

лучше бы не приходил!» Я чуть не запустила в нее тяжелым камнем...»

Этот момент мама часто вспоминала и рассказывала именно такими словами – «чуть не запустила камнем!» И чувствовалось, что вспоминать это ей так же больно и такое же возмущение ее охватывает, как в тот далекий день...

«Наговориться не можем, насыщен каждый час. Очень взволновал рассказ Лёвы о неожиданной встрече в Сталинграде: он послал в газету свои стихи (чтобы заработать денег на дорогу) – «Марш № (не помню какой) дивизии» – напечатали в газете. Сосед Лёвы по палате, проходя мимо по коридору, услышал, как какая-то молодая женщина, называя имя Лёвы, настойчиво просила дежурную сестру пропустить ее к нему, и закричал, распахнув дверь: «К тебе жена приехала!». Лёва вскочил – и в палату вбежала... зареванная Райка! Оба ревут, обнявшись. Она с маленьким Сашкой оказалась в эвакуации в Сталинграде. Случайно увидела в газете эти стихи с подписью «Рядовой Л. Кертман» и прибежала в редакцию: «Где этот автор?!» И помчалась в госпиталь. Потрясающая встреча! (Позднее мы с Раей вместе оказались в Казани и были рядом уже до конца эвакуации.)

Но вообще, надо сказать, что такие неожиданные – и не менее потрясающие! – встречи случались во время войны гораздо чаще, чем можно было бы предположить. В литературе о войне такое почти всегда кажется искусственным, придуманным авторами «в художественных целях». Но жизнь порой сильнее любой литературы... Так встретились мои одноклассники по 45-й киевской школе Юра Перлин и Даля Кунявский. После ареста отца и высылки с матерью из Киева Юра Перлин многое пережил, жизнь его много раз резко менялась...»

О подробностях этих перемен, отвечая на мои многочисленные вопросы, мне написал Евгений Перлин: «В 1939 году (в период короткого послабления) моему отцу было разрешено вернуться в Киев и продолжить учебу. После начала войны студенты старших курсов Киевского университета доучивались по ускоренной программе в Саратовском университете, так что фактически папа проучился лишь 4 курса (с двухлетним перерывом). После окончания университета он еще некоторое время работал учителем физики в Энгельсе, откуда и пошел в армию в 1942-м. Он был зачислен в училище, гото-

вившее офицеров связи. Но в конце 1943-го училище внезапно расформировали, а курсанты были направлены рядовыми связистами в действующую армию. Папа, естественно, выделялся блестящим знанием матчасти фронтовых радиостанций, его назначили на курсы обучать новичков где-то под Москвой. Через какое-то время его с другими связистами посадили в крытые грузовики и отправили, как они думали, на фронт. Однако в результате они оказались во дворе польского представительства в Москве. Папа был назначен командиром передатчика мощной фронтовой радиостанции, базирующейся на трех «студебекерах». Радиостанция была прикомандирована к польскому представительству, а весь персонал был одет в польскую военную форму. Воевал он под Москвой и осенью 1941-го года был послан туда в командировку. Ночная бомбежка загнала его на станцию метро».

Дальше Женя рассказывает о той самой «исторической встрече» в метро». Эту историю мама не раз слышала после войны, и я тоже хорошо знала ее с детства: сначала от мамы, а позже и от самого дяди Юры. Он почти не спал несколько суток, и в тот день глаза слипались, и голова с плеч валилась от усталости, но вздремнуть в уголке никак не получалось – приходилось то и дело вскакивать и уступать место то женщине с ребенком, то старику или старушке, то инвалиду. («Проклятое воспитание! И зачем родители вбили мне в голову все эти правила?!») Только перейдет на другое место – и опять... Наконец этот «контингент» исчерпался, Юра настроился хоть немного расслабиться, и тут с досадой видит – в конце зала большой станции метро появляется высокий, эффектный майор. Неужели ему, рядовому, снова придется уступать место?! Душа запротестовала, началась в ней борьба – очень не хотелось, но и страшно было. Можно на такого майора нарваться, что долго каяться будешь... В разгар этих колебаний майор приближается, Юра узнает одноклассника и кричит: «Товарищ майор, я вам место уступать не буду!». Далька (Гидалий Кунявский) обернулся «в гневе» на начальника рядового и... всплеснул руками: «Юрка, это ты?!»

Этот сюжет живой жизни так впечатлил меня, что уже во взрослые свои годы с неизменным успехом рассказывала эту историю на своих занятиях по «Войне и миру» (и в школе, и на рабфаке). Опровергая, что в «Войне и мире» слишком уж много

совпадений: и случайная встреча князя Андрея и Пьера в вечер перед Бородинской битвой, и карета с раненым Андреем в одном обозе с уходящими из Москвы Ростовыми, и раненые Анатолий Курагин и Андрей Болконский на соседних операционных столах... Иногда такое начинает казаться искусственной художественной условностью. Но о подобных встречах я слышала от родителей и их друзей, о них писала мама в своих мемуарах.

«У нас с родителями тоже была неожиданная встреча с киевлянами в Полтаве (как у Лёвы с Раей в Сталинграде). Мы в растерянности сидели на привокзальной площади в Полтаве (нас всех садили, потому что машинист решил попытаться снова прорваться обратно в Кременчуг, чтобы вывезти оставшихся там на перроне стариков, женщин и детей). Мы не сразу решились пробиваться на другой поезд и ехать дальше, и вдруг проходящий мимо пожилой мужчина останавливается: «Сарра! Откуда вы и куда?» – и со слезами обнимается с моими родителями, они были большими друзьями. Глауберзон – известный в Киеве детский врач. (После войны он не раз лечил мою дочку, родившуюся в 1944-м.) «Где остановились?» – «Да вот негде! Придется ночевать на площади». – «Пойдемте к нам! Попробуем уговорить хозяйку, которая нас пустила. Может, пустит и вас ненадолго». Хозяйка не возражала, но была удивлена: «Но ведь в комнате занято все, до последнего стула». И тут Тамара (дочка Глауберзона – неловко, что я вдруг забыла его имя-отчество! – тогда только что кончившая школу) говорит: «А мы устроимся все на одной постели!» Так и легли – шесть человек – Глауберзон с женой и дочкой – и нас трое! Легли все поперек кровати, по три головы на одной подушке. И спали крепко! Утром поблагодарили хозяйку, заплатили что-то за ночлег и ушли, хотя Глауберзоны – особенно Тамара! – уговаривали оставаться еще, пока как-то не определимся. Но нельзя было злоупотреблять их гостеприимством и рисковать их жильем (вдруг хозяйка отказала бы им!). Мы не знали, что скоро им придется и отсюда бежать дальше... И мы вернулись на «свою» (вокзальную) площадь и вскоре уехали. Лёва слушал этот рассказ с волнением: как разбросало наших киевлян...»

Уехать из Полтавы удалось сравнительно легко (мама с родителями еще держала путь в Харьков, не зная, что Олега там

давно нет). При посадке им удалось, по словам мамы, «зацепиться» за пожалевших молодых солдат, которые помогли вытащить родителей через окно. Гораздо труднее оказалось сесть на поезд в Харькове.

«Давка возле касс была невообразимая, ни о каком соблюдении очереди и речи быть не могло. А мне нужно было раздобыть не один, а три билета, да и с ними не было бы никакой гарантии попасть в поезд, тем более с родителями – битва у дверей вагонов шла страшная. Положение было почти безнадежным, но я все же пыталась пробиться поближе к кассе. Меня отпихивали, а я снова бросалась на штурм. <...> Ничего не вышло, и в конце концов я бросилась штурмовать вагоны – с тем же результатом. Когда я проводила так два поезда, лейтенант, – более успешно, чем я, штурмовавший тамбур, – перед этим довольно долго, видимо, наблюдавший за моими действиями, вдруг спросил: «Ну и долго еще вы собираетесь заниматься таким спортом?!» – «А что делать?» – «Вижу... У вас, видно, нет практики, и помощников нет?» – «Увы... Зато есть родители, которых надо вывезти». – «Давайте-ка ваши документы, попробую помочь». И помог. Договорился с двумя красноармейцами и, когда подошел поезд, быстро ворвался в вагон, открыл окно и по очереди принял на руки нас троих – я подтянулась сама, родителей подсаживали те красноармейцы. Проводникам он сказал, что мы его семья, и они не стали мешать лейтенанту посадить «семью», и документы проверять не стали... В долгой дороге мы с ним о многом переговорили: я рассказала, что муж на фронте, а мы с родителями вот мечемся; он – о своей семье (показал фотографию жены с маленьким сыном), о том, что ему скоро снова на фронт... Был очень сдержан, даже застенчив, а до этого, на вокзале, в экстремальной ситуации, решителен и уверен в себе. Прощаясь на вокзале в Актюбинске – ему надо было срочно отметиться в военкомате, мы договорились встретиться вечером на привокзальной площади. Он хотел узнать, как мы устроимся, и, может быть, помочь найти жилье, если ничего не найдем до этого; я – узнать, как его дела, что ему скажут в военкомате, скоро ли на фронт. Мама – «мать всех скорбящих» – говорила, что в благодарность за все, что он для нас сделал, мы должны проводить его на фронт, чтобы ему было не так одиноко. Нам

тогда помог начальник вокзала, устроив на время в Доме Колхозника. Вечером я приходила на условленное место и долго ждала – он не пришел. Больше я его никогда не видела. Скорее всего, его отправили сразу.

Лёва слушал и все понимал – даже то, что осталось тогда в глубоком подтексте. Я тоже в его рассказах всегда понимала такое. <...> В Актюбинске Лёва пробыл недолго, но и за эти короткие недели успело случиться немало волнующего. Нас предупреждали об опасностях местных буранов: сын хозяйки «так и пропал». По ее словам, пошел к колодцу за водой... и не вернулся. Закружил буран, он заблудился, и его нашли замерзшего совсем недалеко от дома. Я не раз напоминала Лёве об этом, всячески предостерегая, а сама так каждый раз торопилась домой – к нему, что забывала об опасностях. И однажды помчалась через гору домой, не замечая, как резко стала меняться погода, и попала в самый эпицентр начавшегося бурана. Внезапно – густая темнота, страшный, с ног сбивающий порыв ветра, – шатает, ничего не вижу, холод обжигающий. Совсем не знала, где иду, думала, что еще нахожусь на горе, и вдруг в кромешной тьме совсем рядом, в шаге от меня – свет и запахнутая дверь... нашего дома! И на пороге – Лёва, рвущийся – на костылях! – идти искать меня, и мама, отчаянно вцепившаяся в него и не пускающая. Как вовремя я появилась! Какое-то чудо спасло тогда нас обоих. Страшно подумать, что было бы, если бы Лёва вырвался на улицу! Годы спустя, читая своим детям пушкинские описания метели (в «Метели» и особенно в «Капитанской дочке»), я всегда вспоминала тот буран.

<...> Я рассказывала обо всех наших приключениях: Кременчуг, бегство оттуда, мальчик на вокзале, Харьков, Актюбинск, колхоз под Актюбинском, обморок на поле, поездка на верблюде, проводники, спасшие меня от смерти от обморожения. <...> Лёва тоже много рассказывал».

*В конце августа 1941 г. был ранен и контужен и эвакуирован в Сталинград, затем – в Астрахань, а в декабре 1941 г. был уволен из армии по ранению. Решением ВТЭК был признан инвалидом 2-й группы. Впоследствии мне была дана 3-я группа инвалидности, а затем работоспособность полностью восстановлена.*

«Больше всего потряс меня его рассказ о самом страшном из всего пережитого им за войну. Их госпиталь эвакуировали из Сталинграда в Астрахань, откуда он и приехал к нам в Актюбинск, когда немцы были уже совсем близко от города. Их отправили вниз по Волге пароходом, носилки с тяжелоранеными (не ходячими) поставили на палубе, и прямо над ними – очень низко – летали немецкие самолеты. Бомбили. В их пароход не попали, но это состояние беспомощности, когда нет возможности хоть что-то сделать, Лёва с ужасом вспоминал всю жизнь. И говорил, что в боях (даже в первом его бою) так страшно не было. Да, еще в рукопашном! – Лёва испытал это один раз в жизни, и стихи Юлии Друниной поразили его совпадением с остро запомнившимся собственным ощущением: «Я только раз видела рукопашный, / Раз – наяву, и много раз во сне. / Кто говорит, что на войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне...»

Эти папины рассказы, особенно о рукопашном бое, я хорошо помню. Он говорил: там все так хаотично мелькает, что ничего не понятно – где свои, где чужие, кто тебя бьет, кого ты... Он, конечно, рассказывал маме тогда в Актюбинске еще многое, но в ее мемуарах этого нет. Мне очень запомнился один колоритный эпизод о выходе из окружения (кстати, им повезло, что нашелся храбрый лейтенант, взявший на себя командование и ответственность). Все они обросли и очень хотели постричься, и вот на привале молоденький солдатик, простой деревенский парубок, взялся за это дело (не помню, почему он хорошо владел ремеслом парикмахера). Он охотно постриг молодых парнишек, своих ровесников, во всем понятных ему новобранцев (многие были из деревень). Папа же вызвал недоверие – он был старше большинства. Кроме того, насколько я понимаю, в той группе не было интеллигентов. Парень заподозрил, что перед ним офицер, спрятавший документы и скрывающий свое звание – потому, мол, и постричься хочет (офицерам разрешалось не стричься так, как солдатам). Возмутился и отказался стричь. (На самом деле папа за всю жизнь не поднялся выше звания ефрейтора, что годы спустя стало предметом дружеских шуток моих друзей.) Разубедить того парня было невозможно, пока у взбешенного папы не вырвался «убойный», но еще неожиданный в те годы аргумент: «Да я еврей! Если попадем к немцам,

мне уж точно будет все равно!» Папе запомнилось выражение какого-то растерянного и смущенного удивления на лице того украинского парнишки. Он явно никогда «не мыслил в этом направлении» и мало что знал об этом. Но сразу постриг.

И другой сюжет. Правда, для рассказа о нем придется сначала забежать на много лет вперед. «Жлобин» – это слово из официальной биографии отца было знакомо мне с самого раннего детства. И моему брату – с его детства – тоже. Мы знали, что там началась папина война. Но, как оказалось много лет спустя, знали далеко не все. Потрясающее воспоминание уже моего брата: после его окончания школы они с папой отправились в давно задуманное путешествие по местам тех боев и совсем неожиданно увидели в Жлобине памятник с удивительной надписью: «Воинам-освободителям 1941 года». Такая надпись (с такой датой!) была, наверное, единственной на всю страну. Папа долго смотрел на памятник, не веря глазам своим. Он был одним из тех освободителей. Уже отступив на восточный берег Днепра и взорвав за собой мост, они получили приказ вернуться и выбить немцев из Жлобина. С трудом вернулись и освободили город... на пять дней. Дольше удерживать его не было никакой возможности, но даже это их короткое возвращение было чудом. Памятник был поставлен на собранные средства – по инициативе тех евреев, которые успели уйти. Те пять дней спасли их от неминуемой гибели. Город освободили только через два года, но многих людей – еще тогда.

Отец был представлен к ордену Красной Звезды с необычной формулировкой: «За спасение командира». Их командир очутился на нейтральной полосе между нашими и немцами – не смог выбраться, когда началась жуткая стрельба. Потом наступило долгое и непонятное мучительное затишье, и отец поднял бойцов в атаку. «Просто нервы не выдержали!» – говорил он, посмеиваясь, годы спустя. Командира отбили, но до получения награды дело не дошло: вскоре папа был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Только в шестьдесят шестом году в пермском военкомате вдруг отыскалось то давнее представление, но вручили почему-то не орден Красной Звезды, а орден Отечественной войны 2-й степени. Папа шутил, что и орден этот, и медаль он получил «за то, что медленно отступал». Участвовать в наступательных боях ему не довелось.

Еще мне запомнился один папин взволнованный рассказ, полный удивления себе тогдашнему. Когда он, раненый, ненадолго вышел из глубокого забытья и увидел, что над ним склонилась санитарка (не помню, на поле боя или уже в медсанбате это было), у него вдруг вырвалось: «Сестрица... водицы испить!» Почему-то именно так! «Откуда вдруг выплыло такое?! Никогда в жизни я так не говорил!»

Война на многое открыла глаза, и в своих долгих госпиталях папа о многом думал, многое переоценил. («Словно смотришь в бинокль перевернутый...») Он горько вспоминал слова Макса, кузена Раи Кун, который сказал ему на веселой молодой прогулке: «Ты не понимаешь, как скоро многих из них не станет...». Папа не знал, что за несколько дней до начала войны – в июне 1941 года – Борис Слуцкий написал страшные строки:

Мы есть переходный период,  
и следует знать свой шесток.  
Он выше шестков предыдущих,  
но, в общем, не слишком высок.

Определяющий фактор,  
как он представляется мне:  
Две трети из нас погибнут  
в грядущей большой войне.

Две трети из нас погибнут  
в начавшейся войне.  
Вы поняли, вы запомнили,  
а то я могу ясней!

Из трех сидящих в комнате  
двоих убьют на войне...

«Из трех сидящих в комнате...» Так и случилось. Двоих самых близких друзей моего отца убили на войне. Ближе них уже никогда никого не было. Папа еще не знал об этом. «Ты помнишь ночи в комнате моей?» – спрашивает он в обращении к другу, напоминая ему «студенческие споры трех друзей». Я уже цитировала отрывок из этих обращенных к Юлику стихов, но здесь мне кажется важным привести их целиком.

Ю. Новаку

Забудь на миг, что завтра снова в бой,  
Что спутались названия и даты,  
Мой старый друг! Я говорю с тобой,  
Как на Мариинской улице когда-то.

Ты помнишь ночи в комнате моей,  
Античный мир тогда почти нам снился –  
Студенческие споры трех друзей  
И мрачные гипотезы Бориса...

Какая боль! Мой друг, какая боль!  
Пойми, что время нас берет измором,  
Что старость наступает исподволь,  
А наша юность кончилась позором.

Плохой финал! Мы потеряли сны,  
Улыбки, песни, принципы, идеи...  
На кой же черт теперь мы все нужны?  
На что же я еще теперь надеюсь?

Но где же те великие слова,  
Которым, мнилось, не было износу?  
...Настанет день, поникнет голова,  
И к юности пойдем мы, как в Каноссу.

Склоним колени, поглядим с тоской  
На прошлое, споем из сил последних.  
Настанет день...Ты будешь ли со мной,  
Мой старый друг и умный собеседник?

Под этими стихами стоит дата – 17 октября 41-го года. Обозначено и место – Астрахань. Значит, госпиталь. Почти все свои стихи военного времени отец написал там. Его «старый друг и умный собеседник» никогда не прочел обращенные к нему стихи – он пропал без вести в первые дни войны. В октябре еще были надежды, извещение Рая получила гораздо позже...

В том октябре моему отцу было 24 года. Что думали и чувствовали защищающие страну фронтовики, как относились ко всему до этого в ней происходящему?.. Конечно, далеко не все подвергали сомнению идеи, на которых выросли, и тем более

не у всех было такое пронизательное и трагическое восприятие истории страны, как в этих стихах. И споры неизбежно верящих с сомневающимися или прозревшими были еще далеко впереди. Для тех, кто вернется живым. А пока было одно – объединяющее:

Сегодня слезами полита,  
Как ливнем, большая земля,  
И черная тень Мессершмита  
Ложится на наши поля.

<...>

Так в бой! Без проклятий и споров!  
Расплатимся блеском штыка  
За все, чем гордился наш город,  
Чем юность дышала века...

*22-24 октября. 1941 года*

Но споры все же начались уже тогда, и их отголоски слышатся в других, очень выстраданных, стихах папы.

#### БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ

Почему вы плачете?  
Выдумали сказку!  
Я вас в плагиате  
тотчас уличу!  
Музой романтизма  
кто из вас обласкан?  
Песни Ламартина  
вам – не по плечу.

Думаете, в Киеве  
много счастья было?!  
А о том забыли вы,  
как в ночную тьму  
Черные, как вороны,  
шли автомобили?  
Эти люди – кто они?  
Как – и почему?

Думаете, жили вы  
в розовом угаре?

Вспомните: над городом  
с исполинских гор  
Глупое и рыжее,  
как Андрей Угаров,  
Солнце жгло нам молодость,  
разум и задор.

Пресная водица,  
сколько ни усердствуй,  
Не пойдет по венам  
кровью молодой.  
И тускнели лица,  
затихало сердце,  
Стыло поколенья  
русскою хандрой.

Тинистая слякоть.  
Тусклые затеи!  
Будьте откровенны  
в этот грозный час!  
А над сказкой плакать  
я и сам умею,  
Только сказке цену  
Знаю лучше вас.

Все, что будет нужно,  
в нас навеки втерто:  
Крепкий запах дружбы,  
Соль большой земли,  
Ярких глаз сиянье,  
остальное – к черту!  
Пусть горят в тумане  
наши корабли!

Спелый ветер воли,  
Смелый шторм истории  
Пусть пройдет по волнам,  
гребни шевеля!  
Почему вы плачете?  
Посмотрите в море!  
Как матрос на мачте,  
крикните: «Земля!»

*16-18 ноября 1941 года*

«Почему вы плачете?..» Сейчас думаю, может, что-то в этих стихах было навеяно чудесной встречей с Раей в пылающем Сталинграде? Она тогда много плакала и, возможно, сентиментально говорила о том, как счастливы все они были в их любимом довоенном Киеве (что-то похожее: «У нас была прекрасная юность!» – она и мне говорила уже в конце пятидесятых годов). Рая могла очень болезненно воспринять папины прозрения – ей казалось, что они разрушают все, что было дорого их поколению. Он утешал – не все! «Все, что будет нужно, в нас навеки втерто...» И говорил о вечных ценностях, какие необходимо сохранять в любые времена, при любом режиме – «крепкий запах дружбы», «ярких глаз сиянье»... Но «остальное – к черту!»

Ко второму ближайшему другу – Борису Погребинскому, чьи «мрачные гипотезы» папа вспоминает в стихах, посвященных Юлику, он тоже обратился в то время:

...Предсказатель пожарищ, боец молодой!  
Где ты нынче, товарищ неласковый мой?  
Может, бесит тебя госпитальный покой,  
Или крепок, здоров, подбодрив свою роту,  
Ты готовишься яростно ринуться в бой,  
Как когда-то готовился с нами к зачету?  
Ничего, мы еще позаймемся, старик,  
Ведь когда убеждал я, ругался и клялся,  
Что «пора развернуться» и «надо творить»,  
Ты, быть может, один надо мной не смеялся...

Я сразу поняла, кому посвящено это стихотворение, хотя имя «предсказателя пожарищ» и не названо. Папа много рассказывал о Борисе, запомнилось главное: «Борис все понял раньше и лучше нас». Как и Юлик, он погиб в самом начале войны. Его дочь Ира сейчас живет в Израиле. Старшего сына она назвала Борисом.

В студенческие годы они уже начинали мыслить как профессиональные историки, и мне кажется, что папино стихотворение «Сверстникам» – продолжение тех юношеских споров и первых прозрений, звучащих в ночных бдениях на Мариинской улице. Но конечно, это далеко не «плавное» продолжение – новый опыт привел к мучительному и безжалостному отрицанию многих «истин», в которые они верили до войны.



## СВЕРСТНИКАМ

Других доказательств не надо.  
Мы снова слепцы, и опять  
Под грохот фашистских снарядов  
Нам хочется что-то понять.

Мы были бы искренне рады  
Бездумно валяться в траве,  
Но грубую проповедь правды  
Приносит двадцатый век.

Он истины наши развеял,  
Безжалостно бросил нас вновь  
В бездонную бездну неверья,  
Бесплодных мечтаний и снов.

О, ночью тревоги на площадь  
Не сыщешь прямого пути...  
Нам снова придется на ощупь  
Сквозь десятилетия брести.

Куда мы придем? Но не будем  
О новых страданиях гадать.  
Сегодня растерзаны люди,  
Селения и города...

«На ощупь сквозь десятилетия брести...» Друг моих студенческих лет Володя Винниченко вспоминает один важный разговор, случившийся через несколько десятилетий после написания этих стихов: «Помню, как в семидесятые годы... когда самый дух хрущевской «оттепели» ушел в категорию воспоминаний, мы, тогда еще только начинавшие свой путь литераторы – Лёня Юзефович, Толя Королёв, Нина Горланова и я – говорили со Львом Ефимовичем о предназначении нашего, казалось, безнадежно потерянного поколения. И он высказал тогда глубоко запававшую мне в душу мысль. Звучала она примерно так: «Поверьте моему опыту – я родился в семнадцатом и на своей судьбе испытал все перепады советской истории. На вашем веку еще будут не однажды и «оттепели», и «замороз-

ки». Но какая бы ни стояла погода на дворе, у человека всегда есть шанс оправдать свое существование. В истории не бывает абсолютно напрасных эпох. Даже в самые мрачные времена люди жили, растили детей, писали стихи и делали маленькие, но двигавшие человечество вперед открытия».

Мне эти папины мысли хорошо знакомы. Это было глубоким и постоянным его убеждением. Когда в шестом классе мы проходили лермонтовское «Печально я гляжу на наше поколение...», и в школе давались самые вульгарно социологические трактовки (напрасно пропавшее при кровавом царском режиме поколение), папа сказал, что прогноз Лермонтова абсолютно не оправдался. В его поколении было много талантов в самых разных сферах, и как бы драматично ни складывались личные судьбы, это поколение оставило в истории очень яркий и значительный след. И такие настроения бывают у людей всех поколений во все времена, папа сказал, что он не может вспомнить поколение, не прошедшее через подобные настроения. В годы НЭПа был кризис у пламенных революционеров; и в его поколении тоже это было, и не раз; и у нашего поколения что-то такое тоже точно будет, хотя он и не может предсказать, как именно и в какой момент. Главное – не надо при этом впадать в отчаяние. В жизни каждого человека всегда, в самые тяжелые времена, остается много ценного и дорогого: радость творчества, наслаждение высокой поэзией и музыкой, хорошей литературой, и, может быть, самое важное – «крепкий запах дружбы», «ярких глаз сиянье», те ценности, о которых с такой страстью сказано в стихах «Будем откровенны!» (Я тогда еще не читала его военных строк.)

«Разговор с нашим историком» мне кажется важным «предварительным итогом» духовных поисков моего молодого отца, поэтому, хотя отрывок из этого стихотворения я тоже уже цитировала, приведу его целиком.

## РАЗГОВОР С НАШИМ ИСТОРИКОМ

Эта бумага смеется и стонет  
Гулом еще не отбитых атак...  
Может, седой египтолог в Сорбонне  
Древний папирус подслушивал так.

Что означает постройка гробницы?  
Сколько страданий и сколько смертей?  
Врете, папирусы! Где вереницы  
Маленьких, тощих, избитых детей?

Да, подойди! Наклонись к изголовью  
Койки, где плачет несчастная мать.  
Слушай, историк! Поэт пишет кровью,  
Ты же о крови обязан писать.

Если ты хочешь быть честным и точным,  
Наши архивы тебе не нужны.  
Я предлагаю отличный источник –  
Первые письма моей жены.  
(Ты не обидишься ведь, дорогая?  
Что, не спросясь у тебя, предлагаю?)

Вдумайся в них! Поворочай мозгами!  
Мало? Я выдам тебе, наконец  
То, что писала из Харькова мама.  
Мало? Прочти, что писал и отец.  
(Мама и папа, к чему обижаться?  
Можно ведь цензорам в письмах копаться?)

Но напиши! Пусть потомки запомнят,  
Как, назубок заучив свою роль,  
Вышла на свет из профессорских комнат  
Вечная тема истории – боль.

О, напиши! Будь пророком, поэтом,  
Гением – только о том и прошу!  
Впрочем, могу не просить и об этом:  
Мне наплевать. Я и сам напишу.

*14 октября 1941 года, Астрахань, госпиталь*

«Я и сам напишу...» И писал.

Светало, когда мы ворвались в деревню.  
Зеленые трупы валялись во ржи.  
Зеленые тени металась по древней,  
Бессмертной привычке живущего – жить.

Мы гнались за ними, мы их убивали  
Под старым забором, под серым кустом,  
На сломанной крыше, в забытом подвале,  
Мы пленных не брали. И было за что.

А там, в огороде, за новенькой хатой,  
Лежала, еще не поняв ничего,  
С искусанной шеей и юбкой измятой,  
Быть может, десятком плечистых врагов,  
Не двигаясь, девушка... Только большие  
Еще не потухли, как звезды, глаза.  
И корчились руки, как будто душили  
Кого-то. И сочно блестела слеза.

В стихах моего отца звучала та правда, о которой редко рассказывали вернувшиеся фронтовики и еще долго не могли говорить вслух профессиональные историки. Звучала боль, страдания, смерти, но «бессмертная привычка живущего – жить» рождала и другие мотивы – надежду и страстное заклинание.

Нет, я найду тебя. Мы снова обретем  
Потерянное небо Украины.

Это – сбылось. Точнее, безусловно сбылась первая часть «заклинания» – маму он нашел. Небо Украины осенью 41-го года и еще долгих два года потом оставалось недоступным. Обрели ли они его после освобождения Киева? Эта драматическая глава жизни стала для моих родителей не менее поворотной и болезненной, чем война... Но это случилось позже, а пока что в их жизни неожиданно возник еще один город – Казань.

*В 1942 г., после демобилизации мужа по ранению, переехала в г. Казань, где работала старшим преподавателем кафедры литературы университета и педагогического института и одновременно читала лекции в воинских частях, госпиталях и на предприятиях города.*

*В мае 1942 г. поступил на работу в Казанский университет в качестве преподавателя новой истории. В декабре 1943 г. защитил кандидатскую на тему «Эволюция исторических взглядов Т.Н. Грановского». После этого стал и. о. доцента.*

Такой поворот никак не входил в их планы. «Помню, как я волновалась, когда шли с ним в военкомат на переосвидетельствование. Отпуск по ранению продлили на два месяца (вся его тяжесть выявилась позднее, уже в Казани, и тогда его комиссовали, как называли это солдаты в годы войны). Лёва начал оформлять документы для поездки в Казань к родителям. Предполагалось, что он вернется в Актюбинск – уже была договоренность, что он будет преподавать в Актюбинском учительском институте, где я работала (там был и исторический факультет). В Казань он собирался всего на неделю, но все обернулось по-другому: в Казань был эвакуирован институт истории (Академии наук) СССР, в котором – Евгений Викторович Тарле. Лёва хорошо знал его работы, был увлечен ими – и рванулся... Попросил принять его и уделить минут двадцать, но они проговорили часа два, и Тарле хорошо запомнил эту встречу с «мальчиком на костылях». Они тогда многое обсудили – интересно было обоим! Евгений Викторович даже заглянул в его курсовую работу (о Берке), награжденную 100 рублями, очень нас порадовавшими на втором курсе (курсовую бережно сохранили родители Лёвы, всегда гордившиеся его способностями); и оценил аналитичность и самостоятельность подходов и выводов. Он пригласил Лёву к себе в аспирантуру. Это было волнующим событием и большой честью, но принять решение было непросто – Лёва не хотел после всего пережитого снова расставаться... Он искренне рассказал Тарле, что у него в Актюбинске семья, жена работает в институте, и его готовы взять туда. Тот отнесся с пониманием и одобрил решение посоветоваться с семьей. И вот я получаю письмо от Лёвы – он предлагал мне принять решение. Писал, что если я не захочу оставить относительно налаженную жизнь в Актюбинске (работа, жилье), побоюсь после всех наших железнодорожных мытарств снова с родителями сорваться с места, он готов отказаться от этого варианта (при всей его ценности и соблазнительности) и вернуться в Актюбинск, как мы договаривались до встречи его с Тарле. Я сразу поняла, что от такого отказываться нельзя, и стала думать о «технической» стороне вопроса...»

Эта встреча с Тарле в самом деле была судьбоносной – она вошла в семейные легенды. Годы спустя, когда я в студенческие каникулы приезжала к родственникам в Ленинград,

и папин кузен, историк Виктор Панеях, водил меня по городу и просвещал, рассказывая историю чуть ли не каждого дома, он с особым волнением остановил меня возле не самого приметного дома: «Здесь жил Евгений Викторович Тарле!» Тогда в Казани Вите было 13–14 лет, и встреча с моим отцом стала важным событием его жизни. Со всем подростковым пылом увлекся он сначала личностью старшего двоюродного брата, а потом – его призванием. И навсегда обрел свое. Все важное, что происходило тогда в Казани в жизни моего отца, Виктор хорошо помнил.

Помнил и папину поездку на пароходе – в Чистополь к Пастернаку. Для моего отца это было столь же значительным событием, как встреча с Тарле – по-другому, но, безусловно, не менее внутренне важным для него. Папа поехал к Борису Леонидовичу, бывшему его кумиром с ранних юношеских лет, со своими стихами. Сейчас я думаю, что если бы не война, так многое в нем перевернувшаяся, он, скорее всего, не решился бы на эту поездку. Но за его плечами был такой опыт, которым он ощущал себя вправе поделиться, как бы ни были не совершенны его стихи. Трудно объяснить, почему я знаю так мало подробностей этой встречи. Почему-то не случилось у нас настоящего разговора об этом... Могу представить волнение папы в первые минуты! Еще были видны последствия тяжелого ранения, и Борис Леонидович был сочувственно приветлив. С искренней заинтересованностью расспрашивал он о фронте, задавал много вопросов об увиденном и пережитом молодым воином. Папа не мог не ощутить обаяние личности Бориса Пастернака, но некоторые вопросы великого поэта поразили его простодушной, почти детской наивностью. Какие-то свои стихи папа прочитал (как хотелось бы мне теперь знать, какие именно!), но и после этого, насколько я понимаю, разговор шел не о стихах, а о стоящей за ними живой жизни. Как бы то ни было, эта встреча на всю жизнь осталась одним из самых сокровенных папиных впечатлений, сохраненных в глубине души. Поверхностные вопросы о ней могли ранить его, а углубленные не всегда получают. И о встрече с Пастернаком (а уж это ли меня не интересовало!) мы, увы, так и «не поговорили».

Прочитав письмо папы о встрече с Тарле, мама сразу «поняла, что от такого отказываться нельзя...». В этом ощутило

проявилась общность их системы ценностей, и папа, конечно, был глубоко тронут и очень оценил это решение. Родители мамы тоже восприняли это с полным пониманием. Бабушка Рива, не так давно решительно заявившая на актюбинском вокзале, что больше «с места не двинется», сейчас об этом не вспоминала, а дед Яков даже начал помогать в решении «технической стороны вопроса», что, впрочем, было вполне в его характере. В этом месте рассказ мамы зазвучал как-то веселее.

«Как сделать, чтобы меня мирно отпустили из Актюбинского института? (Во время войны это было не так просто.) Мой мудрый папа сказал, что надо подготовить такое письмо из Казани, которое можно будет предъявить начальству в Актюбинске – о том, что муж-фронтовик поступил в аспирантуру, и меня берут на работу. Чтобы прозвучало убедительно, это должно было быть именно личное письмо, «письмо мужа» – но все же, по его мнению, не такое «раскованное», какое Лёва действительно прислал, а «для того вернувшегося с фронта без руки замдекана, что взял меня сюда на работу». Однако письма шли долго, так что ждать второго письма от Лёвы уже не было времени, и папа стал сочинять и писать сам, а я была недовольна несвойственной Лёве сухостью стиля, особенно упорно вставлявшимися папой канцеляризмами. Папа смеялся и, явно издеваясь над нашей, с его точки зрения, сентиментальностью, в самых неподходящих местах письма ехидно вставлял: «лапушка», «солнышко», «деточка» и т. п. В конце концов, меня отпустили и даже дали хорошую характеристику для устройства в Казани».

Видимо, очень хорошим человеком был тот замдекана... Поезд в Казань не обошелся без приключений.

«Мы запаковали вещи и отправились (добавилось одно «место» – валенки, – говорили, что в Актюбинске они дешевле, а морозы там, наверное, дольше и суровее). В Казани я нетерпеливо бросилась к выходу из вагона в надежде увидеть Лёву на перроне (хотя откуда он мог знать, когда поезд прибудет? Об этом я не подумала!), не увидела, и мы с папой побежали в разные стороны перрона, чтобы найти его и не разминуться. Маму оставили в середине сторожить вещи. Возвращаемся и видим: на месте только валенки, остальное – «было». А в этом остальном – все наше «богатство». Прошло всего не-

сколько минут, и ни следа. Я даже (неожиданно для себя) разревелась – там и труакар (модный наряд, привезенный мне Лёвой в 1940 году из Львова – после присоединения Западной Украины – пресловутого «освобождения»), и зимнее пальто, и вещи родителей. И платьев не осталось! Правда, Марья Самойловна сразу же подарила мне отрез шерсти на платье (подаренный нами ей ко дню рождения! – последнему перед войной). Так и было у меня в Казани одно платье и одна летняя кофточка с юбкой, но меня научили по-разному пришивать воротничок, и создавалось впечатление, что у меня много разных нарядов. Девочки-студентки (в университете) говорили: «Как Сарра Яковлевна хорошо одевается!» А весь секрет (как сейчас понимаю) – 25 лет!

Но до работы моей в Казанском университете было еще далеко. А хлебные карточки были нужны сегодня, и я пошла воспитательницей в среднюю группу детсада при заводе у Сюни. <...> Время работы в детском саду я вспоминаю очень тепло. С детьми мы дружили – они ревели, когда я уходила. Я вспоминала для них игры своего детства, им это нравилось, но главное, у других воспитательниц они не получали добавок каши и супа, они относили их своим детям.

Когда я подала в детском саду заявление об уходе (в сентябре надо было начинать читать курс в университете), заведующая спросила: «В школу уходите работать?» – «Нет, в университет! И еще в пединститут» – ?! – Немая сцена. Из детсада в университет – путь нетривиальный...

Запомнился в казанском университете колоритный сюжет: профессор, который читал курс зарубежной литературы на четвертом курсе татарского отделения, где учился один студент (!). Педантично читал весь год – нельзя было закрывать в Казани татарское отделение.

Сюня устроил моего папу на работу на своем заводе. Не помню, как это называлось, но помню папу склонившимся над какими-то расчетами и щелкающим на счетах, – и комнату им нашли у хозяйки, жившей поближе к заводу. Так впервые со времени начала наших странствий я «разъехалась» с родителями. В нашей с Лёвой комнате перебивало с ночевками много народу – она стала перевалочной базой для многих киевлян, едущих в Среднюю Азию. Хозяйка квартиры косилась на нас

и говорила, что мы спекулируем площадью – сдаем сундук, на котором спят гости. Мы веселились от такого предположения – многое тогда нас смешило... Часто приходила к нам Рая Кун, которая тоже оказалась, к большой радости нашей, в эвакуации в Казани. Я любовалась ее сынишкой. (Мама рассказывала, что маленький Саша был очень похож на Юлика, и при взгляде на него сердце щемило от тяжелых предчувствий, хотя извещение – «пропал без вести» – пришло к Рае гораздо позже. – Л. К.) В Казани у Раи был поклонник – явный «жлоб», но у нее с юных лет была склонность романтизировать и идеализировать людей. Она спорила: «Нет, в нем что-то есть!» Мы посмеивались, со временем Рая соглашалась...

<...> Лёва в Казани работал многостаночно: кроме занятий в университете, вел десятый класс в школе, читал публичные лекции в самых разных аудиториях (а однажды я услышала: «Вот сейчас послушаем у Кертмана, когда кончится война!» Так доверяли его прогнозам!). Особенно часто он читал в драмтеатре по ночам, после спектаклей. Артистки сходили с ума: молодой, красивый, уже не на костылях, а опирающийся на палку, чуть прихрамывающий, что придавало особый шарм – мужественности и романтизма. Успех он имел неизменно. Было от чего закружиться его голове... И закружилась. (Но это сюжет для особой новеллы.)

«Зато» в 9-м запасном авиаполку самыми частыми (потому что приглашали чаще других!) и самыми посещаемыми были лекции по литературе С. Я. Фрадкиной! Этот мой успех был закреплен... на танцах в Доме Красной Армии, куда мы ходили по субботам. С этими слушателями можно было покапризничать – однажды они попросили о совсем внеплановой для меня лекции, долго уговаривали, я отказывалась и наконец выдала: «Только если на самолете полететь на лекцию!» Была уверена, что это безошибочный способ отказа, и на этом разговор закончится, но один летчик вдруг сказал: «Попробую!» И прилетел за мной на самолете со словами: «Карета подана!» Тут уж отступить было некуда! Полетели. Он демонстрировал (по моей просьбе – впрочем, удивившись ей и спросив: «Не испугаетесь?», на что я – гордо: «Ну что вы? О чем вы говорите?!») «мертвую петлю» и другие приемы – на «кукурузнике»! Сейчас мне самой трудно поверить, что не боялась и прекрасно пере-

несла, что было время, когда я не знала, что такое слабый вестибулярный аппарат, не говоря уж о других болезнях. И это при том питании! Но – снова повторю – 25 лет!»

Помню еще один не вошедший в мамины мемуары ее рассказ о папе в Казани. Она зашла за ним в школу, где он читал вечернюю лекцию, и увидела в коридоре такое скопление народа, что не могла пробиться к двери класса. Было очень тихо, и когда она спросила, что происходит, на нее «зашикали» – папа читал наизусть только что опубликованную поэму Маргариты Алигер «Зоя», и ее слушали, затаив дыхание, по обе стороны двери...

При своей огромной многостаночной нагрузке папа сумел за полтора года написать талантливую диссертацию! Евгений Викторович пытался убедить его продолжить интересное исследование о Берке, начатое в курсовой работе, но папа выбрал другую тему – «Эволюция исторических взглядов Т.Н. Грановского». Он был по-настоящему увлечен личностью известного историка XIX века – блестящего профессора всеобщей истории Московского университета, близкого друга Герцена и Огарева, глубокого и тонкого человека.

«Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду», – эти слова Герцена об ушедшем близком друге поразили моего отца и, может быть, стали важным ориентиром. Очень близким ему оказалось многое в эмоциональных реакциях Грановского.

«Когда однажды в светском обществе «просвещенных» венских аристократов никто не мог вспомнить, когда началась французская революция, – у меня душа сжалась, – писал Грановский, – слушая, как эти несчастные ломали святые имена и события».

Надежда Гашева обратила на эти слова в автореферате папиной диссертации особенное внимание: «Чтобы душа сжималась от такого – согласитесь, надо иметь душу, чтобы обратить внимание именно на эту фразу – тоже...»

Всем более или менее близко знакомым с моим отцом людям, пусть читающим его работу о Грановском в совсем другое время, было понятно, насколько не случаен выбор темы. «В чем-то эти два человека просто схожи. Да, не так просто стать блестящим лектором, кумиром молодежи, властителем

ее умов – для этого мало только знать предмет – надо быть и обаятельной личностью, иметь дар понимания людей, иметь твердую позицию и многое еще сверхакадемических достоинств» (Н. Гашева).

Павел Юхимович Рахшмир, в пятидесятые годы студент, а затем – многолетний коллега моего отца, воспринимает этот выбор как профессиональный историк: «Молодой ученый занимается Грановским. Тема оказалась на редкость удачной, так как она вводила молодого ученого в необозримый мир классических исторических и философских идей XIX столетия, по праву считавшегося «веком истории».

Но и он не мог не заметить психологическую близость автора и героя диссертации, правда, внимание П. Ю. Рахшмира больше сосредоточено на близости профессиональных методов двух лекторов, вынужденных работать в нелегких и во многом похожих социально- психологических обстоятельствах: «Говорить о современности Грановскому было практически нельзя. Тем не менее благодаря историографическим введениям к читаемым курсам и отдельным темам ему удавалось сказать свое слово. Лев Ефимович приводит свидетельство одного из слушателей: «Часто, разбирая причины появления монографов и их мысли в новое время, профессор одним метким выражением (а на это Грановский был большой мастер) освещал перед нами целую историю нового времени, не столько говоря, сколько заставляя догадываться одним намеком. Поэтому при изучении лекций и статей Грановского в этот период приходится улавливать эти намеки, отбрасывать официальные идеи, высказанные по необходимости, и, таким образом, установить исторические взгляды Грановского в их истинном освещении». Прочитав этот отрывок из папиной статьи, П. Ю. Рахшмир высказывает проницательную догадку об «уроках Грановского» непосредственно в профессиональной деятельности моего отца: «Если тема о Грановском была для Л. Е. Кертмана проходной, то «уроки Грановского» оказались непреходящими, особенно в деле университетского преподавания».

Невольно забегая вперед, хочу сказать, что эту близость подтверждают воспоминания папиных слушателей самых разных лет. «...Узнав, что я из Перми, он как-то встрепенулся и спросил, не знаю ли я Кертмана? Вопрос мне показался диким, и я ска-

зала: «Нельзя историку, живя в Перми, не знать Кертмана. Это просто невозможно». – «Да, да!» – с какой-то ясной улыбкой согласился он. И объяснил, что был студентом Киевского университета в 1949 году и, как многие другие, бегал на лекции Л. Е. на старшие курсы. И добавил: «К нему, как к Грановскому, на лекции бегали разные люди, вовсе не по плану», – этот рассказ бывшего киевского студента, встреченного на ФПК в Москве в шестидесятые годы, вспомнила Софья Орлова (выпускница ПГУ 1960 года, ныне живущая в Варшаве).

Если в научно-исследовательской сфере «тема Грановского» в самом деле осталась для моего отца «проходной» (он больше не возвращался к ней), то в эмоциональном плане его продолжало волновать любое упоминание этого имени. Мне запомнилось, как папа был поражен эпизодом одного из романов Натана Эйдельмана. Март 1855 года. Весть о смерти Николая I доходит из Петербурга в Москву через несколько дней. Кто-то из друзей заходит в Московский университет, вызывает Грановского с лекции – и сообщает. Грановский отходит к окну, молча отворачивается, и после долгой тяжелой паузы, когда друг уже не знал, что думать, тихо говорит: «Не то удивительно, что он умер, а что мы после таких тридцати лет живы!» (цитирую по памяти). Друг был потрясен горькой речью. После этого Грановский прожил очень недолго – он умер в октябре того же года, не дожив до отмены крепостного права, возвращения из Сибири декабристов и других «оттепельных» событий шестидесятых годов XIX века. Друзья глубоко скорбели, им очень не хватало его голоса в изменившиеся времена...

И даже это похоже! После смерти моего отца в 1987 году, когда в следующие годы российская жизнь стала с невероятной быстротой меняться (вывод войск из Афганистана, возвращение Сахарова из ссылки и его выступление на съезде в 1989 году, выступления других депутатов из межрегиональной группы, нападки на Сахарова на том съезде, резкие споры о войне в Афганистане, возвращение Юрия Любимова из эмиграции, освобождение диссидентов из лагерей и многих имен из-под запрета, огромный поток «возвращенной литературы», тревожащие события в Тбилиси и Вильнюсе – и все это до путча 1991 года! А уж потом...), и в происходящем было так трудно разобраться, сколько раз я слышала от самых разных людей:

«Как не хватает сейчас Льва Ефимовича – его голоса! Как часто думается, что он сказал бы сейчас?» Или: «Лев Ефимович рассказал бы, что будет дальше...»

В годы застоя мы зачитывались романами Н. Я. Эйдельмана, благодарно восхищаясь воздухом свободы. Как и мой отец, Эйдельман применял «метод Грановского», о котором П. Ю. Рахшмир написал: «Грановский был очень осторожен и умел говорить лишь в допускаемых цензурой пределах. Этим искусством Грановского еще в 1848 году восхищался Герцен». Н. Я. Эйдельман тоже писал «в допускаемых цензурой пределах», не касаясь современности и рассчитывая на своего читателя, способного при погружении в далекие времена улавливать намеки – российская история всегда предоставляла широкий простор для внятных внимательному читателю аллюзий.

Впрочем, этот эпизод – смерть царя и реакция думающих людей – не требовал большой читательской догадливости, но папа читал его с особенным волнением – как о пережитом близким человеком, чьи чувства на том остром историческом переломе ему близки и понятны. (Ему даже сон однажды приснился о внезапно ожившем Сталине...)

И еще об одной глубинной близости «двух профессоров» хочется сказать.

«Хотя Грановский как профессор, как человек общественный далеко оставлял за собой Грановского-писателя, но сочинения его представляют достоинства первоклассные. Одна уже их живая, художнически прекрасная форма при строго ученом содержании сообщает им весьма важное значение», – так написал после смерти Грановского Н. А. Некрасов («Современник», «Заметки о журналах 1855 года»). Он призывал друзей недавно ушедшего историка издать все его сочинения.

В «казанский период» книги моего отца были еще далеко впереди, но когда настал их черед, многие отмечали, помимо научной ценности, их художественные достоинства.

Но вернусь в 1943 год, когда в Казанском университете состоялась защита папиной диссертации. Это стало большим событием для всех близких. Мама подробно написала о них: «В эвакуации в Казани оказалась почти вся большая семья (кроме тех, кто был на фронте): родители Лёвы и Сюни, мои роди-

тели, Сюня и мы с Лёвой, две сестры Марьи Самойловны – Нелли и Хана со своими детьми.

Нелли с 14-летним сыном Витей эвакуировалась в Казань из Ленинграда буквально за несколько дней до начавшейся блокады! Витя – будущий известный историк Виктор Панеях – пошел по стопам старшего кузена. Они очень сблизились в те годы войны, когда Витя был еще мальчишкой, и дружба их, несмотря на жизнь в разных городах, с годами окрепла и прошла через всю жизнь, они подробно переписывались. Сохранилось много писем.

Вспоминаются разные подробности – много страшного, но и забавное тоже было... Нелли, учительница литературы, при достаточно трудной жизни ценила и культивировала домашние традиции: стол, покрытый чистой скатертью, правильно сервированный к обеду. Так было в их доме до войны (у родителей Лёвы – у моих тоже – не до такой степени), и хотя в войну вряд ли было так, в подсознание ребенка это вошло до такой степени, что когда по дороге в эвакуацию детей кормили в столовой скудным обедом, Витя – будучи не менее голодным, чем другие! – после супа сидел, не прикасаясь к столовской капусте. «Витя! Почему ты не ешь?» – «Я жду вилку!» Этот эпизод вошел в семейные легенды. Но в этих словах не было высокомерия или избалованности. Просто ребенок знал, что суп (первое) едят ложкой, а второе – вилкой.

Страшное: Хана (третья сестра Марьи Самойловны и Нелли) с трудом выбралась с двумя дочками из деревни в Узбекистане (по вызову Сюни). Нелли с трудом нашла возможность выслать ей денег на дорогу. Хана была так истощена от голода (буквально до полусмерти), что ее вынесли из вагона на носилках. Мы не узнали бы ее, встретив на улице. Она погибла бы, если бы Сюне не удалось прислать ей вызов в Казань, а Нелли – выслать деньги. У них обеих (Ханы и Нелли) мужья воевали. Моисей – муж Нелли – прошел всю войну. Ему было в начале войны 42 года, но был призван. Его война закончилась в Будапеште, откуда смог вернуться только в 1946 году – в звании майора, в отличие от «ефрейтора Кертмана».

В 1947 году у Нелли и Моисея родился второй сын (через 17 лет после первого!) Лев Панеях – талантливый математик, шахматист и гуманитарно широко образованный человек. Нелли

с Витей вернулись в Ленинград еще во время войны, как только это стало возможно после снятия блокады. В День Победы пятнадцатилетний Витя ликовал вместе с массой народа, собравшегося на Аничковом мосту, и на большой фотографии его лицо и сейчас очень узнаваемо. В тот далекий день Витя понятия не имел, что так ярко запечатлен... Прошло много лет, и, готовясь в один из Дней Победы к оформлению стенда, кто-то из его сотрудников извлек ее и воскликнул: «Виктор Мойсевич, это не вы?» Было абсолютно несомненно, что это он, и все младшие члены семьи, естественно, никогда не видевшие Витю в том возрасте, моментально узнали его! Было растроганное волнение...

Миша – муж Ханы – погиб на фронте под Москвой. Жизнь Ханы и после войны была тяжелой, она долго не могла выбраться из глухой деревни под Казанью (очень далеко от города), потом долго мыкалась по разным «городам и весям», несколько лет была директором детдома, и дети тех лет очень тепло вспоминали ее заботливое отношение. Но остаться там ей не дали. Формальное основание – не законченное профессиональное образование, но на самом деле не стерпели того, что она не давала обкрадывать несчастных детей, да и фамилия ее становилась к концу сороковых годов все более неподходящей.

Хана одна мужественно вырастила двух замечательных дочек. Было много испытаний. В холодную и голодную деревенскую зиму в Узбекистане девочки не могли ходить в очень далеко расположенную школу – не было теплой одежды. Только в Казани родственники общими усилиями что-то раздобыли для них. Но девочки оказались стойкими и целеустремленными: младшая окончила геологоразведочный техникум и долго была геологом на далеком севере, многое повидала и испытала... Сейчас Джемма Гринберг живет в Киеве.

Старшая дочь Ханы – Регина Гринберг – после большого перерыва в школьном обучении в 1944 году экстерном сдала школьные экзамены, поехала в Москву и поступила на экономический факультет МГУ, после чего оказалась по назначению в Иваново, преподавала там в техникуме. Но другое – настоящее! – ее призвание победило (она и в студенческие годы много занималась в театральном кружке). Регина создала в Иваново уникальный Театр поэзии и несколько десятилетий была его бессменным режиссером.

...На папину защиту в Казани постарались прийти все близкие люди – кто только смог освободиться на эти несколько часов (Сюня не смог, на его заводе, естественно, был строгий режим). Были мамы и папы родители, Нелли, Хана... И конечно, друзья, оказавшиеся в Казани в тот момент. Все ощущали это событие не просто как радостное, но как что-то знаковое: страшная война приходит к концу, наступает «и на нашей улице праздник»!

Маме запомнился трогательно забавный момент: «При зачитывании Лёвиной анкеты секретарь ошибся и вместо 1917-го года рождения назвал 1907-й, но тут «голос из зала» громко поправил его: «Не седьмой, а семнадцатый!» Это Хаим Симхович не мог стерпеть, чтобы его сына старили! А ведь 1907-й год в то время звучало солиднее – не принято было людям гуманитарных профессий защищаться раньше тридцати!»

Защита прошла блестяще. Присутствие Евгения Викторовича Тарле, чье имя уже тогда было легендарным, придало церемонии особую торжественность. <...>

На «банкет» после защиты купили на рынке буханку хлеба за 200 рублей, Марья Самойловна разрешила ее на тоненькие листики и приготовила фаршированную рыбу. Больше на столе ничего не было, и все было сметено за полчаса. Но защита прошла блистательно, и на «банкете» было весело».

На домашнем торжестве были все, но на защиту младших не взяли (а они очень хотели!). Витя Панеях рассказывал мне, что в ожидании возвращения старших они с Региной сочиняли длинный стихотворный «протест молодых против дискриминации». Мама вспоминала их декламацию и говорила, что стихи были остроумными, жалела, что они не сохранились.

После защиты в быту появились давно забытые радости.

«Через неделю после защиты Лёва принес муку, масло и яйца. Когда он торжественно выложил все это, я испугалась – решила, что он «проворовался» (правда, непонятно где!), а это был его первый кандидатский паек! Мы затопили печь, и Лёва, смешав муку с водой, гордо пек на сковородке блины. Сколько радости было! Похожее потрясение было, когда из авиачести мне привезли мешок картошки. Мы решили, что этого нам хватит на всю зиму, и «шиковали», делали обед из трех блюд:



1) картофельные щи; 2) картофельное пюре; 3) картофельные оладьи. Хватило на неделю!»

Вскоре после папиной защиты, осенью 1943 года, освободили Киев. Мама вспоминает: «На площади в Казани собралась вся киевская «колония». Мы на радостях обтанцевали всю площадь».

Так радовались киевляне, разбросанные войной в самые разные концы страны. Одна мамина школьная подруга рассказывала мне, как встретила этот потрясающий день в Узбекистане. Они с подругой стояли в самом конце густой толпы, собравшейся возле приемника (черной «тарелки»). Голос Левитана сообщил об освобождении Киева. У девчонок вырвался ликующий крик – и люди расступились: «Пропустите! Это киевлянки!» Их пропустили в центр круга, и они танцевали так долго и азартно, как, может быть, никогда в жизни, и пожилые женщины, глядя на них, вытирали слезы...

Моих родителей эта радостная весть подтолкнула к важному решению. «И вот тогда мы решили – пора рожать! Именно когда освободили Киев... И так и вышло!.. Но дочь (Лёва почему-то был уверен, что нашим первым ребенком будет дочь) должна была быть киевлянкой. И я рассчиталась с университетом и пединститутом и вернулась в Киев».

Как я благодарна родителям! Всю жизнь это было для меня сокровенно важно.

Маму отпустили из Казани, потому что ее состояние было уже весьма заметно; папа же обязан был доработать до конца учебного года. Мама поехала в Киев с родителями – в душном вагоне, в тесноте. Дорога была долгой, через полстраны.

Пишу сейчас и на многих поворотах спотыкаюсь, все острее чувствуя, как важно хорошо знать семейную историю хотя бы ближайших поколений и хранить воспоминания в понятной последовательности. Казалось бы, об их возвращении в Киев я много слышала, но, оказывается, не знаю, почему мама сразу разъехалась со своими родителями (видимо, некуда было им всем вместе идти), и где они (бабушка Рива и дед Яков) поселились. (Хорошо помню их послевоенную комнатку в большой коммуналке, но когда они попали в нее и где были до этого, сразу по возвращении, не знаю.) Сюнин завод вернулся из эвакуации немного раньше, и в первые дни обессиленная долгой

поездкой мама жила у папиных родителей, вернувшихся вместе с Сюней (в одной комнате с ними). Но в последние предвоенные годы они с папой жили в однокомнатной квартире, и по закону возвратившийся фронтовик и его семья имели право на то жилье, из которого он ушел на фронт. Через несколько дней мама отправилась в их бывшую квартиру и застала самовольно поселившуюся там женщину. Первый разговор прошел спокойно – мама показала все документы, подтверждающие ее право на квартиру, и женщина попросила разрешения пожить в коридоре, пока она что-то найдет. Мама, разумеется, интеллигентно согласилась: «Конечно, конечно, я вас не тороплю! Но к моменту, когда родится ребенок... сами понимаете!» Женщина «проявила полное понимание», и они мирно попрощались. Но когда через неделю мама пришла снова, все изменилось – женщина встретила ее с топором, не пустила на порог и пригрозила: «Если займете комнату, я вашего ребенка кипятком оболью!» (А я еще и не родилась!) Мама была так напугана (возражение у нее всегда было богатое!), что быстро ушла и сразу отказалась от всякой борьбы: «Лёва тогда еще не приехал из Казани, и я не решилась».

Чтобы закончить с «квартирным вопросом», испортившим не только москвичей, придется немного забежать вперед. Вскоре приехавший папа попытался побороться за квартиру законным путем, и после отказов в нескольких районных конторах со всем не растроченным пылом возвратившегося фронтовика ворвался прямо в кабинет какого-то крупного милицейского начальника и, стукнув кулаком по столу, произнес обличительный монолог, закончив «пафосными» словами: «Я уверен – здесь пахнет взяткой!» Папа искренне имел в виду подчиненных этого начальника, которых тот должен наказать, но услышал грозное: «Как вы смеете оскорблять нашу советскую милицию?!» В ответ на новую – уже возмущенную! – папину попытку объясниться начальник вызвал подчиненных: «Вы арестованы за хулиганство!» Папу схватили и посадили в какое-то подвальное помещение. Не помню, как ему удалось сообщить маме о случившемся (может быть, они пошли в милицию вместе, и она ждала его на улице), но каким-то образом она узнала, где именно он находится, и всю ночь «прогуливалась» вдоль стены, периодически оказываясь возле подвального

окна, чтобы папа видел ее туфли и знал, что он не покинут, и о нем хлопочут. Мама дозвонилась до их друга – юриста, у которого было много знакомых среди милицейского начальства, этот друг быстро примчался, присоединился к маминной «прогулке», утром с кем-то поговорил, и папу отпустили. Особенно колоритен конец этой поистине «детективной» истории: примерно через год тот начальник, которому папа так рьяно «открывал глаза», был арестован за крупную и, видимо, не первую взятку, состоялся громкий уголовный процесс. Такой вот хеппи-энд!

Зная теперь, что творилось в стране в те годы, и понимая, что эта история могла закончиться гораздо драматичнее, мне немного неловко описывать все это в таком «водевильном» стиле. Пожалуй, единственное, что меня оправдывает, – именно так, весело и легкомысленно, сами родители рассказывали этот сюжет. При взгляде из нашего времени подобное их поведение кажется просто непостижимой беззаботностью, но... послевоенная эйфория и молодость, столько праздничных событий, на фоне которых даже серьезные неприятности казались мелочами (блестящая папина защита, возвращение в родной город, наконец, рождение долгожданной дочки). Им казалось, что теперь, наконец, жизнь смягчится, и все наладится.

Вернуть свою квартиру родителям так и не удалось. И какое-то время им – с уже родившейся мной – было буквально некуда деваться. «...До родов я жила у родителей Лёвы, но Хаим Симхович болел, соседи в коммуналке не были добры, и с грудным ребенком, не будучи прописанной, там жить было невозможно».

В это трудное время на помощь им пришла Густа Луфер – мамина подруга детства (это ее когда-то разыграл назвавшийся ветеринаром поэт Гриша Скульский). «Густа настойчиво позвала нас и поселила у себя с орущей ночью Линкой».

Родители часто вспоминали, как ужасно я кричала каждую ночь в первые свои месяцы. Густа была искренне и безмерно добра, но они невольно чувствовали себя виноватыми, и это добавляло им мучений. Я успокаивалась только на руках, и папа часами носил меня по комнате, напевая.

«Мы жили несколько месяцев и съехали тайком – Густа и слышать об этом не хотела! А мы боялись помешать им с Борей, ее будущим мужем, в период его ухода. <...> Ее самоотверженность я буду помнить «по гроб жизни», как говорили в старину».

Не знаю, куда они переехали, но знаю, что через короткое время они приобрели комнату в коммунальной квартире на улице Саксаганского, которую уже и я хорошо помню. Это был первый дом моего детства, я прожила там все свои дошкольные годы. «Приобретать» жилье в те времена можно было только тайно (советские законы этого не позволяли), но для многих это становилось единственным выходом. Родителям пришлось напряженно зарабатывать – они обложились, помимо университетской нагрузки, массой публичных лекций, писали статьи и рецензии и постепенно выплачивали долг.

Но в мой день рождения – 15 июля 1944 года – папа ничего этого не знал... Он еще не доехал до Киева. Телеграмма, которую он получил в Москве (в последней командировке из Казани), гласила: «Поздравляю рождением Лины. Сарра». В имени дочки мама не сомневалась ни минуты – оно было придумано папой задолго до моего рождения. В его послевоенной поэме, речь о которой пойдет в следующей главе, звучат слова: «Я выдумал Лину несмело...» Там, правда, речь идет о художественном замысле – о героине поэмы, но все же не думаю, что 15 июля 1944 года не сыграло в этой «выдумке» никакой роли.

Кстати, моя подруга Надежда Гашева ровно тридцать лет спустя воспела этот день и мамино решение.

Не так тиха украинская ночь,  
Как этого бы классики хотели...  
Когда у Кертманов родилась дочь,  
С войной еще покончить не успели.

Но Киев взят. Как прежде, чуден Днепр,  
На Запад рвутся и полки, и танки.  
У мамы даже и сомнений нет,  
Что дочь должна родиться киевлянкой.

Пусть бой за город только что затих,  
В развалинах почти что полдержавы.  
Еще своих шинелек фронтовых  
Не сняли Кауфман и Окуджава,

Еще далеко впереди рассвет  
Туманных в этот миг шестидесятых,  
Но Лина появляется на свет,  
Как было и задумано когда-то...

А в тот день папа летел по Тверской с телеграммой в кармане, опьяненный радостью, которой еще не успел ни с кем поделиться. Он задумал (загадал?), что первому знакомому человеку, которого встретит, непременно устроит какой-нибудь праздник. И вдруг увидел, что навстречу идет... Миля, вдова маминого брата Геры. Сколько же лет они не виделись и ничего не знали друг о друге! (Подобные встречи, как я уже говорила, в романах кажутся искусственными, но на самом деле жизнь гораздо щедрее на них, чем принято думать!) Папа схватил Милю за руку, чтобы не пробежала мимо, и без всяких предисловий воскликнул: «Сегодня утром у меня родилась дочь! Проси, что хочешь – сегодня все исполню!» Миля, видимо, тоже прониклась судьбоносностью встречи, растроганно поздравила и внезапно с озорной улыбкой, как будто бы беря «на слабо», указала на витрину, возле которой они остановились: «Ну, раз такое дело, купи мне вот эту шляпку!» Думаю, что в то время и в ней была обостренная после войны жажда жизни... Если Миля хотела смутить или заставить пойти на попятный, плохо же она знала моего папу! Разумеется, он тут же купил шляпку, радуясь ее на мгновение помолодевшему лицу.

Вскоре он уехал в Киев.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*В 1944 г. вернулась в г. Киев, где была восстановлена в аспирантуре университета. Окончив ее, защитила в июне 1946 г. диссертацию на тему «А. П. Чехов и его влияние на современную английскую литературу. В 1945–1946 гг. читала в университете спецкурс «А. П. Чехов». С сентября 1946 г. читала курс советской литературы, литературы XX века, спецкурсы по советской литературе на филологическом факультете КГУ.*

*В сентябре 1944 г. возвратился в Киев и приступил к работе в Киевском университете в качестве и. о. доцента кафедры новой истории. В 1946 г. мне было присвоено ученое звание доцента кафедры новой истории.*

В последний раз мой отец видел родной город 25 июня 1941 года – так давно! Казалось, с тех пор минула жизнь. Фронтовики и в самом деле ощущали себя на целую жизнь старше тех, кто не был на фронте, хотя разница между ними была порой всего четыре-пять лет. В другие эпохи она быстро становилась незаметной, но этот рубеж навсегда остался непреодолимым.

Папа вернулся в разгар киевского лета 1944 года. Свои чувства тех дней он описал в созданном в сороковые годы киносценарии «Зрелость ровесников», где герой идет по Киеву «без видимой цели – просто старый киевлянин приехал в родной город и ходит, ходит, чтобы надышаться воздухом юности, наглядеться на теплые, как руки матери, скверы. <...> Выходит на Владимирскую горку, надолго замирает у ограды, глядя на разлившийся Днепр, на острова... Резво, по-мальчишески сбегает по тропинке вниз, к Подолу; теперь он смотрит на город снизу. Выйдя на Крещатик, с минуту наблюдает за группой студентов, работающих в развалинах какого-то дома...»

Как обостренно видят вернувшиеся, как напряженно вглядываются в жизнь недавно освободившегося от немецких оккупантов города!

«Буйная зелень пробивается сквозь развалины Крещатика и прилегающих улиц; широко раскинули ветки каштаны, акации, дубы; стройные тополя поднимаются над развалинами и кажутся выше, чем обычно, потому что рядом с ними – не высокие здания, а груды кирпича, щебня, песка. (Мама рассказывала, как однажды споткнулась о такую грудку кирпичей, идя по разбомбленному Крещатику со мной – грудным ребенком – на руках, разбила в кровь колени и балансировала, только бы не упасть и не уронить ребенка! – Л. К.) Зелень скверов, бульваров, сохранившихся улиц так обильна, что заслоняет грязные, давно не ремонтировавшиеся дома, скрывает жирные пятна былых пожаров, следы бомбежки, обвалившиеся ворота и разрушенные сараи. Зелень делает город праздничным, несмотря на страшные следы недавней войны.

Большинство прохожих, однако, не замечает этого: они топят по своим делам, озабоченные, плохо одетые люди, еще не оправившиеся от потрясений военных лет. Много мужчин в военной форме; некоторые уже сняли петлицы, но все еще

не могут расстаться с шинелями – то ли нечего надеть на себя, то ли слишком привыкли к солдатской одежде. Группами и по одному проходят инвалиды войны. Кое-где на перекрестках они просят милостыню».

Права Надежда Гашева, написавшая, что на этих страницах очень ощутим сложный и неповторимый аромат первых послевоенных лет. Киносценарий моего отца никогда не был опубликован. Такое не пропускалось в кинофильмы сороковых, да и последующих лет. Вся нахлынувшая на вернувшегося фронтовика боль, вся живая, при всех трагических прозрениях, вера еще эмоциональнее переданы в папиных стихах тех лет.

Живые вернулись. И снова каштаны,  
Сплетения улиц, огни и дожди...  
Опять этот город – с красой первоизданной  
Отрогов днепровских, с лавиной прощаний  
– Давно иль недавно? – и встреч впереди.

Живые вернулись. И вновь панорама  
Отрогов днепровских, сплетенья ветвей...  
Опять этот город – с огнями, с дождями,  
С ветрами несбывшихся чьих-то затей.

Но Вересов помнил те ночи, те споры  
Далеких... недавних студенческих лет,  
И дерзкие замыслы юных, которых...  
Которых среди возвратившихся нет.

Он помнил те споры, те летние ночи,  
Когда он с друзьями бродил по садам,  
И сдавленный шепот их клятв и пророчеств...  
Друзей... тех друзей... похороненных там,

На старой границе, на новой границе,  
Под Ржевом, под Прагой, в столице, в глуши,  
Друзей, чьею дружбой он вправе гордиться,  
Чьи замыслы дерзкие должен свершить.

Как девушка первое помнит свиданье,  
Как помнят ослепшие солнечный свет,  
Так Вересов помнил друзей своих давних  
И свой исторический факультет.

И пору экзаменов в июне, в то лето,  
Когда, торопясь по частям своим, в бой,  
В больших коридорах Университета  
Ребята прощались – с любимой? с мечтой?

С мечтой не прощались. Ребята шли драться  
За эту мечту, и из памятных дат  
Всплывали знамена былых демонстраций,  
Отряды кронштадцев, колонны солдат...

Он тоже прощался. Да, время настало!  
Он крылья расправит, раскроется весь.  
И ждет уже зрелость там... там... за вокзалом...  
А юность? А юность останется здесь.

Стихи эти сначала входили в сценарий. Позднее они выросли в большой роман в стихах, как определил жанр сам автор – «Семья Вересовых». Этот роман тоже никогда не был напечатан. Герой сценария и романа старше автора, и военная биография его иная: «Антон Петрович Вересов – человек лет тридцати, в офицерской шинели с майорскими погонами». Но нет сомнения, что ему отданы многие авторские чувства и мысли... Вересов идет по Киеву «с затуманенными от счастья глазами, с глубокими морщинами горя и раздумья на лице».

Писать этот сценарий папа начал уже после 9 мая 1945 года. Мама рассказывала, как, услышав об окончании войны, друзья прибежали к ним глубокой ночью с 8-го на 9-е мая. Они еще ничего не знали: телефона не было, радио, как во многих семьях с маленьким ребенком, выключалось рано, хотя в моем случае это не слишком помогало – я еще не спала и традиционно громко ревела. Впрочем, в ту единственную ночь даже этот надоевший родителям рев слышался им как торжествующий клич победы – ведь родить меня они решились после освобождения Киева уже в предчувствии этого дня.

Усидеть в тесной комнатке в такую ночь было невозможно, мама быстро бросила меня на руки бабушки, и они убежали с друзьями на уже шумные и многолюдные улицы ночного Киева. Люди что-то возбужденно кричали, плакали и смеялись,

с южной экспансивностью обнимались с незнакомыми, пели, подхватывали и бросали вверх мужчин в военных шинелях. Родители говорили, что такого искреннего народного ликования они не видели больше никогда.

Всю ночь гуляли они по родному городу «с затуманенными от счастья глазами». Отголоски этого счастья слышатся на многих страницах папиного романа в стихах.

Весь мир был в те дни по-весеннему молод.  
Искрился надеждами юности весь...  
И вот он вернулся. Опять этот город.  
А юность... А юность останется здесь.

Но брызгами пены вокруг разлетелась,  
Взбурлила воспоминаний волна.  
Закончилась юность, но ранняя зрелость  
Ее ароматом поныне полна.

И Лина, волной этой теплой согрета,  
В нее погружаясь, как в девичий сон,  
Сказала: «Пройдемся к университету!  
Там наше начало. Там юность, Антон!»

Но там лишь подорванных аудиторий  
Остатки. Он вздрогнул. Застлало глаза.  
Где тот коридор, то окно, за которым  
Заветное слово впервые сказал?

Из самых глубин, отмечая преграды,  
Впервые сквозь робость прорвались слова,  
Впервые любимые волосы гладил,  
Впервые родные глаза целовал.

– Не надо, Антоша! О чем ты? – Об этом!  
– Но эти руины теперь не страшны.  
Трава под колонной университета,  
Как первые блески твоей седины.

Так мужество зреет: болями, трудами.  
Взгляни, как поспешно возводят леса!  
Ты вздрогнешь совсем по-иному, когда мы  
Увидим за ними свои корпуса...

Столько светлых надежд! Но невозможно забыть «глубокие морщины горя и раздумья» на лице папиного героя. О чем это? Горькая память о друзьях, «похороненных там»? Конечно, и это тоже, но не только...

Были вьюги, были беды –  
Все осталось позади.  
Почему же в День Победы  
Как-то холодно в груди?  
Потому ли, что за кадром  
Слышу тут, как слышал там  
Старую абракадабру  
Правды с ложью пополам?..

В сорок пятом году вновь вернулись к моему отцу все его сомнения и прозрения, так сильно опережающие время (впервые они прозвучали еще в стихах сорок первого года). Позднее он с болью ощутил, что «старая абракадабра» с каждым послевоенным годом все громче звучавшая, делала официальную память о войне настолько фальшивой, что начинало казаться: уже невозможно пробиться со своей живой памятью к не пережившим этого, хотя бы к собственной дочери.

## ДОЧЕРИ

Как ее историк назовет?  
Может быть, великой из великих?  
Впрочем, навсегда утерян счет  
Выдумкам историков маститых.

Как ее поэты нарекут?  
Может быть, борьбою Тьмы со Светом.  
Впрочем, не Сизифов ль это труд –  
Подсчитать вес выдумки поэтов...

Скажут, что последняя война,  
Что отныне мертв военный гений...  
Дочь моя, поймешь ли ты меня,  
Ветерана Зборовских сражений?

Пусть напишут тысячи томов,  
Выдумают тысячи теорий,

Но не встанет в этом вихре слов  
Наше человеческое горе.

Через поле женщина бежит  
В шелковом халате, ноги босы.  
Узелок. И прыгают по ржи  
Рыжие распущенные косы.

Мальчик вытер слезы и затих,  
Посмотрев вверх с немой тревогой...  
Родина, ты знаешь, сколько их  
Бродит по твоим кривым дорогам?

Сколько позабытых и больных  
Болью всей предгрозовой эпохи,  
Сколько страшных отпрысков войны,  
Сколько безнадежных скоморохов.

Сколько красных пятен на траве,  
Сколько стонов, сдавленных в гортани,  
Сколько недолюбленных любвей,  
Сколько недосказанных признаний.

Сколько было дыма без огня,  
Сколько честолюбий и сомнений!  
Дочь моя, поймешь ли ты меня,  
Ветерана Зборовских сражений?

Ты прочтешь об этом много книг,  
Вызубришь сражения и даты...  
Но пойми! Над Киевом огни  
Радостью светили нам когда-то!

Слышишь? Шелест листьев и ветвей  
Над днепровской серебристой глубиной...  
Это шепот матери твоей,  
Это твой отец ее голубит.

И тогда забыта, не нужна  
Кончилась поэма поколенья....  
Дочь моя, поймешь ли ты меня,  
Ветерана Зборовских сражений?

Не знаю точно, когда эти стихи были написаны. Маминой рукой помечено – «1941 год, октябрь, Астрахань». Неужели это так и она не ошиблась?! Такое – в сорок первом году?! Мне смутно кажется, что папа говорил: дописывались эти стихи – именно как обращение к дочери – в сорок пятом, когда война кончилась, и я уже родилась. Но не уверена. Папу уже не спросишь... Как бы то ни было, это мои самые любимые папины стихи.

И на фоне этих строк я вдруг споткнулась на строчке поэмы «Ты вздрогнешь совсем по-иному...» Так сильно споткнулась, что сама вздрогнула. Да, в том отрывке вслед за этими словами сказано: «...когда мы / увидим за ними свои корпуса» – имеется в виду надежда на светлое, человеческое, демократичное будущее, из которого исчезнет «старая абракадабра» и придет свобода, такая выстрадавшая, такая заслуженная...

Эта вера в конце войны охватила самые широкие слои народа. В романе Гроссмана «Жизнь и судьба» об этом с надеждой говорят и бывшие крестьяне, и рабочие, и интеллигенты. Впрочем, у интеллигентов шли острые споры – одни верили, другие сомневались, что режим способен смягчиться. В мемуарной книге «Люди. Годы. Жизнь» Илья Эренбург вспоминает потрясший его разговор с Ольгой Берггольц. Он приехал в Ленинград в первые дни после снятия блокады, и она – подлинная героиня тех лет, когда ее стихи поднимали дух блокадников и голос ее по радио внушал обессиленным людям надежду на избавление – казалось бы, могла ликовать, но этого не было... Эренбург выразил ей свое восхищение, а она вдруг тихо спросила: «Илья Григорьевич, как вы думаете, может теперь повториться тридцать седьмой год?» Такого вопроса он не ожидал и, может быть, даже от самого себя скрывая растерянность, стал уверять, что после такой войны ничего подобного быть не может. Ольга Берггольц слушала молча, но на всю оставшуюся жизнь запомнил Эренбург ее горько скептическую улыбку. (Годы спустя мой отец встретится с этой незаурядной женщиной и многое узнает о ее трагической судьбе. Его письмо об этом я приведу позже.)

Мои родители в День Победы были очень молоды, им так хотелось верить, что теперь возможно будет радостно и творчески работать. И еще не знал мой отец, до какой степени пророческими окажутся через несколько лет эти слова: «Ты вздрогнешь совсем по-иному...»

«Предусматривали ли мы, предусматривал ли Лев Ефимович <...> такой разгул послевоенного деспотизма? <...> Конечно, некоторые, и немалые, элементы реакции, вроде ограничения приема евреев в вузы и на целый ряд руководящих должностей, не могли не бросаться в глаза, но такого размаха, который приобрело все это в 1949–1952 годах, никто из нас, естественно, представить себе не мог...» – так много лет спустя осмыслили то время самые талантливые студенты из первого киевского выпуска моего отца – Владимир Шляпентох, впоследствии известный политолог, и историк Михаил Лойберг.

Но какое-то время для веры, надежды и радости еще оставалось. Мои родители вернулись в родной университет, о котором так лирически проникновенно говорится в романе – «Там наше начало, там юность, Антон!»

Поэзия университетской жизни дана в романе глазами пожилого университетского преподавателя.

Прожогин прошел под балконом театра,  
Свернул на Владимирскую и подумал:  
Как радостно знать, что он будет и завтра  
В науке, в заботах, в студенческом шуме.

И он не сменял бы на громкую славу  
Свой город любимый, и улицу эту,  
Где по морю снежному плыл величаво  
Отстроенный корпус Университета.

И вдруг он ускорил шаги. Захотелось  
Скорее туда, в это красное зданье,  
Где тишь коридоров развеяна гулом  
Студенческих встреч и неожиданных свиданий.

Эта вдохновенная атмосфера показана и через восприятие вернувшегося с фронта студента.

Приятно товарищей встретить, приятно  
Сидеть за просторным столом, и опять  
Профессора слушать, и мир необъятный  
Всесильною творческой мыслью объять...

Здесь явно слышится лирическая память о юности автора, которому поначалу казалось, что после возвращения в Киев университетские двери приветливо распахнулись перед ними. И если так, то это была заслуженная честь: мои родители читали блестящие лекции, которые и через много лет восторженно вспоминали самые разные люди.

Вспоминает бывший киевский студент-филолог Михаил Гилелах, ныне израильский журналист.

«Те, кто слушал лекции по новейшей истории, которые читал в конце 1940-х годов в Киевском университете Лев Кертман, наверняка согласятся с тем, что крылатое выражение «Луч света в темном царстве» было к ним вполне применимо. Ведь мы поистине жили в ту пору в царстве беспардонной лжи. Особенно когда речь идет об истории. Ее нам читали в буквальном смысле слова. Преподаватели не отрывали глаз от конспектов, утвержденных на кафедре, проверенных высшими инстанциями. Один из студентов однажды подшутил: в перерыве перевернул несколько страниц такого конспекта назад. После звонка преподаватель продолжил чтение. Его остановил только громовой хохот студентов. Доцент читал уже прочитанную на прошлой неделе лекцию. Начальство и не подумало наказать «чтеца». Искали студента-шутника. К его счастью, не нашли.

Но у Льва Кертмана никаких конспектов никогда не было. Он не входил в аудиторию – он вбегал в нее, на ходу швырял на кафедру шляпу и бросал на стул макинтош (тогда они были модны). Потом начинал говорить, никуда не заглядывая, безошибочно называя имена и даты. Конечно, он не мог не опираться на высказывания классиков марксизма-ленинизма, но, странное дело, это не снижало уровня его лекций. (Вспоминаю, как папа учил меня, когда я писала диссертацию о Джоне Голсуорси, находить у классиков марксизма-ленинизма такие цитаты, какие можно обернуть в свою пользу, подкрепив какую-то вполне общечеловеческую мысль. – Л. К.) Их слушали, затаив дыхание. Слушали не только те, для кого лекции непосредственно предназначались, но и все, кому посчастливилось попасть в аудиторию. Это были студенты самых разных факультетов, зачастую негуманитарных. Если не хватало места за партами, садились на пол. И в напряженной тишине Кертман рассказывал о событиях вековой давности так, словно они

происходили вчера. Перед нами вставали не выразители тех или иных классовых интересов, а живые люди с их достоинствами и слабостями. (Именно это вскоре будет поставлено моему отцу в вину. – Л. К.) Мы узнавали о них то, чего ни в каких учебниках не было.

Когда звучал возвещавший об окончании лекции звонок, Кертман исчезал так же стремительно, как и входил, одеваясь на ходу. Но его нередко останавливали бурными аплодисментами, букетами цветов».

Здесь уместно еще раз вспомнить уже процитированные в предыдущей главе слова другого бывшего киевского студента, в шестидесятые годы встретившегося в Москве с пермской ученицей папы Софьей Орловой. Он говорил, что на лекции Кертмана, как и на лекции Грановского, сбегались слушатели с других факультетов и других вузов, и не только студенческого возраста.

В. Шляпентох и М. Лойберг подробно и ярко рассказали не только о тех незабываемых лекциях, но и о том, какое впечатление на молодежь производил молодой лектор в свободных беседах вне вузовских стен.

«Авторов этих строк, очевидно, можно считать самыми старшими по возрасту (если не сказать, попросту старыми) учениками Льва Ефимовича Кертмана. Мы познакомились с ним вскоре после окончания войны в Киевском государственном университете. Мы были студентами исторического факультета, а он доцентом КГУ и читал нам курс новой истории. В конце сороковых годов наши дороги разошлись: он уехал (вернее, как говорится, «его уехали») в Пермь, а мы – кто куда. Но на всю жизнь мы со Львом Ефимовичем остались близкими друзьями.

На нашу долю, таким образом, выпал рассказ о счастливом и одновременно очень несчастливом периоде жизни нашего первого, по сути, институтского учителя. Первого, конечно, не в хронологическом смысле, а потому, что никто из вузовских преподавателей ни до, ни после него не оставил в наших (и не только в наших) душах такой глубокий след. <...> Льву Ефимовичу, когда мы с ним познакомились и подружились, оставалось работать и жить в Киеве всего несколько лет.

Как бы там ни было, именно в первые послевоенные годы Лев Ефимович Кертман приобрел в университете и, без пре-

увеличения, во всем Киеве поистине огромную популярность. Молодость (30 плюс-минус 2), приятная внешность, мягкое, ни в коем случае не обидное для собеседников, остроумие и эрудиция...

Несомненно, Лев Ефимович был одним из самых образованных людей в Киеве. И сейчас, например, свободное владение материалом знаменитого романа Марселя Пруста, несмотря на сравнительно недавнее переиздание ряда томов, встречается, мягко говоря, далеко не на каждом шагу. А тогда? То же можно сказать и об «Улиссе» Джойса. Думается, на весь наш город число людей, просто знающих, кто это такие (хотя бы не путающих, как это часто бывает и сейчас, Пруста с Прусом, автором «Куклы»), вряд ли превышало пару десятков. Лев Ефимович не только свободно вел беседу в рамках знаменитого романа, но и, что было особенно интересно, накладывал прустовскую социопсихологическую структуру на историю Третьей республики (кстати, несколько томов «Поисков» Пруста выходили в тридцатых годах с предисловием Луначарского, а часть «Улисса» была напечатана в «Интернациональной литературе»; таким образом, незнакомство с этими шедеврами не имело исключительно полиграфическую причину).

Под стать этому были и его морально-этические качества. Ни тени снобизма. Сознывая, очевидно, свою популярность в Киеве, Лев Ефимович был исключительно доступен и открыт для равной беседы со студентами. Познакомившись постепенно с ним ближе, мы в полной мере ощутили его демократизм, дружелюбие, человеческую отзывчивость...

Краеугольным, как говорится, камнем необычайной популярности Льва Ефимовича являлся его лекционный университетский курс новой истории. Один из авторов этих воспоминаний к тому времени успел прозаниматься год в Московском университете, слушал лекции тогдашних корифеев исторической науки, но ни один из московских курсов, самих по себе вполне профессиональных, не произвел на него того чарующего впечатления, как курс молодого киевского доцента. Разгадка заключалась не в каком-то особом красноречии (хотя Лев Ефимович говорил очень хорошо) и не в историографической эрудиции (хотя основные контрверзы по тем или иным проблемам им обязательно приводились). Дело в том, что ссылка



на мнение, скажем, Олара, или Матъеза, или Тарле эффективно только тогда, когда сам слушатель знаком с этими авторами, тогда лектор дает коррекцию к истине.

<...> Особый эффект курса Льва Ефимовича состоял в том, что лектор на кафедре как бы размышлял вслух, приглашая слушателей принять участие в разговоре. Мы написали: «как бы размышлял», поскольку в этом, возможно, состоял своеобразный артистизм лектора. Что ж, такой артистизм заслуживает искреннего восхищения. Недаром самая высшая степень театрального артистизма – это когда кажется, что актер, как говорится, живет на сцене. По аналогии можно сказать, что наивысшая степень артистизма педагогического – это когда лектор мыслит прямо на кафедре. Так или иначе, обе высшие точки артистизма укладывают аудитории, что называется, наповал. Именно так и было с лекциями Льва Ефимовича, где в полной мере царил Его Величество Разум».

Надежда Гашева справедливо замечает, что «Его Величество Разум» был в те годы не в чести, и его носителям вскоре пришлось горько почувствовать это... Что же касается артистизма, он в папиных лекциях безусловно всегда присутствовал, но остается вопрос: «как бы» размышлял вслух или в самом деле размышлял? П. Ю. Рахшмир, который слышал лекции моего отца в Перми в самые разные годы – и в пятидесятые, когда был студентом, и позднее, уже его коллегой, – утверждает нечто противоположное сказанному В. Шляпентохом и М. Лойбергом.

«Его лекции увлекали и тем, что слушатели могли воочию наблюдать творческий процесс в самом высоком смысле слова. Во время лекций рождались новые мысли и идеи (в перерыве Лев Ефимович частенько фиксировал эти находки либо в записной книжечке, либо на отдельных листках), незапрограммированные повороты в изложении материала. В своих методических построениях Л. Е. Кертман гораздо строже, чем в реальной деятельности, в которой импровизация занимала изрядное место...»

Значит, Павел Юхимович сам видел, как папа фиксировал в перерывах новые мысли, возникавшие по ходу лекции – это бесспорно убедительное доказательство реальности разворачивающегося перед студентами творческого процесса! Владимир

Шляпентох всегда бывал взволнованно внимателен к таким вещам, и если позднее, когда вышла книга «Мир личности», он прочел воспоминания Павла Рахшмира, эта подробность должна была очень заинтересовать его.

П. Ю. Рахшмир тоже родом из Киева – его родители остались на Урале после эвакуации. В большой статье о моем отце он рассказывает об одной своей родственнице, учившейся в послевоенные годы на истфаке Киевского университета. Она тоже на всю жизнь запомнила лекции Льва Ефимовича Кертмана, по ее словам, они часто заканчивались аплодисментами и цветами.

Очень высоко отзывался о лекторском таланте папы и Яков Ильич Гордон – литературовед и писатель, близкий друг родителей еще со студенческих лет. «Я считаю его одним из самых лучших ораторов, которых мне приходилось слушать», – написал он в письме маме, а в своей книге («Исповедь агента иностранной разведки») остановился на этом подробнее. «Мне приходилось слушать ряд лекторов, обладавших особым красноречием. Это и партийные деятели (Троцкий, Луначарский, Чубарь, Петровский), и ученые – Е. В. Тарле, А.И. Белецкий – директор института литературы, вице-президент АН УССР, и писатели – Илья Эренбург, Леонид Первомайский, Андрей Малышко. Среди них не последнее место занимал Л. Е. Кертман, умевший взглянуть на события с неожиданной стороны, обладавший чувством юмора и особой доверительностью, которые очаровывали слушателя. Его лекции по международному положению в Казани и Киеве военного времени собирали огромную и темпераментную аудиторию».

Когда в 2008 году издавалась книга о маме («Свеча горела...», Пермь), составителям уже почти не удалось собрать письменные свидетельства киевлян, слушающих ее лекции. Но я не раз встречала – в разные времена и в самых неожиданных местах (в поезде, в самолете, в туристической поездке в дальнюю страну, на цветаевских конференциях в Москве и в Тарусе) – бывших киевских студентов тех времен, когда там работали мои родители. Все очень хорошо помнили их, и стоило мне назвать свою фамилию, начинали тепло вспоминать и мамины лекции.

В последний раз такая встреча случилась в Израиле, где я живу сейчас, несколько лет назад. Гуляя по Хайфе, мы с моим

мужем Равилем увидели объявление о «литературных посиделках Ирины Бабич». Это имя в тот момент ничего нам не говорило, хотя в Израиле оно известно. Талантливая журналистка и писательница Ирина Бабич много лет вела интересную передачу на популярном русскоязычном радио РЭКА, а до этого много лет была известной журналисткой в Киеве. Название очередного вечера – «Февраль. Достать чернил и плакать...» – не могло не привлечь. На литературные посиделки уже много лет собирались хорошо знающие друг друга люди, и Ирина Борисовна, естественно, сразу заметила новые лица. Быстро записав наши имена и фамилии, Ирина приступила к лекции, в которой прозвучало, что она оканчивала филфак киевского университета в сороковые годы. Тут уж, естественно, мы с Равилем вздрогнули, и у меня возник «ряд вопросов», так что уже я не могла не подойти к Ирине после лекции для более подробного разговора! Ирина попросила меня еще раз назвать свою фамилию. И... такой реакции я не ожидала! Она схватила меня за руки и со всей киевской экспансивностью воскликнула: «Боже мой! Мне сразу показалось, что эта фамилия мне очень знакома, но в суете недодумала! Так вы дочка Льва Ефимовича и Саррочки?! Как мы их любили! Запишите мой телефон, нам обязательно надо встретиться в неторопливой обстановке!»

Позднее Ирина рассказала, что, вернувшись в тот вечер домой, она, несмотря на позднее время, не выдержала, позвонила в Киев бывшей однокурснице и ошеломила ее, воскликнув: «Ни за что не угадаешь, кого я сегодня держала за руку! Дочь Льва и Сарры!» И подруга, как я поняла, была взволнована не меньше Ирины.

Мы подружились, и Ирина постепенно многое рассказала мне о студенческой жизни в послевоенном Киеве. Мамины лекции по советской литературе она вспоминает с восторгом – даже в самых, по ироническому определению Ирины, «идейно выдержанных» произведениях соцреализма, входящих в обязательную программу, обойти которую было невозможно, мама умудрялась находить хоть что-то общечеловеческое, способное в любые времена взволновать молодых людей, что-то такое, о чем можно было говорить не железобетонным языком и без сугубо классовых подходов. Но самые волнующие воспомина-

ния связаны у Ирины, как и у многих ее подруг, с маминими лекциями о поэзии. Слушатели были поражены ее потрясающей памятью и, конечно, захватывающе эмоциональным чтением самых разных стихов. И тонкими комментариями тоже. На маминих лекциях звучали – разумеется, без всяких записей! – и стихи ее любимых поэтов военных лет: Константина Симонова, Павла Антокольского, Ольги Берггольц, Маргариты Алигер. Но не только – вот тут она решалась выходить далеко за рамки программы, знакомя студентов с поэтами Серебряного Века (с теми, чьи имена не были окончательно запрещены). Тут, впрочем, бывало непросто...

В особенно трудное положение (как и все относительно свободно мыслящие интеллигенты, и прежде всего, преподаватели советской литературы). Мама попала в 1946 году после печально известного доклада Жданова о «порочной политике» журналов «Звезда» и «Ленинград» и партийного постановления, клеймящего Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Даже промолчать было невозможно, требовалось читать это постановление в школах и вузах, естественно, без комментариев, как не подлежащий обжалованию официальный документ.

Ирине хорошо запомнилась та мамина лекция. В абсолютно не свойственном ей стиле, не глядя на студентов, не отрывая глаз от текста, тусклым и скучным голосом прочитала она постановление («так, чтобы умные поняли!» – прокомментировала Ирина), а потом, якобы для иллюстрации «непозволительно камерного» характера лирики Ахматовой мама совсем другим голосом прочитала ее стихи! Такой вот не тривиальный ход. И это чтение, разумеется, запомнилось студентам гораздо лучше, чем все, что прозвучало до этого. Так мамини слушатели, многие из которых прежде не знали стихов Ахматовой, услышали их задолго до того, как они вновь стали разрешенными.

Я забыла сказать, что в 1944 году мама вернулась в аспирантуру к своему руководителю – профессору Д. Е. Тмарченко, у которого начала заниматься до войны, и сразу начала увлеченно работать над кандидатской диссертацией на тему «Творчество А. П. Чехова и его влияние на английскую литературу». Это происходило в первые два года моей жизни, и мама всегда уверяла, что моими первыми словами были «мама», «папа» и «диссертация». Это похоже на правду.

Папа очень поддерживал ее – он всегда хотел, чтобы мамины способности не были задавлены бытом, чтобы она жила творческой жизнью.

...Не потерян навеки и черту не продан  
Жар огромной души и безвестных затей.  
Эти двадцать четыре отщелкнувших года –  
Затянувшийся звон увертюры твоей.

Но пора начинать! Никогда иль сегодня...

Так написал он в декабре сорок первого года в поздравительных стихах к маминому дню рождения.

Папа разделял мамино увлечение английскими писателями, особенно теми, в ком она видела талантливое и своеобразное следование традиции ее любимого Чехова. С этим увлечением связано одно интересное приключение. В 1946 году Советский Союз посетил английский драматург Джон Бойнтон Пристли, какое-то время он пробыл в Киеве. Мама читала все его пьесы, не переведенные папа переводил ей, читая с листа. И незадолго до приезда знаменитого писателя в Киев родители были сильно впечатлены спектаклем по его пьесе «Опасный поворот». Кажется, это был гастрольный спектакль одного из известных московских театров. Однажды много лет спустя они подробно рассказывали мне эту пьесу, по ходу поправляя друг друга, уточняя подробности. Мне очень запомнилось, как эмоционально вспоминали они потрясший их финал первого действия: «Они возвращаются!» (Хозяин дома, взволнованный начавшей открываться неприглядной и страшной правдой, в которую он не хочет верить, несмотря на поздний вечер, звонит только что разъехавшимся гостям, и те соглашаются вернуться для серьезного разговора. Значит, каждый из них встревожен, каждому есть что скрывать!) Слова эти – «Они возвращаются» – ошеломляли, предвеля неведомые психологические открытия, которые грянули во втором действии.

Думаю, то впечатление особенно подхлестнуло авантюрное желание моего молодого отца проникнуть к зарубежному гостю и, мобилизовав все свое знание английского, неформально пообщаться с ним. Нечего и говорить, как непросто это было

сделать. И непросто, и опасно (впрочем, похоже, опасности они до конца не понимали). Не знаю «технических подробностей» – не догадалась расспросить! Может быть, папе помогли былые интуристовские связи, но факт налицо: мой отец был допущен в гостиничный номер и приветливо принят почтенным Джоном Бойнтоном Пристли и его супругой (думаю, что англичанам было любопытно поговорить с культурным советским молодым человеком без переводчика). Более того, папа сумел договориться о визите на следующий день – с женой, пишущей работу о Чехове и английской драматургии: «Моя жена очень любит Ваши пьесы, она пишет и о Вас тоже!» И была чудесная встреча... Недавнее сильное театральное впечатление дало хороший творческий толчок к интересной беседе: мама задавала много вопросов, папа переводил. Они с радостью убедились, что мама не ошиблась, интуитивно предположив, что, судя по многим тонким нюансам его пьес, Д. Б. Пристли любит Чехова.

Все это прекрасно, но мне даже сейчас страшно представить, как эта встреча могла отозваться в судьбе родителей. Приближался 1949 год, когда папа был объявлен «безродным космополитом», и какое дело могло быть состряпано, если бы кто-то из обвинителей узнал об этом визите! Чудом обошлось.

В 1946 году мама с блеском защитила диссертацию, одним из оппонентов был известный в Киеве профессор А. И. Белецкий, старинно благородный русский интеллигент. Он очень высоко оценил работу и творческий потенциал диссертантки – и не отказался от этих слов в опасном 1949 году, таких людей было немного... Все время, не желая этого, начинаю забегать вперед – страшная тень этого года невольно падает на предыдущие, заставляя обостренно чувствовать хрупкость той их, казалось, наконец налаженной жизни. Но это происходит от знания всего, что было дальше, а они ведь не знали. Об этом надо помнить – иначе не понять, что эти быстро промелькнувшие годы были во многом счастливыми.

Была радость творчества. Следующие строки из папиного романа – об одном из его героев, но ведь и о нем самом тоже!

Бурчак написал эти строчки, не зная,  
Насколько их голос могуч и велик,

Насколько всесильно себе подчиняет,  
И раз уже вырвался строчками крик –  
Возникнет, как жажда, горячка ночная:  
Писать и писать, хоть письмо, хоть дневник.

Я тоже случайною строчкой однажды  
Обжегся, как ветром палящим пустыни,  
И не остудить ни годами, ни даже  
Безвестностью милой моей героини –  
Святая и неукротимая жажда  
Влечет меня к струям искусства поныне.

А еще – радость научного поиска:

Писать, перечеркивать строчки, и снова  
Писать, проверяя их подлинный смысл,  
Чтоб самому верному, точному слову  
Доверить ту в муках рожденную мысль

Но не только это делало их счастливыми. В папиной поэме,  
как писал мамин любимый Чехов о своей «Чайке», «сто пудов  
любви».

Приведу еще один большой отрывок из романа – иначе  
нельзя почувствовать атмосферу тех лет.

Решительно снял телефонную трубку.  
Кому б позвонить? Не решил второпях...  
И вдруг увидал запущенную шубку  
И шапочку лисьего меха в дверях.

– Линушка! Я жду тебя целую вечность!  
К себе ее, мокрую, в шубке, привлек,  
Помог ей раздеться и обнял за плечи,  
И выпил губами снежинки со щек.

– Замерзла? Иди же к дивану скорее,  
Придвинься поближе, я руки согрею.  
Устала? Устрою тебе возвышенье,  
Ложись головою ко мне на колени!

Устала, я знаю: глаза потускнели.  
А может, родная, устроить в постели?

Раздену, укрою – лежи на здоровье,  
Подушки горою сложу к изголовью.  
Стихи почитаю. А впрочем, не надо.  
Налью тебе чаю и рядом присяду.

– Спасибо, Антоша! Сиди без движенья!  
Я даже гадала, считая ступени:  
Пришел ты? А может, еще не пришел?  
Я так полежу, у тебя на коленях:  
Мне так хорошо, хорошо, хорошо.

Отхлынула сразу куда-то усталость,  
Исчезла в заботливых теплых руках.  
Прошло раздраженье, но все же осталось  
Томленье тревоги и тяжесть в висках.

Но это он тоже как будто почувал,  
Губами коснулся волос и щеки,  
Большие глаза упоенно целуя,  
Ладонями, пальцами гладил виски.

– Какие целебные руки и губы!  
Мне так голова разболелась, что тут бы  
Не спас от нее никакой порошок...  
А ты поцелуешь, погладишь, полюбишь –  
И мне хорошо, хорошо, хорошо.

И долго молчали, стараясь подслушать  
Тот миг, пережитый донныне стократ,  
Когда воедино сливаются души  
И в счастье невиданной птицей летят.

Как в листике каждом – а их миллионы,  
Природой рисунок по-своему свит,  
Великая тайна – молчанье влюбленных –  
По-разному всем говорит о любви.

Что им говорило молчанье – случайно  
Я знаю. – Нам тоже молчалось вдвоем!  
Но пусть это так и останется тайной –  
Чертой, за которую мы не пойдём.

И еще одно счастье... В первые послевоенные годы поезда привозили немногих живых друзей, по разным причинам вернувшихся позже, и все, кто был в Киеве, дружной компанией встречали их на вокзале. Вернулся Юзик Чигиринский! Давно уже не верилось, что когда-то он пришел в их студенческую компанию со стороны – Юзик не учился в университете, его привела Рая, но независимо от Раи он стал близким другом многих ее друзей. Юзик обладал таким естественным благородством и талантом верной дружбы, что внушал безграничное доверие, оправдавшееся всей его жизнью. Очень теплым и трогательным человеком он был, и мои родители, как и другие друзья, любили его как-то по-особому, по-родственному. Это чувство потом передалось детям друзей. Мы с двоюродными сестрами всегда вспоминаем Юзика с большой нежностью.

Какой радостью было его возвращение! Со слезами на глазах... Вести о Юзике не сразу дошли до его родителей, слава Богу, успевших эвакуироваться. У них не было такого связующего звена, как адрес Симона у моих, и связь была надолго потеряна. Восстановить ее стало возможно только после освобождения Киева. Друзья все это время тоже ничего не знали, думали, что Юзик пропал без вести. И вдруг телеграмма – едет! Юзик на фронте потерял ногу и долго мыкался по госпиталям. Встречать его на вокзале собралось особенно много народу. Пришли Юра Перлин с женой, Яша Гордон, недавно вернувшаяся из Казани Рая, Валя Козлова, знакомая с мамой по 45-й школе, Люся Погребинская (вдова погибшего Бориса), еще многие друзья Юзика и, конечно, мои родители.

Вернулся! Все то же родное доброе лицо! Юзик приехал не один, он женился на фронтовой медсестре, которая выходила его – милой, тихой, глубоко преданной ему женщине. И глаза Юзика, в прежние годы так часто грустные, теперь светились благодарной нежностью. Все годы потом это была очень дружная пара. Благодаря Нине Юзик всегда ощущал надежный тыл

за спиной, и это помогло ему заочно окончить полиграфический институт и обрести новую профессию. Вскоре у Нины и Юзика родился сын. Друзья радовались за них и растроганно приняли Нину в свою компанию.

В первые послевоенные годы, радостно общаясь с оставшимися старыми друзьями, мои родители обрели и несколько новых. С Броней Райзман мама познакомилась на вступительных экзаменах в аспирантуру. Мама уже защитила диссертацию и была в приемной комиссии, а Броня сдавала, и мама была восхищена ее эрудицией, интеллектом, логикой и блеском отточенного стиля. В то время мама еще легко сходилась с людьми, и они быстро подружились. Папа тоже высоко оценил Броню как интересную собеседницу – он всегда говорил, что это единственная женщина из всех, кого он знает, которую искренне и всерьез, «в чистом виде» интересуется международная политика, философские вопросы и многое другое, интересующее и его, что Броня умеет слушать, не перебивая и не отвлекаясь на суету, и мыслит нестандартно.

Если из сказанного невольно складывается впечатление, что Броня была чуть ли не «синим чулком», то это абсолютно не так – совсем нет! Личная жизнь Брони была сложной и разной. Ее первый муж погиб на фронте, через два года после войны – как раз в те годы, когда родители сблизились с ней, у нее начался роман, привлечший внимание «всего Киева». Профессор Давид Евсеевич Тмарченко – мамин научный руководитель – был больным человеком: после какой-то детской болезни и неправильного лечения его ноги стали неподвижны, передвигаться он мог только в инвалидном кресле. Но он был так умен, галантен и обаятелен, что очень нравился женщинам, и отнюдь не платонически! По Киеву бродили разные романтические истории: как он сбежал от первой жены ко второй – якобы Давида Евсеевича в инвалидном кресле спустили ночью из окна. Вторая жена не стала последней – он был женат четыре раза. «Что же подделаешь, ему каждый раз надо было жениться!» – комментировал папа с ироническим мужским сочувствием.

Броня стала третьей женой профессора Тмарченко. У них была большая разница в возрасте, она им восхищалась и смотрела на него снизу вверх. Но в семейной жизни что-то не

складывалось, и это стало понятно довольно быстро. Похоже, немалую роль в этом сыграла властная мать Давида, всю жизнь прожившая вместе с ним. Будучи и сам человеком весьма властного характера, матери он со странной покорностью подчинялся, а она за что-то невзлюбила Броню. Скорее всего, ей вовсе не нужна была такая интеллектуальная невестка, а на роль хорошей и покорной хозяйки, самоотверженно служащей мужу, Броня, несмотря на все старания, не годилась. Они прожили чуть больше года, затем мудро и спокойно обсудили ситуацию и мирно разошлись, на всю жизнь оставшись друзьями. Броня ушла из знаменитого в Киеве дома Мороза (с детства хорошо помню этот внушительный дом, стоящий на углу улиц Владимирской и Толстого). Давид Евсеевич на какое-то время вернулся к своей второй жене, матери их двух сыновей (точнее, она вернулась обратно в дом Мороза). Броня никогда не сказала о Давиде Евсеевиче ни одного дурного слова.

Через какое-то время в ее жизни появился новый человек. Если Давид Евсеевич был намного старше Брони, то будущий третий муж был на двенадцать лет ее моложе. Лёва, тогда еще студент-математик, в начале их романа и семейной жизни благоговел перед Броней. Позднее стало по-другому, и он принес ей много страданий. За это – и не только за это – мои родители очень не любили его. Обижаясь за Броню, они бывали раздражены ее бесконечной терпимостью и говорили, что, при всем ее уме, есть в ней что-то от чеховской Душечки. Им это категорически не нравилось. Броня часто советовалась с ними, многим делилась, и папа каждый раз вникал в исповеди и выступал в роли «мудрого ребе». К тому времени все они разъехались, встречи были не очень частыми, и многое обсуждалось в переписке. В родительском архиве хранится много писем Брони... Но я опять забежала далеко вперед.

Забыла сказать, что Броня была близкой приятельницей Наума Коржавина, называла его Эмкой, он довольно часто бывал у нее и громко обрушивал на ее голову разные обличительные тирады и иногда – раздумья о вожде всех народов. Коржавин продолжал их, даже когда уже стоял у двери и вроде бы прощался. Мама один раз столкнулась с ним у двери Брони – он уже уходил, но все продолжал свой монолог. Броня испуганно

унимала его, боясь, что услышит кто-нибудь из поднимающихся по лестнице в этот момент.

Однажды Броня со смехом рассказала родителям об очередной эскапде Эмки Манделя. Он ехал в трамвае без билета и без копейки денег в кармане, был пойман контролером и препровожден в милицию. Велено было написать объяснительную записку, которая будет приложена к делу безбилетника, и он написал:

У меня немного денег,  
Отпустите мне грехи!  
Я веселый шизофреник,  
Сочиняющий стихи!

И его отпустили! Такие эпизоды расслабляли мягкотелых интеллигентов, создавая иллюзию беззаботности.

С Броней мои родители встречались чаще отдельно – с ней интересно было разговаривать в тишине, в их компании она почти не бывала (впрочем, при Давиде Евсеевиче Броня вольно или невольно вела довольно замкнутый образ жизни).

Еще один новый человек в компании родителей – Борис С., за которого Валя Козлова вышла замуж после войны. Впрочем, и с самой Вале, с которой мама была шапочно знакома еще со школы, теснее стали общаться после войны. (Это Валя рассказывала мне, как в день освобождения Киева их – молоденьких девчонок-киевлянок – пропускали вперед, в центр круга.)

Валин первый скоропалительный брак, о котором друзья мало что знали, так как дело происходило в эвакуации, быстро распался. Валя вернулась в Киев со старым отцом (мамы она лишилась в 17 лет), и летом сорок четвертого года родила дочку – мы с Алей явились на свет почти одновременно. Они тоже жили на улице Саксаганского, недалеко от нас. Вале трудно было одной справляться с ребенком, и она обратилась за помощью к моей бабушке, известной своей опытностью в таких делах. Поначалу бабушка отнеслась к Вале сочувственно и согласилась по мере своих сил «пасти» Алю – наши коляски стояли рядом, позднее Аля вместе со мной ходила в бабушкину группку (о которой расскажу чуть дальше). Потом бабушка жалела уже только ребенка, а к Вале относилась

все более критически. Даже если бабушкины суждения бывали иногда чрезмерно категоричными, некоторые основания для них, безусловно, были. В семейный фольклор вошли и часто с юмором цитировались «бессмертные» Валины слова: «Детям нужна здоровая красивая мама!» Под этим лозунгом Валя могла позволить себе, например, съесть шоколадку, подаренную ей для ребенка. Однажды такое произошло на глазах моей бабушки, и та была безмерно шокирована.

Красота и здоровье у Вали были, а еще была она игривой и кокетливой. И никак не была расположена «запереться» и жить жизнью одинокой женщины с ребенком – после всего пережитого в годы войны ей хотелось общаться, веселиться, флиртовать. И в этой ее непосредственности и жизненной силе было какое-то обаяние – иногда его называют «отрицательным», но не знаю... Валя ведь никогда и не стремилась казаться «положительной героиней». Честно признаюсь, мне она всегда нравилась. Не могу сказать, чтобы я любила ее так, как других маминих подруг, особенно Раю и Броню, но и во взрослые свои годы часто любовалась ею – иногда, правда, с некоторой иронической дистанции. Валя любила по секрету от родителей делиться со мной своей своеобразной жизненной философией, и это бывало очень любопытно. Вспоминаю, как я мирила их с Борисом... Но это было уже через очень много лет.

А в Киеве сороковых годов Валя тянулась к веселой и интересной родительской компании. Небольшая разница в возрасте (в 45-й школе мама училась на два класса старше) перестала иметь значение, и Валя с удовольствием стала бывать у нас. Правда, как раз тема возраста в ее устах неожиданно обрела забавный оттенок. Все они были так молоды, что казалось странным фиксировать внимание на не существенных различиях, но Вале очень хотелось выглядеть еще моложе. Впервые приведя своего Бориса к нам, она представила мою маму так: «Сарра была пионервожатой, я была в ее отряде пионеркой!» – «Ты не путаешь? – ехидно осведомилась мама. – Может, октябренок? Если сейчас ты это забыла, то уверена, скоро вспомнишь!»

«Вальке соврать ничего не стоит!» – мама говорила об этом без раздражения, как о любопытном психологическом феномене.

Борис сразу заинтересовал родителей. Он был похож на англичанина – холодноватые манеры, сдержанно ироническая улыбка, своеобразный юмор, артистизм. Борис не был коренным киевлянином. Не знаю, как и почему он после фронта попал в Киев. Впрочем, люди тогда редко распространялись о своем прошлом, и много расспрашивать было не принято.

Валя познакомилась с Борисом в институте, где преподавала английский (она окончила романо-германское отделение Киевского университета). Не знаю, был ли он тогда студентом (послевоенным – «возрастным») или уже ее коллегой. Очень смешно изображал Борис эпизоды из своей преподавательской жизни, один мне особенно запомнился. «Как вас зовут?» – спрашивал он по-английски великовозрастного мужика. Тот медленно вставал, демонстрируя внушительную крупногабаритную фигуру, и отвечал мощным басом: «Май нэйм из...» – и неожиданно тонким, каким-то детским голосом заканчивал: «Изя!» Хохот стоял неудержимый, даже я понимала, как это смешно.

Английским Борис владел блестяще – так, что его невозможно было отличить от англичанина. Собственно, к этому его и готовили, о чем никто из его киевских знакомых тогда, естественно, понятия не имел. Даже Валя не сразу узнала, какая жизнь им предстоит, с какими долгими разлуками...

Папа с Борисом с годами стали довольно близкими друзьями. Во всяком случае, у них бывало много частных разговоров, и Борис рассказывал многое не предназначенное для чужих ушей.

А пока у Бориса с Валей продолжалась молодая, веселая и почти беззаботная жизнь. Страстное взаимное увлечение, быстрая женитьба, Борис удочерил Алю, его мама стала помогать растить ее, и они с Валей могли позволить себе вечерами бывать в гостях, в театре. Они были колоритной парой.

Мама рассказывала, как однажды они всей компанией были на спектакле, кажется, по Оскару Уайльду, и на обратном пути, спровоцированный какими-то словами Вали (с ее буйным темпераментом трудновато было жить спокойно), пародируя реплику героя пьесы, Борис прямо посреди улицы упал перед ней на колени и с наигранным пафосом произнес: «Я больше вам не муж, как сказал ваш первый муж!»

В другой раз Валя ляпнула какую-то явную глупость, и кто-то из компании не смог удержаться: «Ты чего, Валька? Совсем, что ли, дура?!» Борис отреагировал быстрее, чем она, но... совсем не так, как ей бы хотелось! Он разыграл целый спектакль: прижал палец к губам и, как будто доверяя человеку большой секрет, театральным шепотом произнес: «Ш-ш-ш! Тише! Мы это скрываем!» Валя бурно обижалась, но быстро отходила.

И еще один новый человек появился в их компании. Встреча с ним определила судьбу Раи на всю оставшуюся жизнь. Анатолий Левитин... Рая встретила его через несколько лет после гибели Юлика. Этого человека она полюбила так, что навсегда закончились ее прежние метания. Рая поистине стала «верная супруга и добродетельная мать». А Толя стал маленькому Саше хорошим отцом. Он был талантливым архитектором, умным обаятельным человеком, много знал об искусстве, с ним было интересно.

Военная судьба Анатолия была тяжелой – он попал в плен, чудом выжил там (повезло, никто не выдал, что он еврей!) и в Киев вернулся не сразу после войны. Ни о каких подробностях его плена новым друзьям, естественно, не было известно. Много тогда было тем, которых избегали даже доверяющие друг другу люди.

\* \* \*

Кому-то может показаться, что я все время отклоняюсь от темы, но на самом деле я глубоко убеждена: без этих людей не может быть полноценной книги о моих родителях! Все это был их Киев, по которому они тосковали в прошлой и будущей насильственной разлуке, о котором так много рассказывали мне. Когда я вспоминаю их дружную веселую компанию сейчас, так много страшного зная о том времени, невольно думаю о какой-то мистической везучести этих много испытанных людей, и вспоминаются строки Николая Майорова: «Мы были высоки, русоволосы, / Вы в книгах прочитаете, как миф, / О людях, что ушли недолго, / Не докурив последней папиросы...». Эти прошедшие войну фронтовики вернулись и успели долюбить! Как счастливы были те молодые женщины, которых они любили! И те, которые дождались своих фронтовиков, как моя мама, как жена Юры Перлина, и те, кто встретил своих люби-

мых потом, как Рая и Валя! Как молоды и красивы были эти мужчины (не только светловолосые, темноволосые тоже) – Юра Перлин, Толя Левитин, Юзик Чигиринский, Борис С., мой прекрасный отец...

До сих пор я писала о том, «что было не со мной». Ведь все до сих пор рассказанное, как, впрочем, и драматические события, речь о которых пойдет в следующей главе, не входило тогда в поле моего зрения. Я узнавала эти сюжеты уже по рассказам родителей и их друзей – гораздо позже.

Теперь хочется хоть немного рассказать о том, что помню уже сама. Впрочем, на самом деле я уже начала делать это – ведь всех этих людей я ВИДЕЛА тогда. И любила их. И любовалась ими своими детскими глазами. Да и, в конце концов, я тоже была частью той жизни родителей!

«...В Киеве в 47 году, когда Линке было года три, она пришла со двора заплаканная и на вопрос, почему, ответила: «Леня во дворе сказал мне: «Лина», а не сказал «Линочка». Лев Ефимович отошел к окну, а когда повернулся, глаза были влажными: «Ты что?!» – «Я подумал, а что, если через пятнадцать лет ей скажут Лина, а не Линочка?» – так запомнился Нине Евгеньевне Васильевой рассказ моей мамы.

Об этой реакции папы – так похожей на него и так не похожей ни на кого другого! – я тогда не знала, но те свои слезы хорошо помню. Такой лаской была я окружена в своем киевском детстве (не только родительской и старшего поколения семьи, но и друзей родителей, и соседей, и в бабушкиной детской группе), что не представляла, как может быть по-другому, и искренне считала такое обращение обидным и грубым. Кстати, когда я встретила в Израиле друга своих дошкольных лет Сашу Гордона, мы сразу как-то естественно стали обращаться друг к другу, как тогда, и Саша однажды сказал, что так – «Сашенька» – к нему здесь никто не обращается, и что ему это по-особому дорого. Так всегда обращался к нему его папа.

Мы с родителями втроем, а немного позднее – с бабушкой, папиной мамой, жили тогда в единственной комнате коммунальной квартиры на улице Саксаганского, 46, на четвертом этаже, а рядом – на Саксаганского, 44, – бабушка Рива и дед Яков, мамины родители. Эти дома соединялись переходом через внутренние дворы. В доме № 44, в квартире на пятом



этаже, был большой, как в общежитии, коридор, и восемь комнат – по семье на каждую. «Система коридорная» – дальше все по Высоцкому!

Наша коммуналка была меньше – всего три комнаты (включая нашу). Но тоже на десять человек – «всего одна уборная» и одна раковина на кухне и для утреннего умывания, и для мытья посуды; горячей воды не было – кипятили. Парового отопления тоже не было – топили печи. Хорошо помню белую голландскую печку в углу нашей небольшой комнаты и длинный ряд сараев вдоль забора во дворе, у каждой семьи был свой сарай, там хранились дрова. Всей квартирой занимались грузчики – требовалось много раз подниматься с дровами на пятый этаж. На кухне стояли три небольших стола, три примуса. На входных дверях – расписание: кому звонить один раз, кому два и так далее; у нас – небольшой, но в других квартирах бывали очень длинные списки. Примерно раз в две недели на кухне устраивались большие стирки, в нашу квартиру много лет приходила одна женщина, по строго расписанной очереди она в большом корыте стирала на всех жильцов. Я ее хорошо помню – полная, добродушная, чем-то, хоть и не цветом кожи, похожая на жену дяди Тома на картинке в книжке, которую я задолго до чтения любила рассматривать. В кухне становилось очень жарко, и мне не разрешалось заходить туда и «крутиться у тети Гали под ногами», но я все же забегала – это казалось веселым приключением. Тетя Галя не прогоняла меня, наоборот, учила выжимать белье и позволяла «помогать» ей растягивать выстиранное. Я с трудом удерживала якобы доверенные мне края простынь, иногда не справлялась и падала, но и это было весело. Белье развешивалось в коридоре на длинных веревках, потом их убирали.

Хорошо помню, как однажды в дошкольном возрасте была поражена, когда в гостях у кого-то оказалось, что у них – «одних и тех же людей!» – есть не одна, а две комнаты! Вторая комната казалась мне таинственной, на дверь ее я смотрела со страхом – не представляла, что там можно просто жить. Впрочем, таких – владеющих целыми двумя комнатами! – в послевоенном Киеве было совсем немного (говорю, разумеется, о родительском окружении). И ванну, в которой можно лежать, я впервые увидела в 14 лет (еще не у нас!), так что когда читала

у Маяковского о вселении Ивана Козырева в новую квартиру, восторг героя – «Это!.. Да что говорить об этом! Это – ванная!» – был мне близок и понятен.

На всю квартиру был один балкон. К моему большому огорчению, не у нас. Впрочем, с этими двумя соседками, обладательницами балкона – синеглазой, с гордой, обвитой косами головой, красавицей Талочкой (Натальей) и ее мамой Марьей Фёдоровной – жили дружно, и они позволяли мне поиграть на их балконе. Зато когда у нас появился телефон, бабушка безропотно отвечала на многочисленные звонки поклонников Талочки и звала ее к телефону, только однажды взбунтовалась и поставила условие, чтобы не звонили после одиннадцати вечера. Смутно помню, что во время войны Мария Фёдоровна и Талочка были угнаны в Германию, но о рассказах об этом, конечно, и речи быть не могло.

Что-то совсем темное было связано с одиноким соседом, жившим в комнатке за кухней. Он был мрачен и агрессивен, угрожал Талочке, что напишет о ее «аморальном поведении», бабушке – о ее детской группке.

Об этом стоит рассказать подробнее. В пятидесятые годы бабушка организовала частную домашнюю группу дошкольников. За самыми маленькими приходилось ухаживать – одевать, умывать, кормить, но чаще в группе были пяти-шестилетние дети, их бабушка учила самостоятельному уходу за собой, проводила развивающие игры, чтения, в ее группе разучивались стихи, готовились концерты для родителей. В хорошую весеннюю и летнюю погоду бабушка целыми днями – примерно с 9 или 10 утра до 5-6 вечера – гуляла с детьми в старом ботаническом саду за университетом или в парке Шевченко.

Я была в группе бабушки и все свое дошкольное детство, и приезжая на лето в первые годы школьных каникул. В этих садах встречалась в те годы не одна подобная группка, каждая занимала свою «узаконенную» скамейку – помню имена других воспитательниц: Марья Давыдовна, Берта Борисовна.

Такие воспитательницы небольших дошкольных группок назывались в киевском быту старинным словом «фребелички» – оно было мне знакомо с раннего детства. Очень удивлялась, что многие москвичи и уральцы его не знали. Имя австрийского педагога А. Фребеля, разработавшего систему дошкольного

воспитания, было хорошо известно в Киеве, особенно бабушкиному «дореволюционному» поколению культурных горожан, в сороковые и пятидесятые годы еще активно действующему. В конце XIX века в России появилось несколько фребелевских обществ, а в 1908 году в Киеве был создан Фребелевский институт с трехлетним сроком обучения. Это было единственное в Европе высшее учебное заведение, которое готовило педагогов дошкольного обучения, и единственное в те годы в России, где можно было обучаться девушкам. Киевская молодежь начала XX века гордилась этим.

Моя бабушка не училась на этих курсах, но много рассказывала мне о них. Она с молодых лет увлекалась идеями Фребеля, на фребелевских курсах занимались ее подруги, и она брала у них учебники. Помню, что многие знакомые часто советовались с ней на психологические темы – именно про обращение с маленькими детьми. (Этот ее интерес очень ощутим во многих письмах из Киева в Молотов, где много заботы о моем воспитании.)

Я с радостью увидела в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» подробное описание этих курсов, которое сразу оживило в памяти бабушкины рассказы... Вообще в молодости героини Улицкой – еврейской девушки, переименованной в «Марусю», я увидела много похожего на молодость бабушки: тяга к просвещению людей из народа, репетиторство, занятия в рабочих кружках, свободолюбивые настроения... Бабушка даже угодила – вовсе не будучи такой уж политизированной! – в какой-то эсеровский кружок и десять месяцев просидела в астраханской тюрьме. Она всегда тепло вспоминала о безукоризненно вежливых надзирательницах, жалеющих «глупых девушек»...

Мрачного соседа в нашей коммуналке все боялись – он в самом деле писал жалобы. Когда тетя Хана, живущая в те годы на Лукьяновке, далеком районе, куда поздним вечером было страшно возвращаться, оставалась ночевать у нас с бабушкой (это было уже после отъезда родителей на Урал), несколько раз поздним вечером приходил участковый милиционер, требовал паспорта. Слава Богу, что у тети Ханы была киевская прописка, но милиционер все равно журил ее: «Ночевать надо по месту прописки!»

Был у нашего дома на Саксаганского двор с очень высоким, доходящим до четвертого этажа тополем, с балкона я видела его вершину очень близко. Я совсем недолго прожила в этом дворе, но это был первый двор моего детства. Это место – и двор, и тот квартал, что соединяет Тарасовскую и Владимирскую, и дворы моих бабушек, неизменно вызывает у меня лирическое волнение каждый раз, когда прихожу туда. Очень грустно было, когда в один из приходов я увидела, что срублен с детства дорогой тополь. И цветные стекла в парадном – такие были только на нашем этаже! – заменили на обычные...

У родителей с этим адресом никогда не было связано особой лирики, меня это долго огорчало, и только когда повзрослела – поняла.

Но мои первые сознательные воспоминания связаны именно с этим местом. Короткие кадры. Папа везет меня на санках, навстречу дед Яков (отец мамы). Это была случайная встреча, остановились, о чем-то поговорили, я смотрю на них снизу и не сразу узнаю деда в зимней одежде. Долго смотрела на него, как на незнакомого, даже реветь собралась, но потом узнала, удивилась и обрадовалась. И как-то дошло до детской головы, что вот идут мимо незнакомые люди, и они нас тоже не знают, и эти такие родные мне лица – для других такие же чужие, как те чужие для меня. Такими словами, конечно, не мыслила, но что-то пронзило. В общем, как сказано в папином дневнике по другому поводу (о его метаниях между наукой и литературой): «Это надо бы описать в романе...»

Еще хорошо помню, как меня как будто отпустили в гости одну – пешком по нашему кварталу до Владимирской, где прямо за углом в трехэтажном доме на верхнем этаже жили тогда папины родители. Я шла, радуясь своей самостоятельности и, как было велено, честно поворачивала голову, прежде чем миновать арку, из которой могла выехать машина. На самом деле папа шел по пятам, прячась за деревьями. Войдя к бабушке и дедушке, я гордо сообщила: «Я пришла сама!» Папа конспиративно помахал им с улицы и зашел гораздо позже, так что никаких подозрений у меня не возникло. Трудно поверить, но точно знаю, что мне тогда еще не исполнилось трех лет – дедушки Хаима не стало в 1947 году, а я его помню. Так ласково протянул он тогда руки с дивана, на котором лежал, так радовался мне...

Мама рассказывала, что этот дедушка, в отличие от ее мудро скептического отца, был наивным мечтателем – очень добрым, похожим на Менахема Мендла из романа Шолом-Алейхема: строил воздушные замки – мечтал когда-нибудь построить большой дом, где они с бабушкой жили бы вместе с обоими сыновьями и их семьями. И это в годы, когда, кроме комнаты в коммуналке, скромному аптечному работнику, как, впрочем, и его сыновьям, ничего не светило!

Помню странную колоду карт, которыми играла в их комнате, на картах были изображены композиторы. Меня очень рассмешила странная фамилия «Римский-Корсаков», и, пытаясь объяснить что-то, чего я так и не поняла, бабушка произнесла «загадочные» слова: «Могучая кучка». В их комнате стоял маленький самовар, на подоконнике в большой банке настаивался гриб, круглый стол был покрыт скатертью с бахромой – частая картина в домах тех лет. Пахло печеньем – бабушка очень вкусно пекла хрустики.

А в нашей комнате печеньем не пахло, но часто собирались гости. Приходили Рая с Толей, Валя Козлова с Борисом, Юра Перлин с Кларой, Юзик с Ниной. Родители рассказывали, что до войны Юзик замечательно танцевал, с какой-то особой элегантностью. Потеряв на войне ногу, он не смирился, что теперь танцы ему недоступны, и, постепенно привыкнув к протезу, восстановил былые навыки – это я видела своими глазами! Очень я радовалась, когда Юра Перлин приносил свой «знаменитый» красный патефон (это бывало нечасто), и тогда возникал настоящий праздник – звучала тихая музыка, гости танцевали. (В какой-то момент, вдруг усомнившись в своей памяти, я спросила Женю Перлина, сына Юры, помнит ли он красный патефон? Он ответил: «А как же!» И написал, что этот патефон еще долго продержался в их доме.) На этих импровизированных вечеринках азартно распевали разные «экзотические» песни, помню с тех лет «Отелло, мавр венецианский». Особенно веселились на строфе: «Девчонку звали Дездемона, / Глупа, как круглая луна, / На генеральские погоны, / Эх, позарилась она!» и, конечно, на «нравоучительном» финале, где девушкам рекомендуется быть внимательнее и не терять «свои платочки носовы». Еще азартнее – непременно хором! – пели про «любимую Одессу-маму», с наслаждением погружаясь в лихие

ритмы, так не похожие на те, что звучали по радио. Юра Перлин – непременно соло! – исполнял свой коронный номер про «девушку с глазами дикой серны», и сколько бы умного изящного юмора ни вкладывал он в свое исполнение, неизбывный аромат другой жизни ощущался уже в стилистике этих песен.

Все же, наверное, надо оговориться: были, разумеется, и споры, и интересные разговоры, – чаще, может быть, не в такой шумной компании. Они находили возможность обсуждать разные непростые вопросы. Косвенные свидетельства этого нахожу во многих воспоминаниях, в частности, в письме Юры Перлина, где он вспоминает, как его поразили папины мысли о новом образовавшемся в стране классе. И Яша Гордон вспоминает и в письмах, и в своей книге этот и еще многие их разговоры тех лет.

Но ничего этого я не слышала тогда, да и не поняла бы, а я ведь сейчас пытаюсь сказать о том, что помню... Меня укладывали спать в задернутой марлей кровати в углу комнаты, и мне очень нравилось слышать музыку, смех и разговоры гостей, и никогда это не мешало мне засыпать – наоборот, было гораздо приятнее, чем в строгой тишине.

Подобные вечера – одно из самых теплых воспоминаний моего раннего детства. Во взрослые годы я долго удивлялась, когда дети друзей, спящие в другой комнате – не в той, где мы общались, стараясь не шуметь! – начинали капризничать, говоря, что мы им мешаем засыпать. «Другое время – другие песни!»

Задумываясь о той жизни со своих теперешних взрослых позиций, удивляюсь, как у моих много работавших родителей (большие вузовские нагрузки, публичные лекции, подработки), да и друзья их «не гуляли!» – хватило сил на эти «праздники жизни»? И не нахожу другого ответа, кроме того, который дан мамой по другому поводу: «Но... 25 лет!» Вот и я скажу – им было 30, и на все хватало сил.

Но и тогда радость и горе шли рядом. В 1947 году умер дедушка Хаим. Я помню, что долго скучала по нему, много раз спрашивала, когда дедушка приедет (мне сказали, что он уехал лечиться в больницу в другом городе), и мне долго отвечали, что скоро. Я даже иногда плакала: «ну когда же?», а потом – наверное, лет в шесть, – вдруг поняла и, когда спросила в последний раз, уже интуитивно знала. Помню, что сидела с папой на ска-

мейке, и он осторожно ответил правду и обнял меня, думая, что сейчас заплачу, готовясь утешать. Но я почему-то не заплакала.

В том году папе было тридцать лет. Через много лет, когда я была уже старше, чем он тогда, мы с папой бродили по Москве, очень расстроенные одной ситуацией, рассказ о которой увел бы слишком далеко в сторону, и он вдруг рассказал, как тяжело перенес смерть своего отца. Он знал тяжелый, в те времена не оставляющий надежд диагноз, но до последнего надеялся и не был готов к неизбежному. Настолько не был готов, что на похоронах его мама, сама бывшая в очень тяжелом состоянии, вдруг тихо сказала ему: «Когда умирают родители взрослых детей, это естественно. Взрослые дети должны понимать это и быть готовыми». Что побудило ее сказать подобное в такую минуту? Думаю, она увидела в лице своего взрослого сына что-то настолько беззащитное, что испугалась... А папа ответил ей неожиданными словами: «Не уверен, что я взрослый. И что когда-нибудь стану настолько взрослым, чтобы быть готовым к такому». И это – после фронта, после всего пережитого!

Дедушка всегда очень гордился успехами сыновей – уважением, которым был окружен Сюня на своем заводе, блестящей защитой и огромной популярностью лекций моего папы, радовался рождению внучки (меня) и тому, что Сюня (старший сын!) наконец женился. И он верил, что дальше все будет так же и еще лучше. Бабушку утешало, что дедушка «был избавлен от многих тяжелых переживаний», потому что он не дожил до 1949 года.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*1 сентября 1949 г. была освобождена от работы в университете на основании решения комиссии о замещении по конкурсу должностей, объявленных вакантными. В марте 1950 г. по приглашению Молотовского государственного университета прочла на филологическом факультете спецкурс «Советская литература периода Отечественной войны 1941–1945 гг.»*

*В сентябре 1949 г. был направлен Минвузом СССР в Молотовский университет на должность и.о. завкафедрой всеобщей истории.*

Как благополучно это звучит! Формально эти строки соответствуют действительности – было у папы такое направление, далеко не сразу полученное, и мама действительно была уволена из Киевского университета с такой формулировкой, но, по сути, они очень далеки от истины. Именно ужас пережитого в 1949 году на долгие годы вынудил папу к умалчиванию о том, что с ним тогда происходило. Эта официальная автобиография писалась в 1982 году. Всего через несколько лет, быть может, появилась бы возможность и в официальном документе написать правду о причинах переезда нашей семьи из Киева в Пермь. Впрочем, я и сейчас до конца не уверена в этом. Даже в перестроечные годы, когда была объявлена гласность и хлынул поток мемуаров, где люди открыто рассказали о многих преступлениях режима, сломавших их судьбы, антисемитская кампания борьбы с «безродными космополитами» еще долго не была официально осуждена как преступление власти против народа. И пострадавшие в той кампании не упоминали о ней даже в разговорах с не близко знакомыми, не говоря уж об официальных документах. Так продолжалось долгие годы. Иногда, впрочем, папа не выдерживал, и эта правда – пусть намеками, эзоповским языком – прорывалась в самых неожиданных обстоятельствах.

В 1967 году, когда до какой бы то ни было правды о сорок девятом годе было еще очень далеко, в актовом зале Пермского университета торжественно отмечался пятидесятилетний юбилей моего отца. Обычной официальности, без которой на подобных мероприятиях не обходилось, было на редкость немного – звучали теплые слова, было несколько очень остроумных выступлений, в которых ощущалась искренняя симпатия к юбиляру. Многим запомнился и один незапланированный комический эпизод: докладчик, читавший биографию юбиляра, оговорился. Вместо имени моего отца произнес: «Владимир Ильич Ленин...» и через секунду опомнился: «Простите, Лев Ефимович Кертман...» Смех в зале заставил как можно быстрее свернуть официальную часть.

Этот день многие в Перми еще помнят, о нем писали в разных воспоминаниях. Нина Евгеньевна Васильева ярко воспроизвела один особенно трогательный момент.

«Сентябрь 1967 года. Аудитория 514 «старого главного», как его сейчас называют, переполнена. <...> Все ждут, когда появится юбиляр, и в президиуме начнется движение. И юбиляр появился: красивый, в новом костюме, парадный. Как сейчас вижу эту картину: он медленно идет по длинному коридору актового зала и правой рукой бережно поддерживает свою старенькую маму, чтобы усадить ее в первом ряду. Так шли они несколько коротких минут, и сознание четко засебло истинный смысл этого торжества: не грамоты, не приветствия с трибуны, не добрые слова, не благодарность, а вот эта минута высоты сына, подаренная им своей матери. Многие тогда провожали эту красивую пару влажным взглядом. Такого прецедента в истории университетских юбилеев я не припомню».

«Минута торжества...» И был в этой минуте один важный момент, может быть, далеко не всеми уловленный. В начале своей ответной речи, искренне поблагодарив всех, кто сказал о нем добрые слова, папа сделал небольшую паузу и, явно волнуясь и что-то в себе напряженно преодолевая, чуть тише обычного произнес: «Ну вот, столько хорошего я услышал о себе сегодня. Спасибо. Подробно осветили одну сторону моей деятельности, а когда-то больше освещали другую». И после паузы настойчиво повторил: «Да, когда-то я услышал о себе много другого...»

Это прозвучало необычно, и хотя не было напрямую обращено к собравшимся в тот далекий день в зале, чувствовалось, как важно юбиляру, чтобы его услышали. В тот важный день подведения «предварительных итогов» (так назвал это состояние Юрий Трифонов) мой отец считал своим внутренним долгом произнести такие слова – показать, что он ничего не забыл.

Думаю сейчас, не укрепил ли папину решимость сказать это его быстрый взгляд на бабушку в первом ряду? Столько было пережито и ею... Как бы то ни было, этот короткий момент был внутренне драматичен.

Незаметно вздрогнула мама, сидящая рядом с папой за столом на сцене. Рядом с бабушкой в первом ряду сидели мы с братом Герой и двоюродной сестрой Инной (дочкой папиного

старшего брата Семёна Ефимовича). Кстати, Инна вынуждена была тогда – в конце шестидесятых годов – приехать из Киева в Пермь по причине, пусть отдаленно (впрочем, не так уж и отдаленно) похожей на причину переезда моих родителей в конце сороковых.

Блестяще окончив киевскую школу (Инна была медалисткой), она два года подряд не могла поступить на мехмат Киевского университета. Знакомые предупреждали, что такая попытка в антисемитском Киеве изначально безнадежна, но Инна решила довести эксперимент до конца. Она еще попыталась сдать вступительные экзамены в МГУ, но в то время ситуация и там была не лучше. Жена Володи Шляпентоха, о котором здесь уже шла и еще пойдет речь, рассказывала, что, болея за их поступающую (и не поступившую) на мехмат МГУ дочь, она своими глазами видела, как выходящие из аудитории ребята других национальностей громко докладывали ожидающим в коридоре: «отлично!», «четыре», иногда – «три», а еврейские ребята выходили молча, но по их лицам было видно – «два» всем без исключения! Такое не могло происходить без указаний сверху.

А в какой-то год, уже совсем ничего не стесняясь, одну из групп абитуриентов в МГУ сформировали по национальному признаку. Русская девушка, не найдя своего приятеля-еврея в аудитории, где проходила общая консультация, долго бегала по длинным вузовским коридорам, пока случайно не заглянула в небольшую аудиторию в каком-то закутке. Увидев всех собранных там, она невольно воскликнула: «Вас что, откуда прямо в Освенцим?!» Эти крылатые слова долго бытовали в студенческом фольклоре.

Наша Инна поступила на мехмат Пермского университета. Одновременно с ней приехали из Киева и поступили еще несколько еврейских ребят – так Пермский университет еще раз спас опальных. Но и в Перми обстановка была не такая уж благостная. Мой друг Игорь Ивакин, бывший в 1967-м главным редактором газеты «Пермский университет», рассказал (много лет спустя!), что, когда он собрался поместить к папиному пятидесятилетию большую статью с портретом юбиляра, его вызывали в горком и настойчиво «не советовали», рекомендовали ограничиться маленькой заметкой: «беспартийный, еврей –

не надо...» Игорь не послушал и сделал, как задумал, а через несколько месяцев, снова проигнорировав настойчивые советы сверху, опубликовал большую статью и много поздравлений к юбилею моей мамы. Он всегда был смелым человеком.

Но возвращаюсь в тот актовый зал. Все мы напряглись после произнесенных папой слов – слишком хорошо понимали, что за ними стояло.

О том «другом», что много лет назад услышал о себе мой отец, во время своего киевского детства я ничего не знала. Это было совсем недоступно моему тогдашнему пониманию. О страшных собраниях мне никто не рассказывал – ни тогда, ни довольно много лет потом. Но есть точные «свидетельские показания», написанные по-настоящему преданными памяти моего отца людьми. «Кто присутствовал хоть раз на собраниях, активах, ученых советах тех дней, не забудет этого никогда... Льву Ефимовичу не давали говорить. Выкрики зала, наглые вопросы президиума... Почему писал памфлет против Леона Блюма под псевдонимом? Почему написал, что Торез вернулся в Париж из Москвы (а где же он находился во время войны?) <...> Даже (не постеснялись): почему так мягко произносит «л» (хорошо еще, что не «р»; ясно – дефект произношения, по-украински мягкое «л» чувствуется особенно)», – это снова из воспоминаний Владимира Шляпентоха и Михаила Лойберга.

Другой бывший киевский студент, Михаил Гилелах, справедливо заметил, насколько странно звучало обвинение в том, что Лев Кертман писал свои международные обзоры под псевдонимом «Кость Лывенко»: «борцы с космополитизмом как будто забыли, что даже «великий вождь» не гнушался псевдонимами» (добавлю – и другой «великий вождь» тоже!).

В заключение воспоминаний В. Шляпентоха и М. Лойберга сказано: «В жизни Льва Ефимовича началась новая глава. Он достойно встретил свалившееся на него несчастье. Выстоял и победил. Вспоминая эти годы, авторы этих строк неизменно благодарят судьбу за встречу со Львом Ефимовичем Кертманом – сначала учителем, а потом на всю жизнь замечательным другом.

У нас ведь было не так много моделей старших поколений. Жизни многих людей старшего поколения, которые в иных условиях пересеклись бы с нашими, унесли террор тридцатых

годов и страшная война. Многие хорошие люди, которых мы уважали, со временем превратились в унылых конформистов или откровенных приобретателей. Планка Льва Ефимовича Кертмана осталась на той же интеллектуальной и моральной высоте. На всю жизнь».

Считаю своим долгом уточнить: авторы скромно умалчивают о том, что глубокие корни этой дружбы на всю жизнь – в том тяжелом времени страшной травли, когда многие боялись общаться с «безродными космополитами» и уж тем более заходить к нам домой. Именно тогда Володя и Миша были постоянными гостями нашего дома. Иногда они вытаскивали папу на прогулки в Ботанический сад (в то время, когда другие испуганно переходили на другую сторону улицы!). И приходили они не с постно сочувствующими лицами, как будто в доме покойник, а как всегда, всю жизнь – чем-то глубоко и пылко увлеченные, они втягивали папу в азартные споры на самые отвлеченные темы, словно ничего не случилось. Казалось бы, совсем не ко времени, но (с годами все яснее это понимаю) именно такое общение требовалось тогда папиной душе больше всего. Их отношения становились все более близкими.

Своей самой ранней памятью хорошо и очень тепло помню молодого, бурно темпераментного в спорах «рыжего Володю». (Впрочем, бурный темперамент азартного спорщика остался и когда он облысел.) Ребенком я сильно дичилась и боялась шумных людей, но Володя был какой-то удивительно свой.

Кроме приходов Володи с Мишей, ясной памяти о том тревожном времени, когда жизнь родителей так круто изменилась, у меня нет. Наверное, прекратились веселые вечеринки, которые я так любила. Мне кажется, в те месяцы я вообще реже видела родителей, больше времени проводила в бабушкиной группке или в гостях у бабушки Ривы и деда Якова. И потому так бесценны для меня воспоминания близких людей, они помогают восстановить то важное, что без их усилий бесследно занесло бы песком времени. Многим хотелось, чтобы эта память была похоронена навсегда.

Яков Ильич Гордон, близкий друг родителей со студенческих лет, тоже был одним из тех, кого «распинали» тогда на собраниях. Он написал о том времени книгу с остроумным и горько-ироническим названием «Исповедь агента иностранной

разведки». Убеждена, что она заслуживает самого пристального внимания. Но сначала приведу важное письмо Якова Ильича моей маме, где он подробно вспоминает перевернувшие их жизнь события.

«Мне кажется, что тесная дружба, которая связывала нас, пережила свой пик именно в сороковые (роковые)... В Киеве, работая в университете, Лёва начал печататься в журнале «Вітчизна» – по моему отделу – критики и публицистики, блистая в этой области. Мы с ним при твоём участии трудились над пьесой... И, наконец, нас вместе «распинали» на двухдневном университетском активе, где «юноши бледные со взором горящим» восторженно следили за тем, как громят космополитов, спасая родину».

На этих словах о «юношах бледных» стоит остановиться подробнее. Разными были юноши (и девушки тоже) того времени. Были и убежденно подключающиеся к травле. Об одном таком Яков Ильич рассказывает в своей книге.

«Моя приятельница, чей сын учился в университете, рассказывала, что он вернулся с университетского актива, где, в частности, «судили» меня, с горящими глазами:

– Мы сегодня разоблачали космополитов. Наконец-то вскрылся этот нарыв на теле советской Украины.

Между прочим, ее сын был одновременно и сыном корреспондента центральной газеты. Ей и мужу было очень стыдно. Они понимали, что происходит, но сыну им так и не удалось объяснить...»

Но были и совсем другие молодые люди. Наивная второкурсница Ирина Бабич, хотя поначалу немного растерялась от потока разгромных речей на собрании, куда ее пригнали вместе с другими студентами, довольно быстро поняла, что происходит. Я спросила Ирину Борисовну, трудно ли это было, что повлияло на ее восприятие и определило, на чьей она стороне. И она ответила: у обвинителей и обвиняемых был настолько разный язык, что она сразу ощутила непреодолимое расстояние между уровнями этих людей. Обвиняемые были настоящими интеллигентами, они говорили языком образованных людей, которые широко ориентируются в своей профессии и в мировой культуре, обвинители же... опускались до площадной брани, их грубо примитивный язык так покорила Ирину,

что она почувствовала: эти люди не могут быть правы! (Не это ли интуитивное отталкивание от издевательства над языком Андрей Синявский годы спустя обозначил как свои «стилистические разногласия с советской властью»?!)

В письме моей маме Яков Гордон припомнил все подробности того собрания, на котором их с папой атаковали и вместе, как «вражескую группу», и по отдельности.

«Перенести это Лёве (и тебе тоже) было труднее, чем мне, так как я был подготовлен к увольнению и активу статьями в прессе, самая «нежная» из которых называлась «В плену буржуазных концепций», а самая «крепкая» – «Грязные писания космополита Гордона». На Лёву это нахлынуло неожиданно, как бы стихийно. <...> Послевоенные радужные мечтания и слабые надежды как-то успокоили нас.

Среди эпизодов, которые не забываются, приведу такие.

На пресловутом активе, объявляя нас предателями Родины, антипатриотами, те самые, кто знал, что мы не имеем и двух пар брюк, задавали нам вопросы типа: «Сколько долларов ты получил у банкиров Уолл-стрита?» (нам обоим), «Почему подражаешь врагу народа Скрипнику – даже в произношении звука «л»? (это Лёве). «Как смеешь говорить о влиянии третьеразрядного немецкого поэта Гейне на нашу великую поэтессу Лесю Украинку?» (это мне). Не буду называть разного рода «опричников», которые травили нас, но не могу забыть холодные и мутные глаза ректора университета Бондарчука – главного «опричника» этого учебного заведения, этого Малюты Скуратова, когда он тринадцатого марта вручал нам приказ об отчислении из университета. Это Лёва-то не обеспечил «надлежащего идейного уровня преподавания»? Я считаю его одним из самых лучших ораторов, которых мне приходилось слушать. <...> И в связи с этим второй эпизод.

Когда декан факультета объявил студентам-историкам о том, что вместо Кертмана у них будет теперь читать лекции Жабокрицкий, одна девица со светлыми кудряшками, сидевшая за первой партией, переспросила: «Жабокрицкий?» – и иронически улыбнулась. Этого было достаточно, чтобы ее исключили из университета «за презрение к политике партии и ее неодобрение». Кажется, светлокудрую потом восстановили, но факт остается фактом...

Были люди, которые при встрече с нами переходили улицу, были и рвавшие в бой за нас... и это нас поддерживало, как, впрочем, и чувство юмора, которое в равной мере присуще тебе и Лёве.

Не знаю, сколько нервных клеток у него отнял тридцать седьмой год или война, но убежден, что пресловутая космополитическая кампания десятков лет у него отобрала».

В тот год у моих родителей бесследно развеялись послевоенные радужные мечтания. На всю жизнь у них остались острые психологические травмы, связанные не только с утратой надежд на смягчение политического курса и утратой почвы под ногами (потеря работы), но и – в очень большой степени! – с неожиданным поведением хорошо знакомых людей.

Яков Гордон вспоминает: «Казалось бы, еще недавно мы с Лёвой при участии Сарры работали над пьесой, в которой рисовали идеальную героиню, стоящую во главе женского журнала (пьесой заинтересовался театр Охлопкова, но наши имена появились в «Правде» в обойме космополитов, и судьба пьесы была предрешена), еще недавно я написал две свои первые книжки... еще недавно мы чувствовали себя гражданами, специалистами, членами общества, и вдруг все изменилось.

Еще до 13 марта 1949 года, когда Бондарчук вызвал нас и вручил приказ об увольнении, мы стали прокаженными. Мы выходили из аудитории, где шел актив, ошеломленные и униженные, а люди мирно беседовали друг с другом, кто-то улыбался, кто-то дочитывал газету. Вокруг «агентов Уолл-стрита» и «иностранных разведки» образовался вакуум, нас пропускали вперед».

Вскоре в украинской газете «За советские кадры» появилась разгромная статья «Антипатриотическая деятельность космополита Кертмана» (на украинском языке). Павел Ефимович Рахшмир взглянул на эту статью как профессионал – историк, привыкший в любых источниках видеть черты эпохи: «Об уровне обвинений убедительно свидетельствуют цитаты, передающие дух эпохи, свойственный ей менталитет. В связи со статьей Л. Е. Кертмана «Французский народ и предатели Франции» обвинитель пишет: «А чего стоит утверждение, что «де Голль возглавил Францию, которая борется против фашистской Германии, и его встретили с воодушевлением. Это же похабная клевета на французский народ!»

Приведу еще один говорящий отрывок из нее:

«...Случайной ли была роль защитника космополитов для Кертмана? Нет, она была не случайной, потому что Кертман не только идейно сочувствовал этим антипатриотическим выродкам, но и работал заодно с ними. Перед нами статья Кертмана «Французский народ и предатели Франции» («Вітчизна», № 6, 1948 год), написанная через год после информационного совещания компартий девяти государств. Казалось бы, автор этой статьи обязан был поставить в центр внимания вопрос о роли коммунистических партий, роли Советского Союза, роли рабочего класса. Но тщетно искать освещения этих вопросов в статье. Кертман объективистски описывает события, не дает им партийной оценки и, что хуже всего, тенденциозно замалчивает роль компартии Франции в организации борьбы народных масс против оккупантов и изменников. Ни одного слова не сказал автор о роли Советского Союза в деле разгрома фашизма в Германии, освобождении Франции от немецких завоевателей. (Героических участников Сопротивления, не входящих в компартию Франции – как Мать Мария, как о. Дмитрий Клепинин, упоминать не полагалось, роль Америки в освобождении Франции тоже замалчивалась. – Л. К.) Может ли советский историк-патриот писать о событиях в Европе и не вспомнить о роли Советского Союза, который любят все прогрессивные страны и которого боятся американские империалисты? Нет, это мог сделать лишь безродный космополит, которому не дорога его великая Родина и ее интересы...

Очень жаль, что работники кафедры новой истории своевременно не заметили этого, не подвергли принципиальной критике все «работы» Кертмана, не дали партийной оценки его деятельности в университете и за его пределами, не обнаружили действительного лица космополита, который стремится прикрыться званием советского историка.

Собрание партийного, комсомольского и профсоюзного актива вскрыло истинное лицо космополита Кертмана и в своем постановлении потребовало прекращения его деятельности в университете».

После таких статей часто следовали аресты. И кто-то ведь написал ее! Эта женщина скрыла свое имя под псевдонимом



(за что упрекали моего отца!) – М. Лилина. Это явно был кто-то из знакомых. Неизвестно, та ли это приятельница родителей, которой папа помогал писать диссертацию – чуть ли не продиктовал ее! Она защитилась, а потом выступила на «историческом» собрании с покаянием: не проявила должной бдительности, вовремя не распознала в лице Кертмана «безродного космополита». Но поздним вечером, чтобы поменьше народу увидело ее, долго сидела в их парадном на подоконнике, дождалась возвращения родителей и со слезами каялась: «запугали, заставили...» Они не подали ей руки.

Многие другие даже не каялись. В стране создалась атмосфера, в которой подобное поведение не осуждалось – присоединиться к травле гонимого перестало считаться зазорным. В книге Я. Гордона рассказан поразительный эпизод, где эта моральная установка доведена до абсурда.

«Помню заседание президиума правления Союза писателей Украины под председательством А. Корнейчука. Это было вскоре после окончания войны. Обсуждался отчет редактора украинской «Литературной газеты» Л. С. Серпилина, на мой взгляд, одаренного писателя и безусловно порядочного человека. Как это было принято в те времена, выступавшие... бодро и щедро находили в статьях, печатавшихся в этом периодическом издании, и объективизм, и безыдейность, и формализм. <...> Последним выступил Д. Косарик (псевдоним писателя и публициста Д. Коваленко. – Л. К.). Он ретиво вылил на Серпилина ведро помоев... даже приписал попытки заглянуть в карман авторов – с целью, чтобы они поделились с ним частью гонорара, да и еще более позорные поступки. Это была клевета, и Л. Серпилин с трудом сдерживал себя, как это было принято, а между тем до революции за такие выходки подобных клеветников... били шандалом по голове.

После выступления Л. Косарика А. Корнейчук сказал:

– Обсуждение первого вопроса закончено. Если товарищ Серпилин согласен с кем-либо из выступавших, пусть возьмет себе это на заметку, а теперь – перерыв, после чего приступим к обсуждению следующего вопроса.

Тут же – на моих глазах – Д. Косарик, ничтоже сумняшеся, подскочил к редактору и сказал: «Товарищ Серпилин, извините, что я так выступил: я думал – вас будут снимать».

С какого-то момента сороковых годов перестал считаться позорящим страну и народ явлением и антисемитизм, так что наиболее наглые чиновники даже перестали «скрываться». Проявления антисемитизма становились все более откровенными и циничными. Я. Гордон свидетельствует: «Вскоре после того, как Л. Е. Кертман, инвалид войны, вернулся в столицу Украины, он стал читать лекции. На узком совещании секретарь ЦК Сосновский взял в руки список лекторов и «на глазах у изумленной публики» вычеркнул из него фамилии евреев, в том числе и Лёвину. Окинув насмешливым взглядом собравшихся, он произнес бессмертную речь из двух фраз: «Вы ждете письменных директив? Письменных директив не будет!»

В книге Я. Гордона говорится о трех пунктах антисемитской кампании того времени. «Не пускать евреев на Украину, причем, насколько это возможно, без официальных постановлений. А взяточники из паспортного стола, как мне рассказывали весьма информированные лица, брали за прописку еврея, которой предшествовала продажа ему разрешения на въезд, на тысячу рублей больше, чем за прописку русского или украинца. (Как наивно на этом фоне выглядит папин обличительный порыв, когда он ворвался к милиционерскому начальнику, чтобы «открыть ему глаза»: «Здесь пахнет взяткой!» – Л. К.)

Обеспечить дискриминацию евреев при приеме на работу или зачислении в вуз ссылкой на то, что в первую очередь зачисляются лица «коренных национальностей», каковыми на Украине являются украинцы и русские, а евреи – «не коренные», хотя и жили здесь сотни лет. Внушить всем мысль о том, что евреи – антипатриоты, в лучшем случае – не-патриоты, к тому же не из-за них ли началась война, не они ли именно навлекли гнев Гитлера, наславшего на Украину свои полчища? Эта пропаганда, иногда откровенная, иногда выражаемая интонациями, намеками, анекдотами, стала более зловещей с созданием государства Израиль».

Как по-особому страшно это звучало в городе, где «над Бабьим Яром памятника нет!» И не было еще очень долго... В 1949 году «гильотина» заработала особенно интенсивно – антисемиты получили официальный сигнал к развязыванию травли. Были особенно ретивые исполнители тайных директив.

«Во главе университета первое время был приличный человек Русько, но потом его сменил воинствующий антисемит Бондарчук, доктор геологических наук. Делом своей жизни он считал препятствовать не только приему евреев-абитуриентов в вуз, но и зачислению бывших студентов-евреев, возвращавшихся с фронта или из эвакуации. Я был свидетелем того, как он отказал бывшему фронтовику, одноногому инвалиду, заявив, что нет мест – якобы на курсе был полный контингент студентов. Это была наглая ложь, достаточного контингента на старших курсах послевоенных вузов не могло быть. Доведенный до отчаяния, инвалид размахнулся костылем, после чего был вытолкан из ректорского кабинета помощниками Бондарчука. Этот размах костыля стоил инвалиду месяцев хождений по инстанциям. Он добился своего, был восстановлен, но заболел психически. Отписываясь от жалоб родных и товарищей инвалида, Бондарчук оправдывался тем, что, дескать, его болезнь – результат контузии, а не ректорских издевательств».

Поневоле вспомнишь диалог Е. Шварца из «Дракон»:

«Меня так учили! – Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?»

А «учили» всех еще как...

«Общеизвестно, что появление в «Правде» в январе 1949 года статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»... развязало одну из самых мутных волн в истории нашей печати. <...> После появления статьи в «Правде» на Украине с особым удовольствием стали формировать свою «антипатриотическую группу». <...> Разумеется, создание такой группы было чисто искусственным, ибо некоторые зачисленные туда вовсе не были знакомы друг с другом, да они и не могли быть связаны ни организационно, ни дружбой», – пишет Я. Гордон.

Годы спустя, встречаясь во время летних отпусков, Яков Гордон и папа шутили «препирались», кто в их группе был «главным», а кто чьим «прихвостнем», но до этих шуток надо было дожить.

А тогда «тех, кто читал лекции по зарубежной литературе, стали называть членами кафедры самоубийц. <...> Моей ахиллесовой пятой оказался Гейне. Тут уже не было удержу. Правда, в статьях, посвященных мне, пафос обличения Гейне и меня

как его исследователя и человека, который осмелился говорить о том, что он был в круге интересов и симпатий украинских поэтов, – приглушался, но в устных выступлениях был очень сильным. Ни один оратор не забывал помянуть, что Гейне – еврей, а самый ретивый заявил, что я осмелился говорить «о влиянии третьеразрядного немецкого поэта Гейне на нашу великую поэтессу Лесю Украинку».

«Мы никогда не отдадим Лесю Украинку Генриху Гейне!» – эту реплику А. Корнейчук бросил Максиму Рыльскому, защищавшему работу Я. Гордона. Рыльский сказал, что Леся Украинка много переводила Гейне, писала статьи о нем и сама признавала его благотворное влияние на свое творчество. Но говорить ему почти не давали.

«Не повезло» украинским националистам с Лесей Украинкой! Они так хотели сделать ее своим знаменем, а талантливая поэтесса была широко образованным человеком и интересовалась отнюдь не только украинской культурой.

Ретивых погромщиков было много, и все же люди вели себя по-разному.

Об одном удивительном случае, связанном с моим отцом, рассказывает в своей книге Яков Гордон. «Незадолго до пресловутого актива он решил подать в партию, и одну из рекомендаций ему охотно дал декан исторического факультета Белан, старый коммунист. Когда Лёву подвергли «духовному гильотинированию» на активе, он пришел домой к этому декану (поздно вечером, чтобы не скомпрометировать его домашним общением с новоявленным «космополитом») и возвратил ему рекомендацию. Формально объяснял это тем, что теперь она ему не понадобится (кто же примет в партию космополита?), но здесь был подтекст. Своим поступком Л. Е. Кертман подчеркивал, что не будет пользоваться для реабилитации похвалами декана и, так сказать, не подведет его под монастырь. Реакция Белана была неожиданной.

«Ах ты сволочь! – воскликнул он. – За кого ты меня принимаешь? Видишь, в этой квартире полно барахла и шикарная львовская мебель? А в тридцать седьмом тут было голо. Мы с женой спали на полу, укрывались единственным одеялом, а под головами вместо подушек у нас были два тома «Рокамболя». Я ждал ареста и ночью слушал, как скребется мышь».

Но и тогда никого не заложил и ни от кого не отрекся. Пойдем в райком, я еще не заверил свою подпись!»

В райком, естественно, Лёва с ним не пошел и рекомендацию оставил на столе у Белана, а вот «сволочь» – это было слово, которое он единственный раз в жизни принял с воодушевлением и восхитился тем, кто это слово произнес».

Я не знала, что папа однажды собрался вступить в партию. Задумавшись над этим – таким не похожим на моего отца – шагом, пришла к выводу, что это было связано с его короткой послевоенной эйфорией, когда верилось, что страшное больше не повторится, и надо активнее поддержать ростки доброго, нового. Не с такими ли иллюзиями вступил в годы хрущевской оттепели в партию Булат Окуджава? И как жалел он об этом потом!

Такие смелые порядочные люди, как декан Белан, были поистине «лучами света», дающими надежду, что еще не все потеряно в «темном царстве», в которое превратилась страна.

Надо рассказать и о маминых «хождениях по мукам». «Агенты Уолл-стрита», «гнусавый голос Би-би-си» – это уже о ней, «слишком радующейся» любви английских писателей к Чехову. Настоящий патриот не может так радоваться этим чуждым советскому народу голосам, нашему Чехову не нужна такая слава!

Поначалу гонения на маму были достаточно типичными. В той же украинской газете, где была помещена статья о космополите Л. Е. Кертмане, вскоре появилась и другая, о ней – «Злопыхатель в роли преподавателя».

Мама рассказывала, что ее студентов вызывали в деканат и требовали предъявить конспекты – она знала об этом от них же. Многие ребята старались не подвести ее, но могли найтись и такие, кто «по долгу службы» докладывал, например, что она слишком долго приводила примеры, «доказывающие чуждость стихов Ахматовой советской молодежи». Что-то из этих сведений, возможно, дало материал для статьи.

С горьким юмором вспоминала мама стилистику этого описания: «Захлебываясь от восторга, пересказывает Фрадкина комплименты, как будто похвалы каких-то ограниченных буржуазных критиков и слабых писателей – таких, как С. Моэм, К. Мэнсфилд, Д. Б. Пристли, могут прибавить славы нашему Чехову!»

Но был в маминой истории один потрясающий и, похоже, беспрецедентный момент. Так, во всяком случае, вспоминают многие люди.

«Эхо одного собрания» – назвал свою статью об этом Михаил Гилелах.

«К тому времени, когда у нас проходило собрание, Льва Кертмана уже выгнали с истфака. Теперь решили проделать то же самое с его женой Саррой Фрадкиной.

Она была именно Сарра, а не Софья или еще как-нибудь, что бывало в те времена. И преподавала современную русскую литературу. Не скажу, что пользовалась столь же широкой известностью, как ее муж, но думаю, что не погрешу против истины, сказав, что ее эрудиция, отточенная русская речь производили должное впечатление на студентов.

Может быть, именно поэтому выпад против нее приберегли к финалу собрания, когда, по мнению его учредителей, соответствующее настроение в аудитории было создано.

Слово предоставили аспиранту кафедры украинской литературы, будущему доктору наук, профессору Фёдору Шолому.

<...> Выступавший на собрании Федя взялся за работу, от которой другие отказались. Уже само по себе его выступление было одиозным: аспирант кафедры украинской литературы разбирает диссертацию преподавателя современной русской литературы. Да еще какую! – «Влияние Чехова на английскую литературу». И как отыскать в такой диссертации следы низкопоклонства перед Западом? Задача не из легких. Но Федя вроде что-то нашел.

– Подумать только! – восклицает он. – Сарра Фрадкина в своей диссертации некоторых малозначительных писателей называет английскими Чеховыми! Какое кощунство!

Неужели он читает по-английски? И книги этих писателей читал?

В зале – аплодисменты. Сидящая в первом ряду Фрадкина что-то записывает в блокнот. Ведущий собрание Кобылецкий жестом прерывает Федю.

– Товарищ Фрадкина, – возвещает Кобылецкий, – ведет стенограмму выступлений на нашем собрании. Попросим сдать ее в президиум.

Фрадкина возмущенно встает. Ее голос слышен всему залу:

– Я что, стенографистка? Я стенографирую некоторые выступления для себя, чтобы потом, когда мне дадут возможность, исчерпывающе ответить на некоторые обвинения.

– Дадим, дадим, – обещает Кобылецкий. – Но потом сдадите стенограмму в президиум. Продолжайте, товарищ Шолом! И чего он так боится этой стенограммы? Странно.

Федя продолжает свою обличительную речь. И при каждом его выпаде против Фрадкиной вскакивает некто рыжеволосый и худой и орет на весь зал:

– Ганьба!

«Ганьба» – по-украински позор.

«...» После Федеи что-то невразумительное сообщала залу будущий академик Нина Крутикова (это имя часто звучало в маминых рассказах. – Л. К.), а вкуче с ней еще какие-то студенты и аспиранты. Лишь после них слово предоставили Сарре Фрадкиной. Ее появление на трибуне снова сопровождали крики «Ганьба!» и даже «Геть з трибуни!» Но она стояла перед улюлюкающим залом, словно не видя оскаленных рож тех, кто сидел в первом ряду, и не слыша, что кричат сзади, из президиума.

– Только десять минут! – перекрыл общий шум голос Кобылецкого. – Не больше!

– Это еще почему? – обернулась она к президиуму. – Шолом говорил сорок пять минут, остальные – по пятнадцать-двадцать. В общей сложности все эти направленные против меня выступления заняли почти два часа. А мне для ответов только десять минут?

– Вам все равно нечего сказать! – рявкнул Кобылецкий. – Факты налицо.

– Вот это верно, – в уже наступившей тишине сказала Фрадкина. – Факты действительно налицо. И заключаются они в том, что мне просто нет нужды полемизировать с Шоломом – это значит выступать против самой себя. Ведь все эти фразы о том, что в английской литературе нет фигуры, подобной Чехову, что не стоит называть малозначительных английских писателей английскими Чеховыми, взяты из моей диссертации. Вот они!

Она назвала страницы, даже абзацы указала. Вот для чего нужна была стенограмма! Недаром Кобылецкий хотел, чтобы

Фрадкина сдала ее в президиум. Теперь выступавшая, потрясая объемной рукописью, предлагала каждому, кто захочет убедиться в правоте ее суждений, посмотреть. Федя нахватал кусков и фраз из ее же диссертации. Он был уверен, что Фрадкиной не дадут ответить.

За десять минут Фрадкина превратила Федю в то, чем он и был на самом деле, – в ничто. Когда Кобылецкий вскочил, чтобы напомнить об истекшем времени, которое ей отвели для выступления, в зале кто-то крикнул:

– Да что же это такое! Дать ей еще время!

И Кобылецкий растерянно сел.

В течение последующих минут Фрадкина не оставила камня на камне и от аргументов других своих «оппонентов». И когда она закончила, в зале какое-то время стояла тишина. А потом он взорвался! Овацией! Невиданной, неслыханной! Мне казалось, аплодировали все!

Кроме растерянно озиравшегося президиума.

Я не знаю, было ли еще где-нибудь такое. В 1949 году, в разгар антисемитской кампании, в Киевском университете сотни студентов и преподавателей устроили овацию не обвинителям, а обвиненной!

Уже потом я узнал, что в президиуме лежал проект резолюции, в которой содержалось требование от имени студентов отстранить Фрадкину от преподавания. Устроенная ей овация начисто перечеркнула эти планы.

Но только на время. Рассказывали, что на кафедре, где она работала, объявили конкурс на замещение должности, которую Фрадкина занимала. Якобы даже предложили ей в нем участвовать. Вместо этого она и Кертман просто уехали из Киева...

«...» На долгой журналистской стезе встречал я немало людей удивительной смелости. Они таранили самолеты, ходили в тыл врага, проникали в космос и спускались в кратеры вулканов. Но когда я слышу слово «мужество», то вспоминаю Сарру Фрадкину, смуглую стройную женщину, стоявшую на трибуне перед ревущим людским скопищем, и ту овацию, что затем прогремела в ее честь. И это воспоминание всегда вселяет в меня гордость и надежду».

Хорошо помнит это собрание и Ирина Бабич. Она говорила мне: «Так и вижу Саррочку на той трибуне – тоненькую,

стройную, подтянутую, такую красивую и так смело спорящую – мы смотрели на нее, как на героиню!»

Отзвуки этой истории слышны и в маминых мемуарах. Последовательные записи прерываются в них на возвращении из эвакуации в Киев и моем рождении, но отрывочные воспоминания все же есть.

«1999 год. Москва (у Геры). Сегодня 53 года с моей защиты диссертации (5 июня 1946 года). В обычный день иногда врывается гул истории, и он становится значительным не только для меня. Однажды на пляже ко мне подошли две женщины (лет тридцати-тридцати пяти) и, удостоверившись, что я – Сарра Фрадкина, заявили: «Вы нас не знаете, но мы знаем о вас – слышали и запомнили на всю жизнь!» Я решила, что это кто-то из бывших киевских студентов, так как это было на пляже в Остре (в Черниговской области), куда мы ездили почти каждое лето. «Нет, – сказали подошедшие, – мы, увидев вас, вспомнили нашумевшее на весь город собрание сорок девятого года, где вам организовали травлю, а вы блистательно отбивались. Для нас это было школой гражданского мужества, и очень жаль, что мы не осмелились тогда прийти и послушать – самим услышать, как это запомнилось тогда и как передается следующим поколениям». И они взволнованно, перебивая друг друга, стали вспоминать, как у студентов старались «извлечь» конспекты моих лекций, а они не давали, как, когда руководители действия пытались меня прервать, из зала, где было тысячи полторы студентов, неслось: не мешайте говорить! И какую овацию мне устроили после выступления, как кричали и ревели, и как организаторам собрания не удалось «выбить» резолюцию, клеймящую «космополита Фрадкину» (не проголосовали)...

И все это как будто было вчера (а я уже лет 8 работала в Перми, и они были не из поколения моих студентов – слышали все это от очевидцев). Они даже процитировали запомнившиеся им фразы из «обличающих» меня выступлений: «Когда я читала главы из диссертации Фрадкиной о влиянии Чехова на английскую литературу 1920-х годов, мне казалось, что я слышу гнусавый голос Би-би-си», – так «декламировала» доцент Крутикова, которая три года назад, на защите этой самой диссертации, произносила хвалебные речи. – И далее: «Фрадкина ищет чеховские традиции в декадентской зарубежной

литературе, враждебной нам. Нам надо избавиться от таких преподавателей, проповедующих безыдейность, понять истинное место Чехова, не унижая его сопоставлениями с декадентами». И еще – о том, что так мыслить могут только «безродные космополиты», не способные любить родную литературу.

Я тогда рассказала им, как ректор, когда я попыталась протестовать и «бороться за справедливость» в беседе с ним в его кабинете, воспользовавшись тем, что нас никто не слышит, открыто сказал об истинных причинах моего увольнения (хотя официально было сформулировано просто «по сокращению штатов») – что когда моя фамилия крупными буквами красуется на афишах в объявлениях о публичных лекциях – в центре Киева, столицы Украины! – «Вы сами должны понимать, как это выглядит!» – «Как?!» – «Да не прилично! Нам нужны свои национальные кадры!» Было дико и больно слышать такое – мало я тогда еще понимала... Я ведь в той своей «исторической речи» сказала и что-то в духе: «Партия этого не допустит!» А Лёва в своих стихах военных лет писал: «Нет, я верну тебя! / Мы снова обретем потерянное небо Украины...» И вот – «в мирной» жизни мы снова потеряли его...»

Помочь им в беде тогда никто не мог. Слава Богу, что не арестовали, ведь могло случиться и это.

Но был и в маминой истории один достойный человек, активно пытавшийся помочь – академик Александр Иванович Белецкий, старый русский интеллигент. В сорок четвертом году он помог маме и Иосифу Приворотскому (ее однокурснику) восстановиться в аспирантуре, начатой до войны – если бы не его имеющее вес слово, их могла бы постигнуть судьба того потерявшего ногу фронтовика, которому ректор КГУ в издевательском тоне отказал в возможности продолжить учебу.

Александр Иванович был на защите маминой диссертации официальным оппонентом и высоко оценил ее работу. И вот уже после череды прокатившихся по факультету разгромных собраний от А. И. Белецкого потребовали написать на маму характеристику, явно рассчитывая на документ в русле звучащих обвинений. Предполагалось, что другого выхода у него нет, и недоброжелатели заранее злорадствовали. Но Белецкий не сделал этого. Написанная им характеристика – непростой, по своему уникальный документ времени. Считаю своим долгом представить ее здесь.

Характеристика  
педагогической и научной работы С. Я. Фрадкиной.

Воспитанница Киевского университета, где она и училась, и проходила аспирантуру, и защищала диссертацию на степень кандидата филологических наук (в 1946 г.), С. Я. Фрадкина начала свою педагогическую работу еще в студенческие годы (в 1937 г.). С 1941 г. она работает в качестве преподавателя высшей школы непрерывно (в 1941–1944 гг. в учительском Институте г. Актюбинска, а затем в университете г. Казани, а с 1944 г. по настоящее время в Киевском университете).

Ее научные и педагогические интересы сосредоточены преимущественно в области истории советской литературы и истории русской литературы XX века. В течение ряда лет, по поручению кафедры русской литературы, т. Фрадкина читала общие курсы советской литературы на филологическом факультете (а также на философском факультете и на факультете международных отношений) и ряд спецкурсов, сопровождавшихся семинарскими занятиями: «Творчество А. П. Чехова», «Литература периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Литература послевоенных лет». Кроме того, она систематически руководила студенческими дипломными работами по темам из истории советской литературы, неоднократно выступала в КГУ с лекциями по советской литературе, организовывала читательские конференции и диспуты по вопросам текущей литературы – и вообще много способствовала активизации интересов студенчества к явлениям и событиям нашей литературной жизни и подъему значения предмета – истории советской литературы – в общем цикле литературоведческих дисциплин филологического факультета.

Ее лекции, основанные на тщательной проработке материала, хорошо продуманные и с методологической, и с методической стороны, излагавшиеся в ясной, простой и увлекательной форме, проходили с неизменным успехом, собирая иногда аудиторию не только из студентов-филологов, но из студентов других факультетов. Ее специальные курсы стимулировали самостоятельную творческую работу студен-

тов, и немало докладов, прочитанных у нее на семинарских занятиях, так же, как и дипломных работ, выполненных под ее руководством, получали высокую оценку от ее сотоварищей по кафедре, выступавших рецензентами этих работ.

Ее кандидатская диссертация, написанная 4 года назад («А. П. Чехов и его влияние на современную английскую литературу»), разумеется, не вполне отвечает требованиям, которые сейчас, в 1949 г., после ряда постановлений и решений нашей партии, а также дискуссий по вопросам литературы, искусства и критики, мы предъявляем к литературоведческим работам. Но то же самое можно сказать почти обо всех работах, выполненных до 1947 года, явившегося моментом великого перелома в работе и старшего, и младшего поколения наших критиков, философов, историков и историков литературы.

Внимательно следя за движением теоретической мысли, активно участвуя в совещаниях, проходивших в университете по вопросам методологии и методики преподавания, С. Я. Фрадкина, вместе с другими товарищами, выправляла свои ошибки и совершенствовала свое преподавание.

У т. Фрадкиной есть все данные для дальнейшего и научного, и педагогического роста.

На 1949–1950 учебный год кафедрой русской литературы ей поручено чтение курсов советской литературы на 4 и 5 курсах филологического факультета и пропедевтического курса «Введение в советскую литературу» на 1 курсе отделения филологического факультета.

Как руководитель кафедры русской литературы КГУ, я считаю т. Фрадкину чрезвычайно активным, непрерывно работающим над собой и весьма полезным для дела преподавания членом кафедры.

Проф. А. И. Белецкий.  
действительный член Ак. Наук УССР,  
Член-корреспондент Ак. Наук УССР.  
20 июля 1949 г.

(Печать и рукописная пометка: «Подпись А. И. Белецкого  
удостоверена зав. секретариатом президиума».)

В главном Александр Иванович не отказался от своих прежних высоких оценок мамино научного и преподавательского уровня. Но понятно, в каком сложном положении он был – если бы эта характеристика была сплошь положительной, он мог, и маме не принеся никакой пользы, сам сильно пострадать за «поддержку безродной космополитки, недостойную русского советского профессора». Хорошо понимая это, Александр Иванович предпринял блестящий тактический маневр: формально признав некоторые «несоответствия работы С. Я. Фрадкиной современным требованиям», он справедливо замечает, что подобные несоответствия можно найти почти во всех работах, написанных до известных постановлений. Смелое замечание, очень рискованное по тем временам! Ведь из него следует, что ученые вынуждены приспосабливаться к конъюнктурным требованиям и, как сказано в известном анекдоте, «колебаться вместе с линией партии». Казалось бы, в разговоре о новых требованиях «сверху» логичнее звучало бы безличное – «предъявляются», но А. И. Белецкий пишет: «которые мы предъявляем», тем самым выражая полную солидарность с постановлениями. Более того, он и маму хвалит за «исправление ошибок» (в том числе). Компромисс... Но кто осмелился бы тогда говорить о своем несогласии с партийными постановлениями? Белецкий жил в свое время. Написать характеристику гонимой коллеге так, как написал он, – безусловно благородный поступок. И мама всегда помнила это.

Надеялись, что характеристика поможет маме остаться на работе на следующий год. Не помогла. Моим родителям пришлось уехать из Киева. Не сразу все это решилось, не легко далось...

«Хочу объяснить, почему мне пришлось уехать из города, где я родился и учился, где я полюбил, где стал литератором, где пережил духовную зрелость и испытал унижения, каких не приходилось переживать более никогда», – этими словами Яков Ильич Гордон предварил свою «Исповедь агента иностранной разведки», которую я здесь много раз цитировала. Если заменить «литератора» на «историка», под каждым словом мог бы подписаться и мой отец.

И все это происходило в том самом Киеве, годы раннего детства в котором я так лирично вспоминаю даже сейчас. Ничего похожего – никакой лирики! – нет в воспоминаниях друга мо-

его киевского детства Александра Гордона, сына Якова Ильича. В отличие от меня, в семь лет увезенной родителями на Урал и воспринявшей этот переезд поистине как изгнание из рая (конечно, таких слов в моем тогдашнем лексиконе не было – говорю о чувствах), Саша еще долго прожил в Киеве, и эти годы любви к городу в нем не усилили. С подростковых лет, когда начал усиленно расспрашивать, Саша был потрясен судьбами отца, любимой тети (талантливого музыковеда) и других изгнанников, и это стало важным толчком к его решению уехать из Киева и из страны. С 1979 года он живет с семьей в Израиле. Все это я поняла, когда мы встретились и вновь подружились, будучи уже весьма взрослыми.

«В 1998-м году я подвел своего сына к дому на Болькерштрассе, 53 в Дюссельдорфе и, указав ему на дверь, сказал: «Здесь родился и вырос человек, который разрушил семейную жизнь моих родителей и лишил меня отца». Гарри Гейне (имя Генрих он получил при крещении в возрасте двадцати семи лет) родился 13 декабря 1797 года. Мой отец родился 14 июня 1913 года. Наши с отцом пути разошлись после того, как он стал жертвой преследований по делу космополитов в 1949 году. Его объявили агентом иностранной разведки (не было указано какой), уволили с работы и фактически выслали из Киева. Мы с мамой по разным причинам остались», – так написал Саша в своей большой статье «Встречи с Генрихом Гейне», посвященной памяти отца – исследователя творчества Гейне.

С каким бы юмором ни было сделано это парадоксальное заявление, за ним слышна живая боль.

Но пора завершить рассказ о мытарствах наших родителей. Яков Ильич, справедливо назвавший «того себя» «Гордонкихотом», собрался в Москву «доказывать, что он не верблюд». Как он пишет, Лев Кертман «такими глупостями не занимался»: «Мой друг как историк и более образованный человек, чем я, лучше разбирался в событиях и во многом просвещал меня. Не пошел доказывать, что он не верблюд, а поехал в Министерство высшего образования (чтобы получить назначение на работу хоть куда-нибудь. – Л. К.)».

Яков Ильич пишет, что выдержать испытания тех лет, затянувшиеся у него дольше, чем у других, ему помогли «только друзья и спасительное чувство юмора».

С позиций сегодняшнего дня Саша осмысляет все это с веселым юмором и горькой иронией.

«Власти не ошиблись, заклеив отца в космополитизме. Он и был космополитом и гордился этим. От окончательного уничтожения его спас тот же человек, который стал невольным виновником его несчастий – Гейне.

«...» Моему отцу удалось с помощью цитат из Маркса, Энгельса и Ленина доказать, что Гейне – великий революционный поэт. После многомесячного обивания высоких московских порогов отец получил справку о том, что он не космополит. «...» Справка казалась чудом. «...»

Эта, наверное, единственная в своем роде справка, вернула отца в Киев. И тут оказалось, что его не хотят восстанавливать на работе. Эта была уже местная инициатива, а не директива из Москвы. «...» Гейне не смог найти работу юриста из-за своих политических взглядов и вынужден был эмигрировать из Германии. Мой отец не смог восстановиться на работе и удержаться в Киеве и вынужден был эмигрировать из Киева из-за несмываемого пятна еврейства.

После двух лет ссылки в Черновцы он оказался в Средней Азии, ставшей для него обителью свободы, терпимости и интернационализма, что-то вроде Франции для его любимого Гейне. Но мусульманская революция в Таджикистане разрушила его восточную сказку...» Впрочем, это уже совсем другая история.

Через много лет Яков Ильич напомнил моему отцу одну его рискованную шутку, ставшую широко известной в «не официальном Киеве». Когда в кинотеатре оборвалась лента и раздались традиционно позорящие механика выкрики: «Сапожник! Бракодел!» – папа выкрикнул: «Космополит безродный!» – и в темном зале раздался хохот.

И совсем лихую шутку позволил он себе однажды в Москве, куда приехал хлопотать. Но расскажу по порядку. В. Шляпентох и М. Лойберг правы в том, что мой отец в конце концов устоял и не сломался, но период глубокого отчаяния, почти депрессии, был. Железобетонным героем папа никогда не был. Несколько дней он лежал на диване, уткнувшись в стену, и говорил, что с наукой покончено, заниматься ею не дадут, значит, после того как он немного поправит расшатавшееся в по-

следних испытаниях здоровье, пойдет в шоферы – полученные в автодорожном техникуме навыки он помнит.

Но мама не допустила такого радикального решения, она настойчиво побуждала папу разослать заявления и письма в самые разные вузы страны и ехать в министерство добиваться хоть какого-то назначения. Папа встряхнулся, преодолел себя, начал рассылать эти письма и поехал в Москву. Мама тогда еще работала.

В Москве папа остановился в той «легендарной» квартире на Палихе, откуда Симон во время войны соединял потерявших друг друга родственников. Зоря и Алик Герчиковы уже были женаты, но долго продолжали жить вместе в родительской двухкомнатной квартире (по комнате на семью, как в коммуналке, впрочем, жили дружно). С папой у них сразу возник общий язык, и завязалась веселая молодая дружба. И то и другое сохранилось на всю жизнь. Когда в следующие годы мы ехали через Москву из Перми в Киев и обратно, всей семьей (уже с моим маленьким братом и иногда с бабушкой), ночевали на Палихе. И как-то размещались! Сохранилась папина телеграмма (одна из многих подобных), извещающая о грядущем сумасшедшем столпотворении: «Успокойте ваши нервы, / Всем семейством приезжаем, / Поездом шестьдесят первым, / С чем мы вас и поздравляем!»

Братья были не менее остроумны: как-никак это в их доме родился легендарный тост, давно уже активно взятый на вооружение и моими друзьями – «За приезд брата!» О, это тост с историей...

Однажды во время раннего завтрака братья выпили по рюмочке – история умалчивает, в первый ли раз это было, но в то утро они впервые были застигнуты женами, которые не пришли в восторг от этого новшества. Надо было срочно оправдаться, и у Зори вырвалось: «Ну вы чего, мы же – за отъезд брата!» Жены онемели от неожиданности аргумента, и для закрепления успеха вечером того же дня Зоря организовал вполне логичное продолжение утреннего действия – «За приезд брата!» Этот тост быстро закрепился в их доме, а со временем смысл его расширился. Так встречали на Палихе и многочисленных кузенов, а вскоре и моего папу (не родного им по крови), а потом – «не будем мелочными!» – и любимую двоюродную



сестру (мою маму), да и я, когда подросла, не раз удостаивалась этой чести.

Алик (младший брат Александр Герчиков) после войны окончил военную академию и остался в армии. Его часть была расположена где-то в Подмосковье, не очень далеко, но все же не в самом городе, и он каждый день рано утром уезжал на работу – из города! – и поздним вечером возвращался. Зоря (Азарий) до войны учился в авиашколе, но после ареста Мити пришлось бросить. Вернувшись с фронта (он прошел всю войну), Зоря окончил физкультурный факультет, был тренером, в 1949 году долго сидел без работы, но позднее – далеко не сразу! – стал начальником отдела легкой атлетики Спортивного комитета СССР. Он выделялся среди других руководителей спорта умом, образованностью и живым юмором, умел оживлять скучные официальные мероприятия. Это ценили вышестоящие начальники, особенно когда было необходимо представлять страну за границей.

А еще Зоря – вовсе не будучи особо сентиментальным! – любил «требовательно» вопрошать многочисленных племянников: «Кто твой любимый дядя?!» (изредка собираясь вместе, мы часто вспоминаем эту интонацию). И попробуй назови кого-нибудь другого! Правда, мой младший братец однажды допустил подобную оплошность (исключительно по неразумному малолетству!). Вызвав всеобщее недоумение, он ответил на sacramентальный вопрос: «Дядя Федя!» Родственников с таким именем у нас не было, и родители не сразу сообразили, что он имеет в виду... Фёдора Горового, бывшего когда-то нашим соседом по общежитию на Дальней, а в то время ректора пермского университета. Дядя Зоря был «безмерно возмущен непорядком»: «До чего распустили ребенка!»

Папа и братья Герчиковы шутили как-то очень на одной волне. Казалось бы, совсем не до веселья было им всем в сорок девятом году, когда папа приехал хлопотать о назначении (тогда и у Зори были свои тревоги, он долго был без работы), но все же иногда веселились! В процессе хлопот папе несколько раз потребовалось опускать письмо в окно приемной где-то в районе Кремля, и он по-южному кричал со двора на Палихе в их окно на третьем этаже: «Старик, привет! Я пошел в Кремль!» Опасные шутки по тем временам, но... молодые были!

А хлопоты оказались изнурительны и безрезультатны: 60 вузов, в которые папа отослал письма и заявления, отказали. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не случайная встреча в коридоре министерства.

Здесь мне хочется вновь процитировать Надежду Гашеву.

«К счастью для Кертмана (и для студентов города Перми, для Пермского университета), в министерстве, где молодой ученый пытался добиться ответа на свои запросы, он случайно разговорился с ректором ПГУ Александром Ильичом Букиревым. Александр Ильич – человек, прошедший две войны, мысливший по-своему, человек твердых убеждений и мягкой интеллигентности, сразу сказал опальному историку: приезжайте, место у нас есть...»

Эта определившая всю дальнейшую жизнь нашей семьи встреча оказалась поистине подарком судьбы – иным, но не менее значительным, чем встреча папы с Е. В. Тарле в Казани. Тот разговор с Александром Ильичом папа всю жизнь помнил во всех подробностях. В ответ на неожиданное волнующее предложение папа сразу сказал о своем клейме космополита. Александр Ильич мягко пресек эту тему: «Это меня не интересует. Университету нужен историк, и я готов принять вас» – и, чутко уловив какую-то заминку: «Вас что-то смущает?» Папа сказал о семье, но и это не оказалось препятствием: «Конечно, приезжайте вместе с женой, филологи нам тоже нужны!» Однако некоторая растерянность и после этого не покинула папу. «Что еще?» – «У нас маленький ребенок, дочка очень хрупкая, она даже в Киеве подвержена сильным простудам. Не знаю, как она будет переносить уральский климат». (Таким далеким и страшным казался незнакомый Урал!) – «У нас тоже есть дети!» – резковато парировал Александр Ильич.

Через семь лет после этого разговора, когда в восьмом классе я перешла в новую школу, мы познакомились и подружились с Галей Букиревой и до сих пор весело вспоминаем тот первый разговор наших отцов.

Папа вернулся в Киев и все рассказал. Не знаю, долго ли длились семейные обсуждения, но никакого другого решения – как, кстати, и после папиной встречи с Тарле! – родители принять не могли.

И все же сразу решиться на радикальный переезд всей семьи было страшно – вдруг что-то окажется не так. Решили, что сначала папа поедет один, на разведку и, конечно, сразу приступит к работе. А пока что – на оставшийся короткий отрезок лета – выехали за город, сняли комнатку в Летках. Это название осталось в моей еще туманной памяти, названия других наших дачных мест под Киевом помню яснее: Ирпень, Ворзель, Звонковое, Казновка, Остер (туда мы ездили много лет подряд). Как волнующе они до сих пор звучат для меня!

В Летках мы жили всего один раз – летом 1949 года. Я, конечно, не могла понимать, какое это было лето... Лето долгого прощания.

Как птица вылетает вон из клетки,  
Внезапно выпущенная на волю,  
Кусочек жизни назывался «Летки» –  
Когда-нибудь припомним с легкой болью.

Дожди. Дожди. Порывы ветра. Холод.  
И, словно все задумано заранее,  
Чужой чернеет за ветрами город,  
И близко неизбежное прощанье.

Но в эти дни тревоги и ненастья  
Под тихий шелест ветра среди ветвей  
Я, может быть, впервые понял счастье  
Твоей любви и нежности твоей.

Пусть птицы вылетают вон из клетки,  
Но с нашей беспокойною судьбою,  
Кусочек счастья назывался «Летки» –  
Когда-нибудь припомним мы с тобою.

*3 августа 1949 года*

«Чужой чернеет за ветрами город...» Родители прощались, и было неизвестно, на какой срок.

Папа отправился в Пермь. Начинаясь совсем новая жизненная глава.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*В этой должности (и. о. завкафедрой всеобщей истории), а в 1953–1957 гг. – в должности доцента, я работал до 1957 г., когда был избран по конкурсу заведующим кафедрой всеобщей истории. С тех пор до настоящего времени работаю заведующим кафедрой...*

Все это сложилось позже. Пока же папа один ехал в неизвестность, на Урал, где никогда в жизни не был. Смотрел в окно медленно идущего поезда на незнакомый пейзаж, так не похожий на украинский. Мысленно прощался с городом, где прожил полжизни. Как одиноко и тоскливо ему было, как тревожно!.. Найти друг друга после такой войны – и опять разлука.

*Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил.*

*А. С. Пушкин*

Поля, поля... Неласковые горы,  
А за окном встает степная Русь,  
И сердцем я в далекий южный город,  
В далекий город юности несусь,

Где я любил, где первых песен строчки  
Похоронил, как друга на войне,  
И где теперь моя гуляет дочка  
И, может быть, не помнит обо мне.

Поля, поля... Как быстро годы мчатся,  
Давая пишу сердцу и уму,  
И, может быть, другим пора прощаться,  
А я дочурку на руки возьму.

И если мне лишенья и разлуки  
Ее глаза и губы не простят,  
Ты за меня лизни ей нежно руку,  
За то, в чем был и не был виноват.

*Осень 1949 года*

Во время военной разлуки хоть ребенок еще не родился... Осенью сорок девятого года думать о будущем семьи было совсем страшно, далеко вперед не заглядывали, мыслили короткими отрезками времени: можно вырваться в Киев на несколько дней в октябрьские праздники, на Новый год, на зимние каникулы...

Далеко живет она,  
Маленькая дочка.  
Папа пишет у окна  
Дочке эти строчки.

Хорошо живи, моя  
Доченька родная!  
Я тебя, любимая,  
Очень обожаю.

Я б на ручки взял тебя,  
Лесенкой понес бы,  
Помни обязательно  
Маленькую просьбу:

Если сядешь кушать ты,  
Не вертись на стуле,  
Непрерывно слушайся  
И люби мамулю.

Если мама вечером  
Вдруг уйти захочет,  
Значит, делать нечего:  
Возвратится к ночи.

Не помогут жалобы.  
Пусть гуляет, пусть.  
Не сердись, пожалуйста,  
Я ведь не сержусь!

Долго мы беседуем –  
Хватит на сегодня!  
А домой приеду я  
В вечер новогодний.

Напишу Линусеньке  
Письмецо я снова.  
До свиданья, Люленька!  
Твой папуля Лёва.

*Зима 1949 года*

Хорошо помню тот папин приезд. Очень я по нему скучала, очень ждала. Он тогда как-то особенно баловал меня: лихо жонглируя пятью яблоками сразу, безотказно развлекал «на бис», а увидев, с каким аппетитом я поглощаю в новогодний вечер его коронное блюдо – яблочную шарлотку, получавшуюся у него как-то необычайно вкусно, готовил ее во время своего короткого пребывания в Киеве каждый день. (На Урале у него появилось другое коронное блюдо – жареха из грибов.)

Тогда я, конечно, не понимала, в каком смутном состоянии встречали родители новый 1950 год. Но случилось настоящее новогоднее чудо – из Молотова в Киев пришло письмо от Александра Ильича Букирева. Даже в дате написания этого письма скрыта понятная нашей семье мистика: 26 декабря – день рождения мамы. Папа приложил усилия, чтобы вернуться домой к этой дате. И вот...

*26 декабря 1949 года*

*Уважаемый Лев Ефимович!*

*Как жаль, что Вы столь внезапно выехали из города Молотова, и я не смог повидаться и переговорить с Вами до Вашего отъезда. Поэтому я решил написать Вам и просить Вас ответить мне до Вашего возвращения из Киева. Я имел в виду переговорить с Вами о переходе на работу в Молотовский Университет Вашей супруги. Мне передавали, что Вы несколько обеспокоены неприятной перспективой совместной работы с некоторыми из сотрудников кафедры, на которую имеется в виду пригласить Вашу супругу. Мне кажется, для беспокойства больших оснований не должно быть, т.к. при наличии возможностей положение на кафедре будет резко изменено. Поэтому опасаться неприятностей, мне думается, не следует. Наш коллектив в состоянии, кроме того, парализовать*

попытки чинить неприятности, если даже лицо, кого Вы имеете в виду, попытается это сделать, если будет иметь к этому возможность, в чем я не уверен.

Что касается бытовых условий (квартира), то я надеюсь, что и в этом отношении мы с Вами договоримся. Во всяком случае, вторая комната будет Вам предоставлена. Само собою разумеется, что мы будем принимать меры к получению квартиры за счет города. Хотя и не так часто, но все же город время от времени предоставляет нам квартиры. Так, Вам, вероятно, известно, что квартиру в городе получили проф. Воробьев, доц. Верещагин и др. наши научные работники. В перспективе у нас новый 40-квартирный дом, который хоть и медленно, но строится, и будет в ближайшие два года построен.

Наших холодов, надеюсь, Вы теперь уже не боитесь. У нас, как Вы могли убедиться, стоит хорошая, сухая и теплая относительно зима.

Итак, я жду от Вас ответа. Было бы хорошо, если бы Ваша жена приступила к работе во втором полугодии уже в МолГУ, в чем, я рассчитываю, нам поможет и министерство. Последнее в лице отдела кадров нашего Главка надо просить оформить переход Вашей жены в Молотовский Университет служебным переводом, хотя это, мне думается, не обязательно. Если необходимо, то надлежащее ходатайство мы можем возбудить. Об этом я также прошу Вас меня уведомить.

Жду от Вас известий.

Позвольте поздравить Вас с Новым годом и пожелать Вам и Вашей семье счастья, здоровья и успехов. Надеюсь, что следующий новый год – 1951-й – Вы будете встречать в кругу своей семьи и друзей уже в городе Молотове.

Будьте здоровы!

С уважением, А. Букирев.

(Приписка чернилами): Прошу извинить за ошибки в письме, они проистекают оттого, что я лишь начинаю осваивать технику письма на пишущей машинке.

А. Б.

Поистине «стиль – это человек». Поразительное письмо! Немного старомодное – такое, думается, вполне мог бы написать и дореволюционный интеллигент. Этот обаятельный, не

засоренный советским новоязом стиль напомнил мне письма Ивана Владимировича Цветаева – так ощутимы в нем врожденные порядочность и благородство, деликатность, естественная доброжелательность, безукоризненное чувство собственного достоинства и умение уважать достоинство другого человека. С каким мягким юмором напомнил он папе его боязнь уральской зимы (для ребенка), значит, помнил тот разговор!

В этом месте не могу очередной раз не забежать вперед. Через восемь лет, в 1958 году, переходя в восьмой класс и в новую школу, я очень волновалась. Мама узнала, что я попаду в класс, где учится Галя Букирева, и обратилась к Александру Ильичу с просьбой. Он очень по-доброму откликнулся и попросил свою дочку поддержать на первых порах в новой обстановке «дочь Сарры Яковлевны, работающей в университете», он очень давно ее знает. Может быть, во время того короткого разговора с мамой Александр Ильич вспомнил, что речь идет о ребенке, которого с таким страхом привезли в уральские зимы...

Галя хорошо помнит эту просьбу. И кстати – сейчас вдруг подумала! – ее отец (тогда он уже не был ректором, заведовал кафедрой биологии) ни словом не обмолвился дочери о том, как много сделал в свое время для нашей семьи... Его письмо хранилось у нас в семье, как бесценная реликвия.

Александр Ильич был чем-то похож на чеховского интеллигента, не нервно мечущегося, а скромно и спокойно делающего свое необходимое людям дело, как доктор Дымов в «Попрыгунье». Он был очень демократичен – студенты знали, что у ректора можно перехватить денег перед стипендией, он приходил на спортивные соревнования и азартно болел за ребят. Основным критерием при приеме преподавателей на работу были для него высокий профессионализм и порядочность. Александр Ильич хорошо знал цену разнузданным обвинениям и не боялся брать опальных людей – побывавших в плену, вернувшихся из лагерей и ссылок, «безродных космополитов»...

Мама в первый раз приехала в Молотов в марте 1950 года и прочла на филологическом факультете спецкурс «Советская литература периода Отечественной войны 1940–1945 гг.», после чего вернулась в Киев, а окончательно приступила к работе с начала следующего учебного года.

*С сентября 1950 года начала работать на кафедре русской литературы Пермского (тогда – Молотовского) государственного университета в должности старшего преподавателя, в 1952 году была утверждена в должности доцента.*

Но новый 1951 год, вопреки пожеланию Александра Ильича, мы еще не встречали всей семьей на новом месте. Родители не спешили перевозить меня на холодный Урал, и до школы я еще на целый год оставалась с бабушками в Киеве.

У родителей же уже шла новая жизнь.

Александр Ильич сдержал слово: им дали две комнаты в знаменитом тогда общежитии №1 – на углу улиц Ленина и Дальней.

«Со времени его постройки в 1938 году это было наиболее комфортное и, как сказали бы теперь, наиболее престижное жилье для сотрудников университета (но тогда, слава Богу, не было в ходу это суетное понятие). <...> Жизнь в нашем общежитии была особой, неповторимой по своему очарованию, которое трудно поддается определению. Много позже мы со Львом Ефимовичем, вспоминая то время, сформулировали это так: «Мы все дворяне – со двора первого общежития», – вспоминает Светлана Усть-Качкинцева.

Я тоже однажды воспела этот дом. Давно – еще в бытность мою в Перми.

У Светланы Усть-Качкиной в том общежитии прошло все раннее довоенное детство, и тогда, по ее словам, там была более сдержанная и строгая атмосфера, чем в послевоенные годы, когда стало больше шума – нагрянуло «много общительных и говорливых уроженцев южных областей. <...> И если некоторые из вновь прибывших несколько шокировали «стариков» своим поведением, то Кертманы, наоборот, сразу прижились всем по вкусу».

Об этом же говорит Татьяна Чернова – студентка первого маминого молотовского выпуска. «Сарра Яковлевна Фрадкина и Лев Ефимович Кертман явились в наш провинциальный уральский город из столичного Киева. Ясно, что по доброй воле такие вояжи никто делать не станет. В Перми (на самом деле тогда это еще был город Молотов. – Л. К.), где каждый десятый

житель был родственником либо ссыльного, либо репрессированного, появление новых личностей не удивляло.

<...> Пермь – город-перекресток. Здесь сходились судьбы Востока и Запада. Для оказавшихся в неволе людей это было несчастьем, а для пермяков – счастьем, потому что опальные неординарные личности создавали особую атмосферу высоковольтного интеллектуального разряда. Сарра и Лев Ефимович были из этого числа. От них исходила особая энергия духа. Кстати, мы звали ее именно Сарра – без отчества, подчеркивая сим «панибратством» нашу особую к ней любовь.

Сарра Яковлевна вела у нас спецкурс по Симонову, модному тогда писателю, и читала курс послевоенной прозы. <...> Она устраивала «летучие» диспуты, на которых, изо всех сил стараясь выпендриться перед ней, мы спорили до хрипоты. Это были уроки свободомыслия, оценить которые мы смогли значительно позже. Ее анализ произведения был всегда образным, тезисы – убедительными, а выводы подчас неожиданными, нестандартными. Сарра открыла нам прелесть деревенской прозы – и это после Тургенева! Она же соединила в наших сердцах мечты чеховских интеллигентов с суровым бытом и кровью минувшей войны из книг Казакевича и начинающего Астафьева. Главное – остаться человеком во всех обстоятельствах. Именно за эти тонкие чеховские «нотки» Сарра Яковлевна любила Панову и даже написала о ней книгу.

<...> Она много и интересно писала о пермских театрах в газете «Звезда».

Оказался востребованным и блистательный талант Льва Ефимовича. Его приглашали читать лекции на все партийные конференции. Огромная эрудиция, великолепное знание предмета, интересные факты из истории международного рабочего движения, доверительная интонация – все это делало его лекции событием городского масштаба».

А еще Татьяна Чернова рассказывает об одном чаепитии, ставшем для нее незабываемым – в том самом общежитии! «Поселили чету Кертманов в студенческом общежитии, что на Дальней. Этаж, кажется, третий, угловой отсек. Там я и оказалась однажды у них в гостях. После разбора моей курсовой работы Сарра неожиданно пригласила к столу. Кто ж откажется выпить чашечку чая в компании с самой Саррой Яковлевной!

Время было послевоенное, голодноватое, но Сарра выставила на стол и малиновое варенье, и даже сгущенку. Поначалу я не решалась притронуться к деликатесам, но она сама предложила: «Таня, вы смешайте в вазочке варенье и сгущенку. Очень вкусно!»

Вязкая жидкость необычного сиреневого цвета буквально таяла во рту. Прошло много лет, но это чаепитие мне запомнилось. И хотя потом несколько раз приходилось заглядывать на Комсомольский, где Кертманы жили в Доме Ученых, и даже выпивать со Львом Ефимовичем по рюмочке коньяку, ничто не могло сравниться с тем вишневым десертом. Может, потому, что было в том чаепитии что-то очень домашнее, теплое. А может, тот случай помог мне понять, что не надо бояться смешивать сладкое с еще более сладким или горькое с совсем горьким. Прелесть жизни – в желании почувствовать другой, непривычный вкус и уметь самой создавать краски мгновений...»

Филологические девушки, даже относительно знающие жизнь, мыслили романтически и, скорее всего, просто не представляли оборотной стороны этих триумфов... Блестящий успех маминих лекций на новом месте работы настолько встревожил ее трезвомыслящего отца, слишком помнившего горький киевский опыт, что он настойчиво предостерегал (в письмах из Киева): «Из твоих писем видно, что ты с работой успешно справляешься, в чем, впрочем, я не сомневался. Боюсь только, что ты недостаточно учитываешь ситуацию и чрезмерной популярностью наживешь врагов на почве зависти. Убедительно советую, любимая доченька, подавляя в себе тщеславие, не выделяться из рядов добросовестных среднего калибра преподавателей...» (2 ноября 1952 года).

Дедушка был так напуган, что буквально через два дня вновь вернулся к этой теме: «Напиши, Саррочка, подробнее, как у тебя налаживается работа. Весьма одобряю, что ты добросовестно готовишься к лекциям и читаешь без блеска (слово подчеркнуто дедом). Продолжай и дальше так...» (4 ноября 1952 года). Невысказанный подтекст: иначе может закончиться тем, что и отсюда придется уезжать Бог весть куда!

Ясно, что при всем желании мама не смогла бы прислушаться к этим советам – она была органически не способна читать тускло и скучно.

Впрочем, в первое время родителям показалось, что на новом месте после тяжелых испытаний наступила наконец радостная полоса. У обоих ошеломительный успех, как в лучшие киевские дни! Но дед как в воду глядел: вскоре все стало похоже на далеко не лучшие киевские дни...

«На филологическом отделении старший преподаватель А. Н. Руденко без устали разоблачает троцкистов и космополитов среди собственных коллег, в том числе и жену Льва Ефимовича – С. Я. Фрадкину». Это цитата из книги Олега Лейбовича, подробная речь о которой пойдет чуть дальше.

В это время мама писала из Перми: «Мы с Линкой немножко как на острове; она, правда, этого не чувствует, потому что находится в возрасте, когда мама может заменить многое, но я такого еще не достигла. Хотелось бы побыть с близкими, своими».

У папы были свои испытания. Павел Ефимович Рахшмир – историк, и он не идеализирует тот период жизни моего отца, наоборот, подробно анализирует причины новых, по его выражению, «зубодробительных» нападков.

«За ним тянулся киевский «шлейф». Он читал всю новую и новейшую историю стран Запада, кроме того, курс по истории славян, специальные курсы. При такой фантастической нагрузке часто выступал с публичными лекциями в сети партпросвещения. Именно здесь и подстерегал его очередной удар. В областной газете «Звезда» от 2 февраля 1952 года была опубликована статья «Об ошибочных выводах в лекциях Л. Е. Кертмана», подписанная заведующим кафедрой марксизма-ленинизма пединститута Г. Дедовым.

«...» Понять мотивы появления этого опуса нетрудно. Если не под силу соперничать в лекторском мастерстве, то не проще ли нанести удар конкуренту ниже пояса, спекулируя на «пятнах» его биографии». «...» В статье молотовской газеты есть поразительные совпадения с киевской, хотя вряд ли автор статьи в «Звезде» был знаком с материалами из киевской университетской газеты. Впрочем, стоит ли удивляться этому, учитывая стереотипность методологии и фразеологии борцов против космополитизма.

Так, киевский автор обрушивается на Льва Ефимовича за то, что в статье «Хозяева современной Америки» он будто бы отвел 9/10 ее «смакованию подробностей быта миллиардеров,

называя их звездами первой, второй величины» и т.д. <...> В «Звезде» выдвинуто аналогичное обвинение: «В лекциях уделялось очень много внимания разным биографическим деталям многочисленных министров французского и других западноевропейских правительств, а на рассказ о героической, самоотверженной борьбе народных масс за мир, на характеристику борьбы братских коммунистических и рабочих партий у лектора «не хватает времени». В Киеве открытым текстом, в Молотове несколько завуалированно звучало страшное по тем временам обвинение в объективизме.

Рассмотренные эпизоды заслуживают внимания не только сами по себе. Даже в выдержанных в духе тогдашней ортодоксии статьях и лекциях Кертмана прорывалась его неординарность: они отличались своеобразием построения, подачи материала, яркостью речи (снова «стилистические расхождения с советской властью!» – Л. К.), в них фигурировали факты, добытые из иностранных источников. На фоне господствовавших тогда серости и монотонности все это настораживало, вызывало раздражение, воспринималось как нечто чужеродное. Биографические штрихи, даже отнюдь не позитивного свойства, о буржуазных политических деятелях и бизнесменах придавали теме определенное человеческое измерение, что не увязывалось с неким абстрактным чудовищным и в то же время карикатурным «образом врага».

С похожим подходом я столкнулась и в совсем другие годы, семидесятые, когда пыталась защитить диссертацию по «Саге о Форсайтах» Джона Голсуорси. Претензии к моей работе на кафедре Ленинградского Герценовского пединститута очень напоминали ту критику – «слишком человеческое» измерение, с каким я подходила к жизни и переживаниям Форсайтов, не увязывалось с образами «классово чуждых» буржуа, «носителей форсайтизма». Меня обвинили в «абстрактном гуманизме» и завернули работу, а когда участники заседания разошлись, заведующий решил покровительственно «утешить» меня: «Вам не сказали ничего страшного! Вы не представляете, что услышали бы в сорок девятом году!» – «Да нет, хорошо представляю...» – ответила я.

В начале пятидесятых Павел Ефимович Рахшмир был еще очень молод, и он, думается, пишет об этой истории так, как она запомнилась ему со студенческих лет, когда он болел за

любимого преподавателя. Естественно, ему казалось, что финал был благополучен. О напряженном драматизме «промежуточных стадий» П. Рахшмир, видимо, многого не знал, думая, что «до оргвыводов дело не дошло». Но на самом деле – и «полоса отчуждения» возникла, и оргвыводы были сделаны, и увольнение состоялось. И тревожная неизвестность была, и очень тяжелое настроение.

Приведу отрывок из папиного письма, написанного 9 мая 1953 года.

Меня поразила дата – и то, что о ней – ни слова... В те годы 9 мая было обычным рабочим днем. Но папа этот день всегда взволнованно помнил, в шестидесятые и далее День Победы у нас в доме неизменно отмечался, но в 1953-м году слишком другие переживания переполняли моего отца.

Москва, 9 мая

*Сегодня я решил сообщить тебе о делах, дорогая Саррочка!*

*Они находятся в весьма печальном состоянии. Дело в том, что Виктор не может или не хочет ничем помочь, несмотря на то, что я выдвигал самые различные варианты. (Эти слова требуют объяснения, и оно последует, когда я подойду к финалу тяжелой истории, забравшей у папы не меньше нервных клеток, чем киевская. – Л. К.) Быть настойчивым, когда речь идет о себе, я не умею. Итак, приходится действовать в общем порядке, а что это означает – ты можешь только догадываться, и не дай Бог тебе знать. В нашем министерстве я нашел кое-кого из старых и очень далеких знакомых. Они говорят, что о направлении (выделено в письме. – Л. К.) сейчас не может быть и речи – только по конкурсу. Кое-что посоветовали и обещали в случае приезда ректоров беседовать с ними.*

*Все это весьма неутешительно. В Министерстве просвещения говорят, что некуда распределять своих аспирантов. Это все еще до ознакомления с моими документами. Итак, работы нет, и трудно сказать, где и когда она обнаружится. <...> Вернее всего, придется ехать куда-нибудь очень далеко. <...>*

*Живу обыкновенно – работаю. Иду сегодня с Зорькой на матч. <...> А вообще следовало бы по-другому провести эти месяцы – впереди уж очень безрадостно. <...>*

*Насчет лета ты, по-моему, проявляешь легкомыслие. Не совсем понимаю, зачем отправлять Линку в Киев, раз ты освободишься так поздно? Ведь смысл был в том, чтобы ты в начале июня уехала на курорт и чтобы она тебя не связывала. А так – где логика? Впрочем, решай сама. Только ни в коем случае не отправляй ее с проводницей – это в самой категорической форме. Проводник занят, в дороге теперь очень беспокойно – словом, об этом не может быть и речи. Второй вариант одобряю».*

«Второй вариант» осуществился – мама отправила меня до Москвы с коллегой по кафедре Маргаритой Александровной Ганиной, а оттуда до Киева меня довез дядя Сюня. Кстати, в том случае, думаю, своя логика у мамы была. Она хотела, чтобы ребенок лишний месяц пробыл в Киеве, в тепле, на южных фруктах, и бабушки с дедом были бы рады, ну а заодно и ей было бы легче в напряженный сессионный месяц – меньше хлопот дома.

Из маминых писем тех месяцев 1953 года.

*Лёвонька!*

*Говорила вчера вечером по телефону с твоей мамой и узнала, что у тебя все по-старому. Так страшно, что жизнь идет, а предела несправедливости не видно. А сейчас что?.. Жду хотя бы телеграммы, из которой что-нибудь узнаю о тебе. Иосиф и Рива (Иосиф Приворотский – мамин сокурсник по аспирантуре у Д. Е. Тармарченко и «подельник» по 1949 году; работал в пединституте Пятигорска. – Л. К.) уговаривают, чтобы ты хоть на сколько-нибудь приехал к ним. У Иосифа прошло в четверг отчетно-выборное собрание по знакомым рецептам (в присутствии секретаря крайкома). Он с выговором, но с работы не снят...*

*1953 год, 1 сентября (папин день рождения)*

*Любимый мой, мой Лёвонька!*

*Мне так невыносимо тоскливо сейчас, так больно, что, если бы можно было напиться до бесчувствия, я бы напилась, чтобы хоть на время высвободить сердце из тисков. Весь длиннейший и мучительнейший сегодняшний день я металась, как раненая, вспоминая твои дни рождения 1949-го и 1950-го годов. Мне так безумно больно за тебя и так ненавистно все вокруг – это море подлости, наглой и вызывающей, и это скрытое или едва маскируемое бездушие, что я совершенно задыхаюсь...»*

Я помню то напряженное время (конечно, без подробностей, в которые меня и не посвящали). И потому, прочитав у П. Рахшмира, что «оргвыводов не было», начала думать, как мне сформулировать уточнение, но вдруг вспомнила, что эти важные подробности описаны в одной замечательной книге так, как мне было бы недоступно.

Историк Олег Лейбович – человек другого поколения, он обратился к той давней ситуации много лет спустя. Его яркая книга «В городе М» посвящена историям многих гонимых в городе Молотове 1930–1950-х годов. Он профессионально изучил стенограммы разгромных заседаний, проанализировал позиции каждого нападающего, дал многим из них убедительные социально-психологические характеристики, после чего перешел к настоящим – прямо-таки «детективным»! – расследованиям. Он поставил острые вопросы и, «начав с конца», докопался до истины и пришел к убедительным выводам. Причем каждое его утверждение строго документально подтверждено.

«Попытаемся выяснить, по каким причинам ректорат университета при явной поддержке, если не по инициативе, партийного бюро решил избавиться от перспективного доцента, не замеченного ни в склоках, ни в бытовом хулиганстве, ни в чрезмерном увлечении горячительными напитками, ни в нарушении супружеской верности. На первый взгляд, прав М. Г. Гуревич, обнаруживший причины увольнения в заурядном антисемитизме университетских начальников или, добавим, в их сервильности. Увидели в «деле врачей» начало охоты на евреев и посчитали необходимым присоединиться – либо по доброй воле, либо по казенному интересу, либо из чувства самосохранения.

«...» Можно согласиться с тем, что антисемитская кампания предоставляла удобный случай для тех, кто хотел бы избавиться от Л. Е. Кертмана. В этой связи любопытны изменения, производимые в официальных университетских документах с его отчеством. Принимают на работу Льва Ефимовича, а увольняют Льва Хаймовича, в одном случае даже Льва Хадика Хаймовича. Впрочем, было бы неверным видеть в этом местную инициативу. В начале 1950-х власти проводят целенаправленную политику диссимилиации населения страны. В паспорта и в партийные документы вписывают этнические имена



и отчества, так что и в этом отношении ситуация с Л. Кертманом не является исключительной».

Хорошо помню, как после отмены увольнения папа получал в милиции справку, по поводу которой очень веселился. Пусть не настолько уникальная, как единственная на всю страну справка Я. Гордона о том, что он не является безродным космополитом, но тоже весьма экзотичная справка подтверждала, что «Лев Ефимович и Лев Хаим-Айзикович – одно и то же лицо».

Но исследование О. Лейбовича на этом не останавливается.

«Само увольнение можно считать одним из моментов в развитии конфликта между блистательным лектором и другими обществоведами города Молотова».

И дальше, сочувственно отметив, что «...в феврале 1952 года выяснилось, насколько краткой была передышка» и «вновь повторялась ситуация трехлетней давности», О. Лейбович объясняет не жившим в те времена истинный жанр статьи Дедова: «По жанру статья представляла собой рецензию на стенограмму лекции для слушателей вечернего университета марксизма-ленинизма (ВУМЛ) «США – главный оплот мировой реакции и империалистической агрессии». По содержанию это был публичный донос. Союз «об», с которого начинался заголовок, не был случайным. В советской политической практике он указывал на характер публикации. Когда в 1952 году появилась статья «О романе В. Гроссмана...», Твардовский сказал: «Если «о», то добра не жди».

После этого объяснения Олег Лейбович ставит острый вопрос: «Кто заказал критический материал Дедову, то есть снабдил его стенограммой лекции, поручил написать, разместил статью на страницах главной областной газеты?»

Вопрос этот закономерно возникает, потому что в этом деле была явно нарушена традиционная последовательность событий: «...по тогдашним правилам политического поведения, публикация критической статьи была сигналом для партийных и административных инстанций. Действовал строгий регламент: проверка фактов, обсуждение в собственном трудовом коллективе, обязательная самокритика с разоблачением источников ошибок и возможные организационные выводы. Для подготовки всех мероприятий требовалось время. В данном случае университетские власти действовали молниеносно».

Отметив, что у нападающих не было возможности сослаться на недовольство слушателей, приходящих на лекции Л. Е. Кертмана в гораздо большем количестве, чем на другие лекции, О. Лейбович приходит к обоснованному выводу: «Статья против Л. Е. Кертмана с большой долей вероятности появилась по инициативе его коллег по преподавательской работе, готовых пойти на конфликт с городскими партийными властями, чтобы уничтожить неугодного им лектора. Речь шла о подготовленной акции. Ее инициаторы и организаторы находились в университете. Иначе не объяснить быстроты и слаженности их последующих действий».

Александр Ильич Букирев был искренне убежден, что если на какой-либо кафедре возникнут нечистоплотные интриги, он сможет их пресечь. Как чувствуется в том его прекрасном письме отвращение к подобным вещам! Если бы это зависело от него, он, разумеется, сделал бы все возможное, но далеко не все было в его силах, тем более что к тому времени ректором стал совсем другой человек.

«Василий Филиппович Тиунов принял должность 4 сентября 1951 года, покинув для этого пост заместителя председателя Молотовского облисполкома. <...> Перевод на работу ректором был для Тиунова карьерным поражением, университет – местом ссылки. Вся его прежняя работа протекала вдали от учебных заведений, по преимуществу в советских учреждениях. В. Ф. Тиунов – практик со степенью кандидата экономических наук. <...> Для университета он еще чужой человек, крайне ревниво относящийся к своему предшественнику Александру Ильичу Букиреву, который принял на работу нераскаявшегося космополита Л. Е. Кертмана. Во всяком случае, все на том же сентябрьском партийном собрании 1953 года один из ораторов – Харитонов – вскользь заметил: «Не нравится, что у тов. Тиунова проскальзывает мысль: что было до меня – плохо, что при мне – хорошо. <...> А между тем старый ректор тов. Букирев не является членом ученого совета университета».

Тиунов нападал на моего отца особенно агрессивно... А еще – Ф. С. Горовой. Об этом характерном для тех лет остром противостоянии Олег Лейбович написал с глубоким проникновением в психологию гонителя.

«Сохранилась рукопись отчетного доклада секретаря партийного бюро историко-филологического факультета Ф. С. Горового, с которым тот намеревался выступить 27 марта 1952 года.

Докладчик сначала цитирует решение университетского бюро, усилив обвинение в адрес кафедры всеобщей истории («подавляющее большинство членов кафедры читает лекции на низком идейно-теоретическом уровне»), а далее переходит непосредственно к Л. Е. Кертману. В строчках, ему посвященных, сквозит удивление, смешанное с обидой:

«Поражает то обстоятельство, что т. Кертман долгое время, благодаря внешне изящной форме изложения материала, преподносил студентам порочные по содержанию лекции. Эта легко воспринимаемая увлекательная форма привела к тому, что среди части студентов сложилось мнение о т. Кертмане как о лучшем лекторе-марксисте... Ошибка партбюро и деканата состоит в том, что они шли на поводу ложных мнений о т. Кертмане».

Ф. С. Горовой не может не признать мастерство лектора, но оно ему чуждо и потому опасно. Он не приемлет стиль Л. Е. Кертмана: изящный, ироничный, свободный, – но пишет о «порочном содержании», употребляя эту ритуальную формулу для того, чтобы скрыть ревнивое чувство по отношению к более талантливому коллеге. Ф. С. Горовой стремится раз и навсегда избавиться от этого преподавателя, поскольку боится вновь подпасть под обаяние его лекций, пойти «на поводу ложных мнений».

<...> Ситуация складывалась таким образом, что можно было выразить свои чувства на языке партийных инвектив. Добавим сюда общественный темперамент вкупе с превосходным знанием сталинского политического стиля и в итоге получим ту неподдельную ярость, с какой доцент Ф. С. Горовой ополчился на доцента Л. Е. Кертмана. Он со страстью вживается в роль хранителя партийной и научной этики, обличителя нравственных уродств и политических уклонов, воплощенных в фигуре обвиняемого. Его не останавливает мысль о том, что своими действиями он обрекает человека на безработицу, готовит ему запрет на профессию. Горовой не был наивным человеком и знал, что идейные разоблачения подсказывают соответствующим службам МГБ, кого следует брать в активную разработку. Это его не остановило. Положение обязывало».

Заканчивая «линию Горового», не могу не напомнить, что это тот самый «дядя Федя», которого на какое-то время записал в «любимые» мой младший брат. О. Лейбович справедливо отметил, что «в новые времена» Ф. Горовой перестал проявлять враждебность. Вся ситуация изменилась.

В трогательных воспоминаниях о моем отце Герасима Сергеевича Григорьева сказано: «Не знаю людей, которые были его явными недругами, выражали к нему свою неприязнь. Если и были, то скрывали свое недружелюбие, понимали, что оно не встретит сочувствия, и будет основанием для их собственной отрицательной оценки. <...> Насколько мне известно, был равнодушен к людям, которых не уважал; не сводил счеты, был свободен от мстительности, не испытывал ненависти даже к тем, кто был к нему несправедлив. Может быть, это недостаток, но, скорее всего, особая разновидность гуманизма и философского оптимизма – не требовать от людей того, что они не могли дать, что было в них порождением и проявлением социальных, не ими созданных условий и тенденций».

Могу подтвердить это пронизательное утверждение, опираясь на одно свое воспоминание. Не помню, почему зашла речь о том, как разные наши знакомые, высоко поднявшиеся по карьерной лестнице, повели бы себя в ситуации, когда пришлось бы рискнуть собственной карьерой ради помощи попавшему в опалу другу. Папа быстро оборвал этот разговор, сказав: «А вообще-то не целомудренно (это слово мне запомнилось!) думать о таких вещах».

Все это – о более поздних временах, а тогда... Вот итог травли. «В «Отчете Молотовского университета» за 1952 год Л. Е. Кертману был посвящен целый абзац. В нем повторялись обвинения в «низком идейно-теоретическом уровне лекций», в «небрежности и неточности формулировок», в «политических ошибках», и добавлялись новые: «слабый показ всемирно-исторического значения русского революционного движения: партии большевиков, Великой Октябрьской социалистической революции».

В дальнейшем недоброхоты действовали за кулисами, документов не оставляли. Ждали подходящего момента, который и случился в начале 1953 года...

Основанием для увольнения сделали сокращение штатов, а не политические ошибки. Ректор подписал приказ об увольнении в апреле – заранее, за пару месяцев до окончания учебного года, с нарушением всех правовых норм. Было не до них <...> 17 апреля 1953 года ректор Молотовского университета В. Ф. Тиунов подписал приказ, в первом параграфе которого значилось: «Ввиду сокращения контингента студентов на историческом отделении историко-филологического факультета, уменьшения учебных поручений в 1953–1954 учебном году, ликвидации кафедры всеобщей истории и. о. зав. этой кафедры доцента Кертмана Л. Х. освободить от работы в университете с 1 июля 1953 года с представлением очередного отпуска за 1953 год на 48 рабочих дней с 1 июля до 25 августа 1953 года».

Приказ был исполнен в срок. В «Отчете о движении специалистов, имеющих законченное высшее образование, за III квартал 1953 года по Молотовскому государственному университету» среди уволенных пятым по списку числится Кертман Лев Хаймович, и.о. завкафедрой всеобщей истории, доцент, освобожденный от занимаемой должности в связи с сокращением учебных поручений с 26 августа 1953 года».

Итак, формально ректор обосновал увольнение якобы несостоявшимся набором студентов, в связи с чем возникла необходимость закрыть кафедру, которой заведовал Л. Е. Кертман.

И то и другое было прямой ложью. В 1953-м на историко-филологическое отделение поступило не меньше студентов, чем в предыдущие годы, и на освободившееся после увольнения моего отца место был объявлен конкурс. Вот тогда мама ворвалась в кабинет ректора...

Этот ее рассказ хорошо помню. Так как в приказе не было обозначено никаких других оснований для увольнения, кроме сокращения штатов, мама спросила полуутвердительно, как будто о само собой разумеющемся: «Значит, теперь Лев Ефимович может вернуться?» – «Зачем же нам брать человека со стороны?» (Видимо, ректор собирался как-то распределить эту ставку между не уволенными.) Мама и без того входила в ректорский кабинет уже на взводе, но этот наглый цинизм окончательно вывел ее из себя: «Вы настоящий антисемит-черносотенец!» – она выкрикнула это так, что слышно было в приемной, и выбежала, хлопнув дверью. Ей потом рассказывали, что

В. Тиунов вышел из кабинета весь красный, повторяя: «Что Фрадкина мне наговорила! Совсем с ума сошла!»

Если вспомнить разговор мамы с ректором киевского университета, который прямо, не стесняясь и не ограничивая себя, с его точки зрения, «пустыми условностями», сказал ей, что ее фамилия на афишах выглядит в Киеве «неприлично», приходится согласиться с П. Рахшмиром: «Атмосфера на Урале была все же иная по сравнению с Украиной».

Встреча мамы с В. Тиуновым ничего не изменила в судьбе папы, и, как ни страшно было уходить в никуда, после скандала она и сама собиралась подать заявление об уходе.

Но как же случилось, что в октябре пятьдесят третьего года папа все-таки вернулся в Молотовский университет? В этом вопросе версии П. Рахшмира и О. Лейбовича расходятся.

Павел Рахшмир: «Посланные в редакцию «Правды» текст статьи и стенограмма лекции, к счастью, попали к члену редколлегии, которому сразу стали очевидны вздорность и несостоятельность обвинений. «Звезда» тихо дала отбой». Павел Ефимович дает этот момент «крупным планом» как решающий во всей «эпопее», но он не знал, что было увольнение, и потому требовалось еще и официальное восстановление.

Олег Лейбович: «Спустя короткое время выяснилось... что Министерство культуры СССР (ему осенью 1953 года подчинили университеты) не считает законным... увольнение доцента Кертмана. Телеграммой от 29 сентября того же года, подписанной заместителем министра М. Прокофьевым, ректору Молотовского университета предлагалось «восстановить на работе в университете доцента Кертмана Л. Х. с 26 августа с. г. и поручить ему читавшиеся им в 1952/53 учебном году курсы».

Все-таки 5 марта 1953 года было уже позади! Но... продолжает О. Лейбович: «Последнее распоряжение исполнено не было. Деканат тут же отдал Кертману курс «История южных и западных славян». <...> В «Отчете... за 1953/54 учебный год» новый декан историко-филологического факультета П. Д. Пачгин (преподаватель по ставке доцента с 10 января 1939 года) не упустил случая попенять строптивцу: «Научный работник доц. Кертман Л. Е., которому был передан данный курс, не обеспечил его подготовку к началу учебного года».

Сколько ядовитой демагогии в этом обвинении... Ведь обвиняющий прекрасно знал, что перед началом учебного года ни о каких новых курсах речь не шла (шла совсем о другом) и что у Л. Кертмана не было никакой возможности – ни дня! – чтобы подготовить курс, который он вовсе не планировал читать.

Даже при благоприятных столичных решениях оставалась во многом непобедимой местная инициатива, в которой провинциальные деятели часто стремились быть «большими роялистами, чем сам король»!

Но, конечно, в сравнении со всем пережитым моим отцом в Киеве и за эти месяцы в Молотове отчет Пачгина выглядит мелкой неприятностью и чуть ли не признаком начинавшейся, по слову Анны Ахматовой, «вегетарианской эпохи».

После некоторых колебаний я решила все же рассказать здесь об одной подробности, которой не могли знать ни П. Рахшмир, выступающий в этом месте своей статьи как мемуарист, ни О. Лейбович, изучивший ситуацию как дотошный исследователь. Дело в том, что член редколлегии «Правды», которому в самом деле «сразу стали очевидны вздорность и несостоятельность обвинений», это известный в то время журналист Виктор Подкурков, недавно переведенный на работу в Москву киевский приятель родителей, знакомый со студенческих лет. Папа упоминает о нем в письме, приведенном чуть раньше. Мне трудно судить, какого рода непонимание случилось у моего отца с Виктором во время первого серьезного разговора, когда ему, наученному разным горьким опытом, показалось, что Виктор не хочет помочь. Но мама, лучше зная этого человека, была уверена в его поддержке и взяла это дело в свои руки (не за себя просить в самом деле легче). В начале осени она сама приехала в Москву, и ее разговор с Виктором привел к желаемому результату. Смутно помню, что мама уезжала очень конспиративно, чтобы о ее поездке не узнали люди, способные навредить. Кто-то из общежитских знакомых пронес чемодан и ждал маму на вокзале, а она вышла из дома налегке, не привлекая внимания.

Таким образом, статья Дедова не была отправлена «в никуда», мама сама отвезла ее в Москву, где обратилась за помощью к старому другу. И сейчас я даже не понимаю, почему мне вслед за мамой очень долго казалось неловким рассказывать об

этом. Сегодня я не вижу в этой дружеской помощи абсолютно ничего постыдного: родители воспользовались своими возможностями ради безусловного добра и восстановления справедливости.

Из письма папы.

25 апреля 1953 года, Москва.

*Дорогая моя Саррочка!*

*Очень мне не хватает тебя или хотя бы твоих писем сейчас.*

*<...> Виктор с декабря 1952 г. работает в «Правде» – член редколлегии. Это считается шагом вперед в его работе. Виделся с ним пока мельком. Буду завтра более подробно говорить с ним и тогда окончательно решу – добиваться ли отмены приказа Тиунова или плюнуть на это. <...> Сама понимаешь, что кое-что может быть теперь предпринято для восстановления справедливости в МолГУ. Здесь такие примеры есть...*

Слава Богу, что были такие верные друзья!

Противостояние больше не проявлялось в таких резких и открытых формах, но до конца оно не исчезло. В книге О. Лейбовича глубоко осмыслены причины и суть этого противостояния.

«Его манера общения со слушателями не совпадала с партийным канонам. Л. Е. Кертман не читал лекций с листа, не пользовался конспектом, не умел быть патетичным. При всем своем увлечении методологией он знал, что история интересна деталями, и наполнял лекции разнообразнейшими историческими сюжетами. <...>

Л. Е. Кертман обладал незаурядной способностью проблематизировать предмет изложения, разворачивать его перед слушателями все новыми и новыми гранями, находить в самых тривиальных сюжетах тему для рефлексии. «Культурные эксперты» в «сталинках» или в бостоновых костюмах, напротив, требовали простоты, в которой усматривали мерилу нравственности и общества, и отдельного человека. Сталин был прост. В одном из рифмованных текстов – «бесконечно прост». Кертман – нет, и не скрывал этого.

Он был профессионалом, глубоко верующим в то, что ремесло историка позволяет выразить личностное отношение к миру. Выступая на ученом совете университета в декабре

1952 года, Л. Е. Кертман резко возражает против принудительного обновления тематики научных исследований: «Нельзя заставить аспиранта или ассистента сменить тему работы. Это превращает его в школяра, не имеющего своей точки зрения, что всегда дает отрицательный результат».

Л. Е. Кертман не жаловал дилетантов, поучающих специалистов. В культурной ситуации, в которой общедоступность считалась главным достоинством научной работы, это выглядело делом снобизмом.

Л. Е. Кертман был одним из тех людей, кто создавал особый стиль преподавания и изучения всеобщей истории – более свободный в выборе исторических сюжетов и персонажей, академический по тону, предъявляющий повышенные требования к исследователям по части знания иностранных языков и общей эрудиции, в конечном счете, менее идеологический.

Таким образом, в культурной ситуации, сложившейся в Молотовском университете в начале 1950-х годов, конфликт между обществоведами, с одной стороны, и Л. Е. Кертманом, с другой, был неизбежен и неустраим. В его основе лежали стилевые различия, более глубокие и непримиримые, нежели разногласия по историческим и даже политическим вопросам. Восстановление на преподавательской работе нельзя считать окончанием конфликта, лишь завершением его наиболее драматического этапа. Пройдут годы, прежде чем университетская общественность признает за Л. Е. Кертманом право на собственный стиль».

И все же после завершения «наиболее драматического этапа» какое-то время можно было отдохнуть.

Возвращение папы из Москвы с победой стало настоящим праздником, его отмечали в общезжитии новые друзья, чье сочувствие помогало и поддерживало в тяжелые дни – это философы Илья Борисович Новик и Герасим Сергеевич Григорьев, юристка Евгения Александровна Голованова, физик Иван Григорьевич Шапошников – к тому времени сложившийся молотовский круг общения. Эти люди были «не просто соседями – они были единомышленниками», – справедливо пишет Надежда Гашева.

А еще в нашем семейном архиве хранится коллективное письмо киевских родственников, собравшихся по такому случаю у бабушки и весело отмечавших папину победу.

Но вскоре начался новый этап папиной борьбы. Павел Рахшмир вспоминает: «С 1953 года начинают исчезать многие ограничители. Теперь, когда, наконец, появляются перспективы на будущее, Л. Е. Кертман принимается за работу прямо-таки с одержимостью. Могу засвидетельствовать такой факт: осенью 1955 года, будучи ответственным от факультета на сельхозработах, он возил с собой в район пишущую машинку, чтобы в немногие свободные часы печатать диссертацию. К началу 1956 года диссертация была фактически готова. Но между сроком написания диссертации и ее защитой прошла дистанция длиной в 5 лет. На пути к защите, как это чаще всего бывает, возникло множество объективных и субъективных препятствий, которые даже Льву Ефимовичу при его энергии и работоспособности преодолеть было непросто...»

Одержимость и напряжение жизни родителей этого времени хорошо помню. В отсеке на третьем этаже, который так лирично вспоминает Татьяна Чернова, родители прожили восемь лет, я на год меньше. Через некоторое время – кажется, после рождения моего брата – нам дали третью комнату. Папа оборудовал там свой кабинет, где занимался до глубокой ночи, иногда до раннего утра: напряженно, с сумасшедшей лихорадочностью писал докторскую диссертацию. Впрочем, он начал эти занятия задолго до «своего кабинета» и писал в самых, казалось бы, не подходящих для сосредоточения мысли условиях.

Мама в те годы писала свою книгу о Вере Пановой, папа и в этой истории принимал активнейшее участие: ободрял, увещевал, чтобы она ни в коем случае не пала духом и не бросила – этому посвящены многие его письма.

«Совсем не знаю, как у тебя пишется. Иногда мне кажется, что ты готовишь мне сюрприз. Вот бы здорово было!»

Вот отрывок из большого письма о диссертационных хлопотах, когда было еще много неясного: «Все это, однако, планы, а твоя книга – реальность (у мамы был договор с пермским издательством. – Л. К.). Еще раз прошу – делай ее, родная, но только за счет рациональности в хозяйстве и разумного отдыха. Линочка, надеюсь, не очень тебе мешает? Поцелуй ее и скажи, что я ее люблю очень нежно, а тебя – ты и сама знаешь».

Папа с интересом читал написанное и кое-что советовал, помогал и в практических делах, когда дошло до продвижения книги в печать.

Из письма папы.

16 октября 1961 года

*...Надеюсь, ты получила 7-го мою телеграмму насчет книги, а затем и письмо, из которого следовало, что все в абсолютном порядке. Теперь могу продолжить. В субботу видел Илю в типографии; она сообщила, что печатание закончено, в понедельник (то есть сегодня) начнут переплетать. Сегодня по телефону проверил. Начали. И в среду должен быть сигнальный, а также и для тебя несколько экземпляров. <...> Словом, вероятно, еще до получения этого письма ты узнаешь из телеграммы о выходе книги, так что это сообщение лишь дополнит его детальки. Типографии пришлось повозиться с выкраиванием бумаги, но бумага – хорошая, и вообще на книге это не сказалось.*

Под влиянием мамы я тогда тоже была увлечена Пановой, перечитала все ее повести и романы, и даже статьи о них в свои детские и подростковые годы читала с интересом.

Папины работы я не могла так читать, плохо разбираясь в проблематике и даже терминологии, и, как теперь с раскаянием понимаю, его это огорчало. Я и сейчас не решусь говорить о сути и, главное, о новаторстве папиной диссертации. Могу только обратиться к объяснениям историка – профессора П. Е. Рахшмира.

*«...Вышла первая его книга «Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии (1900–1914 годы)», в основе которой лежали материалы его диссертации. <...> Уже в первой книге отразились многие характерные для его творчества черты. Неординарность мышления и острота исследовательского взгляда позволили ему уйти от сформировавшегося упрощенного представления о лейбористской партии, показать столкновение в ней революционной и реформистской тенденций...»*

Еще несколько лет назад опасно было вникать в какие-то подробности борьбы внутри заклеечных советской идеологией сталинского времени партий, само название которых полагалось произносить только в резко негативном контексте. В истории «не революционной, соглашательской» партии лейбористов не полагалось видеть ничего достойного внимания советского ученого, потому первоначальное название папиной

диссертации – «Ранняя идеология лейбористской партии», как и все направление его исследования, были объявлены ректором и парткомом киевского университета «вредительскими и враждебными советской исторической науке». «Борьба тенденций...» в том времени и месте, безусловно, подверглась бы столь же разгромной критике.

После смерти Сталина ситуация начала меняться, но это происходило далеко не так быстро, чтобы отец не наткнулся на множество препятствий, в том числе – идеологических противников, не желавших отказаться от прежнего догматического подхода.

Пять лет перед защитой, после 1956 года, когда диссертация была фактически готова, прошли очень напряженно. И предвещая, пока писалась книга, нужная для защиты, – не меньше. Да и домашние дела бывали полны трудных хлопот и тревог (в широком смысле слова, включая живущих в Киеве родителей).

Обращусь к письмам отца.

31 января, Киев

*...В Москве мне не удалось найти хоть минуту для того, чтобы написать тебе. В Киев мне очень хотелось попасть на воскресенье, чтобы побыть с мамой. Поэтому я старался в Москве все уложить в 2,5 дня.*

*Краткий отчет:*

*Проблемы диссертационные.*

*Общая обстановка остается более или менее благоприятной. В этом, однако, есть и минусы. Дело в том, что люди начинают считать если не по гамбургскому счету, то с некоторым приближением к нему. А с этой точки зрения важное место начинает занимать проблема печатных работ и вообще места в науке. С пригорбьем должен признать, что у меня такого места нет.*

*Практически мной сделано следующее: побывал у Нарочницкого, с ним мы согласовали название работы и постановку темы: «Рабочее движение в Англии в 1900–1914 гг. и борьба двух течений в лейбористской партии». Он согласился просмотреть мою работу и поставить обсуждение ее на кафедре. Почти исключено, чтобы это удалось сделать на обратном пути. Но вполне вероятно, что это произойдет в июне или раньше, по специальному вызову.*

«...» Кроме того, я побывал в «Вопросах истории», где договорился об одной установочной проблемной статье по теме в целом и в отделе критики – об историографической статье. Проспекты обеих статей я доставляю в редакцию по пути из Ленинграда, после чего будет оформлен официальный заказ.

С Тарле не повидался – он болен и живет на даче. Попытаюсь на обратном пути.

Дела драматургические.

Закончил пьесу, напечатал ее (на это ушло много времени) и оставил в двух театрах.

«...» Таковы дела. Все это сопровождалось верчением наподобие белки, и мне не удалось даже толком посидеть с Зорькой и Аликом.

Вчера меня встретили две мамы и Сюня. Домой пришел Юрка, с которым и посидели весьма приятно.

Из Киева уеду не позднее 3-го.

Что касается здоровья твоей мамы, то по виду она совсем хороша, а по рассказам – не совсем. «...» Более подробно о делах киевских напишу через день-два.

А кроме дел – я очень скучаю по тебе и очень жалею, что мы не поехали вместе.

Целую тебя и желаю покоя, и отдыха, и разума.

Твой Лев

Линушеньке в следующий раз.

Год не указан, но, судя по тому, что ни словом не упоминается брат Гера – такого не бывало! – скорее всего, это начало пятидесятых, так как упоминающийся в письме «Юрка» – Юра Перлин – тогда еще жил в Киеве, вскоре он уехал в Кишинев. Следующее письмо, скорее всего, 1954 года.

6 февраля, Ленинград

...Самочувствие – ниже среднего. Все тот же сниженный тонус и какая-то внутренняя скука. Скучен я, кажется, и внешне. Думать об этом сейчас не стоит – надо работать. «...» Предварительный диагноз: устал на всю жизнь, внутренне свалился под разными тяготами.

«...» Больно смотреть на этот прекрасный город (даже зимой), «где сердце я похоронил». В Киеве нет уголка, который не был бы связан как с самыми дорогими, так и с самыми страшными воспо-

минаниями. Поэтому и получается, что всякие попытки обновить душу, стать лучше и моложе разбиваются о рифы проклятых межуаров.

Разговоры с Володей и с Беланом (тем самым, что в 1949 году готов был подтвердить характеристику, данную папе для приема в партию! – Л. К.) о возможности возвращения что-то взбалмутили в сердце. Ведь все-таки в Киеве мне когда-то было хорошо!

Но, конечно, и по деловым, и по всяким иным соображениям эти разговоры пришлось обрубить. Так что же? Кончат жизнь в Молодове? И удастся ли еще это?

Может быть, во всем этом – только мрачное состояние духа?.. Может быть!

Сегодня начал заниматься. Пока работаю плохо – медленно и довольно тупо. Но для выводов – рано».

Отвлекусь ненадолго от хронологической последовательности писем. Болезненно диалектичное отношение к Киеву оставалось у обоих родителей во все последующие годы.

Отец: «...Киев показался... каким-то очень провинциальным. Можно было бы много говорить о своих чувствах, они были довольно противоречивы. «...» Что-то такое щемящее есть для меня в этих улицах и разных памятных местах. «...» Вероятно, это можно сравнить со встречей спустя много лет с любовницей, которая тебе изменила. Ты ее давно не любишь, ты видишь все ее морщины и даже, наверное, понимаешь, что и тогда она не была хороша, но все-таки... Эту штуку надо бы написать художественно» (Киев, 1959 год).

Мама: «В Киеве и на улицах не стало знакомых лиц. Студенты сменились. Преподаватели – одних уж нет... В пединституте со вчерашнего дня по сокращению штатов уволено 12 человек, в том числе много знакомых» (начало 1950-х);

«Я думаю сейчас чуть больше, чем положено, хотя почти ничего не успеваю додумать – суматошно и противно жить в этом городе. Чтобы попробовать ощутить его не таким чужим, я вновь предприняла экскурсию в дальнее, но даже двор 45-й школы стал крошечным и совсем другим...» (июнь 1955 года);

«Очень рада, что уезжаю. Не столько потому, что, ничего не делая, все же устаю, сколько потому, что Киев угнетает своей беспросветной чужиной и красота его воспринимается мною как нечто декоративно-бездушное...» (июнь 1960 года).

И все же... «На вокзале, где поезд стоял 11 минут, было 13 человек. <...> Вагон наш в Киеве загрузили клубникой, варениками с земляникой и даже двумя помидорами...» (июнь 1962 года).

«В Перми нам как-то все более неуютно жить – все больше ощущается, что нет близких людей. Вот получила сегодня пару писем из Киева (Густа очень болеет, а «девушки» из 45-й благодарят за поздравления к 60-летию, шлют стихи и тяжелые новости) и почувствовала я, что родина все же там. Ты это внушала мне всегда, а я стала острее чувствовать с годами. Хотя жить бы в Киеве не хотела. Скорее – теперь уже – в Москве, но трудно и странно представить себя на пенсии. Но что неуютно – это факт» (октябрь 1977 года; из мамино письма мне).

Но продолжу «хронику» папиных мытарств перед защитой. Первая половина 1950-х.

8 февраля, Ленинград

<...> Чего сказать о себе? Обычно для меня ленинградского тепла на это раз нет по той причине, что все родные переживают непростые периоды в связи с болезнями. Очень трудно переносят корь дети. <...> При такой ситуации я везде чувствовал себя в тягость. Вчера мне удалось перебраться в гостиницу – в самую что ни на есть «Асторию», и теперь я пишу (ночью) в уютном номере, свободно курю и вообще делаю, что хочу.

<...> Моя задача здесь несколько изменилась в связи с разговором с Нарочницким и переменной темы. Он согласился с моей формулировкой – кажется, я тебе уже писал об этом. Поэтому мне требуется кое-какой статистический материал, который я и черпаю сейчас из «Blue Book». Мне создали в библиотеке хорошие условия: работаю в отдельной комнате и щелкаю на счетах. При этом – хотя это и голая статистика, работа интересная. Но, конечно, необходимость успеть, наскрести, записать снижает удовольствие. Очень завидую людям, которые могут нормально – по 6-7 часов в день – работать в такой библиотеке – и не дорожить каждой секундой.

Кроме того, в мою задачу здесь входит изучение парламентских отчетов, как ты помнишь. Это придется сделать более поверхностно, чем я предполагал. Надеюсь, однако, что собранного по отчетам (того, что соберу) хватит для окончания работы.

Наконец, мне приходится также работать в журнальном зале: просматриваю теоретический орган английской КП за послевоенные

годы; кое-что встречается по моей теме, а это важно и для работы, и для статей в «Вопросах истории».

Итак, как видишь, программа работ значительно расширилась. Ночами придется работать над проспектом статей; этого я еще делать не начинал. <...> Вот, в таком разрезе...

Будь здорова, родная моя. Надеюсь, что оставшиеся две недели ты проведешь благоразумно, и я застаю тебя свеженькой и не уставшей.

Целую тебя очень нежно.

Твой Лев.

Впрочем, и в то время папа был занят не только научными трудами.

Думаю, следующее письмо 1954 года.

18 февраля, Ленинград

...По вопросу о договоре Акимов (в то время режиссер одного из ленинградских театров. – Л. К.) выразил надежду, что до лета его удастся подписать, т.к. в московских инстанциях у него есть возможность все провести очень быстро (это значит – месяца за два).

А вообще больше говорили о жизни в его студии – он ведь и художник. Человек чертовски интересный. Главное в моей мечте сейчас – завоевать право и организационные возможности быть в кругу таких людей. Совсем другая жизнь, горизонты, интересы. И ты бы у меня возродилась в этом кругу.

Но – пока надо быть трезвым. Шансы велики, но как много препятствий и случайностей подстерегают, чтобы все сорвать! (Так и случилось – не помню, по каким причинам, но в 1956 году Акимов вынужден был уйти из театра... «Кстати», в 1949 году и Акимов подвергался травле как «безродный космополит», вернуться к режиссуре он смог только в годы оттепели. Так что им было о чем поговорить! – Л. К.) Поэтому надо пока оставить мысли об этом и перейти к очередным делам.

Только что я закончил проспекты и вечером собираюсь их печатать у Нелли (у нее машинка). Ночь не спал – занимался этим. Сейчас 4 часа дня – я еще не выходил из дому – заканчивал. Теперь пойду часа на 4 в библиотеку, а вечером к Нелли – печатать. Так и живем. Послезавтра выезжаю в Москву, где будет в основном



беготня – и немного работы. Оказалось, что денек стоит посидеть в библиотеке Академии – здесь кое-чего есть.

Итак, родненькая, через неделю я дома. <...> Без неудовольствия думаю о предстоящем рабочем напряжении.

Целую тебя предварительно, и Линку обнимаю, и люблю вас обеих.

Твой Лев.

Вторая половина 1950-х.

9 февраля, Москва

<...> Нельзя сказать, что я совершенно здоров. Гриппа уже нет давно, но он, видимо, основательно измотал меня, и общее самочувствие весьма неважное. Слабость, и голова не совсем ясная. Может, поэтому, а может быть, по другим причинам, но в Москве мне на этот раз особенно трудно и неуютно. Другие причины заключаются в том, что я не могу примириться с необходимостью вымалывать защиту и не умею, видимо, делать все, что для этого нужно. Слишком меня утомила жизненная борьба в прошлом или еще что – но как-то у меня в Москве никогда ничего не получается, а если получается, то это временный успех, который не превращается в постоянный, т.е. по существу лишь иллюзия успеха. И вот теперь, когда я предпринимаю шаги для достижения конкретной цели, стучась в различные двери, я заранее знаю, что если и добьюсь чего, то в конечном счете это ничего не стоит. А такое настроение сказывается и на самих действиях...

Приблизительно 1958 год.

Москва

Родная моя, бедненькая Сарронька!

Что это за напасти валяются на нас, моя подруга дорогая! Так написано глупо – вроде «боевая» или «подруга жизни»! И ты, и Герка... И ничего, видно, с этим не поделаешь, так оно и будет до поры до времени – пока не подлечим тебя капитально, в Ессентуках, что ли...

Получил оба твоих письма, и так больно и за тебя, и за нас. А тут еще издательства дали нам с тобой категорический отлуп. <...>

Понимаю, что не до того, но все же, родная, я настаиваю на организационных усилиях уже немедленно.

Мне кажется, что если нажать, то, может быть, удастся добиться санкции на подготовку рукописи – пока только это и требуется. А потом, уже с готовой к печати рукописью можно будет поймать момент... чтобы отправить в типографию. (Речь о маминой книге о Вере Пановой. – Л. К.)

Все это, конечно, не так просто, как я пишу, но не невозможно, и для этого нужно найти силы и энергию, как нужно найти силы мне для окончания работы и хлопот. <...>

Работаю я, к сожалению, не в полную силу – отвлекали студенты, мама, переезды <...>. Кроме того – легкий грипп. И все же, родненькая, давай не горевать. Что мы, хуже не видели, что ли?

Целую тебя и хочу влить немного моего бывшего оптимизма в твое сердце.

Линочке спасибо за письмо.

Твой Лёва.

25 сентября 1959 года, Москва

<...> Ленинградский архив, безусловно, содержит довольно ценные вещи, с которыми стоит ознакомиться для будущих работ. Зимой, видимо, надо будет посидеть там с месяц. Пока же я с удовольствием (хоть и не без усталости) работаю в здешнем архиве, у меня возник опять некоторый поисковый зуд, причем на этот раз – в чистом виде, без карьерных планов. (Всю жизнь очень ценил папа именно такой – лишенный прагматики – «поисковый зуд», радовался этому в своих аспирантах и студентах, прилагал усилия, чтобы разбудить! – Л. К.)

1 октября 1959 года, Москва

<...> Ничего нового в моих делах за эти дни не произошло, но чем дальше отодвигаются последние беседы в Институте (в Москве), тем лучше у меня настроение, или, скажем, не лучше, а нормальнее. Я теперь окончательно понял, что меня подавляет периодически не самый факт затяжки защиты, а то, что я вынужден унижаться в Институте, где уже менять тон и стиль поведения не в моих силах. Вот почему меня так радуют перспективы отказа от их услуг. <...> Мечтаю об удаче (о защите в Ленинграде) – независимо от

сроков защиты, уже по одному тому, что на новом месте я буду чувствовать себя неизмеримо лучше.

Много работаю – в хорошем стиле доброго старого времени, и хотя и устаю, но доволен этим. Кстати, и усталость какая-то другая – не до изнурения, здоровая.

<...> Будь здорова, родная, а здорова ли ты – кто знает? Почему не рассказываешь о плодах писаний?

Ну, целую тебя с ребенком. Ты, Линка, не дюже выпендривайся, я как-никак скоро приеду.

20 ноября 1960 года, Москва

Родная моя!

После этой поездки мне, вероятно, следовало бы претендовать на курортный или хотя бы (а может быть, именно) теплый домашний отдых. Но, как я понял со слов Риммы, у нас все идет по-прежнему не так – и ты болеешь, и дети... Трудно мы живем!

<...> Чувствую я себя как-то плохо; маленькая желудочная невязка давно прошла, а силы все еще не восстановились, и все говорят, что я здорово похудел и даже, по мнению Нарочницкого, помолодел. Вот такое явление: после 3–4 часов занятий начинается головокружение и даже какая-то противная дрожь в коленях. А ведь занимаюсь я далеко не 4 часа.

Ведь тебе известно, что у меня было много пробелов, вызванных понятными причинами. <...> И теперь я пытаюсь все это компенсировать – к сожалению, опять штурмом. Все, конечно, не выйдет, но – хоть немного. В ИМЛе мне удалось сегодня договориться о том, что мне сделают микрофильмы с указанных мной страниц; это обойдется в некоторую сумму (не страшную), но даст возможность сделать гораздо больше. Теперь я там просматриваю все протоколы конгрессов тред-юнионов (15) и отмечаю потребные страницы. Думаю дня за 4 эту работу выполнить. Это одновременно компенсирует очень важный пробел в источнике и даст материал для раздела о синдикализме.

Хуже обстоит дело с прессой: они пока отказываются микрофильмировать, а пробелов у меня здесь (я имею в виду английскую прессу) тоже очень много.

Одновременно работаю в двух архивах: МИДе, где тоже еще порядочно работы, ЦГИАМе, который я фактически только начи-

наю. Надеюсь, впрочем, основное оттуда извлечь за несколько дней. В военно-исторический архив пока еще не заезжал, т.к. не хочу распляться, но поехать придется.

Вот как проходит жизнь. Как ты уже знаешь от Жени, живу я на ее койке. Комфорта мало, но удобно. Можно отдыхать, никого не развлекая, а то Зори нет, и Тане скучно. Впрочем, мы сегодня вечером поедem к Вале (Валя Козлова – бывшая киевлянка из родительской компании, о ней многое рассказано в «киевских» главах, они с мужем Борисом С. переехали в Москву. – Л. К.), она болеет, и вообще надо посетить.

<...> В «Вопросах истории» статья вроде идет, но сроки пока весьма неопределенны. Хотелось бы к осени иметь пару новых статей, это весьма важно, но выйдет ли? Посмотрим.

(...) Вот, кажется, и все о делах. А кроме дел, ничего и нет, тем более, что тематика загнана в железные рамки. <...>

Целую тебя, родная моя, и маму, и деток.

Линке надеюсь написать завтра.

Твой Лев.

17 марта 1960 года, Ленинград

Дорогая моя Саррочка!

Если бы я попытался изложить тебе все подробности сложившейся здесь ситуации, пришлось бы писать, и писать, и писать. Старинная доктрина – «не везет» – вот краткое резюме.

Уже третий день идет обсуждение всех pro и contra – с Витей, всем семейством, Витиными друзьями. Пытаюсь при этом сохранить свою собственную точку зрения и свою линию. Уединяюсь для этого в свою комнату в маленькой гостинице на Невском; уединяюсь, впрочем, это не совсем то слово, т.к. я живу в двойном номере со случайным соседом.

Но вот каково положение.

Здесь, на кафедре, сложилась очень сложная и склочная атмосфера, в которой мне предстоит либо задохнуться, либо внести в нее светлую струю. В основе всего этого, прежде всего, борьба против Ревуненкова, а также одно небезызвестное явление, испортившее уже немало крови нам. В этом учебном году двое защитили диссертации – и двое лиц нежелательного некоторым облика.

Во время второй защиты (Выгодского) произошло открытое столкновение. Он прошел, но впереди еще большой совет. Основной

тезис оппозиции сводится к тому, что Ревуненков протаскивает плохие работы для престижа и денег.

В связи с планом обсуждения моей работы эти лица говорят, что кафедра не может ее обсуждать и рекомендовать к защите, т.к. она не располагает специалистом (в ранге доктора) по Англии. Они возражают против обсуждения. Ревуненков с ними не согласен, но он попал и сам в очень трудное положение, тем более что работа Выгодского действительно плохая.

Предпринимаются ими шаги и для компрометации моей работы, нажимая на рецензентов и т.д. Многие мне советуют при таких условиях «уйти в кусты»: под каким-либо предлогом забрать работу и ждать лучших времен...

Почему-то на этом месте письмо оборвано.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

К истории папиной долгой напряженной борьбы (за восстановление на работе, потом за диссертацию) были эмоционально подключены и родители его и мамы, и старые друзья. Все сочувствовали, но реагировали, естественно, по-разному.

Письмо маминого отца.

21 марта 1953 года

Мои дорогие!

Наконец после долгого тревожного ожидания получил ваше письмо с подробной информацией о перенесенных мытарствах. Ничего нового и неожиданного я, Саррочка, в твоём сообщении не нашел. Весь ход событий со всеми позорными издевательскими деталями настолько характерен и закономерен для переживаемой ситуации, что я не мог предполагать возможности другого завершения гнусной кляузы. Но все же, несмотря на полную подготовленность к нерадостному финалу, я не смог спокойно реагировать на оскорбительные, тенденциозные, издевательские выпады, от которых гордому самолюбивому Лёве пришлось отбиваться. Хотя ты, Саррочка, пыталась смягчить остроту пережитого эпически спокойным сти-

лем в освещении деталей, но впечатление от сложившейся ситуации как моральной, так и материальной, остается весьма тяжелым. Если даже допустить некоторую долю истины в выдвинутых против Лёвы обвинениях, то следовало бы для оценки качества его лекций взять за критерий (так! – Л. К.) качественный уровень лекций других работников Молотовского университета. Хочу все-таки надеяться, что эта буча не повлечет серьезных неприятностей. Это, может быть, и наивно, но я полагаю, что Лёву, несмотря ни на что, оценили как способного и эрудированного лектора, и с работы его не снимут...

Действительно удивительная для мудрого деда наивность! Сам же он – здесь же! – говорит о печальной закономерности таких вещей. И маму в другом письме предостерегает от слишком ярких лекций! Невольно возникает предположение об осторожности деда при создании письма на столь щекотливую тему – о некоторой «оглядке на цензуру».

Продолжение написано бабушкой.

*Дорогие, любимые мои!*

Ваши письма мне читали и перечитывали, и от этой ясности не легче. Ужасно больно, Лёвушка, за тебя, за это издевательское отношение, но где же найти такую обитель, а дальше вы сами знаете. <...>

Мне сегодня всю ночь снился Лёвушка, как он блестяще защитил диссертацию докторскую, и что все очень хорошо. Жалко, что я проснулась, и было хмурое утро. Я верю, что это будет наяву, но опасаюсь, что нас уже не будет.

Этот сон сбылся. Правда, не скоро... Папа защитил докторскую диссертацию в 1961 году. Деда Якова уже не было. А бабушка Рива дожила.

Вопросы о судьбе диссертации постоянно звучат в письмах киевских друзей. Вот, например, отрывок из письма Раи Кун.

27 февраля 1961 года, Киев

Что у вас? От М. С. (бабушки Марии Самойловны, папиной мамы. – Л. К.) знаю, что Левиньы дела пока в том же положении, а защита, может быть, слегка отодвинется. Хоть бы скорей уже

все это прошло. Я не уверена в том, что человеку непременно нужно быть доктором (даже если он так одарен, как Лёва), но бесспорно уверена в необходимости поскорей сбыть этот груз, раз уж он его навалил на свои плечи.

Ах, как много здоровья расходуют люди на всяческие волнения! Только когда заболеешь по-настоящему, начинаешь понимать, насколько без всего этого можно обойтись, а если чуть-чуть поздоровей станешь, опять невозможно обойтись без этих волнений, связанных с творчеством, честолюбием, стремлением к жизненным благам. Такова жизнь, в общем.

Очень тревожилась за папино пошатнувшееся под этой тяжестью здоровье его мама.

12 ноября 1954 года, Киев

Сынуленька, родимый мой! Я сегодня утром получила твое письмо и целый день (на ходу) думала о многом, связанном с ним. <...> Ты должен – обязан! – о себе думать прежде всего как молодой человек, которому еще много надо успеть в жизни, а для этого необходимо полноценное здоровье. Кроме этого, «и старый, и малый» очень нуждаются в твоём хорошем и бодром настроении – оба ведь «трудновоспитуемые», и это необходимо учесть, дорогой мой Лёвонька! А старая истина: в здоровом теле – здоровый дух! Так береги же себя, прошу тебя, для себя и для нас.

Кстати, о моей «трудновоспитуемости»: тебе давно следовало бы понять, родной мой, что матери вообще, а одинокие мамы в частности, в основном живут вашими радостями и, если хочешь знать, и вашими горестями. Первые поднимают и мой жизненный тонус, а в противном случае – горим, как грешник в аду... Близко ли мы находимся, далеко ли – «питание» мы получаем и должны получать из вашего очага. Лучи его должны обогревать нас на любом расстоянии... Когда ты вот эту мысль освоишь, тебе станет ясным, почему иногда вырывается такая, по-твоему, глупая фраза, как «лишь бы я слышала твой голос» и т.п., но хватит об этом.

Папина мама в жизни была очень сдержанным человеком и мало с кем делилась глубинными переживаниями.

«Твоя мама в скупых выражениях информировала меня о продвижении твоих дел. Очень рад, что лед тронулся. <...> Про-

шу по возвращении в родную Пермь написать мне подробное письмо о ходе дел, конечно, не для публичных лекций по этому поводу» – 14 марта 1958 года писал папе Владимир Чунтулов.

Экономист Владимир Чунтулов – папин «отдельный» приятель. Маме он чем-то не нравился, они почти не общались и оставались «на вы». Я никогда близко не знала его, и, как выяснилось, совсем неверно представляла: он казался мне ограниченным узким специалистом, сухим и лишенным чувства юмора. И только совсем недавно, наткнувшись на несколько его писем в родительском архиве, убедилась, насколько несправедливо это было. Письма его полны очень «киевским» юмором, иногда легкомысленным, но и глубина в них есть, и самоирония, и грусть – много пластов...

4 сентября 1957 года, Киев

Дорогие Лёва и Сарра Яковлевна!

Коль скоро письмо мое вами не получено, я повторяю на «бис».

Поздравляйте нас с квартирой. О ней «не говорю, о ней все сказано», Л. Е. был и Вам, С. Я., расскажет.

Целый год я собираю мысли, чтобы поделиться с Лёвой при встрече, а он промелькнет, как комета, нет, как яркая звезда, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И снова ждать год, не поговорив, не посоветовавшись. А потребность у меня такая есть. Тем более что круг близких людей не так широк, да и в моем возрасте он уже не очень-то расширяется.

Придется встретиться на нейтральной почве – в Москве. Прошу сообщить, когда ты, Лев Ефимович, там будешь, и свои координаты. Я явлюсь на свиданье, да не один, а с секундантом или адъютантом (с тем, что мы тебя пытались провожать в Москву). Думаю, что ты не откажешь мне в этом.

Читаю твою книгу. В содержании, конечно, я мало смыслю, но в восторге от техники оформления, от характера и содержания научного аппарата. Работа сделана «на уровне современных требований» и даже чуть выше.

Желаю, чтобы первый том был далеко не последним. Хочу дожить до того времени, когда ты и супруга будете профессорами. Это, видно, уже не за горами.

Искренне рад за вас.

*Высокая культура автора видна даже из надписи на книге. Культура, наряду с теплотой и искренностью.*

*Лев! Твой фужер произвел «фураж» (фурор). До сих пор обсуждается твое «львиное» могущество («Лёвиное»). <...> Лёва! На твоём фоне мы перестали быть львами. Будем без обиды довольствоваться положением тигров.*

*Жду встреч в Москве и Киеве.*

*Привет от супруги и детей твоей половине, Лёва. И Лине, да и тебе, конечно.*

*С дружеским приветом Володя.*

А Зоря Герчиков, не отступив от принятого между ними стиля, «в своем репертуаре» отреагировал однажды на поистине стрессовую для папы ситуацию. Вернувшись из очередной, полной изнурительных хлопот московской командировки, папа не обнаружил в чемодане первого экземпляра диссертации (напоминаю, что до компьютерного времени было еще очень далеко!) и, почти уверенный, что потерял его в каком-то непредсказуемом месте, без особой надежды отправил на Палиху телеграфный запрос. И получил ответ: «Диссертация потеряна. Пиши другую!», после чего стало ясно, что она на Зоринском шкафу. Такого раскованного общения, полного понимания всех интонаций и оттенков, у папы не было и не могло быть ни с кем из новых знакомых. У мамы – тоже.

Впрочем, и в Перми мои родители никогда не были «учеными сухарями», шла в те годы и «просто жизнь». В общежитской атмосфере в самом деле было свое особое очарование. На волейбольной площадке сражались команды молодых преподавателей (сейчас мне кажется, что тогда все они были молодыми!), иногда между собой, иногда со студентами; такие сражения происходили и за теннисными столами, стоящими на широких площадках каждого этажа. Родители хорошо играли и в волейбол, и в теннис. Случались и азартные вечерние сидения за преферансом, на чем особенно настаивала страстная его любительница Евгения Александровна Голованова. Издалека слышался в длинном коридоре стук ее каблуков, она энергично врывалась в наше крыло и, еще не открыв дверь комнаты, громко зывала: «Лёва, Сарра! Ну что же вы? Мы же договорились, вас все ждут!» Похоже, что всех она собирала так же на-

стойчиво, ссылаясь на моих родителей, якобы в нетерпении их ожидающих. Впрочем, и на самом деле все были не против.

Если и было в первые годы жизни родителей на улице Саксаганского, так лирично мной вспоминаемые, что-то хорошее, после ужаса сорок девятого года оно стерлось в их памяти, и последнее киевское жильё не вызывало у них никаких теплых чувств, а в общежитии на Дальней они почти сразу ощутили какое-то отдохновение от пережитого.

Я же долгое время после переезда не могла опомниться, и незнакомый Молотов воспринимала как чужую страну. Здесь была другая природа, другой, суровый и холодный, климат, другие дома. Люди были как-то по-другому одеты и в чем-то трудно уловимом, но остро чувствуемом, по-другому общались.

Когда меня привезли в общежитие на углу улиц Ленина и Дальней, где и остановка трамвая тоже называлась Дальняя, это название сразу показалось мне очень точным – ну конечно, Дальняя! Ведь так далеко от нашего Киева мы захали! Глубоко лично воспринимала я стихи Лермонтова про тучки небесные, мчащиеся, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Но география их быстрого бега виделась мне в перевернутом виде: это с милого юга в сторону северную что-то погнало тучки небесные.

Мимо наших окон по железнодорожной насыпи днем и ночью проходили поезда, и нас часто будили гудки паровозов. Это очень важно. Без этого ничего не понять в моем детстве.

Кажется, я совсем запуталась в противоречиях: ведь несколькими страницами раньше так лирично написала о любви к общежитию всех нас – «дворян с того двора», и детей тоже. Но в том-то и дело, что и то, и другое – правда. Привязанность к общежитию постепенно возникла – как-то отдельно от всего другого – но она совсем не отменяла моей острой тоски по Киеву.

У нас с подругой Валею, дочкой университетского географа, была своя жизнь: бегали по длинным коридорам, стучались в поисках макулатуры в комнаты всех знакомых – и собирали больше всех в классе! Это было преимущество жизни в доме, где почти все что-то писали и скапливались горы черновики. Особенно большая добыча перепадала нам в комнатах самых веселых соседей – Ильи Новика и Герасима Григорьева,

которые, правда, долго колебались, не понадобится ли им еще когда-нибудь гора пылящихся под кроватями черновиков, но, в конце концов, соглашались поддержать нас.

С этими соседями были связаны разные смешные приключения. Однажды на уроке рисования мне задали нарисовать петуха, что было выше всех возможностей – не только моих, но и родительских, и тогда по просьбе отчаявшегося папы два высоколобых философа, Илья Борисович Новик и Герасим Сергеевич Григорьев, старательно, до поздней ночи, рисовали этого петуха, попутно споря о концепции его образа. Роскошно у них получилось! Позднее Герасим Сергеевич напоминал мне об этом, читая у нас лекции по диамату и логике.

С ним у папы было настоящее единомыслие. Помню, как темпераментно присоединился Герасим Сергеевич, зайдя к нам поздним вечером, к взволнованному обсуждению родителями травли Пастернака, как возмущался двуличием Федина, только что поздравившего Бориса Леонидовича с Нобелевской премией и тут же присоединившегося к травле: «Небось «на ты» были! Может, поцеловал, поздравляя? Вот уж точно – «поцелуй Иуды!» Папа очень переживал, вспоминая поразившую его при встрече в Чистополе неожиданную наивную детскость Бориса Леонидовича (в вопросах о фронте, какие он задавал). Сейчас я думаю, что под тем впечатлением папа невольно преувеличил это свойство и потому недооценил твердую решимость Пастернака обнародовать свою «главную книгу» (как известно, Борис Леонидович, вопреки мнению горячих ценителей его поэзии, считал так) – если не получается на родине, то за границей. Тогда не были известны подробности многоэтапной истории с рукописью «Доктора Живаго», и мои родители долго думали, что кто-то из иностранных журналистов, которому Пастернак просто дал почитать роман, воспользовался его доверчивостью и обманул, опубликовав вопреки его желанию. Они очень страдали за него, болезненно вздрагивая от громко звучащих по радио хамских речей Семичастного и Хрущева: «Неужели он слышит все это? Может быть, близкие смогли как-то избавить Бориса Леонидовича хоть от этого?» Кстати, в Москве папе удалось на очень короткое время получить самиздатскую рукопись «Доктора Живаго», правда, прочесть он успел совсем немного и, может быть, поэтому как-то растерянно, чуть

ли не с чувством неловкости за дорогого человека, говорил о своем впечатлении. Ему показалось, что это какой-то наивно мелодраматический сюжет. Кстати, вдруг вспомнила, что такое ощущение возникло и у сестры Пастернака при их встрече в Мюнхене в 1935 году, но тогда еще ничего не было написано, и ей «услышалось» это лишь в обрывисто задыхающемся рассказе брата о том, что он хотел бы написать... Как бы то ни было, роман любимого поэта не стал для моего отца таким событием, каким на всю жизнь осталась для него поэзия Пастернака...

Илья Борисович Новик дружил со всей нашей семьей, с каждым по-своему. С бабушкой он ходил в кино и в оперный театр, любил слушать в ее исполнении старые еврейские песни, а она очень любила кормить дядю Илью своими оригинальными печеньями (мама Ильи Борисовича, по которой он очень скучал, была прекрасной кулинаркой, и он лучше других гостей способен был оценить мастерство бабушки). Дядя Илья всегда с нетерпением ожидал приезда бабушки из Киева и встречал с цветами.

С папой дядя Илья много говорил о политике. К нему он спешил, съездив в Москву и набравшись всяких новостей. «Лёва, а вы знаете, какая теперь самая длинная фамилия в СССР? – кричал он с порога – Ипримкнувшийкнимшепилов!». И потом до глубокой ночи шептался с папой о подробностях «страшного переворота», когда «наследники Сталина» – Молотов, Каганович, Маленков «и примкнувший к ним Шепилов» – хотели восстановить сталинскую систему, переворота, который Хрущеву удалось предотвратить.

– Вы знаете, все висело на волоске! Страшно подумать, как все могло обернуться...

Вспоминаю, кстати, как после «разоблачения антипартийной группы», катаясь летом на лодке, мы, дети, азартно распевали песни про героев гражданской войны «С нами Ворошилов – первый красный офицер...». На этом старшие остановили нас, и мы перешли на других: «.. мы с Буденным ходили / В дальний путь, на большие дела...», «... Щорс идет под знаменем /– красный командир!» И жена папиного кузена – историка Виктора Панеяха – испуганно спросила: «Про этих еще можно?»

Очень взволнованным прибежал к нам дядя Илья после самоубийства Фадеева, говорил что-то совсем мне тогда не

понятное: «Это символическая смерть. Это приговор целой эпохе...»

С мамой дядя Илья много спорил о литературе, вернее, даже не спорил, а азартно требовал от нее как от филолога оценок удостоенных Сталинской премии произведений. Мама смеялась и отмахивалась, а сама понемногу «воспитывала» дядю Илью на разные темы. Выговаривала, например, что его комната завалена бумагами от пола до потолка, пройти невозможно, а он отказывает нам с Валькой в макулатуре!

– Это еще не разобрано! – кричал Новик, с трудом заталкивая ногами под кровать очередную пачку разбросанных по полу бумаг. – Здесь может оказаться что-нибудь нужное!

– Стыдитесь, Илья! Насколько я помню, вы и год назад говорили девочкам то же самое! Вам скоро ступить будет некуда!

Само собой разумеется, все увещевания были совершенно безрезультатны.

Свои отношения были у дяди Ильи и с моим трехлетним братишкой. Однажды родители были приглашены какой-то на праздник и спорили, кто поедет, а кто останется с ребенком, состязаясь в самоотверженности и благородстве. Заглянувший в разгар спора дядя Илья вдруг предложил: «Поезжайте оба! Я останусь!»

Предложение было соблазнительное, но родители все-таки колебались. В конце концов, дядя Илья убедил их, уверяя, что вынянчил младшего брата и все умеет не хуже, а может, и лучше их, такого опыта (нянченья именно мальчика!) не имеющих.

Много лет родители не могли забыть картину, которую застали, вернувшись домой около часу ночи! Дружно обнявшись, лежали братишка с дядей Ильей на диване и на редкость слаженно и громко пели: «Шумел камыш, деревья гнулись...» Дядя Илья упоенно дирижировал ногой в порванном носке. Увидев вошедших родителей, он на секунду запнулся, но братишка требовательно затормозил его и нетерпеливо повторил последние пропетые слова: «Одна возлюбленная пара...» С тех пор каждый приход дяди Ильи брат приветствовал строчками любимшейся песни, с негодованием отвергая его соглашательские попытки обновить репертуар какой-нибудь банальной преснятиной вроде «Мы едем, едем, едем в далекие края...»

или «Мы веселые ребята, ать-два». Вероятно, в знак протеста против оскорбительных попыток бабушки и примкнувшего к ней дяди Ильи навязать ему младенческий репертуар, который он давно перерос, братишка однажды, гуляя с няней во дворе, влез на скамейку и громко, от начала до конца исполнил свою любимую песню перед широкой аудиторией заполнивших двор студентов мамы и папы. Эффект был сильный! Говорят, студенты передавали эту историю из поколения в поколение – до тех пор, пока брат сам не стал студентом.

Илья Новик прожил в Перми недолго, он очень скучал по Москве, по своему дому и уехал туда при первой возможности. В нашей семье сохранилась колоритная и теплая память о нем.

В общежитии многие тосковали по своим далеким городам. И связь моих родителей с Киевом, при всей диалектике, о которой здесь уже многое сказано, долго была очень сильна.

Из последней записи в маминых мемуарах: «В Перми (в первые годы нашей жизни там – еще Молотове) мы еще долго оставались киевлянами: в Киеве шила себе платья и пальто, родители оставались там, шла обильная переписка с киевлянами – и с теми немногими из друзей, кто оставался там, и с «безродными космополитами», разбросанными по стране – с Перлиными в Молдавии (в Кишиневе), с Броней Райзман в Латвии, куда она уехала с мужем Лёвой Ладыженским (в Риге – тогда это было в одной стране), с Яшей Гордоном – в Бухаре, потом в Душанбе, с Давидом Евсеевичем Тamarченко – моим научным руководителем – в Костроме.

(Кстати, Давиду Евсеевичу Тamarченко еще до разгула борьбы с космополитизмом начали клеить опасные ярлыки, и он предупредил маму, чтобы на защите диссертации она не упоминала его – научного руководителя! – имени, т. к. это может плохо отразиться на результате. Но мама произнесла, как рассказывала потом, еще более горячую благодарность, чем если бы этого предупреждения не было. Они переписывались и, когда получалось, тепло встречались до конца его жизни. – Л. К.).

Летом много лет ездили с детьми на дачу под Киев и задолго до лета начинали в переписке с друзьями обсуждать летние планы – старались совпасть, часто получалось. Ворзель, Звонковое, Ирпень, Казновка, Остер... К Остру особенно прикипели и с 57 года стали ездить только туда...»

Обильная переписка с киевлянами... Это было сокровенной сферой, почти не затрагиваемой в разговорах с новыми знакомыми. Вообще многие темы не обсуждались...

Перечитывая воспоминания самых разных людей о маме, я вдруг заметила, что многие говорят о ее «закрытости».

Татьяна Чернова: «Сарра Яковлевна – загадочная, как Нефертити, по-восточному экзотичная, как Таис, умная и непреклонная, как Клеопатра <...> Пора кончать мои штрихи к ее портрету, но все время кажется, что главное о ней я так и не сказала. Может быть, сдержанной улыбкой Джоконды (это не преувеличение – она и в самом деле имела привычку чуть кривить губы) она так и осталась непонятой? Что не успела она сказать мне и другим своим негромким, но очень выразительным голосом? Кого больше любила на этом свете – мужа, детей или литературу, которой служила всю свою жизнь? У Сарры была своя тайна. И вряд ли кто-то сумел разгадать ее...»

Галина Лебедева, журналист: «В ностальгической моей памяти Сарра Яковлевна стоит особняком даже на фоне других талантливых «столичных» посланцев... – она остается отдельной планетой.

...Позвонила моя однокашница с исторического отделения прежнего еще нашего историко-филологического факультета:

– Знаешь, – с некоторым огорчением призналась она, – взялась за эссе о Сарре для юбилейной книжки. Невероятно трудно движется перо. Уж очень Сарра Яковлевна закрытый человек.

<...> Что ж, определенную дистанцию в общении с Саррой Яковлевной не почувствовать, пожалуй, действительно было невозможно. Уже в несколько отстраненной, – рискну сравнить – Джокондовской улыбке ощущалась ее отдельность...»

Меня все это поразило. Я не знала, что маму воспринимали в Перми так. «Улыбка Джоконды» пришла на память совсем разным и явно не сговорившимся людям. Уверена, что киевским друзьям этот образ в голову не приходил. Они многое в маме любили и ценили, за что-то могли и покритиковать (это ведь были отношения «на равных», чего в Перми почти не было). Но она никогда не казалась им таинственной и закрытой – она и не была с ними такой. При всей внешней общительности и безусловной доброжелательности к студентам, коллегам, соседям, мама в Молотове очень изменилась.

Причины этой перемены глубоко объясняет Надежда Гашева, знающая «киевскую часть» жизни нашей семьи больше и глубже многих других: «Тайну ее личности было трудно разгадать. Да я и не пыталась. Она была человеком закрытым. И это понятно – предательство многих коллег и учеников времен борьбы с «безродными космополитами» навсегда не только ранило сердце, но и одело его в защитную броню. <...> О ее истинном лице многое скажут собственные ее воспоминания, а также воспоминания немногих уже теперь друзей юности – тех, кому она и сама верила до конца дней. <...> Было столько сил, энергии, возвышенных идеалов! Ее, как реку, суровая эпоха повернула. Лицо изменилось. А суть? Думаю, даже такой суровой эпохе не под силу оказалось это. Просто ушло на глубину все нереализованное и жило там, помогая, мешая, строптиво высвечиваясь иногда, обреченно стихая в конце жизни».

Думаю, Надя безусловно права в объяснении причин. Со своей стороны могу добавить: такое состояние – когда у человека в глубине живет, «мешая и строптиво высвечиваясь», многое нереализованное, – может тяжело сказываться на самых близких. Ничего этого я в детстве не понимала, но остро чувствовала, что родители очень изменились после переезда в Молотов. Почти исчезла южная мягкость, они стали непривычно строги и требовательны. Да, сейчас понимаю, что они еще сами не отошли от недавних потрясений и с трудом привыкали к новой жизни, да и настолько вплотную, как здесь, где мы остались «лицом к лицу» только втроем, заниматься ребенком им в Киеве не приходилось. Но все это я поняла годы спустя, а тогда было очень тяжело и обидно.

Под влиянием бабушки я ждала поступления в школу, как праздника, но все оказалось не так. Первые школьные годы были мучительны. В семье я считалась способным ребенком: рано научилась читать и писать, любила подробно рассказывать прочитанное, быстро запоминала и с удовольствием декламировала длинные стихи, хорошо считала. Дедушка приносил из своего книжного магазина большие счеты и научил меня не только складывать и вычитать, но и умножать и делить на них, счеты были моей любимой игрушкой. Обе бабушки и дед гордились мной и были уверены, что я стану круглой отличницей, но увы, они многого не учли. Оказалось, что я



никуда не гоюсь на рисовании, чистописании, пении, физкультуре, а уж на домоводстве!.. Однажды учительница поставила меня перед классом и заставила что-то разрезать, насмешливо покрикивая: «Давай-давай! Ножницы режут, не в них дело!». Но ничего не получалось. И я всей кожей чувствовала, как ее раздражают мои многочисленные неумения – нитка в иголку не вдевалась, платочки ровно не подрубились, буквы в прописях ровно и красиво не выводились. На фоне всего этого как-то померкло мое умение читать и самостоятельно рассуждать! Да меня на уроках чтения почти и не вызывали: когда выяснилось, что с этим проблем нет, учительница, видимо, не находила в этом никакого интереса. В общем, не оправдала я родительских ожиданий!

Увидев табель за первую четверть со множеством троек, родители, по-моему, были растеряны не меньше меня. Впрочем, растерянность эта была связана не только с моими неудачами в учебе, а как-то со всей мной в целом.

Возвращаясь пешком из 7-й школы, находившейся довольно далеко от нашего общежития (кстати, отдали меня туда, услышав об известной в городе заслуженной учительнице младших классов – той самой!), я, случалось, темпераментно размахивая руками, довольно громко напевала что-нибудь вроде «По долинам и по взгорьям» или «Шел отряд по берегу», или вслух читала стихи, чтобы не скучать в долгой дороге. (Теперь на улицах Хайфы я часто вижу таких детей, и здесь это никого особенно не удивляет.) Однажды меня увидела из окна трамвая мамина коллега и не преминула поделиться с ней впечатлением: «Какое комическое зрелище идущая из школы ваша дочь! Можно в цирк не ходить!» Мама очень расстроилась. Она сокрушенно спрашивала: «Ну почему ты так странно себя ведешь? Ты же не сумасшедшая!» В интонации как-то не было твердой уверенности... Вспоминая подобные эпизоды годы спустя, мама с сожалением признавала, что была заражена догматизмом времени и многое со мной в детстве делала не так, но это потом...

Почему-то вспомнились слова графа Ростова о том, что Наташу они балуют, а над старшей дочерью графиня много мудрила. Граф добродушно добавил, что над первыми детьми всегда мудрят, но ничего – Вера тоже выросла хорошей девуш-

кой. Так-то так, – добавляю я уже от себя, – но внутренней раскованности, делающей Наташу такой обаятельной, Вера никогда не обрела.

Впрочем, в моей жизни было и то и другое. В летнем Киеве все – бабушки, дед, родичи, даже соседи – баловали меня не меньше, чем Наташу Ростову (это оказалось неистребимо), а вот в Перми – случалось, что и муштровали.

Не во всем, впрочем. После рождения младшего брата я не чувствовала себя обделенной. Похоже, что этот переход к собственной «многодетности» – как-никак десять лет я была единственной дочкой! – родители внимательно продумали. Они сумели в первый год с грудным ребенком создать в доме такую атмосферу, что мне и в голову не приходило усомниться в их любви или ревновать к братику, которого я сама сразу, как только его принесли, нежно полюбила. Пожалуй, в первые годы брата Геры дома стало как-то теплее и спокойнее, да и первоначальный стресс от моих «странностей» у родителей притупился, но до этого надо мной и вправду сильно мудрили.

Бабушка рассказывала, что в пять лет я стояла перед зеркалом и обращалась к своему отражению: «Бедная девочка! Ну когда уже твоя мама приедет?» И без конца рассматривала предотъездную фотографию родителей со мной, которую и сейчас очень люблю. Молодые красивые папа и мама с грустной пятилетней девочкой с серьезными глазами. Лицо папы полно нежности и сдерживаемой тревоги, мама – в расцвете красоты и женственности (она потом не раз говорила, что 30 лет – ее любимый возраст), ей очень идет модная в конце сороковых годов прическа – «качалка». Кажется, особенно знаменитой эта прическа стала после роли Валентины Серовой в известном фильме военных лет «Жди меня!» Через несколько лет мама коротко постриглась – и стала неузнаваемой. Это была уже не та моя мама, которую я любила в Киеве жаркой и беспокойной любовью, дорожа каждой минутой возле нее и каждое утро в тревоге спрашивая: «Ты сегодня не уйдешь на работу?» В той «качалке» лицо ее было мягче и ласковее, по-родному уютнее, и еще оставалось в ее улыбке что-то от довоенных девочек-киевлянок, что годы спустя были воспеты Наумом Коржавиным. После стрижки это пропало – со срезанными прекрасными волосами как будто ушло из ее лица что-то южное, изменилась

вся манера держаться. Резче стали движения, категоричнее зазвучал голос, в нем появилось что-то непреклонно повелительное, холодно деловитое, и как будто совсем исчезли та нежность и ласковость, в которые я могла окунаться с безоглядной доверчивостью. Бессильная даже самой себе объяснить «словами» свое отчаяние, я только плакала и беспомощно просила ее снова отрастить волосы. И не потому ли в каком-то суевверном страхе я так долго отказывалась остричь косы?

Но на той фотографии мама еще прежняя, и родители крепко и ласково держат за руки немного смущенную и растерянную дочку. Глаза девочки печальны (мама и папа скоро надолго уедут), а родители как будто держатся за нее – как за свой глубокий тыл, за что-то несомненное в их покачнувшемся, выбившем почву из-под ног мире. Теперь-то я знаю, как напряжены были они тогда, как озабочены перед гнетущей неизвестностью.

Сейчас понимаю, что и у мамы после всей «перемены декораций» исчезло прежнее доверие к жизни, и спасение она нашла в броне деловой женщины, какой в глубине души не была – отсюда и происходила дисгармоничность. Мало кто это понимал.

Меня тяжело угнетали новые строгие интонации в мамином голосе. Не могла же я понять глубину ее собственной растерянности перед тем, что казалось ей моими странностями, с которыми следовало бороться. Педагогические поиски мамы порой обретали весьма комический оттенок.

Где-то в глубинах нашего домашнего архива хранится мое «историческое письмо». Расскажу подробно описанную в нем историю. Мне было тогда лет восемь. Мама и наши общежитские соседи сочинили остроумную коллективную с чем-то поздравляющую телеграмму кому-то недавно уехавшему в Москву, и мама почему-то решила отправить на почту с этим ответственным поручением именно меня. Видимо, в ее воспитательной программе крупным шрифтом был записан пункт «приучение к самостоятельности» (отголоски этой настойчиво поставленной задачи встречаются в ее переписке с бабушкой). Итак, мне были вручены почти полностью исписанный тетрадный листок (телеграмма была длинной), деньги – и сказано, какую именно сдачу я должна принести. До почты я дошла

без приключений, но там они сразу начались... Строгая почтовая работница сказала, что в таком виде телеграммы не принимают – надо переписать ее на бланк. Скорее всего, в мамины планы это не входило – она надеялась, что ребенку сделают снисхождение. Но нет! Я уселась старательно переписывать и думала, что идеально справилась с задачей, пока не увидела, что почему-то мне выдали сдачу в гораздо большем количестве, чем велено было принести. Выяснить причины я постеснялась и, только уже выйдя на улицу, догадалась, что при переписывании пропустила несколько строк. Испугалась, стала думать, как избежать наказания, и решила, что лишних денег не должно быть: я должна принести столько, сколько сказано, чтобы не возникло лишних вопросов. Купила два стакана любимого томатного сока, но это не сильно уменьшило сумму. Купила мороженого, лимонаду, газированной воды, съела пирожное, кажется, снова вернулась за томатным соком, и после всего этого оставался один лишний рубль! Но воображения уже не хватило, да и организм больше ничего не принимал, и тогда, воровато оглядываясь, я бросила этот несчастный рубль на газон, заросший густой травой, и спокойно, с чувством выполненного долга вернулась домой и гордо отдала маме положенную сдачу и какую-то бумажку, врученную почтовой работницей. К величайшему моему удивлению, мама строго спросила: «Почему так мало денег?» – «Как это мало? – с искренним удивлением спросила я. – Сколько ты сказала, столько и принесла!» – «А остальные где?» – «Какие остальные?» – я уже заикалась, глаза были на мокром месте... – и не выдержала: «Откуда ты знаешь?» Что выданная мне сумма была обозначена в квитанции – оказалось выше моего понимания. В общем, я во всем созналась, точнее, во всем, кроме одного...

Дальнейшие события того бурного дня мне и сейчас не до конца понятны. Крепко взяв меня за руку, мама отправилась со мной по всем названным местам, спрашивая продавщиц, действительно ли я подходила к ним, помнят ли они это. Помнили... «Эту девочку да не запомнить! – всплеснула руками продавщица томатного сока. – Я уж подумала: не отравилась бы!» Все остальные тоже опознали меня, но мама на этом не успокоилась. – «А где же еще рубль?! Не хватает!» – Вот тут я долго не признавалась, ссылаясь на забывчивость, во что, зная мою хоро-

шую память, мама не верила и продолжала строго спрашивать, куда я дела рубль. Именно эти слова: «Мама спрашивала, куда я дела рубль» – повторяются в письме несколько раз. Когда я, наконец, призналась, что просто бросила деньги на газон, мама, по-моему, была удручена этим фактом больше, чем всеми другими моими преступлениями. И придумала наказание – написать обо всем папе, который находился в одной из своих командировок. Вот в том моем длинном покаянном письме, написанном аккуратным школьным почерком второклассницы, и изложен этот душераздирающий сюжет.

Любопытно, как папа воспринял это письмо! Увы, документальных свидетельств нет, но хочется верить, что он от души повеселился.

Сейчас вдруг подумала: над братом моим никогда так не мудрили! Впрочем, ничего подобного с ним и не могло случиться – уж рубль на газон он бы точно не бросил!

В другой период папа тоже немало надо мной намудрил. В какой-то момент моих подростковых лет его вдруг до того напугала моя неспособность к физикам-математикам, что он засел за приготовление уроков вместе со мной – по несколько часов почти каждый день! И Боже мой, каким мучением для нас обоих это было! Как я понимала тогда бедную Марию Болконскую на уроках геометрии со старым князем! Не могу вспомнить, как и почему этот опыт закончился (математических способностей он мне точно не прибавил!) – наверное, папа просто изнемог, да и собственные проблемы плотно подступили.

Был, впрочем, один незабываемый случай, когда папа участвовал в моей школьной жизни вполне в своем духе. Иногда его «прорывало», и прорывы эти были так яркие и так по тем временам нестандартны, что запомнились мне на всю жизнь. Однажды – собственно, это и был единственный раз! – он пришел на родительское собрание вместо мамы, и так совпало, что на том собрании (опять же редкий случай) присутствовали вместе родители и дети. В шестом классе это было. Оказалось, что папа очень неплохо помнил себя в этом возрасте.

С благословения классной руководительницы родители по очереди читали своим отпрыскам нотации, уверяя, что они-то в их годы... Дети, одеты – обуты, забот не знают, а учиться не

хотят. Детей по очереди поднимали и спрашивали, как дошли они до жизни такой, те молчали, опустив головы, в лучшем случае слегка отбрыкиваясь: «А чо я-то? А чо меня-то?» Конца этому занудству было не видно, и папа не выдержал. Не в силах дальше все это терпеть, он попросил слова.

В первую минуту учительница была довольна, не сомневаясь, что уважаемый университетский педагог своим авторитетом поддержит основную линию собрания, но как она ошибалась! Все увиденное и услышанное произвело на папу такое глубокое впечатление, что... Собственно, с этого признания он и начал:

– Знаете, ребята, смотрел я на вас, слушал – и удивлялся! Нет, не двойки ваши и не плохое поведение на уроках меня удивили. Это все и у нас бывало! Совсем без этого редко кто в школьные годы обходился. И хотя как отец я обеспокоен, но все-таки понимаю, что ничего особо страшного в этом нет. Да что говорить! Я и сам и с уроков сбегал и дрался на школьном дворе!

Галина Петровна вздрогнула. Такой растерянности, какая появилась на ее лице после первых папиных слов, я у нее никогда в жизни не видела! Нет, ни на что, совсем ни на что принятое в те годы, не были похожи слова моего папы.

– Да, и дрался! И к директору не раз вызывали!

Женька Черепушкин громко захохотал. Пашка Капустин изо всех сил прикрывал рот рукой, осторожно оглядываясь на свою укоризненно качающую головой маму. Папа обернулся в их сторону:

– Но я, конечно, никогда так не стоял, как вы здесь! Удивляюсь вам! Ругают вас, поучают, а вам что, и сказать нечего? Должны же у вас быть свои какие-то взгляды, убеждения, свои мысли... Конечно, вас за многое правильно ругали, но, знаете, я был бы не так огорчен всем, что увидел, если бы вы даже спорили – что-то бы признали, а с чем-то не согласились бы! Даже если бы кто-нибудь сказал, что ему какой-то предмет не нужен, потому что он чем-то увлечен и хочет иметь больше времени для своих интересов...

Члены родительского комитета неодобрительно покачали головами, Галина Петровна побледнела, но папу понесло:

– Все лучше, чем так, не обижайтесь на грубость, тупо стоять и молчать! Я уверен, каждый из вас все равно чем-то

интересуется! Обидно, что не только мы, старшие, этого про вас не знаем, но и – мне почему-то так кажется! – вы и друг с другом мало говорите, плохо друг друга знаете!

Господи, вот уж что никогда не заботило собравшихся здесь взрослых!

– И еще одно меня удивляет и огорчает. Как вы сидите?! – вдруг гаркнул папа совершенно не свойственным ему военрук-овским голосом.

Мы стали, вздрогнув, удивленно оглядываться. К таким окрикам в 84-й мы, конечно, привыкли – это было как раз самое привычное во всем странном выступлении папы! Но уж сейчас-то все сидели на редкость тихо... Так чего он?!

– Девчонки в одном ряду, мальчишки – в другом!

Так фамильярно взрослые к нам никогда не обращались, тем более на собраниях. К нам всегда обращались так: «девочки и мальчики».

– Если бы еще вы только сегодня так, родителей бы застеснялись, тогда понять можно! Но я же знаю, вы все время так живете! И в перемены друг с другом не разговариваете, и подойти боитесь, и рядом пройти стесняетесь. Эх, вы! Ну, а о том, что девчонки боятся мимо мальчишек пройти – боятся, что их толкнут или стукнут – об этом я и говорить не хочу, до того противно это и стыдно! Вы ведь не глупые парни! Я это вижу, несмотря на то, что вы на этом собрании, к сожалению, ничего умного не сказали! И вы уже не маленькие дети! Да мы в ваши годы в кино девчонок водили, дни рождения вместе праздновали.

Члены родительского комитета вздрогнули. «Этого нам только не хватало!» – услышали мы с Валькой шепот двух строгих мам.

– И в школе на сборах спорили взахлеб на разные темы! И спектакли ставили!

Да, за что только нас не ругали, но чтоб за это! За то, что в кино вместе не ходим! Ну и ну! Мальчишки оживленно зашептались.

– Когда-нибудь вспомните эти слова: плохо будет, если вы не измените свою жизнь! Я вас не пугаю, не думайте. Вы, конечно, школу и без этого благополучно закончите, но когда-нибудь будете очень жалеть, что так бездарно и скучно прожили эти годы!

Папа резко вернулся на свое место и возмущенно хлопнул крышкой парты.

Галина Петровна торопливо приступила к своей заключительной речи:

– Мы, товарищи, засиделись сегодня, все устали, и мы немного уклонились от темы собрания. А между тем, товарищи, четверть приближается к концу, а двоек в журнале масса, замечаний по дисциплине масса... А между тем к чему призывает партия нашу доблестную пионерия?..

Так закончилось это памятное собрание.

Потом папа какое-то время пытался помочь мне с подругой наладить в классе интересную жизнь, но безуспешно. Моя школьная жизнь изменилась позже – в старших классах уже другой школы.

\* \* \*

В летние приезды в Киев родители каким-то чудом становились прежними.

Когда в начале первых моих летних каникул мы подъезжали к Киеву, мама не отходила от окна: «Скоро будем переезжать Днепр! Сейчас будет видна Владимирская Горка! Может быть, даже памятник Владимира увидим! Помнишь его? Ой, пропустили! Не увидела? Ну, ничего, мы обязательно завтра пойдем туда! Теперь совсем скоро будет вокзал, сейчас увидим наших, всех-всех! Ты соскучилась? Я очень! Ой, у тебя коса расплелась, давай скорей заплету, а то в каком виде ты будешь, тебя ведь так давно не видели, еще не узнают!» Редко я видела маму такой...

Как много народу! Нас встречали две бабушки, дед, сестры и брат бабушки Мунци, их дети, папин родной брат с моими любимыми двоюродными сестричками, дядя Юзик и другие друзья родителей... Сразу начались громкие восклицания, ах-ня, всплескивания руками, поцелуи, все перебивали друг друга, никого не было толком слышно – глаза разбегались... (Когда я в свои 12 лет в первый – но далеко не последний! – раз в жизни читала «Сагу о Форсайтах» Д. Голсуорси, с первых страниц «узнавала» наш обширный родственный клан – часто с прямыми аналогиями! И потому медленные описания съезда родственников не были мне скучны.)

Конечно, я не понимала, что в первый наш приезд в такой встрече был, кроме горячей родственной любви, важный дополнительный подтекст – нас встречали как высланных в невыносимую даль. В пятидесятые годы поезд шел от Перми до Москвы около двух суток и еще сутки от Москвы до Киева. Впрочем, и позже встречающихся бывало много. Тут нужно уточнить, что на Украине такая картина выглядела не так экзотично, как это было бы на суровом Урале.

Уже при встрече на вокзале друзья сходу начинали острить, как прежде, а в комнатке на Саксаганского, где продолжала жить бабушка, целый день раздавались звонки, и вечером комната была набита гостями.

Эта атмосфера ощущается в письмах родных и друзей. Не зря мама написала в мемуарах о долго не рвущейся связи с Киевом.

Особенно дорога была родителям переписка с Раей Кун. В сравнении с ее образом в маминых мемуарах (там, впрочем, рассказ о ней остановился на годах юности) в письмах особенно чувствуется, какой грустной мудростью обогатила ее жизнь... И как оставалась до конца жизни верной памяти их юности.

11 марта 1955 года

*Дорогой Лёвушка!*

Посылаю тебе и Сарре запоздалые поздравления с рождением сына и наследника твоего родового имени, поместий, акций и т.д. Непременно напиши, какой он. Наверное, уже необыкновенно умен и красив?

<...> Что у тебя, дорогой? Как диссертация, настроение, жизнь дома? Я уж соскучилась по тебе – привыкла видеться все-таки два раза в год. Очень хотелось бы потрепаться по душам и не по почте.

Целую тебя крепко.

Рая.

Целую деток.

13 октября 1955 года, Киев

*Дорогой Лёвушка!*

Мы так редко пишем друг другу, что каждое послание одного невольно удивляет другого. Хорошо бы уничтожить эту плохую традицию, а? <...> Сегодня я взялась за письмо по двум причинам. Первая

появилась уже довольно давно. С месяц назад я болела и, роаясь в старых бумагах (в другое время ведь не займешься разгребанием «археологических раскопок!»), набрела на одно твое письмо, написанное в 1944 году, примерно в эту же пору года. В нем ты писал: «Когда-нибудь мы, сорокалетние друзья с двадцатилетним стажем дружбы, соберемся и вспомним эти дни». Мне вспоминается, каким бесконечно далеким казалось мне тогда это время. Сорокалетние друзья! Двадцать лет дружбы! И вот оно, это время, наступило. Ровно двадцать лет нашей дружбе, и мне, увы, скоро сорок. Как же не поднять хоть мысленно бокал по этому поводу?

Мне очень не хватает тебя, Лёвочка. Вообще очень не хватает близкой души. Когда стоишь на пороге сорока и когда нет друзей, совсем нет ни одного (кроме мужа и сына, и то слава Богу), это довольно грустно. Даже странно, как это случилось, что в городе, в котором прожита жизнь, в котором много десятков приятелей, собутельников, спутников юности, нет ни одного по-настоящему близкого человека.

Живу я очень напряженно. <...> Работы в школе, как всегда, много. Некогда, некогда. Все некогда, даже завести серьезного поклонника. Хотя зачем ему быть серьезным? (Вот здесь слышна очень узнаваемая, обаятельно остроумная интонация молодой Раи! – Л. К.)

С начала года главная мысль, которая меня поглощает, – будущее Сашки. Эта мысль не дает мне покоя, будит по ночам, живет во мне, что бы я ни делала. Ты ведь знаешь «цельность» моего характера. Вот и плохо мне. Что я буду с ним делать, если он не поступит в Киеве? Главное – ведь он и не совсем здоровый мальчик.

Лёвочка, ты предложил мне, что приедешь, когда это будет нужно. Я не могу отказаться от этого самопожертвования, так как речь идет буквально о нашей жизни. <...> Прости, пожалуйста, дорогой, что я обременяю тебя своими делами уже сейчас. <...> Впрочем, мне кажется, что могу не извиняться. Мало у меня на свете людей близких, как ты, и я знаю, что и я сделала бы для тебя все, что в моих силах.

Прости сумбурность и «разностильность» этого письма. Я очень тороплюсь, а написала уже, как видишь, немало.

Жду ответ, в котором ты напишешь мне о твоих делах, состоянии диссертации, жизни и настроении, Линке и Герочке и обо всем, всем. Все меня живо интересует. А еще лучше, если бы ты появился, хоть на несколько дней. Не думаешь ли быть в Киеве до лета?

Крепко целую тебя. Рая.

2 января 1959 года

Дорогая Сарра!

<...> Признаюсь тебе по секрету, после операции мне стало как-то очень трудно писать, всерьез думать, вообще сосредоточиться на чем-либо. <...> Живу я как-то странно. Немножко как во сне. Тороплю время (подальше от операции – меньше опасности), а оно само мчит-ся, мчит-ся, и вот уже от жизни остается самая малость.

Держусь спокойно. Страхи и беспокойство обычно одолевают ночью, в снах, когда спит сознание. Чувствую себя не совсем хорошо – трудно оправиться от рентгена, я его получила очень много в общей сложности. Немножко работаю в школе (8 часов в неделю), немножко читаю лекции (2-3-4 в месяц). Получаю пенсию как инвалид 2-й группы (подумать только, как важно, а?), надеюсь, что это временно. Довольно много бываем в кино, театрах, у приятелей. Очень много, как никогда много, читаю. Прочла кучу хороших книг, преимущественно переводных. Их сейчас стали много переводить. Как ты насчет «Братьев Ершовых»? Обязательно напиши. То, что это без перехода от «хороших книг», – ты не расценишь, как похвалу Кочетову?

Сашка совсем мужчина. Самостоятельный. Умный, немного скептический, но, в общем, еще совершенный теленок (чтоб он не слышал!)

Напиши, пожалуйста, о себе, о детях, о Лёве. Я ему отдельно напишу в другой раз...

23 февраля 1959 года

Саррочка, милая!

<...> Пишу сразу же в школе – дома у меня сейчас нет для этого времени. У нас очередная беда – у Ф. О. (Ф. О., «Филя» – отчим Раи, которого она очень любила. – Л. К.) 6 февраля (сразу после отъезда Лёвы, который очень сетовал по поводу того, что не повидался с ним) сделался инсульт. Он потерял сознание на короткое время, сразу парализовало левую сторону, скривило лицо.

Третью неделю мы выхаживаем его и, кажется, у смерти уже вырвали, хотя до благополучия очень и очень далеко. <...> Очень дорог мне этот человек – самый уживчивый и необременительный из всех мне известных, жаль мне его до слез, до боли. <...> Толя и Саша делают, что могут, ходят за лекарствами, врачами... Вот главное, что сейчас заполняет нашу жизнь.

<...> Живем мы хорошо, и если бы не болезни мои и моих близких, я, очевидно, ощущала бы ту полноту жизни, о которой ты говоришь. У меня хорошо дома, хорошо на работе, которую я люблю по-настоящему и принимаю совершенно всерьез.

Ты права, представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, заметно сдвинулись, и теперь мне нужно вовсе не то, что 10–15 лет назад.

Наши развлечения мало чем отличаются от ваших: ходим в кино (часто), в театр (редко), в концерты я хожу с Сашей или просто SOLO, а то с кем-нибудь из знакомых.

<...> Я не без удовольствия читаю сейчас лекции и больше, чем в молодости, стараюсь внести в них какой-то элемент творчества. До болезни – порядочно писала и печаталась в разной педагогической периодике. Сейчас все это оставлено. <...>

Ты спрашиваешь о Саше. Нет, он не во всем скептик. Совершенно всерьез он относится к родителям – любит, тревожится и уважает, что особенно ценно. Непосредственно и совершенно чисто (до удивления чисто) влюблен в девушку. Безудержно увлекается музыкой и страстно любит ее. С увлечением читает. Его оценки книг, фильмов я принимаю безоговорочно – не потому, что они всегда безошибочны, а потому что его вкус совершенно совпадает с моим. Мы с ним дружим, и отношения, конечно, в значительной мере как с равным. Все это достоинства. Но, увы, не счесть и недостатков: неорганизованность, несобранность, отсутствие обязательности в отношении к людям, небрежность и легкомыслие по отношению к учебе, неумение отказать себе в том, что хочется в данную минуту. Как видишь, я не преувеличиваю добродетели своего единственного отпрыска.

Ну, Саррочка, пора кончать. Приезжай, а?

Линку представляю себе довольно ясно, а малыша ужасно хочу увидеть.

Целую тебя, Лёвушку, ну и детей.

Рая

Жду письма и приезда.

P.S. Очень рада, что пишешь о Пановой. Я ее очень люблю и считаю большой удачей для тебя то, что тебе заказали такую книгу. В Киеве это вряд ли было бы возможно.

29 октября 1959 года

Саррочка!

<...> К сожалению, в связи со всеми своими невеселыми делами сына твоего видела всего один раз. Шикарный парень, просто прелесть. Во время нашего свидания, в котором участвовали обе бабушки, он был живо заинтересован новыми книжками, а на меня, увы, не обращал никакого внимания. Что ж делать? Мне уж теперь не привыкать к равнодушию сильной части рода человеческого.

Очень хотелось написать отдельно Линочке. Вот если б она мне написала о своем житье-бытье. Очень понравилась мне твоя девочка. Я даже много о ней думала после вашего отъезда.

Ну, будь здорова. Пиши о себе. О здоровье, о делах твоих, а особенно Лёвиных (как его защита, есть ли сдвиги?).

Крепко целую вас всех четверых. Рая.

28 июля 1960 года

Дорогие все!

...Вчера смотрели с Толей фильм «Большая голубая дорога» с Ивом Монтаном. Все это уже было. Было у Хемингуэя, у Олдриджа, опять у Хемингуэя. Но все-таки хорошо, по-моему. Простые люди, простые страсти, желания. Если об этом хорошо рассказать, как все это становится важно и значительно.

Дочитала «Коллеги». Хороший молодой человек писал эту книгу, умный, наблюдательный и порядочный. Даже не без дарования. Но ах, какой неумелый. Жаль. Начало обещало что-то значительное, а потом – совсем слабо.

Сегодня прочла в «Литературке» статью Туровской (она кузина моего друга Георгия Яковлевича) «Устарел ли Чехов?» Мне статья показалась любопытной. Никто еще так, по-моему, не писал о МХАТе. Как тебе, Саррочка?

А еще мы (т.е. я) купили сервант, недорогой, но довольно милый, и наш старый верный буфет, который казался уже почти символом, как чеховский шкаф – тьфу-тьфу, еще не продали, а свезли в комиссионку. Дай Бог, чтоб продался, потому – деньги!

<...> Обо всем написала. Вызываю на соревнование. О детях (ваших) ничего не пишу. Я уже всем, наверное, надоела рассказами о них. Словом, они оба, очень по-разному, мне понравились. Чем – умалчиваю, чтоб вы не загордились. Вот! Линке напишу в ближайшие дни отдельно.

С нетерпением жду, Саррочка, рукописи, в ожидании которой перечитываю (в четыре руки с Толей) «Сент. роман» («Сентиментальный роман» Веры Пановой. – Л. К.)

Целую всех вас и обеих мам.

19 июля 1961 года

Дорогие Саррочка и Лёвушка!

Большое спасибо за ваше милое, подробное письмо. Если б вы знали, как приятны мне ваши письма. Особенно совместные, так писали бы всегда – много и аккуратно! Это ваше письмо привез мне из Киева Саша, с которым мы отдыхаем еще в одном милом уголке земли. Уголок этот называется Корбутовка и расположен под Житомиром на многоводной и небезызвестной вам реке Тетерев. <...> Дни проходят однообразно, но для меня приятно. Я очень люблю природу, и чем становлюсь старше, тем больше ценю ее красоту, покой, который она вселяет в душу, и то особенное, несомненно понятное вам, настроение, которое охватывает меня, когда я брожу по лесу или сижу у тихой, будто спящей реки и слежу глазами за солнцем, медленно опускающимся прямо в далекую-далекую степь. Очень хорошо мне от всего этого и никогда не надоест, даже когда совсем одна. К сожалению, Саше очень мало присуще это чувство природы, и от этого он бедней меня. Вообще у него не все ладно в так называемой личной жизни. Неустроенная он личность и очень уж своеобразная...

Дорогая Линочка!

Я все откладывала это письмо на то время, когда выздоровею от этой своей очередной болезни, но, увы, время идет, а болезнь тоже идет себе, углубляясь и усложняясь. Вот и пишу сейчас.

Большое спасибо за твое милое подробное письмо. Я страшно рада, что у тебя все так хорошо сложилось с университетом, и работой своей на телевидении ты, по-видимому, довольна. Право, тебе могут искренне позавидовать многие молодые люди – ведь далеко не всегда человек занимается тем, что его интересует и увлекает. Вот и цени это, моя девочка. Вообще старайся ценить по-настоящему те дары, которые ты получаешь от жизни. Это почти так же важно, как иметь интересную работу.

Что написать тебе о себе, о нас? К сожалению, я все время, вот уж второй год болею (с маленькими перерывами). Стараюсь не унывать, но, честно говоря, мне это не всегда удается. <...>

Много читаю, конечно. Прочла за последнее время Бёлля «Бильярд в половине десятого», по-моему, очень здорово. Ты читала? Прочла «Дождь» Моэма (рассказы), «Луна и грош» (его же) и еще кучу других книг. Сейчас читаю третью часть книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Кстати, Линочка, как тебе понравился «Звездный билет» Аксенова? Помнишь, «Коллеги» мы читали вместе прошлым летом в Остре? Непременно напиши о «Звездном билете», о нем спорят сейчас, как говорится, и стар, и млад. А как ты относишься к Евтушенко (не к «Бабьему Яру» только, а вообще)? Меня этот поэт по-настоящему интересует. Я думаю, что крупней его фигуры не было давно в литературе, может быть, со времени Маяковского.

В общем, жду от тебя обстоятельного письма. Очень жду! Будь здорова, Линушка! Целую тебя крепко.

Тетя Рая.

12 октября 1961 года

Дорогой Лёвушка!

Адресую это письмо только тебе, т. к. Сарры, по-видимому, нет еще в Перми. О чем писать тебе, друг мой? Со мной плохо <...> Вертится обычная докторская машина, а толку нет. И, пожалуй, самое плохое в этом то, что я теряю остатки мужества и временами вполне отчетливо испытываю желание не жить. Я думаю, ты не примешь эти слова за рисовку или за истерику. Ты знаешь меня, вероятно, лучше, чем кто бы то ни было другой, знаешь мое жизненное – вопреки всему.

<...> Саша уже дома после операции. Он не ходит еще на работу и много времени проводит со мной. Очень интересный и своеобразный человек получился из него. Внешне, какими-то чертами, улыбкой здорово похож на Юлика, иногда просто до щемящего чувства в сердце. А так, характером – нет, не очень. Он как-то по-хорошему, без рисовки скептичней, и ум его, вероятно, изящней, если можно так выразиться. Зато в нем мало той жизненной хватки, веры в себя, энергии, которые в избытке были в отце. Но, в общем, сын мне нравится.

Напиши мне, Лёвочка, если хочется только. Ужасно была рада, просто счастлива была тебя повидать. Люблю я тебя, старого черта – и это уже навсегда. (Помню, как после всего мама со слезами читала мне эти слова, повторяя: вот и «навсегда». – Л. К.)

Пожалуйста, не забывай меня. Здорово все-таки одиноко делается жить к старости, когда семья так мала, а друзей поблизости совсем, так-таки совсем нет (по-настоящему у меня – один Юзик). (Помню письмо Юзика о том, что он в последние месяцы стал навещать Раю чаще, чем раньше, и она спросила, не потому ли... «Я ее высмеял, а потом вышел и ревел белугой...» – Л. К.)

Будь здоров, дорогой! Крепко целую тебя и Сарру.

Это последнее письмо Раи. Много раз в этой книге придется мне подходить к последним письмам. И каждый раз – сколько бы лет ни прошло – тяжело. Но... Недавно мне случайно попались чьи-то стихи о том, как невыносимо поэтессе читать старые письма друзей родителей, да и своих иногда. Ведь она знает, какие болезни, страдания, печальные финалы у них впереди, знает то, чего они еще не знали, когда писали – и это как-то «перекрывает» ее восприятие. У меня совсем не так. Меня радует, что письма остались, остались их миры. И я пишу о них – «чтобы они недаром жили, и чтобы я недаром жила...», как сформулировала Марина Цветаева.

Осталось досказать.

Письмо папы.

1962 год

...Нет Райки. Ты можешь понять, что это значит, Саррочка! Нет, и ничего к этому не добавишь. И сейчас в Киеве похороны, и будут все друзья и приятели, и всякая шваль... И среди них Юзик. А Толя? Что Толя? Я говорил с ним не так давно из Москвы, и он меня уверил, что нечего приезжать, что можно на обратном пути, и, во всяком случае, он мне напишет сюда...

А я? Я понял ситуацию, но решил – успею. Утром я получил телеграмму от Бориса и Вали: «Телеграфируй соболезнование Левитину»... Позвонил им (и маме) и узнал, что похороны в четыре. А самолет уходит отсюда в 16.40. В Киеве – в восемь сорок пять. Какой смысл лететь?

А Райки нет. Со всеми ее pro и contra – нет. Там, на Лукьяновском (кладбище? – Л. К.) или еще где-нибудь. Вспоминаю ее – в Ботаническом, когда читали греков, в Сталинграде, в Казани. И... сама понимаешь!

Позвонил Риве (жене Иосифа Приворотского – Л. К.). Телеграфировал Яше. А тебе? Не знал, что делать. Решил – не в праве



молчать. Не знаю, как ты отреагировала практически (послала телеграмму или нет), но вообще-то все знаю о тебе.

<...> Солнышко мое. Сарронька, как угодно, только живи, потому что все остальное – тлен и суета.

<...> И вот уже вечер, и Юзик пришел домой. Этого невозможно понять. И Толя дома, и Сашка. Послал им такую телеграмму, какую сумел... Венок от нас с тобой был – я дал команду в Киев. Но жизнь... Мне не так важно, что меня нет сегодня в Киеве, но стократ больней, что мы с тобой не вместе.

Сарронька моя, детонька моя любимая, неужели и сейчас мы не поймем, что важно и что – тьфу!

А в «Известиях» – статья о раке, и получается, что вот-вот. Ничего не сделают они. Не будет рака – еще что-нибудь будет, это точно. И все зависит от того, что человек сможет противопоставить этому не медицински, а психологически.

Мне очень хочется сейчас все это понять, но я останавливаюсь перед какой-то стеной. Помнишь, как-то ночью я говорил тебе, что не могу понять простой вещи: вот ты со мной рядом... Так же непонятны мне простые вещи – жил, не живет.

Написать Толе? Я писал им вместе, обратившись «дорогие друзья», дней пять назад. Юзику? Но дома Нина... Все запуталось, все стало страшным.

Ладно, родная. Что тут скажешь? Я так и телеграфировал Толе: «Что я могу сказать?» Отреагировала ли Линка и как? Поцелуй ее, родная, и Герку...

Твой Лев

Линочка, родненькая, прости, что не пишу тебе пока. Напишу, когда напишется.

Другие друзья тоже иногда писали, но особенно частой была переписка с оставшимися в Киеве родителями. Эта переписка достойна отдельной книги, многое раскрывающей о том времени в бесценных деталях и подробностях, и не могу не признаться, что отбирать из нее наиболее ценное и интересное, неизбежно от многого отказываясь, – мучительное занятие.

Папина мама писала из Киева в Молотов 17 сентября 1951 года:

«Родные мои, дорогие!

Вы даже представить себе не можете, как мы измотались последние дни до получения ваших писем. Одно дело – грусть-тоска, оправдываемая всякими доводами и жизненной необходимостью, и совсем другое – овладевшая всем существом тревога за вас всех и, в частности, за нашу дорогую девчулку. Хочу тешиться мыслью, что в данный момент вы все здоровы и приближаетесь к нормальной жизни во всех отношениях. И когда через определенный период времени эта мечта моя осуществится – это мне даст силы легче мириться с одиночеством и даже роптать на судьбу не буду...»

Эта тревога постоянно звучит в письмах обеих бабушек и деда, она проходит через всю десятилетнюю переписку.

Телефонные разговоры не могли быть заменой писем. И не только потому, что телефон у нас был не в комнате, а на первом этаже общежития, и заказ междугороднего разговора был достаточно громоздкой процедурой с многочасовым ожиданием (все-таки заказывали!). Ведь и позднее, когда телефон установили дома и связаться стало проще, письма оставались неотъемлемой частью жизни. Нельзя, кстати, не обратить внимание, что, в отличие от телефонной связи, почта работала удивительно аккуратно. Письма из Молотова в Киев и обратно доходили за пять дней. Более того, в письмах бабушки не раз упоминаются утренняя и вечерняя почты – она знает время, когда письма вынимаются из ящика, торопится опустить к определенному часу.

К сожалению, письма моих мамы и папы не сохранились. Я долго не могла этого понять – ведь дед и бабушки так ждали их, так бережно, много раз перечитывали, перезванивались, получив письмо с Урала, читали вслух... И мои детские письма к бабушкам и деду – а их, судя по их восторженным отзывам, было много! – не сохранились. А как любопытно было бы сейчас взглянуть на них, особенно на те, о которых дедушка так высоко отзывался! Но, увы, когда бабушка, убитая смертью деда, собиралась переезжать к нам в Пермь, она даже не подумала (не пришло в голову и в душу) взять с собой наши письма. Они были из ее прежней, другой жизни, когда дед читал ей вслух и письма, и книги. А теперь, даже если бы захотела, она не смогла бы перечитывать их – зрение не позволяло.

Впрочем, вряд ли захотела бы. Киевский этап – огромная, главная часть ее жизни! – был завершен, она ехала, чтобы жить вместе с семьей единственной дочери, и хотя была она очень любящей мамой и бабушкой, но не была ни архивистом, ни филологом. Папина мама тоже почему-то не сохранила писем (хотя для нее, по-моему, это было бы естественнее). Мама же сберегла все их письма, и они многое говорят не только об отправителях, но и о ней самой – о том, что не было на поверхности.

Писем очень много. Даже внутри сравнительно коротких периодов накапливалось невероятное количество, потому что бабушки писали каждую неделю, иногда и чаще, да и дед почти всегда приписывал что-то мудрое – и они настаивали, чтобы и из Молотова вести приходили не реже раза в неделю. Иначе волнение просто захлестывало.

О незаменимости эпистолярной связи в самые разные годы писали и мама, и папа, и даже гораздо меньше них склонная к рефлексированию бабушка. Любопытно, насколько по-разному относились бабушка и дед к коротким открыткам, которые иногда посылала мама. Дед писал, что понимает мамину перегруженность и потому бывает вполне удовлетворен, когда без перерывов получает «текущую информацию о главном» (хотя он тоже ценил подробные письма), а бабушка – что ей при получении открыток бывает обидно, начинает казаться, что мама пишет не по душевной потребности, а просто «чтобы старики не волновались». Зато как радовалась она подробным письмам! Как благодарна бывала!

Мама: *«Лёвушка, родной! Мне вдруг так скучно стало и так тоскливо оттого, что еще не писала тебе. Ведь телефонные звонки чем-то напоминают пустышку, которой младенец имитирует кормление. А я стосковалась по письму твоему...»* (январь 1961 года).

Папа в 1976 году писал мне в Свердловск, где я тогда работала в УРГУ.

*«...Вот пришел с работы сегодня – суматошно сочинял всякие бумаги казенные с 2-х до 6-ти, а до этого – правда, без суеты и с удовольствием – проводил научную конференцию преподавателей с 10-ти до 2-х. Все же утомительный день, а прочел твою записочку («Ваша записка... в несколько строчек...») и как-то уже не усталый, так что сразу вот отвечаю. Видит бог, телефонный звонок*

*(и вообще всякие современные средства коммуникации) не дал бы и 100-ой доли того душевного отдохновения, чувства близости и прямого общения, которое дает «устаревший» эпистолярный материал. Да и можно ли вообще говорить о Петрарке по телефону? Разве что на тему «где его дают».*

В письме папе я подробно описала свою открытую лекцию о Петрарке, перед которой очень волновалась – туда явилось кафедральное начальство в полном составе. Цитата из популярной песни в исполнении Клавдии Шульженко насквозь иронична – конечно, это было далеко не «несколько строчек», а, как обычно у меня, весьма объемное письмо. Дальше папа подробно делится своими размышлениями о Петрарке.

И еще одно – мое собственное – соображение в пользу, увы, в самом деле уходящей эпистолярной культуры. «Уходят люди – их не вернуть, / Их тайные миры не возродить...» – сказано Евгением Евтушенко. С этим горестным утверждением трудно спорить, но все же ничто, может быть, ТАК не «возвращает и возрождает» тайные миры людей, как старые письма...

В первые годы письма из Киева были наполнены особым волнением. Даже сейчас, когда держу их в руках, остро чувствую, чем они были заряжены.

Во время погружения в эти давние письма я вдруг – по закону парности (как не раз убеждалась, часто срабатывающему) наткнулась в романе известного израильского писателя Амоса Оза «Повесть о любви и тьме» на очень взволновавший эпизод, который в моем сознании тесно «срифмовался» с тем, о чем пишу сейчас. Действие происходит примерно в те же годы, когда длилась эта переписка между Киевом и Уралом. Родители героя живут в Иерусалиме и раз в месяц в определенный день и час приходят в аптеку (почему-то именно в аптеку!), чтобы заказать междугородний телефонный разговор с живущими в Тель-Авиве родственниками, тоже приходящими в свою аптеку к телефону в назначенный час. Они всегда договариваются и уточняют время будущего разговора в письмах и каждый раз волнуются, особенно когда в ответ на свой запрос слышат: «Пожалуйста, подождите, господин, еще пару минут, сейчас говорит начальник почты, линия занята».

Мы немного волновались – что же будет, как они там, в Тель-Авиве?

Дальше воспроизводятся волнения и страхи мальчика (кстати, точно моего тогдашнего возраста!), непременно участвующего в этих переговорах.

«Я прямо-таки зримо представлял себе его, этот единственный провод, соединяющий Иерусалим с Тель-Авивом, а через него – со всем миром. И вот эта линия занята. И пока она занята – мы оторваны от всего мира. Провод этот тянулся через пустыню, скалы, извивался среди гор и холмов. Это казалось мне великим чудом, и я дрожал от страха: что же будет, если ночью стая диких зверей сожрет этот провод? Или плохие арабы перережут его? Или зальет его дождем? Вдруг случится пожар, загорятся сухие колючки, что часто случается летом? Кто знает... Где-то там извивается себе тонкий проводок, который так легко повредить. Его никто не охраняет, его нещадно жжет солнце. Кто знает... Я был преисполнен благодарности к тем людям, что протянули этот провод, людям мужественным и ловким, ведь это совсем непросто – проложить телефонную линию из Иерусалима до самого Тель-Авива.

<...> И тут вдруг в аптеке звонил телефон, и от этого звонка всегда начинало колотиться сердце и мурашки бежали по спине. Это был волшебный миг. А беседа звучала примерно так:

– Алло, Цви? – Это я. – Это Арье. Из Иерусалима. – Да, Арье, здравствуй. Это я, Цви. Как вы поживаете? – У нас все в порядке. Мы звоним вам из аптеки. – И мы из аптеки. Что нового? – Ничего нового. Как у вас, Цви? Что скажешь? – Все в порядке. Ничего особенного. Живем. – Если нет новостей – это тоже неплохо. И у нас нет новостей. У нас все благополучно. А как у вас? – И у нас так же. – Прекрасно. Теперь Фаня с вами поговорит. – И снова все то же: что слышно? что нового? – А затем: – Теперь Амос скажет несколько слов. – Вот и весь разговор.

Что слышно? Все хорошо. Ну, тогда мы снова вскоре поговорим. Рады были вас услышать. И мы были рады вас услышать. Мы вам напишем письмо и договоримся, когда позвоним в следующий раз. Поговорим. Да. Обязательно поговорим. Скоро. До свидания, берегите себя. Всего доброго. И вам тоже».

Нет, этот на первый взгляд комический диалог не вызывает у меня очень уж близких аналогий (хотя какой-нибудь разговор мог сбиться и на такое, это со всеми случается). В основном,

конечно, у моих родителей все время что-то происходило, и их родители хотели быть посвящены во все подробности.

А вот дальше... «Но это не было смешно – жизнь висела на тонком волоске. Сегодня я понимаю: они вовсе не были уверены, что и вправду поговорят в следующий раз. Этого может и не произойти: вдруг этот раз – последний, поскольку кто знает, что еще случится? Вдруг вспыхнут беспорядки, погромы, резня, арабы поднимутся и вырежут всех нас, придет война, грянет великая катастрофа. Ведь танки Гитлера, двигаясь по двум направлениям – со стороны северной Африки и с Кавказа, оказались почти у нашего порога. И кто знает, что нас ожидает еще...»

Не случайно предварила я погружение в письма бабушек и деда такой обширной цитатой – до того по-особому взволновали и зацепили меня эти страницы из романа израильского писателя. Что-то очень свое – родное, давнее, полузабытое – ощутила я в них.

У общежитского телефона по очереди круглосуточно дежурили за столиком тетя Паня и тетя Дуся, и я ясно помню, как у меня – так похоже на маленького героя романа Амоса Оза! – «начинало колотиться сердце и мурашки бежали по спине», когда раздавался громкий стук в дверь, и голос тети Пани или тети Дуси громко, повелительно звал: «Вас к телефону! Между-городняя!»

Вызовы случались, как правило, ночами, когда легче было дозваниваться из далеких мест (хотя и тогда случалось ждать несколько часов), и надо было быстро бежать с третьего этажа на первый. Меня не всегда брали поговорить по телефону, а я всегда рвалась: очень скучала по Киеву, по бабушкам и деду. Но и ночью бывала плохая слышимость и частые, на полуслове, обрывы связи (иногда по техническим причинам, иногда голос телефонной «барышни» непреклонно сообщал, что заказанное время – минуты три! – истекло). Разговор перебивался периодическими вскрикиваниями и переспрашиваниями: «Говори, пожалуйста, громче! Не слышно! Что ты говоришь?!».

Впрочем, эти ночные вызовы были очень редки и всегда означали, что волнение одной из бабушек или обеих вместе (дед обычно бывал против таких панических звонков) от затянувшейся, как им казалось, паузы в переписке достигло критиче-

ской точки, и успокоить и убедить их на какое-то время, что ничего ужасного не случилось, могли только звуки родных голосов.

Содержание тех разговоров особого значения не имело. Были они и по смыслу, и по тональности чем-то похожи на сохранившиеся в памяти израильского писателя, разве что шума и крика было больше – как-никак несравнимые расстояния пролегли (и продолжают пролегать!) между Иерусалимом и Тель-Авивом – и между Киевом и далеким городом на Урале. Эти расстояния неотразимо действовали на воображение.

Чаще в случае усилившихся волнений посылали телеграммы. Но главное – огромным потоком шли из Киева в Молотов и обратно письма. Слава Богу, они сохранились!

Память о пережитом идейном погроме 1949 года, разлучившем родителей с детьми, бабушек и дедов с внуками, разрушившем – у тех, у кого он был – дружный семейный клан, и связанный с этой памятью страх непредсказуемого будущего («вдруг этот раз – последний») почти никогда прямо не проговаривался. Но в глубинах подсознания обеих сторон он, безусловно, жил, и эти тревоги были понятны без слов. «Кто знает, что еще случится»? Может, судилище «всенародного масштаба», на котором «народ потребует» (особенно после «дела врачей»!) расправы над евреями – «недобитыми безродными космополитами». И тогда предстоит, вслед за другими репрессированными народами, путь в вагонах для скота – в холодные нежилые края. Может, накроет с головой следующая волна репрессий – этот страх, впрочем, был вполне «интернациональным». Наконец, оставшиеся в Киеве родители, не блещущие здоровьем старики, могут просто не дожить до следующего приезда детей... Да, ничего такого вслух не произносилось, наоборот, всегда звучали планы будущих встреч, порой срывающихся (хотя мы приезжали почти каждое лето), но без этого все пронизывающего подтекста невозможно понять так настойчиво повторяющиеся просьбы писать чаще и нотации за затягивание с письмами, жалобные требования давать о себе знать не реже раза в неделю, а в особенно тревожные моменты – чаще.

Дед и бабушка часто писали вместе, на оборотах одного листка. Письма деда более разборчивы и аккуратны, бабушки – неразборчивы и хаотичны. Впрочем, мы научились их разбирать.

25 сентября 1950 года

*Дорогие, любимые!*

*С нетерпением ждем письма, а пока вчера вечером получили вашу телеграмму, и то немножко отлегло. Люлинька сегодня у меня с ночлегом. <...> Вчера мы были с ней в магазине у папы (мы часто ходили к бабушке в книжный магазин в обеденный перерыв, бабушка приносила ему домашнюю еду, мне очень нравилось там бывать. – Л. К.), и когда ее спросили, почему ты так бабушку целуешь, она ответила, что бабушка у нее один, а бабушек две, и потому она его так сильно любит. Вообще девчулька хорошая – лишь бы она была здорова.*

*Что у вас? Имеете ли уже квартиру или в общежитии?*

*Ждем с нетерпением подробных писем. Крепко вас целую за себя и папу.*

*Ваша мама Р. Г.*

*Люлька уже спит крепким сном.*

29 сентября 1950 года

*Дорогие, любимые!*

*Уж так мы заждались от вас подробной весточки, что прямо уж невтерпеж дольше ждать. М. С., правда, имела удовольствие ночью с Лёвушкой поговорить, но и она не удовлетворена. Завтра две недели после вашего отъезда – это вообще очень большой срок, а в данных условиях тем более тяжело. Как вы, любимые, себя чувствуете? Оказывается, что с устройством квартиры не благополучно. <...> Папа вообще более терпеливо всегда ждет писем, а на сей раз он по приходе с работы каждый раз спрашивает: неужели и сегодня ничего не было?*

*Люлинька здорова, но своеобразно скучает и больше всего Лёвушку вспоминает. Вчерашний день 4 раза по всякому поводу о нем говорила. С огромным нетерпением ждем писем, а Люлинька, конечно, печатными буквами напишет отдельно.*

*Крепко вас целую за себя и папу.*

*Ваша мама Рев. Гр.*

*Люся (вдова Бориса Погребинского – Л. К.) звонила и просила вам кланяться и Валя Козлова. Привет от М.С. Вчера видала Юзика, он просил кланяться.*

10 июня 1951 года

Любимая моя Саррунька!

Наконец-то мы вчера получили твое письмо долгожданное, и стало нам чуть легче. <...> Если всю жизнь мы жили тобой, то последний жуткий год у нас, кроме тебя, жизни нет, а потому не пишется. Неужели ты удержишься до 1-го июля? Люлинька уж тоже заждалась...

Без даты

Любимая моя доченька!

Во всех своих письмах ты твердишь, что сильно по мне тоскуешь и жаждешь общения со мною и все же не удосуживаешься писать мне чаще, чем один раз в месяц. Ссылки на загруженность работой для меня не убедительны. Ты прекрасно понимаешь, какая у меня потребность получать информацию, как тебе живется, и как я тревожно реагирую на твое длительное молчание. Если тебе дорого мое спокойствие, прошу писать мне почаще. В основном мне нужно знать, в каком состоянии твои нервы и сердце. Все прочее преходяще. <...> Крепко целую.

Папа

25 мая 1952 года

Дорогая моя Саррунька!

Мама уже с тобой поделилась радостным долгожданным событием: свиданием с любимой внучкой. (Папа оторвался на пару дней от московской командировки и завез меня в Киев задолго до отпуска родителей. – Л. К.) Я последние дни был очень загружен работой и отложил беседу с тобой до выходного дня. Линочка необычайно очаровательный ребенок. Я в совершенном восторге от ее внешнего обаяния, умственного развития и утонченной воспитанности. Так как в формировании ее последних качеств ты, надо полагать, занимала не последнее место, вручаю тебе похвальный лист за воспитательные способности, которых, откровенно говоря, я в тебе не подозревал. Линочка на редкость одаренная натура глубокого духовного уклада. При правильном разумном воспитании из нее, несомненно, вырастет чудесная девушка.

С Лёвой я не имел возможности общаться, сколько мне хотелось: днем я занят, а вечера он проводит довольно бурно в обществе мо-

лодежи до поздней ночи. Вчера он по договоренности зашел ко мне в магазин, и мы пару часов провели в парке, беседуя о всякой всячине. <...>

Крепко обнимаю и целую.

Любящий папа

17 сентября 1952 года

Дорогие мои!

Твое письмо, Саррочка, от 11 сентября меня полностью удовлетворило как размерами, так, главным образом, пронизывающим его трогательным чувством глубокой сердечной привязанности. Вступая в период солидной старости, я сердцем осознал справедливость поговорки: старый, что малый. Замораживающей старости особенно присуща острая потребность в теплой, от души идущей ласке. Постараюсь, дорогая дочка, отсрочить экскурсию к Абраму на пир лет на десять, чтобы выразить тебе сердечные родительские пожелания к вашему 25-летнему юбилею. Кончаю, спеша на работу. В выходной день напишу подробней. Благодарю за поздравления Лёву и Марию Самойловну.

Крепко целую.  
Любящий папа.

Приписка бабушки Ривы.

...Мне на днях, родная Саррунька, принесли портрет Герки, сделанный с той карточки, где мы втроем. Такой чудесный Герунчик на нем, что я не могу наглядеться на него. Гораздо лучше того, что был у нас до войны. Это мало успокаивает нервы, но все же я рада, что я это сделала...

25 декабря 1952 года

Дорогие, любимые!

Я всегда только о вас думаю, а в дни дат я особенно мысленно с вами, но этого мне мало, а мечтала я вас видеть и ощущать, но уви...

Родная моя Саррунька, эти 35 лет в моей памяти воскресли полностью с момента твоего появления на свет. (26 декабря 1952 года маме исполнилось 35 лет. – Л. К.). Было много пережито, но в итоге хорошо, что есть такое разумное и хорошее дитя, весьма интересное. Возможно, что тут есть некоторое материнское пристра-

стие, но мне кажется, что я вообще не пристрастна. <...> Мы уже за твоё здоровье сегодня ели пьяную вишню, а завтра выпьем наливку.

*Дорогая моя Сарруня!*

Внимательно читал и перечитывал твои письма. В результате вдумчивого обмозгования написанного в строках и между строк пришел к выводу, что Экклезиаст неглупо охарактеризовал все житейские треволнения формулой: суета сует и томление духа.

Я всесторонне понимаю причины, вызывающие у тебя подавленное настроение, и начинаю опасаться, что разного рода волнения влияют на твоё бедное сердечко значительно больше, чем переутомление от напряженной работы... Что касается твоей тревоги о моих немощах, могу тебя успокоить твердым обещанием проскрипеть, благодаря моей надежной оснастке, минимум до 75-летнего юбилея.

Имея дело с медициной (в состав технического отдела включена медицина), я регулярно штудирую авторитетные труды о сердечных болезнях и, в частности, об органических преобразованиях в области сердечных сосудов от проклятого паспорта. Спрашивается, Сарруня, о чем же мне при такой эрудиции советоваться с эскулапами? Скорее всего, обнаружив у меня всякие артериосклерозы, посадят меня на манную кашку, растительную пищу и запретят курить. Подобной ценой я завоюю два-три года прозябательного существования. Стоит ли? Я руковожусь мудрым возражением орла на соблазн ворона («Капитанская дочка»).

Словом, Саррочка, убедительно прошу тебя изъять из комплекса твоих переживаний тревогу о моем здоровье. Если у вас (на что я твердо надеюсь) все хорошо сложится и ты спокойно заживешь, это послужит надежным фактором для удлинения моей жизни.

Спасибо за перевод и посылку.

Пиши, Сарруня, почаще и поподробнее о себе.

*Крепко целую.  
Любящий папа*

Как согревало маму это облако постоянной любви и подробной заботы, как необходимо ей это было! И как неуютно ей стало жить, когда настали неизбежные утраты... Но об этом еще рано. Нельзя расстаться с бабушкой и дедом, не сказав откровенно о них – об их отношениях.

«На мамином письменном столе под стеклом, где во все долгие годы нашей пермской жизни было много фотографий дорогих ей людей, в самом центре – последняя фотография ее родителей, сделанная за год до смерти деда. Когда старые люди в те годы шли в фотоателье и торжественно снимались на строгом темном фоне, в таких снимках возникало что-то «академическое» – невольно застывшие позы, какая-то официальная напряженность. Так бывало часто. Но мои бабушка и дед очень любили друг друга. Никогда в жизни больше я не видела таких живых и непосредственных отношений у немолодых людей. Хлопоча по хозяйству, бабушка не могла спокойно пройти мимо читающего в кресле деда: потреплет его густые красивые седые волосы, погладит по плечу, поцелует. Дед от природы замкнутый, ироничный, с мягким юмором воспринимал ее экспансивность, но и юмор этот был молодой. И на этом прекрасном, редком снимке их лица буквально светятся нежностью друг к другу. Все здесь окутано ароматом особой старинной нежности: он и в умных насмешливых глазах деда, и в добрых, очень близоруких, уже почти ослепших глазах бабушки (слепнуть она начала после гибели сына – буквально выплакала глаза), и в ее руке, лежащей на руке деда».

Эта короткая запись долгие годы хранилась погребенной в моей тетрадке. Все выпавшие на мою собственную долю испытания были тогда впереди... Я тогда еще не открывала сундук со старыми письмами. Боже мой, как ожило в них многое смутно помнящееся и даже забытое! И поразительная горькая радость охватила от почти полного совпадения моей детской памяти с их взрослой реальностью.

Мало написано в большой литературе о любви старых людей.

*17 апреля 1953 года*

*Любимая моя Саррунька!*

...Это уже не ново, что с папой бывает интересно и приятно, что я хоть и стара, но люблю его, как не все молодые любят. Но больно, что при всех его знаниях и незаурядном уме у него бывают неприятности на работах, потому что он в жизни очень не аккуратен и на работе, а от этого частенько работа страдает. И нелегко он сам это переживает при его больном самолюбии, и вчера после долгой беседы он признал, что я права и что он уж на старости в этом отношении, как и во многом другом, неисправим.

На эту работу его директор принял с распростертыми объятиями (хотя работа весьма невыгодная) и первую неделю носился с ним, потому что у него нет толковых и культурных работников. Ему поручили важный участок работы по переоценке (книг), а вчера, когда пришли проверять, оказалась, как говорят, большая клякса. Здесь директор – тактичный человек, не как на его прежней работе, и грубо замечаний не сделал, но папа сам себя почувствовал ужасно и пришел с этим тяжелым настроением домой, и лишь после долгой беседы сказал, что теперь лишь он додумался, как это нужно было сделать... Это как будто называется «крепок задним умом». Мне всегда очень больно, когда он нервничает, но обидно, что у него почти всегда бывает заслуженным. (Так! Какое-то слово пропущено, но, в общем, смысл понятен. – Л. К.). Ты понимаешь, родная моя, что он не знает, что я с тобой поделилась этим неприятным переживанием и, конечно, никакого намека по этому поводу. Итак, Саррунька, не знаю, зачем я тебе обо всем написала, но такое уж настроение, что захотелось...

Бабушка писала о том, во что была всей душой погружена... Особый напряженный сюжет заполняет письма 1954 года. На даче под Киевом, где я жила с бабушкой и дедом (мама была в Кисловодске, папа занимался в библиотеках Москвы и Ленинграда, потом тоже куда-то уехал по путевке), деду внезапно стало плохо. Вызвали такси, и бабушка срочно выехала с ним в Киев в больницу. Оказалось защемление грыжи, была серьезная операция.

Бабушка начала снова писать, когда опасность миновала.

7 июля 1954 года

Любимая моя Саррунька!

Вчерашний день был самым радостным днем в моей жизни – когда я папу забрала из больницы домой. Было много чрезмерно тяжелых минут и часов, когда я теряла надежду. Когда я везла его на такси, ему было так плохо, что я опасалась, довезу ли я его, а когда уж добрались в Киев к «скорой помощи», тоже было тяжело. Самый тяжелый день был воскресенье – 27 июня, когда я пришла к нему на свидание (в воскресенье приемный день) и его не оказалось в палате, он уже был на операционном столе (а утром мне по

телефону сказали, что вправили и оперировать не будут). Час я ждала в коридоре, и как только его вынесли из операционной, меня впустили, и я возле него дежурила до 9 ч. вечера, ночевать не разрешили. Первые три часа после операции мне казалось, что я с ним прощаюсь, и мое состояние можешь себе представить, а потом он начал приходить в себя, но жутко страдал. Хорошо, что все тяжелое позади.

Теперь, надеюсь, я его дома поправлю, а когда ты, родная, приедешь, надеюсь вместе с тобой поехать в Звонковое. <...>

Будь здорова, любимая, и следи за собой по всем пунктам. (Мама была в ожидании, с этим связана особенно трепетная забота родителей о ее здоровье, в январе 1955 года родился мой брат. – Л. К.) Крепко целую и люблю.

Мама

P.S. За меня не беспокойся – хватило сил и здоровья бежать рано утром на базар и два раза в день в Октябрьскую больницу, а теперь уже уход дома совсем ничего, тем более, когда такой подъем настроения.

Тут же приложено письмо от деда.

7 июля 1954 года

Любимая моя дочурка!

Строчу дома, куда мама вчера меня перевезла из лечебницы. Из подробного письма мамы (там была коротенькая моя приписка) и после встречи с нашей соседкой по квартире доктором Войнолович (Софья Семёновна поехала по путевке в Кисловодск, мама с ней встретилась. – Л. К.) ты уже почерпнула всестороннюю информацию о моей болезни. Могу только добавить, что последняя операция была значительно сложнее и более чревата последствиями, чем операция 4 года назад. Я уже почти был уверен, что придется припасти имя для моего грядущего внука. Теперь я уже, кажется, на ближайший отрезок времени «дома». Можешь, Саррунька, гордиться своей мамашей. Она, оказывается, очень преданная жена несовременного образца. Затрудняюсь определить, кому я больше обязан спасением жизни: хирургу или героическому уходу мамы. <...>

Тебя я крепчайше обнимаю и целую.  
Воскресший любящий папа

12 сентября 1954 года

*Мои дорогие!*

*Вчера мы скромно отметили в тесном кругу родных и друзей 40-летие нашей супружеской жизни. Не забыли выпить за здоровье и благополучие наших любимых детей и внуки. Полностью разделяю, дорогая доченька, твое утверждение, что из всех жизненных благ наибольшую ценность представляет прочное семейное счастье, сцементированное любимой дочкой. Приложу все усилия для осуществления ваших пожеланий дотянуться до «золотой», но за успех не ручаюсь. От Зори получили оригинальное приветствие: «удивляемся долготерпению, ждем приглашения золотую». В этой остроумной шутке выражена правильная мысль: на фоне пошатнувшихся в наше время семейных устоев празднование сорокалетнего юбилея счастливой семейной жизни является уникальным анахронизмом...*

Бабушка Рива (в том же письме):

*Дорогие, любимые!*

*Невзирая на радостную дату, у меня до получения почты было весьма грустное настроение, потому что эта дата воскресила много дум и мыслей, и все это было связано с жизнью Герунчика, но как только я получила ваше подробное письмо, я заставила себя переключиться. (...) Безмерно рада, Саррунька, за твое самочувствие, за то, что у Линочки более спокойная жизнь в связи с твоим положением (декретный отпуск?), за то, что Лёвушку не будете отрывать от работы (наверное, речь о том, что дали в крыле общежития, где мы жили в двух комнатах, освободившуюся третью, и у папы появился свой кабинет), короче, за все, что делает вашу жизнь более легкой и спокойной. (...) Папа, слава не знаю кому (бабушка часто с грустью говорила о том, что она – совсем не верующая и что завидует верующим людям, потому что им легче жить...), выглядит хорошо очень, и вчера Ревекка Иосифовна (их давняя приятельница, мать Юры Перлина) нашла, что он молодеет...*

Они еще успели вместе порадоваться рождению внука, на это счастье после всего пережитого даже не надеялись. И снова активно соперничали все киевские родичи и друзья. Бабушка

подробно описала большой сбор и празднование у них, теплые поздравления соседей (вопреки стереотипным представлениям, у нее и деда были очень теплые отношения с соседями), и необычайно весело (для нее) завершила письмо: «По мнению Хрущева, надо не меньше трех детей, а я полагаю, что вас, дорогие, удовлетворит парочка, чтобы вы их вырастили здоровыми и хорошими» (10 января 1955 года).

Приписка деда удивительно комически трогательная и необычная, особенно в его устах, ведь ему, по рассказам мамы, никогда не была свойственна сентиментальность, но тут...

*Мне нечего добавить к описанию реакции родных и друзей на радостное событие. Я мысленно переношусь, Сарруня, к тебе и полностью разделяю твою радость, когда чувствуешь близость милого существа у груди. Я лично этого никогда не испытывал, но представляю себе, что гораздо приятнее ощущать родное причмокивание сосуна, чем чувствовать бесцеремонные его толчки в животе. Поправляйся, дочка, и напиши беспристрастно, стоила ли игра свеч. (Вот тут дед становится похож на себя! – Л. К.)*

*Крепко целую родную семейку.*

*Папа-дедушка*

В другом письме этого года проясняется подтекст этого странного вопроса: «С каждым днем усиливается у меня потребность полюбоваться дорогим внучонком. Должен признаться, что лишь недавно я вполне положительно оценил вашу смелую затею, невзирая на все трудности, обзавестись Герунчиком. Наша жизнь, без различия материальной базы и категории деятельности, настолько бесцветна и бедна воодушевляющими факторами, что потребность в душевных эмоциях находит удовлетворение исключительно в атмосфере теплого семейного очага. Я на расстоянии чувствую, что появление Герочки тебя омолодило, обогатило твою монотонную жизнь новым содержанием. Я даже в твоих письмах, к сожалению, недостаточно частых, улавливаю очень радостные для моего сердца нотки сердечной нежности, порожденной гипертрофией возбудимости счастливой матери. Все это очень приятно» (конец апреля 1955 года).

Еще два года продолжалось это мамино счастье – постоянно чувствовать такую заботу, такую поглощенность ее жизнью...



Через какое-то время дед с бабушкой приехали к нам и прожили три суровых зимних месяца. Дед умиленно играл с маленьким Герочкой. Мама не уставала изумляться пробудившейся в нем «сентиментальности», над которой все ее детство посмеивался. А еще он как-то очень весело занимался со мной и моей подругой Валей геометрией и очень много читал. Уходя в школу, я слышала от него, поглощенного какой-нибудь новой повестью в журнале: «Тебе обязательно надо это прочесть!», а вернувшись, заставляла его уже за другой книгой, и, когда я напоминала об утренней рекомендации, дед с трудом выныривал из текста и не сразу вспоминал, о чем это я, а вспомнив – «Ах, это?! Нет-нет, совсем не надо тебе это читать!»

Весной они собрались уезжать, но вернуться в Киев деду было не суждено. Он умер скоропостижно – тогда это называлось «разрыв сердца». Это случилось 22 марта 1957 года по дороге к поезду, когда мы все шли по березовой роще провожать их. Весело шли, папа и кто-то из общежитских приятелей несли чемоданы. Я очень хорошо помню этот день. У меня в школе был последний день четверти перед весенними каникулами, в который была возможность что-то (не помню что) пересдать, и дома все уговаривали меня с вечера попрощаться и не отрываться от школы ради проводов. Не могу сказать, чтобы у меня были какие-то предчувствия, но пойти провожать очень хотела – и ушла из школы пораньше. Дед стремился в весенний Киев – «домой» (все-таки – так!). Внезапно ему стало плохо. Папа сказал: «Яков Григорьевич, может быть, разумно отложить отъезд?» Дед энергично замотал головой и каким-то хриплым голосом повторял: «Какой смысл?» Папа потом очень ругал себя, что не настоял пусть самыми резкими способами, не заставил немедленно лечь на еще не растаявший снег, не дал валидол под язык... Никто не знает, помогло бы это или уже нет. Дед все же дошел до поезда, успел еще раз отвергнуть предложение не ехать – и потерял сознание. Его перенесли из вагона в вокзальный медпункт на носилках. Папа ушел туда. Мы с мамой очень волновались, но ничего не понимали. Потом мама рассказывала, что папа подошел к ней со спины, положил руки на плечи и сказал: «Что делать, Саррочка, я тоже потерял отца». И она далеко не сразу поняла, о чем это он. Мне папа сказал тихо: «Деточка, большое горе –

дедушка умер». Это была первая осознанная смерть в моей жизни.

Так внезапно все случилось. Родные и друзья были сильно потрясены.

Письмо папиного брата.

8 апреля 1957 года, Киев

*Дорогие!*

*Чувствую себя виноватым за столь замедленный отклик на постигшее вас, да и нас тоже, горе. Поверьте, однако, что замедлена только внешняя реакция, т.к. тяжело, очень тяжело писать по такому поводу. Не могу изложить в словах, а тем более на бумаге чувство, вызванное случившимся. Не только в первый момент, но и сейчас трудно постичь то, что случилось, трудно примириться с фактом.*

*Перед нами, по самым неожиданным и сложным ассоциациям, очень часто встает образ уважаемого и любимого Якова Григорьевича, его умное, своеобразное, хорошее лицо, его спокойная, слегка ироническая улыбка. Тем более понятно состояние всех вас и прежде всего Ваше, Ревекка Григорьевна, ваши тяжелые переживания. Никакие слова утешения и сочувствия, конечно, не могут смягчить утраты, и все же, рискуя показаться банальным, позволю себе сказать, что утешением и поддержкой для всех вас в эти тяжелейшие недели должно быть то, что вы переносите горе вместе, в теплой дружеской обстановке.*

*Надеюсь на скорую встречу, а пока целую издалека.*

*Ваш Сюня*

Ровно год спустя мама написала папе:

22 марта 1958 года

*...Так мне тоскливо, так тяжело, что, вероятно, разумнее было бы не писать. При том, что я унаследовала от папы «иммунитет» к датам, сегодняшняя дата не может не тронуть сердце. Так больно за то, что он недочувствовал, недодумал, недолюбил, так не хватает его сочувствия и умудренности, так горько от всего, что ему недодано, так хочется просто целовать его белые волосы и коричневые (от курения) пальцы. Поеду сейчас на кладбище одна. Хочу*

*побыть с ним там наедине. Ты-то ведь знаешь, насколько он мне – родная душа, и в хорошем, и в плохом. Чудовищно быстро прошел этот год...*

Письма бабушки Ривы после смерти деда – это уже совсем другие письма. Очень одиноко ей было. Одиночество было неизлечимо, от него уже ничто не могло спасти: ни краткие приезды в Пермь, ни окончательный ее к нам переезд.

2 сентября 1957 года бабушка писала: «Вынос папиной библиотеки был для меня ужасной травмой. Я даже этого раньше себе не представляла: ведь это вся жизнь Кулиньки...»

Книжный шкаф дедушки и его книги были перевезены к нам в Пермь – сначала в общежитие на Дальней, потом в квартиру на Комсомольском проспекте. И совсем потом, когда я навсегда уезжала из Перми, многие вещи вынужденно распродав или просто оставив, дедушкин шкаф бросить не смогла и забрала с собой в Москву.

*16 ноября 1957 года*

*...Я на днях впервые за все время посмотрела по телевизору кинофильм «Летят журавли». Тяжелый фильм, а когда я чрезмерно начинаю хандрить, то хожу к М. С., и они (бабушка М. С. и Хана, ее сестра) мне читают всегда то газеты, то книжки. Вообще очень, очень невесело. Р. И. пишет, что молодые говорят, что старики естественно должны умереть. Я – не молодая – тоже об этом знаю, и все же меня просто преследует папина чудесная седая голова (даже внешний вид), которую я так часто в последнее время нежно ласкала (раз даже Лёвушка застиг на месте преступления).*

Папа сумел с раннего детства внушить мне (не словами, а именно всем своим отношением), что и самые пожилые люди живут не только ради детей и внуков, а любят друг друга, и у меня никогда не было молодого высокомерия на этот счет – мол, какая там любовь после сорока и далее-далее лет... А бабушка Рива до конца жизни трогательно воспринимала фильмы про любовь. Помню, что в «Чистом небе» ее не увлекло ничто общественно-политическое, про что были тогда бурные споры («это все понятно»), а вот история любви ее взволновала. Она рассказывала, как поспорила с соседкой, утверждающей,

что такое только в кино бывает. Настойчиво утверждала, что бывает и в жизни, правда, редко.

Папина мама была сдержаннее. В первые годы разлуки она старалась скрывать постоянное напряжение, позднее – тоску по уехавшим (хотя все это прорывалось). Письма ее полны самых разных тем: и педагогических размышлений (в частности, волнений по поводу моего самочувствия в чужом городе, деликатных советов моим родителям), и рассказов о культурной жизни Киева – об абонементных концертах в филармонии, спектаклях, фильмах.

*25 января 1953 года*

*...Вчера слушала Журавлева, который читал Маяковского «Хорошо!», и, кажется, превзошел себя в этот раз. Я почему-то полагала, что Чехов и Мопассан больше в его жанре, а он – на тебе! Это, по-видимому, было неожиданностью для всех. Я еще никогда не слышала, чтоб при любом чтеце, и Журавлеве в том числе, зал так гремел и неистовствовал, как вчера. 31-го с. м. буду слушать Рахлина и каких-то двух мне не известных солистов-гастролеров (хорошее дело абонементы). <...> Пользуюсь часто услугами телевизора у Критманов.*

Телевизор тогда был еще экзотической редкостью, смотреть ходили к счастливым обладателям.

*9 марта 1959 года*

*...Вы не удивляетесь, дорогие, такому оптимизму накануне такого солидного юбилея? (Бабушке исполнялось 70 лет. – Л. К.) Мне все кажется, что впереди еще много «пока»... Говорят, это помогает жить, поэтому я и вам желаю много бодрости и оптимизма, а это и является залогом здоровья.*

*Сейчас мне хочется с вами поделиться впечатлениями о вечере в честь Шолом-Алейхема к 100-летию его рождения. Начну с того, что вечер состоялся в филармонии, и вход по приглашенным билетам. Билеты же были розданы по райкомам партии, и простому смертному попасть оказалось почти невозможным. Но когда «я хочу», а твоя – не жена, а мама «очень вей очень» хочет (перифраз песни. – Л. К.), так я решила подойти к филармонии попытать счастья. Таких умных оказалось почти столько, как*

когда-то в очередях за хлебом, вследствие чего масса осчастливленных билетами людей с досадой вернулись домой несолоно хлебавши, а я, в числе немногих, прошла при помощи двух молодых еврейских офицеров. Вступительное слово было предоставлено Рыльскому, а доклад о Шолом-Алейхеме – Белецкому. <...> Больше всего мне понравилось, как он закончил свой доклад. Повернувшись лицом к портрету, он протянул к нему красивым жестом руку и обратился как бы к живому: «Шолом-Алейхем! Что ж сказать тебе? Шалом тебе! Шалом твоему народу! Мир твоему народу и мир во всем мире!»

От аплодисментов весь зал дрожал. Затем некоторые писатели выступили. <...> Писатель Коган прочел «Дядя Пиня и тетя Рейза». <...> После перерыва был небольшой симфонический концерт. А потом монтаж пьесы «Тевье-молочник». В общем, организация вечера не на высоте (не успели подготовиться), но я получила двойное удовольствие...

А самое главное, что я убедилась в том, что я еще умею чего-то хотеть, а следовательно, и добиваться.

В письме не говорится, что вечер памяти Шолом-Алейхема стал по-настоящему волнующим событием потому, что много лет до этого его имя почти не упоминалось (и бабушка, и мои родители хорошо знали об этом, и тут не требовались специальные напоминания). Это было именно знаковое событие, в каком-то смысле не менее, чем вечера поэзии в Политехническом и многие другие знамена начала новой общественной атмосферы – хрущевской оттепели.

Но и в письмах этой моей бабушки звучит, пусть в другой тональности, со свойственной ей мудрой рассудительностью, грустная память об ушедшем родном человеке.

23 июня 1954 года

...Настроение у меня не блестящее накануне знаменательной даты (со смерти деда Хаима прошло семь лет. – Л. К.), но и не очень трагическое. С одной стороны, меня утешает, что папа ушел из жизни полный ярких надежд и тем самым был избавлен от многих тяжелых переживаний, а сейчас мне жалко, что он лишен многих радостей, которых он так жаждал... Да и себя немножко жаль. Я ведь не скрывала тех трудностей, которые у нас были на протяжении всей жизни, но тот источник тепла, которым он меня

обогревал, до сих пор тлеет в душе моей. И в эти дни все больше и больше думается об этом, и тоска-матушка преодолевает все мои попытки отвлечься – да и нужно ли это? В этом ведь тоже жизнь...

Начало 1960-х годов (письмо адресовано бабушке Риве)

...Мне врач сказал, что многое зависит от нас. «Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие – залог долгожития». А я пришла к заключению, что торопиться нечего. Если в 49-м и некоторые последующие годы была рада, что Хаим Симхович не пережил наших страданий, то я сейчас жалею и очень жалею, что его нет. Я когда думаю об этом, ясно себе представляю, как он, с его темпераментом, воспринимал бы события последних лет, и у меня сердце сжимается до боли. В той же мере мне жалко, что Яков Григорьевич не дождался этого...

Радостные «события последних лет», до которых не дожили оба моих деда – папина успешная защита докторской, выход маминной первой книги о Пановой, мое окончание школы и поступление в университет.

Какое ликование звучит в письме бабушки после известия об утверждении папиной докторской в ВАКе. После всего!

26 мая 1962 года

Родные мои!

Только что я получила ваше письмо, и мне уже не хочется ни о чем прозаическом писать. Нет конца моей радости за тебя, сынуленька – «буйвола, прошибающего лбом все барьеры». Радость пронизывает все мое существо за вас обоих, мои дорогие, что вы, наконец, морально воспрянули, что наступила пора вознаграждения за все ваши тяжелые переживания (говорю «ваши», а правильно бы сказать – «наши»). И думается мне, что очень уже я счастливая мать, что я сумела «выродить» такого сына, и еще больше потому, что, переживши вместе с вами все трудности, сумела «дожить», чтоб и радости с вами делить...

Бабушка дожила и до другой минуты папиного высокого торжества – до его пятидесятилетнего юбилея в 1967 году. Мно-

го лет спустя Нина Евгеньевна Васильева описала эту навсегда оставшуюся в ее памяти картину: папа медленно ведет бабушку по проходе между рядами в актовом зале университета и бережно усаживает в первом ряду.

Я уже цитировала отрывок из той очень взволновавшей меня ее статьи, но именно здесь, после писем бабушки, мне кажется важным повторить: «Так шли они несколько коротких минут, и сознание четко засебло истинный смысл этого торжества: не грамоты, не приветствия с трибуны, не добрые слова, не благодарность, а вот эта минута высоты сына, подаренная им своей матери. Многие тогда провожали эту красивую пару влажным взглядом».

Незадолго до защиты папа написал мне очень важное письмо.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*В 1961 г. была опубликована моя первая монография «С. Я. Фрадкина. В мире героев Веры Пановой» (Пермь).*

*В 1961 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбористской партии (1900–1914 гг.)». В 1962 г. мне было присвоено ученое звание профессора.*

Время защиты было назначено и стремительно приближалось. И каким бы естественным волнением ни было наполнено ожидание, настроение в нашем доме стало в те месяцы ощущать светлее, чем в годы папиной изнурительной борьбы. Он многому радовался – в частности, приближению моего окончания школы.

Папа считал это однозначно радостным событием. Ему казалось, что это будет для меня настоящим освобождением от множества трудных предметов и вдохновляющей возможностью, наконец, заняться, поступив на филфак, тем, к чему предназначена. Я же, к его удивлению, загрустила и вообще относилась к этому более диалектично, но эта книга – не про меня.

Возвращаясь весной 1961 года с работы, папа чуть ли не каждый день «удивленно» спрашивал меня: «Ка-ак? Ты еще не закончила школу?! Сколько можно? Мне это уже надоело!»

Впрочем, он радовался, что в новой школе у меня появились, наконец, настоящие друзья, и мы «временами» живем творческой жизнью, которую папа однажды очень оживил, приняв активное участие в создании политической части новогоднего сценария. Мы вместе азартно сочиняли куплеты и были так увлечены, что даже из своей очередной командировки папа присылал новые варианты, и я тоже посылала ему вслед, иногда телеграммой.

В том самом 1961 году случилась история с Пауэрсом – американским летчиком-шпионом (на этот раз без кавычек!). Хорошо помню эти события. Так получилось, что я раньше родителей услышала по радио о потрясающе детективном повороте волнующего сюжета. Сначала стало известно, что первого мая обнаружен и сбит американский разведывательный самолет, но никому и в голову не приходило, что летчик мог катапультироваться и остаться живым. Понятно, с каким возбуждением я ворвалась в квартиру с этой новостью!

Помню довольно эмоциональные наши обсуждения той истории. Мы внимательно следили за дальнейшими событиями и оценили остроумный театральный ход Хрущева. Американские власти настойчиво отрицали, что самолет был разведывательный, утверждали: он просто заблудился и немного сбился с пути. Очевидно, та сторона была уверена, что доказательств обратного нет. Но Хрущев объявил, что летчик жив и во всем сознался, чем, разумеется, вызвал шок. Это было эффектно!

Но дальше... Помню, как родители были огорчены от того, что потеплевшие были отношения с Америкой и с миром опять начинают загоняться под железный занавес. Дело в том, что после знаменитого визита Никиты Сергеевича с супругой в Америку, несмотря на все его экзотические эскапады вроде криков про Кузькину мать (кто-то из растерявшихся переводчиков перевел это выражение как «мать Кузьмы»), которую мы им непременно покажем в соревновании двух непримиримых систем, или темпераментного, на весь мир прогремевшего, стука ботинком по столу на Генеральной Ассамблее ООН (а в

какой-то степени, может быть, даже благодаря таким эскападам), американцы поверили, что за железным занавесом живут не агрессивные чудовища, а живые люди с самыми разными, вполне человеческими, эмоциями. В общем, «Наш Никита Сергеевич» (так назывался торопливо поставленный подхалимский фильм о нем) понравился простым американцам.

К тому же между семьями лидеров мировых держав, Н. С. Хрущева и Д. Эйзенхауэра, начала возникать умиленная дружба – во всяком случае, Никита Сергеевич пригласил Эйзенхауэра с семейством отдать ему в мае ответный визит.

Что говорить – и анекдоты мы рассказывали, и чем-то возмущались, и морщились родители от эскапад Хрущева, мол, «за державу обидно». Я же воспринимала те эпизоды с более снисходительным юмором и иногда спорила с родителями, доказывая, что подобные вещи оживляют скучные церемониалы. Но главное – после сталинских времен такое «семейное общение» лидеров радовало совершенно новыми интонациями, внушало надежды на дальнейшее потепление. И вдруг!

Сильно нас раздосадовала реакция Хрущева на американский самолет – он сразу отменил визит Эйзенхауэра. Папа был возмущен такой «непрофессиональной», по его словам, реакцией: «Можно подумать, он обманут в нежных чувствах! Как будто не знает, что без взаимных разведок отношений между странами не бывает, как будто с нашей стороны в это самое время не работают разведчики! Интересно, что бы он запел, если бы кого-нибудь из наших сейчас поймали?»

В куплетах сценария акценты были расставлены несколько по-иному, но не надо думать, что мы так уж всерьез распевали гневные строфы – ироническое пародирование ситуации было почти не прикрытым, да и сочувствие к незадачливому летчику проскальзывало.

Столько лет прошло, а я помню их наизусть. И, как выяснилось не только я.

На границе тучи ходят хмуро.  
Самолету в небе нет преград,  
Но у нас от Эльбы до Амура  
Часовые Родины стоят.

Не испортить вражеским ударам  
Светлый праздник Родины моей.  
Враг летит, но зоркие радары  
Засекли его у рубежей.

<...>

... Крутится, вертится летчик-шпион,  
Крутится-вертится в панике он.  
Крутится-вертится, чтоб не упасть,  
В руки советских людей не попасть.

Но из Москвы раздается приказ  
Парни-ракетчики точны у нас.  
Залп – и рассыпался в небе У-Два,  
Летчик-шпион приземлился едва.

Монолог отставного президента талантливо исполнял Боря Львов, позднее известный в Перми журналист (к сожалению, Борис рано ушел). Он выходил с тросточкой, в очень шедшем ему высоком котелке, был элегантен и вызывал сочувствие.

Когда много лет спустя я позвонила Боре с каким-то деловым вопросом (мы учились в разных классах, были в разных компаниях и не виделись чуть ли не с окончания школы) и спросила, помнит ли он наш сценарий, Боря мгновенно откликнулся: «Ну а как же!» – и сходу исполнил свой номер от начала до конца.

Папа говорил, что пародировал в этих строфах стиль боевых куплетистов двадцатых годов – «синеглазников-профсоюзников». Были и другие веселые подтексты, чисто семейные. Например, «парни-ракетчики» точны у нас».

В те годы был переведен из Москвы в Пермь полковник Александр Семёнович Герчиков. Он с семьей много лет (1960–1970-е годы) прожил в Перми и служил в ракетных войсках. Александр Семёнович хорошо знал, как сбивали американский самолет – имел к этому самое прямое отношение, и делился с папой какими-то секретными подробностями, так что этот уж точно никому неведомый подтекст нас по-особому веселил. Я пригласила дядю Алика с женой на школьный вечер, и они получили большое удовольствие.

Папа приходил смотреть выступление несколько раз. Сейчас думаю: не стало ли это для него первым опытом, после ко-

того он стал много писать для ансамбля историков «Поссат»? До этого года у него не было такой свободы, главное – внутренней...

Моим одноклассникам нравилось, когда папа приходил на вечера и болел за нас, они почему-то придумали ему «подпольную кличку» – Джонни. Забавно, что, ничего не зная о моем отце, они интуитивно связали его с чем-то английским.

...И все же папе хотелось, чтобы я поскорее выросла. Собственно говоря, это его желание сопровождало меня с первых классов школы, с тех самых пор, как он возмущался «дурацким» костюмом зайчика, в который меня заставили наряжаться. Но теперь у него было все-таки больше оснований принимать меня всерьез. Впрочем, и в первый год после окончания школы я еще нуждалась в опеке...

«Детки наши милые и совершенно здоровые. Я уделяю им в минимальной дозе внимание...»

В этом месте захотелось на минуту остановиться. «Детки наши...» Мне было 17 лет, брату – 7. Как-то очень живо вспомнились наши – папой воспитанные и с энтузиазмом нами обими принятые! – колоритные отношения в те годы. К брату папа обращался, как в молодости к своим друзьям: «старик», ко мне – «ребенок». И когда мы вместе куда-нибудь отправлялись, папа громко напутствовал с пятого этажа: «Старик! Следи за ребенком!» Братишка относился к этому поручению очень ответственно: крепко держал меня перед переходом мостовой за руку и серьезно командовал: «Посмотри налево! Посмотри направо!». Я слушалась.

Брат уверяет, что эта модель отношений оказалась заданной нам на всю дальнейшую жизнь...

Но продолжу цитировать папино письмо.

16 октября 1961 года

...С Геркой ежедневно «чикаюсь» 30-45 мин. перед сном. Вчера (воскресенье) начал по-настоящему учить его шахматам. Мне очень хочется, чтобы он не лишился этой радости жизни.

Линка в ночь на сегодня почти не спала – по своему обыкновению, додольвала передачу. Ей поручили вести отдел «Отвечаем на письма», и вот это первая передача из этой серии. Пришлось ей немного помочь, как, впрочем, и раньше с Гончаровым. Думаю, это

еще в течение нескольких месяцев будет необходимо. Надо вспомнить себя в 17 лет. Вряд ли такие вещи нам были тогда под силу. А вообще мы с ней живем дружно, хотя признаков взросления, о которых ты пишешь, я не обнаруживаю. Виноват.

В хрущевские годы было положено, чтобы поступившие в вузы сразу после десятого класса (без производственного стажа) в первый год учились на вечернем, а днем работали, поэтому в первый год своей студенческой жизни я занималась на очно-вечернем отделении филфака и была внештатным корреспондентом пермского телевидения. Я очень любила романы Гончарова, часто неторопливо перечитывала их, и папа не раз прохаживался на эту тему, видя в подобном пристрастии свидетельство моего собственного «обломовства».

Тем не менее за несколько месяцев до защиты папа счел возможным откровенно поделиться со мной очень непростыми своими переживаниями и сомнениями.

17 февраля 1961 года, Ленинград

Линка, дорогая!

Наконец-то я, сидя в тиши гостиницы (опять – после 10 дней в Доме отдыха), могу сосредоточенно подумать о тебе и поделиться с тобой этими самыми раздумьями. Ты, конечно, не ждешь развернутой рецензии на себя с анализом всех *pro* и *contra*, да я и не собираюсь ее писать (во всяком случае, сейчас). Но мне во время этой поездки пришлось так много думать о некоторых вопросах из общей проблемы «смысла жизни», что невольно те предварительные выводы, к которым я прихожу, примеряются на тебя. Мне ясно при этом, что мои выводы – это мои выводы, и было бы смешно примерять на тебя мой пиджак. Но, как показывает мой личный опыт, его можно перешить – и тогда он будет тебе годиться. Так что ты, надеюсь, сумеешь «перешить» на себя все, что я тебе скажу о себе. А если не сумеешь или не пожелаешь, найдя, быть может, мой пиджак слишком узким, то это будет просто письмо, в котором я хочу с тобой кое-чем поделиться.

Понимаешь, быстро приближается предполагаемый день защиты, к которому я стремлюсь уже столько лет, приближается не

слишком гладко, спотыкаясь на поворотах и падая в ухабы, но все же близится. Казалось бы, подводить итоги этой затянувшейся главы моей жизни целесообразно потом, через 2 месяца. Но ведь тогда это будут итоги не слишком объективные, так как они будут неизбежно окрашены либо в победные тона («не зря я...» и т.д.), либо в элегические ноты: «жизнь – это борьба, падения неизбежны, но стоило ли столько сил тратить?».

Отдавая себе в этом отчет, я стараюсь именно теперь, наряду с повседневными хлопотами и мелкими прогнозами, сделать необходимые умозаключения, закрепить в сознании свой вывод – и не отступить уже от него впоследствии, под влиянием радостей или печалей. Именно теперь, когда у меня шансов fifty-fifty, когда очень многое зависит от тысячи случайностей, именно теперь суждение может быть объективным.

И вот первый и самый главный вывод: писать работу, конечно, стоило, потому что сам процесс был часто приятен, а иногда доставлял даже наслаждение, но делать это нужно было не так. Надо было менее лихорадочно думать о практических результатах и, в связи с этим, неизмеримо больше находить радость в самой работе. Ведь нечего скрывать, что чисто карьерные соображения в течение многих лет накладывали отпечаток на все стороны жизни, и в особенности на характер моей работы. Эти периодические штурмы, с бессонными ночами и невероятной спешкой, вытравляли многое из тех радостей, которые можно было почерпнуть в работе как таковой – радостей открытия, проникновения в глубь вещей, гармоничной логики мысли и даже – удачно найденной формулировки, слова, образа. Всего этого у меня было гораздо меньше, чем могло бы быть, если бы не было постоянной жажды быстрее прорваться к финишу. Это ведь были не те бессонные ночи, когда не ложишься спать потому, что хочется еще поработать, получить наслаждение от своего дела. Я знаю и такие ночи – в юности над стихами, потом – над пьесами и лишь изредка – в последние годы. А если учесть, что своей книге я отдал более 10 лет, то нельзя не признать (не без горечи), что я здорово обокрал себя. Это, конечно, не самобичевание, а трезвый вывод. Я ведь знаю свои соображения и от них не отказываюсь: создать прочную базу для семьи, для тебя, для Герки, может быть, избавить вас в какой-то мере от необходимости делать такие же ошибки. Поэтому я ни о чем не жалею, но и проходить мимо этого вывода тоже не считаю нужным.

И еще одно очень важное соображение. Теперь, когда подходит финиш, я не могу не вспомнить, что в течение многих лет рассуждал так: вот сделаю это, добьюсь... а потом засяду за настоящее дело, которое уже буду выполнять, прежде всего, в свое удовольствие. Будет ли это роман, или публицистика, или, может быть, новая историческая книга – все равно, буду делать без спешки и непременно с наслаждением. Так я часто думал, да и теперь думаю. Но у меня все чаще закрадывается сомнение. Не в успехе, конечно, в нем я, бесспорно, сомневаюсь, и даже больше того. Но я говорю сейчас о другом. Ведь независимо от результатов мой мозг в ближайшее время освободится от всего, чем он был занят много лет. Сама понимаешь, в случае удачи – освободится по-одному, а при провале – совсем по-иному. Но ведь это дело временное. Я хочу сказать, что пройдет и горечь неудачи, и радость успеха, а освобождение ума останется. И вот тут-то я и боюсь, что эти годы слишком многое во мне «высушили», что и так называемая душа поседела так же, как, к сожалению, поседела голова. И я, может быть, уже не смогу писать (что бы это ни было – наука или искусство) так, как мне, в общем, было под силу: хорошо для других и с наслаждением для себя. Боюсь и много и мучительно думаю сейчас об этом, почти столько же, сколько гадаю, как проголосует NN и не заболеет ли Д.

Конечно, оправданны ли мои опасения, покажет только будущее. Понимая, что есть необратимые процессы, я все же надеюсь на лучшее. Но даже сам факт таких опасений дает немало материала для выводов по основному вопросу.

Прости, что я посвятил все письмо только себе и ничего не написал ни о тебе, ни вообще о других проблемах. Но ведь ты у меня умненькая и все поймешь.

Через 3–4 дня я, наконец, получу автореферат и уеду в Москву, где, очевидно, задержусь числа до 25–26-го. Так что, если захочешь, можешь написать мне туда. А нет – поговорим лично.

Целую тебя, моя хорошая, а ты уже потрудись передать мои поцелуи маме, Герке и бабушке, а также приветы всем друзьям.

Твой папа.

Мой ответ был, разумеется, далек от такого уровня и сводился к наивному ободрению перед защитой, к уверенности, что потом ему будет под силу все, к чему стремится, и призыву беречь себя.

И вскоре... «Защита состоялась в 1961 году в Ленинградском университете. Успеху ее в немалой мере способствовали высокая оценка академика И. М. Майского, выступавшего в качестве официального оппонента. Эта оценка была тем авторитетней, что историю Англии, в том числе исследованного Л. Е. Кертманом периода, он знал не только как ученый, но и как непосредственный наблюдатель. Официальными оппонентами по диссертации были и известные советские ученые – А. Л. Нарочницкий (позднее академик) и В. М. Лавровский» (П. Рахшмир).

Помню, что с Майским у папы уже после защиты сложились очень теплые отношения, ему были волнующе интересны рассказы Майского о его встречах с Бернардом Шоу, с известными политическими деятелями, вообще о его любимой Англии.

Из письма мамы начала 1960-х: «Надо бы тебе в общении с Майским откликнуться на его «Встречи с Б. Шоу» в № 1 «Нового мира». Тешит себя старик, но ведь есть же что вспомнить! А от Эренбурга я еще не опомнилась. (Имеется в виду начало мемуарной книги «Люди. Годы. Жизнь». – Л. К.) Каков букет!».

Когда папа вернулся из Ленинграда, защиту торжественно отмечали у нас дома. Пришли все кафедралы и аспиранты, я тогда впервые познакомилась со многими из них – еще совсем молодыми.

За три года до этого празднования (в 1958 году) мы переехали из общежития в районе улицы Дальней в центр города – в дом 47 «А» (позднее – 49) на Комсомольском проспекте. Потом этот дом стал хорошо известен в городе под названием «Дом ученых». Впервые в моей жизни мы поселились в отдельной квартире! Общежитский быт был практически «нараспашку» – дверь в нашем крыле не запиралась, звонков не было, да и стучали приходившие соседи далеко не всегда. Помнится, что, собираясь переодеться, мы с мамой часто просили друг друга покараулить у дверей. Не то чтобы все это как-то особенно угнетало, но все же отчетливо помню охватившее в первый же день переезда ощущение какой-то удивительной, непривычной защищенности – входная дверь захлопнута, теперь никто не войдет без звонка! Честно признаюсь, мне это понравилось. Понравилось, несмотря на искреннюю симпатию ко многим общежитским соседям. Впрочем, далеко от них мы не уехали!

Постепенно – кто немного раньше, кто чуть позже нас – многие общежитские переехали в тот же дом. Он и был задуман как дом для вузовских преподавателей, и во многие квартиры въехали университетские люди.

Рядом с нами на пятом этаже жила Евгения Александровна Голованова со своим колоритным семейством, подробно описанным в моей частично опубликованной «школьной повести». Особенно незабываема энергичная мама Евгении Александровны, до 90 лет следившая за модой и шумно ходившая на высоких каблуках, оглушая моих тихих бабушек бурно темпераментными речами – Фаина Абрамовна была родом из Одессы, а «Одесса – это Вам не Киев!» Мы дружно соседствовали с ними много лет.

Этажом ниже жила Нина Евгеньевна Васильева с мужем Евгением Давыдовичем Тамарченко. Нина Евгеньевна в современной Перми не нуждается в особых представлениях – ее имя известно всем, кому не безразлична историческая память города и университета, так много она в последнее время сделала (и продолжает делать!) для увековечения памяти достойных людей, для воссоздания самого «воздуха» ушедшего времени, для памяти о Доме ученых. Недавно ей была вручена Строгановская премия. А прежде... Помню ее блестящие лекции по введению в литературоведение. Я слушала их на первом курсе. Талантливый филолог (в последние годы и мемуарист), блестящий лектор, она вызывала восхищение многих поколений студентов.

Долгие годы (до конца жизни моих родителей) Нина Евгеньевна была очень близким нашей семье человеком. Все мы называли ее просто «Ниночкой». По-разному, но с одинаковой степенью близости дружила она и с обоими моими родителями и со мной – сначала школьницей-старшеклассницей, бывшей, собственно, не на много лет младше нее, недавней выпускницы университета (в то время, в отличие от нынешнего, эта разница еще имела значение), потом – недолгое время ее студенткой, а потом... все годы до сегодняшнего дня. Нина Евгеньевна приходила на помощь в трудные периоды жизни родителей и за советом – в трудные свои, была неизменной гостьей в дни памятных дат, забегала и поделиться каким-то ярким впечатлением, и с бытовыми проблемами. «Приходила



мать Нины – от онной из Ленинграда поступило требование денег, а у мамы не было их. Я дал просимое – 35 р. Все же лучше, чем посылать тебе 70, ты же получение все равно не подтверждаешь» (из письма папы начала 60-х годов).

Близкое соседство давало возможность достаточно часто общаться, а с мамой они к тому же были коллегами, много лет работали на одной кафедре. Сейчас вдруг подумала: советуясь в наши молодые годы с моими родителями обо многом важном (иногда глубоко личном), Нина Евгеньевна, в свою очередь, давала интересные и порой парадоксальные психологические советы мне, медленно – пожалуй, даже замедленно! – переходящей из подросткового возраста в юношеский. Хорошо помню наши с ней разговоры тех лет...

Об отношениях с моей мамой Нина Евгеньевна написала сама и гораздо лучше, чем могла бы это сделать я. Приведу начало ее мемуарной статьи в книге о маме, выпущенной в 2008 году.

«Сарра Яковлевна – страница моей собственной биографии. В 1955 году я, будучи студенткой Пермского университетского филфака, написала под ее руководством свою первую научную работу – курсовую по теме «Особенности драматического конфликта в пьесе Горького «Мещане». Позже я стала убежденной ученицей Риммы Васильевны Коминой, но нити отношений с Саррой Яковлевной уже никогда не прерывались. В середине шестидесятых годов мне повезло – ректор Ф. С. Горовой дал комнату в Доме ученых, и мы с Саррой Яковлевной стали соседями, занимая аналогичные квартиры на четвертом и пятом этажах в последнем подъезде. Только я в большой коммуналке, а Сарра Яковлевна – в полной профессорской квартире. (В эту большую квартиру вошла проданная бабушкина киевская комната. – Л. К.). Соседство – оно и есть соседство: взаимные услуги, пересечения, разговоры, вечерние чаепития, совместные поездки на работу и обратно, обмен книжными новинками, постоянные телефонные перезвоны, наш «парикмахерский салон» в кабинете Сарры Яковлевны, вечера и вечеринки, юбилеи и праздники. Думаю, что именно это дало мне возможность узнать Сарру Яковлевну с той стороны, с которой она раскрывалась далеко не всем, – в быту, в семье, в доме, в частной жизни...

<...> Меня всегда восхищало ее мудрое умение принимать, я сама, всю жизнь убежденно дающая и отдающая, грабила себя, не умея слушать признания (они не казались мне необходимыми), не беря на ум неловкие сердечные жесты (стыдилась излишеств), не вникая в потребности другого раскрыться в дарении (главное – сама!). Сарра Яковлевна умела принимать, и в этом была высшая тонкость ее души...»

Это замечание кажется мне очень тонким и мудрым, на эту грань психологического портрета моей мамы мало кто обратил внимание!

С мужем Нины Евгеньевны Евгением Давыдовичем Тмарченко у нашей семьи была связана особая история, ведь он был сыном маминого киевского научного руководителя – Давида Евсеевича, которого она всю жизнь помнила с благодарным уважением! В 1949 году Давид Евсеевич Тмарченко тоже вынужден был уехать из Киева, жил и работал в разных городах. Мама поддерживала с ним связь, переписывалась до конца его жизни, иногда они встречались в Москве или Ленинграде. И вдруг в Перми появляется его сын! К тому времени Давида Евсеевича уже давно не было в живых. Хорошо помню, как взволнованно мама рассказывала об этом неожиданном – прямотаки чудесном! – появлении сына Давида Евсеевича, по ее словам, очень похожего на отца, но гораздо более красивого. В прежней жизни мама мельком видела в Киеве двух маленьких мальчиков – Женю и его младшего брата Натана. И вот в начале шестидесятых годов Женя разыскал мою маму, сказал ей, что хочет поступить на филфак, и передал письмо от своей мамы, работающей на кафедре иностранных языков в пединституте в Пензе. Она писала, что хорошо помнит мою маму по Киеву как отзывчивого человека, способного к сочувствию, и очень просит поддержать ее сына.

Взрослый Евгений держался в разговоре с моей мамой уверенно, не скрывая своей достаточно высокой самооценки, невысокого мнения о состоянии современной филологии и убежденности, что, занявшись ею, сможет многого достигнуть. Долгие годы он сознательно бежал от гуманитарных наук, до приезда в Пермь окончил геологический факультет и несколько лет проработал в геологической партии, однажды целую

зиму прожил один в лесу. Одним из его любимых авторов был тогда Хемингуэй.

В этом отказе от филологии было, среди других причин, и нежелание идти по пути своего отца, с которым Евгений, гораздо критичнее настроенный к системе, во многом был резко не согласен. Помню, как резануло маму, что, судя по всему, работ Давида Евсеевича Женя даже не читал. Были там, впрочем, более глубокие и болевые психологические причины: сын не мог простить отцу ухода из семьи, когда его мать осталась с двумя маленькими детьми, и, кажется, до конца отказывался встречаться с ним. Все это Женя рассказал маме в ту первую встречу... Сложным человеком он был.

Но, в конце концов, призвание победило. Мама поддержала Евгения Тамарченко, сделала все, что могла – больше именно в память о его отце (такая вот парадоксальная ситуация!). Впрочем, поддержка требовалась только на самом начальном этапе, чтобы преодолеть или как-то обойти бюрократические препоны, не дающие окончившему один факультет поступить на дневное отделение другого. Женя хотел заниматься всерьез.

Поступив на филфак, Евгений проявил себя блистательно – писал незаурядные курсовые работы, экстерном сдавал экзамены на самом высоком уровне, догнал и перегнал курс, на котором я училась, и окончил университет не за пять, а за три года. Его дипломная работа была на уровне кандидатской диссертации, диссертацию он тоже быстро защитил.

Но дальше судьба его – глубокого, серьезного, очень способного филолога – сложилась драматично. После опубликования в «Ученых записках» Пермского университета статьи Е. Тамарченко о Солженицыне разгорелся шумный скандал, сборник был рассыпан (об этой истории А. И. Солженицын упоминает в очерке «Боролся теленок с дубом»), громы и молнии обрушились на Р. В. Комину, тогда заведующую кафедрой, и Евгению Тамарченко были перекрыты многие пути. Он немного воспрянул в первые годы перестройки (помню очень интересные обсуждения в киноклубе, который он возглавил), но потом – тяжелая болезнь и быстрый ранний уход...

На третьем этаже Дома ученых, в одной комнате коммунальной квартиры (как и Нина Евгеньевна с мужем), жила Екатерина Осиповна Преображенская. Она была петербуржан-

кой почти на поколение старше моих родителей и величаво-аристократично несла в себе (воплощала) прежнюю, поколения Анны Ахматовой, культуру. Блестяще владея французским и немецким языками (зная и другие), она очень естественно ощущала себя в мире той культуры, особенно в мире французского и немецкого романтизма – это чувствовалось. Екатерине Осиповне как-то очень подходило читать лекции о французском классицизме и особенно о переходе к романтизму, она со своей гордо вскинутой седой головой как будто и сама была оттуда. Многим студентам (и мне тоже) запомнилась обаятельно не современная атмосфера этих лекций, когда так органично звучали в ее устах мимолетные цитаты на французском. При этом Екатерина Осиповна была абсолютно демократична (как, собственно, и полагается настоящим аристократам) – в морозы первокурсники иногда приезжали сдавать экзамены к ней домой, и она прежде согревала их горячим чаем, а уже потом серьезно переходила к экзамену. Многие вспоминают ее вольтеровские кресла и старинные чашки.

Смутно помню мамин рассказ о чем-то тайном – во всяком случае, в те времена не проговариваемом вслух – в судьбе Екатерины Осиповны. Кажется, ее муж был арестован по обвинению в троцкизме, и сама она была выслана... В Москве жил часто ее навещающий прекрасный сын, в конце жизни Екатерина Осиповна переехала к нему.

На втором этаже в том же подъезде, что мы, жила семья маминой (и Нины Евгеньевны) коллеги Зинаиды Васильевны Станкеевой. Зинаида Васильевна, ее муж – юрист Александр Александрович Ушаков (в дружеском кругу его прозвали Ксан Ксаныч) и две их дочери занимали, как и наша семья, большую четырехкомнатную квартиру. Зинаида Васильевна переехала в Дом ученых из общежития на Дальней, и теплые отношения с ней шли с тех лет. Хорошо помню ее роман с Ксан Ксанычем. Об этом романе я по каким-то неуловимым признакам догадалась и с доброжелательным подростковым любопытством наблюдала. На Комсомольский проспект они переехали уже вместе, здесь родились две их дочери. Мне очень нравилась молодая Зинаида Васильевна, в ней была мягкая сдержанность, строгость и скромность, она чем-то напоминала героинь русской литературы XIX века.

«Соседство есть соседство», как написала Н. Е. Васильева. До нашего пятого этажа днем часто не доходила вода – старались набирать ночью, чтобы хватило на следующий день (интересно, как там сейчас – неужели так же?). Иногда, если уже в середине дня воды не хватило и возникала совсем форс-мажорная ситуация, я спускалась с чайником или ведром на второй этаж и часто надолго застревала у Зинаиды Васильевны. Стоило только упомянуть о последней публикации в «Новом мире» или о каком-то поразившем нас обеих фильме, и обсуждение могло затянуться на непредсказуемое время, порой до маминого звонка сверху, напоминающего о забытой цели моего спуска. Такие обсуждения не раз случались у нас с ней и при неожиданных встречах на улице.

Бывает, что взрослые, вызывавшие пылкое детское восхищение (идеализацию), по мере взросления чем-нибудь да разочаровывают. Я не раз испытывала такое (и когда сама с годами несколько охладевала к кому-то из знакомых старших, и когда невольно разочаровывала младших, с огорчением чувствуя это). Но с моим восприятием Зинаиды Васильевны ничего подобного не случилось, наоборот, горячее мое уважение к ней со временем только возрастало. Многие случаи подтвердили ее неизменно благородную стойкость в тяжелых испытаниях, слишком часто посылаемых ей судьбой, безусловную человеческую надежность, верность друзьям и умение помочь и поддержать. Эти качества Зинаида Васильевна особенно ценила в людях, и в очень теплых воспоминаниях ее о моем отце эмоциональные ударения расставлены именно так.

«Со Львом Ефимовичем советовались не только по вопросам научным. К нему приходили, когда возникали трудные или конфликтные случаи на работе, житейски сложные отношения. И Лев Ефимович помогал осмыслить и ситуацию, и тебя самого в ней. И все же для меня лично необыкновенность и талант человеческий Льва Ефимовича открылись в одном жизненном факте. Умерла моя мать, а в семье нашей в ту пору не оказалось никого, кто бы смог спокойно и достойно выполнить траурные обязанности. Неожиданно помощь предложил Лев Ефимович. Почти целый день ездил он с моими дочерьми по соответствующим учреждениям, сделал все, что полагается в таких случаях, и проявил при этом такое человеческое соучастие, на какое способен лишь самый

близкий человек. Много лет прошло с тех пор. Но в нашей семье помнят, как в трудный момент оказался рядом с нами умный и добрый человек, покоровивший своим душевным благородством».

Хорошо помню, как жалел тогда папа растерянных девочек и их маму, лишенных в такую минуту необходимой опоры. Папа не мог оставить их без помощи. «В мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое – старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать...» – Марина Цветаева сказала так о мужчинах из поколения Андрея Белого, но, по-моему, все подходит!

Вспоминая сейчас наш крайний справа подъезд, я вдруг поновому осознала, что общежитская атмосфера в какой-то степени сохранилась и после переезда (естественно, в несколько иных формах). Выход из квартиры еще не был окончательным выходом из дома. Подъезд, в котором можно было при входе или на выходе столкнуться с элегантною парой – Ниной Васильевой и Евгением Тамарченко, с приветливо доброжелательной Зинаидой Васильевной или неизменно аристократичной Екатериной Осиповной, не ощущался чужим.

Но и в других подъездах жило много хорошо знакомых людей. Через подъезд от нас с самого заселения дома (кажется, в 1954 году) жил Александр Ильич Букирев с женой Александрой Прокофьевной и дочкой Галей, уже не раз упомянутой здесь моей школьной подругой. Александр Ильич уже не был ректором, он заведовал кафедрой биологии. Я часто бывала у них и в обычные дни, и 24 декабря, когда отмечался день рождения Гали (в школьные времена мы особенно любили этот день еще и как предвестие скорых зимних каникул, но собирались мы с подругами и долгие годы потом). Однажды я неожиданно застала очень запомнившуюся картину – Александр Ильич сидел в углу в своем любимом кресле и проникновенно слушал игру Гали на пианино, заказывал свои любимые классические вещи и с такой нежной гордостью смотрел на нее...

Александра Прокофьевна была внешне суровой и очень решительной женщиной. Во время войны она была хирургом и рассказывала, что иногда приходилось принимать быстрые решения, брать на себя ответственность в опасных ситуациях, например, ампутировать без наркоза, влив в раненого стакан спирта (не каждый хирург-мужчина решался на такое!).

Я помню ее уже не работающей – командиром дома, чьи организационные решения почти никогда не оспаривались. Благодаря Александре Прокофьевне я очень нестандартно отметила два важных переходных этапа своей жизни. В день, когда мы с Галей окончили школу, Александра Прокофьевна достала из потайного шкафа крепчайший кубинский ром (подобного даже папа не давал мне тогда, впрочем, в его запасах такого могло и не быть) и налила нам. После чего сурово спрятала обратно, непреклонно заявив, что в следующий раз нальет, когда окончим университет (если окончим), а до этого – ни-ни! Так и было сделано. Боюсь оказаться неточной, но, по моему, зарок не был нарушен даже в день Галиной свадьбы на четвертом курсе.

Рядом с Букиревыми, на той же лестничной площадке, жили тоже переехавшие из общежития Устькачкинцевы. Это их дочь Светлана, ставшая известной в Перми мемуаристкой, процитировав Окуджаву, назвала нас «дворянами с одного двора».

Тут хочу сделать несколько уточнений. Дело в том, что сначала мы въехали не в четырехкомнатную квартиру крайнего подъезда, а в трехкомнатную в подъезде рядом. А в ту, ставшую, по словам многих родительских и моих друзей, легендарной, огромную квартиру перебрались через пару лет, когда бабушка Рива после долгих колебаний решила обменять свою киевскую комнату на комнату в Перми. (Кстати, только такой путь и был возможен в то время, слова «продажа» и «покупка» даже произносить не рекомендовалось!) Мы съехались, и бабушкина комната вошла в состав большой квартиры. На этих тяжеловесных подробностях я останавливаюсь, чтобы рассказать еще об одном интересном соседстве, пропустить которое было бы несправедливо.

Так вот, в нашем прежнем подъезде, на одной с нами лестничной площадке, жила колоритная семья хорошо известного тогда в Перми математика – профессора Льва Израилевича Волковысского. У меня хранятся сделанные им на высоком художественном уровне фотографии: я, Галя Букирева и еще одна наша подруга перед выпускным вечером; разные сборы в нашем доме, компания на зимней улице перед Домом Ученых в новогоднюю ночь... Одним из талантов этого яркого человека был талант фотографа. На других снимках – сам Лев Израил-

евич и его жена Рауза Салаховна. У них были очень красивые дети – Керим и Диляра. С Керимом, хотя он был на три года младше меня, мы дружили. Доставляя родителям, желавшим для него надежной земной профессии, много волнений, он буквально жил в мире поэзии, захлебывался любимыми стихами (многие строки Мандельштама я впервые услышала от него), писал сам и однажды решился показать свои стихи Белле Ахмадулиной, посвятившей Кериму взволновавшие Пермь строки: «...Так написал мне мальчик из Перми». Эти строчки в юношеские годы осенили Керима романтическим ореолом. Керим тянулся к «взрослым» филологам (студентам). Однажды в новогоднюю, очень морозную ночь я пригласила его в нашу компанию. Встречали Новый год в деревне на другом берегу Камы, переходили реку по льду, сильный ветер дул в лица, сбивал с ног. Запомнилось...

Через несколько лет Волковысские уехали в Ташкент. И мы очень надолго – на целую жизнь! – потеряли связь. Но совсем недавно, вдруг, к всеобщей радости тех, кто тепло помнил его, Керим нашелся. Оказалось, что он все же утешил родителей, окончив физический факультет, защитил диссертацию, много лет преподавал и занимался наукой. Но литературные интересы не ушли из его жизни – пишет стихи и прозу, углубленно занимается Ф. Г. Лоркой, много переводит его. А еще пишет очень интересные письма. Керим уже много лет живет в Цюрихе.

...Начинаю понимать, что в связи с переездом из общежития в Дом ученых мироощущение родителей, восприятие ими себя в Перми начало постепенно меняться. Появилось прочное бытовое обустройство. Подводя итоги в последние годы жизни, мама сказала об этом коренном изменении: «Сейчас, в 1996 году, когда уже совершенно очевидно, что наша ссылка в Пермь в 1949–1950-м годах – не эпизод из истории семьи «безродных космополитов», за которым последует возвращение в Киев, а жизненное пространство, которое суждено пройти до последнего срока, пришло время иного, чем это виделось раньше, жанра мемуаров. В нем знаком «Пермь» будет отмечена не остановка в пути, а более сорока лет жизни – молодость и зрелость, спутники жизни и главный, единственный среди них, и дети, и книги, и друзья».

Прочитав слова о «главном единственном спутнике», я вдруг вспомнила когда-то буквально пронзившую меня мамину реакцию на стихи Ахмадулиной, восхитившие меня. В последних строфах звучало: «Не дай мне Бог моих друзей оплакать, / Все остальное я переживу». «Так, по-моему, можно сказать только об одном человеке...» – сказала мама.

Отрывок же, который я привела выше, из маминых воспоминаний о Римме Васильевне Коминой. Эту статью для сборника воспоминаний о Р. В. Коминой, рано ушедшей после тяжелой болезни, мама назвала «На пути к мемуарам». Мемуары, к которым я так часто обращаюсь в первой части этой книги, еще не были написаны, мама только готовилась к ним. Много рассказав, она все же не успела их закончить, иначе написала бы о Перми гораздо больше... Написала бы, думаю, о самых разных и неожиданных связях ее коллег с нашей семьей. Зинаида Васильевна, например, любила с юмором вспоминать, что ее появление в Пермском университете (как и Римма Васильевна, она была выпускницей МГУ, окончила там аспирантуру, защитила диссертацию) напрямую связано... с явлением на свет моего брата Геры. Мама ушла в декретный отпуск, и потребовалась замена для чтения ее курса. Глядя на взрослого, высокого и красивого Геру, Зинаида Васильевна особенно весело вспоминала этот «исторический факт».

Римма Васильевна была по-особому значимым для нашей семьи человеком. Хорошо понимаю, впрочем, что очень многие люди могут так сказать о ней. Да и говорят в книге воспоминаний, которая в этом году, к большой моей радости, переиздана и расширена. Но у каждого это по-своему... Я хорошо помню молодую Римму Васильевну, когда она только переехала из Москвы и пришла к нам в общежитие знакомиться с мамой. Маленький Гера вдруг раскричался, и Римма Васильевна как-то очень естественно стала помогать успокаивать его.

Римма Васильевна со своей мамой, приехавшей в Пермь с ней, сразу поселилась в Доме Ученых, куда мы переехали через несколько лет. Потом «к ним присоединился» Владимир Васильевич Воловинский. Кстати, и начало их романа я немного помню. Помню, как оживлялось его от природы замкнутое лицо при каких-то ее остроумных или просто нравящихся ему словах, а ему нравилось почти все, что она говорила и делала.

Помню, как в первый их, еще до женитьбы, совместный приход к нам Римма Васильевна почувствовала мой обостренный подростковый интерес к ситуации, даже некоторую «заинтригованность», и... незаметно подмигнула мне!

Об особом мире коминских лекций, погружающих в неповторимый мир – вроде бы знакомый, так как речь часто шла о известных со школы книгах, но в то же время совсем новый, незнакомый, переворачивающий сознание, – написали многие. Я тоже о них вспомнила в своем опубликованном в книге о ней мемуаре. Но здесь хочется остановиться на другом – на Личности.

Чуть ли не в ту первую встречу я как-то интуитивно почувствовала, что Римма Васильевна – из тех взрослых, которые очень хорошо помнят свое детство. Причем не просто внешние факты, а именно себя в том возрасте, свои эмоциональные реакции, и потому понимает меня лучше многих... Когда ее чудесная дочка Марина опубликовала дневники Риммы Васильевны давних лет и рассказала о ее детстве и юности, я с взволнованной радостью убедилась, что интуиция не обманула меня тогда!

Римма Васильевна тоже почувствовала, что я это ее свойство понимаю и ценю, и хотя мало что мы тогда проговаривали вслух, память о том времени вошла на все будущие годы в некий дополнительный подтекст наших отношений. Я была почти на ее глазах выросшим ребенком, и мне кажется, она до конца никогда не забывала об этом. И когда читала главы моей дипломной работы о «Саге о Форсайтах», которой руководила; и когда позднее, с искренним интересом, прочла мою школьную повесть; и когда, будучи в командировке в Свердловске, где мы с Мишей проживали свои первые после свадьбы месяцы (всегда и у всех не легкие, что я крепко запомнила после вскользь оброненной реплики на лекции Р. В. о Толстом), позвонила и предупредила о намеченном ею визите к нам словами: «К вам едет ревизор!». А «посетив», одинаково умилилась и вкусному обеду, который мы постарались приготовить для такой редкой гостьи, и тетрадкам, где мы в две руки переписывали ненадолго попадающие в руки стихи и прозу.

Но вернусь к началу знакомства. Хорошо помню, что после приезда Риммы Васильевны пермская жизнь родителей (еще только начинающаяся) стала ощутимо интереснее.

Мама написала: «Я не раз имела возможность убедиться в том, с какой душевной щедростью она делилась своими друзьями, знакомила их друг с другом и охотно принимала подобные «подарки», увеличивая круг общения с интересными, своеобразными людьми. <...> Ее подруги Вера Журавлева (Москва) и Ляля Княжицкая (Горький) естественно стали нашими собеседницами и сотрапезницами».

И дальше – об особом магнетизме личности Риммы Васильевны, притягивающей к себе самых разных людей.

«Запомнилось одно из таких притяжений. <...> Это было еще в те давние годы, когда мы, уже став пермяками, летние отпускные месяцы проводили в Киеве и под Киевом. И когда один из летних маршрутов Риммы привел ее в Киев, мы азартно стали «угощать» ее Киевом и киевлянами.

Одна из самых близких нам друзей – Рая Кун – не смогла вечером поехать к брату Льва Ефимовича, у которого решено было собраться. Но ей очень хотелось познакомиться с Риммой, о которой она много слышала от нас, и она попросила меня пройти с Риммой мимо ее дома для блиц-встречи. Однако остановка оказалась столь продолжительной, что «старшие Кертманы» уже подумывали, не придется ли объявить розыск. Рая и Римма с таким увлечением обсуждали стихи Коржавина (в Киеве он еще именовался Манделем), последнюю выставку в картинной галерее, роман Сэлинджера и многое-многое другое, что контроль над временем был утрачен».

Об этой истории я узнала только из мемуаров мамы. И как радостно и дорого мне, что самое большое взаимопонимание возникло у Риммы Васильевны именно с Раей Кун, которую я так любила!

Ни с кем из новых знакомых не возникало у родителей желания так дарить друзей, а с Риммой Васильевной это получалось очень естественно.

Надо все же хоть немного рассказать о жизни не только «большого дома», но и нашего отдельного. Многие сейчас вспоминают его, как легенду. Каких только людей ни бывало в нем! Приходили маминны дипломники (кстати, с тех пор мы и подружились на всю оставшуюся жизнь с Надей Гашевой – она была на три курса старше меня и писала тогда диплом о «Середине Века» В. Луговского), и папины аспиранты, подробная

речь о которых пойдет чуть дальше. Впрочем, о Рае Андаевой скажу уже здесь. Она всегда приходила энергично возбужденная, переполненная последними художественными новостями, и приносила не только очередную главу своей диссертации (не всегда готовую к назначенному сроку), но и приглашение на очередную «потрясающую» выставку в Пермской галерее, где работала тогда, а иногда слайды, посвященные художнику, которым она была увлечена в тот момент. Мы все собирались в папином кабинете, смотрели и обсуждали. Хорошо помню такой вечер, посвященный Модильяни. «Каждый в обсуждении предлагал свою точку зрения, свое отношение, свою аргументированную позицию, – вспоминает Рая. – В этом домашнем разговоре Модильяни-художник, Модильяни-человек обретал живую конкретную связь со своим драматическим временем. И это отнюдь не означало безоговорочного приятия всего его творчества, равно как и бессмысленного отрицания. Мой кумир остался на пьедестале».

Была традиция встречать Новый год не меньше двух раз: по местному и по московскому времени. У наших гостей были разные привычки и пристрастия. Нина Горланова бывала рада угнездиться на своем любимом месте в углу дивана и никуда особо с него не двигалась, по-писательски страстно слушая и записывая и по-человечески жадно общаясь. Слава Букур общался в своей неповторимой манере, но Нину всегда понимал и поддерживал. Таня Тихоновец и Володя Виниченко, предварительно побывав иногда не в одной компании, бурно врываются к московскому Новому году (к двум часам ночи), гремя хлопучками, и была в этом своя неповторимая прелесть...

О сборах в нашем доме 9 Мая, в дни рождения, под Новый год проникновенно и лирично вспоминают Володя Виниченко и Нина Горланова. Страстно и романтически воспела этот дом Надежда Гашева.

«Это был дом, где дети и родители, друзья детей и родителей не разделены ничем, кроме возраста. Им интересно говорить друг с другом, читать друг другу, они внимательны к проблемам друг друга. <...> В этот дом люди шли, чтобы услышать умное слово, политический комментарий, чтобы обсудить премьеру спектакля или нашумевший роман, чтобы посоветоваться и попросить помощи в трудной житейской или служебной

ситуации, чтобы проконсультроваться, чтобы просто поздравить с праздником (особенно с Днем Победы! – Л. К.), чтобы... Дом принимал людей, искрилось веселье, велись умные разговоры, звучали споры, остроумные шутки, походя рождались идеи и поэтические экспромты. Ари Янович Демьянов (муж Натальи Самойловны Лейтес, маминной коллеги с кафедры зарубежной литературы. – Л. К.) привозил из Москвы песни А. Галича, тогда еще отнюдь не тиражировавшиеся, и вслед за ним их увлеченно распевали все участники застолий. А хозяин дома задавал тон».

Добавлю еще несколько слов о том, что связано с нашим домом у представительницы поколения уже не детей (по отношению к поколению моих родителей), а внуков... В первый раз Надя привела в наш дом свою дочь Ксению в «нежном» возрасте четырех или пяти лет, чтобы «показать ей невесту». На следующий день после свадьбы с моим первым мужем Мишей Копысовым я позволила себе нарушить обычай и снова надела очень красивое платье невесты с фатой, чтобы им смогли полюбоваться все, кто не был вчера и пришел сегодня. Надя, конечно, была на свадьбе, но ребенка она привела на другой день. И маленькая Ксюша в самом деле была очарована! Ее воображение было поражено и огромной «загадочной» квартирой с такой фантастической планировкой, что не мудрено заблудиться в этом лабиринте, и – отдельно! – редкой красоты шторами, закрывающими балконную дверь (там можно спрятаться так, что долго не найдут!), но больше всего все-таки невестой в сказочном наряде. Во всяком случае, в нашу совместную историю вошли слова, сказанные Ксюшей своей маме по дороге домой: «Как нам с тобой сегодня повезло! И невесту увидели, и мороженое поели!»

...Прошло десять лет (как в романе!), и Надя с уже пятнадцатилетней Ксюшей зашла по какому-то делу к моему отцу. Он открыл бутылку коньяка, налил Наде и вопросительно повернулся к Ксюше. Она смущенно отказалась, и Надя подтвердила, что этот напиток Ксюша еще не пробовала. И вот тогда мой папа произнес исторические слова: «Зато она потом сможет сказать, что коньяк ей впервые налил не какой-нибудь босьяк, а профессор Кертман». Ксюша до сих пор вспоминает об этом с гордостью. И с любовью помнит наш дом, куда много раз

приходила школьницей, а потом студенткой филфака. Помнит его особую интеллектуально и творчески насыщенную атмосферу, интересные разговоры, стихи, которые в конце вечера все собравшиеся за столом читали по кругу, шутки, споры и телефонные звонки из разных городов, а иногда и из других стран (для закрытой Перми это была экзотика!), на которые то и дело отвлекались хозяева дома...

Но вернусь, наконец, к празднику по поводу папиной защиты. Пришла вся его кафедра и все аспиранты. Я много слышала и о Гале Алпатовой – «редкой умнице, все схватывающей на лету», об умном Аркадии Цфассмани, о Лене Малинском – «очень творческом человеке, но ужасно неорганизованном», но, кажется, больше всего – о Павле Рахшмире. Наконец я увидела их всех!

Сейчас думаю: возможно, на самом деле папа рассказывал о Павле не больше, чем о других, но эти рассказы казались особенно увлекательными: лихой фехтовальщик, очень этим делом увлеченный и занимающий призовые места (не помню, в индивидуальных первенствах или в составе команды). Кажется, родители тогда еще юного Павла были обеспокоены страстностью этого увлечения, по их мнению, оно могло помешать в полной мере раскрыться незаурядным научным способностям сына. Родители Павла Ефимовича даже просили моего папу, с которым были шапочно знакомы, повлиять на «легкомысленного молодого человека, который не думает о будущем», и обратить его мысли к исторической науке. Впрочем, в этом сюжете могу что-то напутать и передаю его, как легенду. Выскажу только робкое предположение: если такая просьба в самом деле имела место, то, судя по дальнейшему пути Павла Ефимовича, папа выполнил свою миссию чрезвычайно успешно.

А в тот вечер меня поразил полемический запал Павла Рахшмира и бурное несогласие чуть ли не со всеми, кто осмеливался касаться священной для него фигуры Наполеона. Лев Толстой, разумеется, «ничего не понимал», и «нечего было братья за то, в чем не смыслит». Тарле и Манфреду (каждому по-своему и за разное), кажется, тоже досталось... Если не ошибаюсь, Павел Ефимович и сейчас остался в этом вопросе непримиримым. А уж тогда... Точно помню: уже спускаясь по лестнице, он продолжал возмущаться какой-то бездарной работой

о Наполеоне! Папа вроде бы соглашался, но больше беспокоился, как Павел доберется до дому.

Но вообще очень веселым и добрым был тот вечер. Папа сбросил с плеч многолетний груз и радовался от всей души.

А дальше... Часто ли в дальнейшей жизни удавалось моему отцу работать так, как мечтал он в письме ко мне – без невероятной спешки, получая чистую, ничем не замутненную радость от работы как таковой? Боюсь, однозначного ответа здесь нет. Поисковый азарт временами охватывал его и во время работы над диссертацией, он писал маме об этом. Такое, безусловно, бывало и потом, но чтобы независимо от договоров, сроков и других внешних обстоятельств?..

Во многих письмах звучат жалобы на давящий груз обязательств, опять вынуждающих к лихорадочной спешке. «Все-таки очень меня выматывает эта система работы, при которой мозги мои как бы под прессом; надо непременно иметь возможность не спеша думать для себя», – пишет он в 1965 году из Кисловодска.

И все же радость освобождения, и азарт зарождающихся глобальных замыслов, и надежда прорваться к настоящей неторопливой работе, и дарящие это счастье моменты – все это, безусловно, было. Даже снова возникали давно заглушенные, ушедшие далеко вглубь мечты о романе...

«Сегодня во время прогулки я впервые поймал себя на том, что думаю о романе – впервые за несколько месяцев. Я имею в виду не раздумье о том, что хорошо бы написать (или писать), а уже непосредственно о героях. Мне это было очень приятно, потому что свидетельствовало об отхождении. И вообще мне казалось, что я стал каким-то очень внелирическим. Оказывается, дело обстоит не так плохо. <...> И к тебе у меня в связи с этим (или наоборот?) светлое и лирическое чувство, потому что ведь думать о романе (как когда-то о пьесах и пр.) – это всегда значит прежде всего думать о тебе, моя родная сороманница». Это из письма маме 1965 года. И дальше он пишет: «...немного приводятся в порядок хаотичные мысли мои по культуре и даже приходят новые».

...Год папиной защиты был и у мамы отмечен большим достижением – в 1961 году в Пермском издательстве вышла ее книга «В мире героев Веры Пановой». И был очень добрый от-

клик «главной героини» книги, особенно обрадовавший маму. Читать рукопись Вера Фёдоровна отказывалась, утверждая, что ничего не понимает в академическом литературоведении, но после выхода книги написала маме письмо, где ощущалось «приятное удивление» тонкости психологического анализа и живому языку. Было на книгу и несколько доброжелательных рецензий, но здесь мне хочется привести совсем не официальный дружеский отклик из Киева.

Мамина одноклассница Ася Колчинская – совсем не гуманитарий, но, как и многие другие киевские друзья, прочла книгу и живо отозвалась на нее.

«С большой радостью я прочла, Саррочка, твою книжку. Молодчина ты. Недаром говорят, что «В мире героев...» лучше, чем сами герои и их создательница (да простят мне литературоведы такие еретические мысли)».

В середине шестидесятых мама интенсивно работала над книгой о Константине Симонове, чьи стихи в годы войны так много значили для ее поколения. О личной встрече с героем этой книжки она подробно писала папе.

9 августа 1965 года

*С Симоновым поговорили очень интересно. Он зверски загружен, сутки рассчитаны до минут. Я была у него с 9 до 12 утра, но из них мы час разговаривали, а 2 часа я читала и списывала предложенные им материалы, в том числе стенограмму выступления на пленуме писателей о войне и военной литературе, которое ему не удастся напечатать (текст статьи, которую он пытается «протолкнуть», он мне подарил, как и книгу стихов «Три тетради»).*

*Настроен он очень по-боевому. Воениздатовцев, боящихся раздела «Солдатами не рождаются», назвал идиотами. Раздел моей большой работы об антикультовом и культовом в военной литературе рекомендует писать не переделывая. Считает, что нельзя допустить отхода от решений XX съезда, и активно действует в этом направлении. Хочет, чтоб статью его, еще не напечатанную, читали люди. В «Лит. наследство» (готовящийся том о войне) дал главу из черного варианта «Дней и ночей» о 1937 году. Проводил меня к лифту прощальной фразой: «Отступить мы не будем». При мне звонил Андропову – договаривался о приеме по поводу очередного боевого спектакля Любимова («Живые и павшие»,*



типа композиции), который министерство культуры «зарезало». И «зарезало» грубо. (Спектакль театра на Таганке «Павшие и живые» удалось отстоять, он был ярким и волнующим событием времени и прочно вошел в историю театральной культуры. Много внимания посвятил ему в своей мемуарной книге и в цикле передач «Золотой век Таганки» В. Смехов. – Л. К.) Фактов негативных много (и по линии кадровой). Настроение Симонова связано и с творческим его подъемом (он поделился потрясающе интересными планами следующего романа – об этом устно. И с фигурой руководителя он не расстался). Но все-таки приятно. Неприсуждение Ленинской он расценивает больше как результат литгрызни («ели» друг друга и «съели» всех, без остатка). Он хотел снять кандидатуру (произведение не окончено), но не снял из-за Столпера, очень хотел, чтобы ему дали за фильм – лучшая работа его, в которую очень много вложено.

Мою работу (мне стыдно вато, что и в его экземпляре мы перечеркнули кое-что, но Бог с ним) взял с откровенным интересом (я ему и отписку статьи о «Друзьях и врагах» оставила), обещал прочитать быстро. Задержать может расшифровка (он на магнитофон наговаривает) и перепечатка письма. Предложил мне написать в Плес, но я побоялась почтовых неурядиц и попросила, чтобы он послал вместе с рукописью в Пермь (в Москве его потом не будет), а ты мне привезешь и то и другое. <...> Если придет письмо, сообщишь мне. Он, конечно, оговорил, что замечания сделает лишь фактические...

Мама была очень рада, что в ответ на ее неуверенный вопрос, интересно ли Симонову и хочет ли он просмотреть ее рукопись до опубликования, Константин Михайлович ответил: конечно, интересно! И чувствовалось, что это сказано искренне, не из формальной вежливости. Симонов даже удивился ее сомнению, а когда мама рассказала, что Вера Панова не захотела читать рукопись, снисходительно улыбнулся: это, мол, какие-то женские осложнения – и сказал, что ему такое непонятно: «Как может не быть интересно то, что о тебе пишут!»

Папа знал, как все это важно для мамы, и спешил немедленно сообщить ей все новости.

19 июля 1965 года, Пермь

...Рукопись от Симонова пришла дня три назад, а письмо – сегодня. Оно слишком объемное, чтобы посылать, да и не представля-

ющее срочного интереса – замечания сугубо фактические, местами пижонские (например, уточняет в сторону повышения воинское звание). Только в начале фразы, заслуживающая внимания в общем плане, свидетельствующая о том, что ему понравилось: «Вы написали, как говорится, с душой и самым добрым отношением к работе того человека, о котором Вы написали. Это я, разумеется, почувствовал и оценил. А обо всем остальном судить не мне».

Просит также указать, где он может найти стенограмму своего выступления от 16 мая 1941 г. или, если у тебя есть, прислать («очень просил бы»).

Рукопись и его замечания привезу в Москву.

Тем временем у папы начала медленно созревать идея совсем нового подхода к истории мировой культуры – к тому, как следует преподавать ее и писать о ней. Свою главную книгу (точнее, одну из главных) папа писал всю жизнь. Глубоко и обстоятельно рассказал об этой его работе Павел Ефимович Рахшмир.

«Главным своим делом Л. Е. Кертман считал книгу по истории культуры стран Европы и Америки, в которую вложил столько души и интеллекта. Когда он заканчивал работу над ее корректурой, его и настигла смерть.

Пожалуй, ни в одном другом произведении Л. Е. Кертмана не проявился так ярко и полно весь комплекс присущих его творчеству черт, как в этой книге, подводившей итог многолетнего научного поиска. Именно этим обусловлено, что она, по словам автора, «носит в известной степени экспериментальный и полемический характер». Впрочем, полемичность – свойство большинства его работ, поскольку в них обычно выдвигались новые идеи или по-новому ставились уже достаточно известные.

<...> С точки зрения историка, существенным достоинством книги пермского ученого является органическая сопряженность с историей, с эпохой. Не только история помогает глубже понять культуру, но и культура – историю. Своей сверхзадачей на будущее Л. Е. Кертман считал такой уровень «включенности» культуры в историю, на котором факты и явления духовной жизни вплетались бы в структуру любого исторического

исследования, поскольку без этого оно остается обедненным, а порой и просто как бы «засушенным». История культуры интересовала его не только сама по себе, но и в плане решения этой труднейшей задачи».

Не могу не процитировать и Надежду Гашеву, которая увидела историю рождения этой книги глазами поэта.

«...Представьте себе: во глубине России, на суровом Урале, в городе Перми, гораздо ближе к границе Азии, чем Европы, спокойно (а чаще – нервно, ибо таковы условия жизни и труда), добросовестно, глубоко, фундаментально создает Лев Ефимович книгу, которая называется «История культуры стран Европы и Америки». Стоит вдуматься в этот факт. В Европу (кроме европейской части СССР) профессора (а прежде студента, аспиранта, доцента), разумеется, не пускали. Он мог бы побывать в Западной Европе в качестве воина-освободителя, но был тяжело ранен еще в 1941 году; в Америку тоже «не довелось» поехать. (Одна заграничная поездка в жизни моего отца все же была, но об этом речь после. – Л. К.)

Однако история культуры так занимала его ум, так близка была ему глобальная идея подвига во имя культуры, идея просвещения, что за этот труд Лев Ефимович берется, несмотря на трудности объективного характера (надо ведь искать документы, источники), берется как бы исподволь, то есть еще неясно различая «сквозь магический кристалл» сам замысел и его огромность, накапливает материал, концентрирует его в мозгу, систематизирует. Годы и годы труда, сил, здоровья он отдал книге, вышедшей в свет уже после его смерти (он успел прочесть только корректуру). Семь восьмых работы, как в айсберге, скрыто под водой, одна восьмая гордо возвышается, впечатляет. <...> Это – книга, над которой шла очень долгая, до конца жизни, работа».

Замысел книги о культуре возник в шестидесятые годы, когда воздух свободы вдохновлял, расковывал мысли и придавал уверенности, что будет возможность опубликовать работу, в основе которой лежат новые подходы, далекие от устоявшихся взглядов на соотношение истории культуры и «просто истории».

В одном я не совсем согласна с Надеждой Гашевой, сказавшей в статье о моей маме (в книге «Свеча горела»): «Сейчас я

думаю, что у Льва Ефимовича и Сарры Яковлевны в середине шестидесятых было мало иллюзий. Их обольщения отгорели в тридцатых–сороковых. Но наши молодые порывы и надежды их все-таки радовали и даже поддерживали, подпитывали...»

Да нет, уверенно утверждаю как «ближайший свидетель», что родители и сами были на той волне, были захвачены этим необыкновенным (после «пыточных» лет) временем, были если не обольщены, то глубоко взволнованы подаренными надеждами... Помню, как они были потрясены некоторыми страницами романа Галины Николаевой «Битва в пути», причем не только сценой похорон Сталина, впервые появившейся в легальной литературе, сколько одной важной подробностью (и конкретной, и символической): когда арестовывают отца героини и она смотрит в окно на машину, к которой его подводят, то сначала все видит ясно, а потом внезапно наступает темнота, и – «она поняла, что в соседнем окне опустили шторы». Тогда (задолго до Солженицына!) все это было эмоциональным открытием.

Даже совсем не склонная к обольщениям Анна Ахматова твердо говорила о себе: «Я хрущевка!» Да и можно ли, не беря греха на душу, утверждать, что время освобождения людей из лагерей и прекращения арестов (в прежних масштабах) ничего не изменило?! Помню слезы на глазах родителей, когда прозвучали слова Хрущева о необходимости поставить памятник всем жертвам репрессий и даже о плане сделать это в ближайшее время. Эти слова слишком быстро «забылись», но ведь впервые сказаны они были именно тогда!

Многое все же зависит от угла зрения... Нашему – чуть младше настоящих шестидесятников – поколению следовало бы помнить, что, как бы снисходительно ни усмехались теперь над ограниченностью хрущевской оттепели, так хорошо видимой в «бинокль перевернутый», мы не жили в «людоедское» время. Люди, чудом выжившие в годы террора, «вегетарианскую» атмосферу ощущали совсем по-иному, чем мы. Вспоминаю, как наш друг Гена Оффингейм впервые исполнил, аккомпанируя себе на гитаре, впоследствии знаменитую песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Слушая эти горько остроумные куплеты, мы радовались и даже веселились, а Ревекка Борисовна Зархина плакала (дело происходило в доме

известных в те годы в Перми сестер Зархиных – филолога Стеллы и математика Ревекки). Ей было атавистически страшно слушать такое, и ее гораздо больше, чем нас, потрясло, что были, оказывается, и в самые страшные годы внутренне свободные люди, способные говорить и мыслить так.

Вообще помню многие моменты, когда родители и их друзья бывали радостно возбуждены малейшими знаками «гласности» того времени, как бы по-эзоповски завуалированы они ни были. Навсегда запомнила я несколько эпизодов.

В середине пятидесятых годов Регина Гринберг приехала в отпуск в Киев, где в то лето собралась вся их эвакуационная «казанская колония» (многие были с детьми). Регина уже жила в Иваново, была режиссером впоследствии очень известного театра Поэзии, и она привезла самиздатскую рукопись пьесы Е. Шварца «Дракон». Об опубликовании этой пьесы тогда и подумать было невозможно. Мы собрались довольно большой компанией почему-то на огромном киевском стадионе (в середине дня он был почти пуст), Регина читала вслух, и неудержимый хохот то и дело прерывал чтение. Регине периодически казался опасным тот или иной человек, забредший на стадион с бутылкой пива (она вообще была более напряжена, чем остальные, хотя и другие не теряли бдительности), и мы часто переходили с одной скамьи на другую, забираясь в самые дальние углы стадиона. Взрывы смеха сопровождали чтение многих сцен: сводки об «успехах» дракона в бою («Две головы лучше, чем три!»; «Один Бог на небе, одна голова у дракона!»), с мальчиком, продающим зеркало – «редкий предмет», с которым можно, глядя вниз, увидеть происходящее наверху (реальный ход боя). Сейчас понимаю, как недавно еще была война, как свежо все это было в памяти собравшихся!

Но больше всего все – даже мы, дети! – были поражены авторским предвидением (мы знали, что пьеса написана во время войны). После смерти Дракона на его место приходит «простой и демократичный», но не менее циничный, первый министр, якобы вышедший «из гущи народа». Нас очень смешили его «простонародные» реплики: «У нас без церемоний! Это при Драконе было, а у нас все по-простому!» А когда слушали про искалеченные при Драконе души, пожалуй, было уже не до смеха... Хочу сказать: первое, в детстве полученное впе-

чатление от этой пьесы (и вообще от блестящего драматурга Евгения Шварца) осталось у меня самым сильным и не было перекрыто ни театральными спектаклями, ни талантливым фильмом Марка Захарова, наверное, потому, что тогда все слушатели были на единой общей волне...

Летом 1961 года, как раз перед моим поступлением в университет, мы всей семьей (папа, мама, маленький Гера и две бабушки) отправились на пароходе от Перми до Астрахани и обратно. В промежутках между остановками в приволжских городах мне приходилось готовиться к экзаменам, но все же это было гораздо приятнее, чем все лето просидеть дома! И была в том путешествии одна незабываемо радостная встреча. На пристани в Саратове нас встречали Володя и Люба Шляпентохи. Сменив после вынужденного отъезда из Киева несколько мест, они тогда жили там в маленькой холодной комнате в полуподвале, но держались бодро.

Я с интересом присматривалась к этой колоритной паре, которую не видела со своего киевского дошкольного детства. У них был счастливый вид, и чувствовалось большое взаимопонимание в главном.

Позднее папа рассказывал мне о давних киевских страстях. Красивую Любу Володя завоевал в борьбе с ее поклонником, с традиционной точки зрения, имеющим гораздо больше шансов на успех, чем Володя – рыжий, вечно (пока не полысел) растрепанный, чуть косящий за огромными стеклами очков (у него с детства была сильная близорукость), темпераментно размахивающий руками и комически шумный в азартных спорах.

Пароход стоял четыре или пять часов, и о чем только мы ни переговорили тогда, долго гуляя по городу, а потом сидя в кафе, выпивая за встречу. По-прежнему обаятельно шумно удивлялся Володя всему новому для него. Даже тот сравнительно известный факт, что пушкинской Татьяне в момент, когда она произносит: «Я тогда моложе, / я лучше, кажется, была...», всего 23 года, вызвал его бурную реакцию: «Потрясающее открытие!» Но особенно запомнился мне разговор о недавно вышедшем фильме «Чистое небо». В отличие от моей бабушки Ривы, взволнованной лирической линией фильма, Володя, естественно и ожидаемо, выделил другое: он говорил, что самый сильный момент там – монолог мальчика (в исполнении

юного Олега Табакова), вскрывающий, если внимательно вслушаться, все лицемерие системы и «недомыслие» честных старших, не желающих признать очевидное.

Володя обратил внимание на то, что главные герои в воспитательных целях отругали мальчика за «неподобающие» мысли. Он утверждал, что этот эпизод на самом деле перечеркивает благополучный финал фильма, где несправедливо репрессированному героическому летчику, попавшему в плен, возвращают орден: «Система-то осталась! И мальчику все боятся сказать правду!» Люба испуганно призывала Володю говорить тише, да он и сам оглядывался.

Родители мои в главном были с ними согласны, хотя еще верили в возможность очеловечивания системы, и сам факт выхода фильма с таким эпизодом был их важным аргументом. А Володя вскоре прозвал моего отца «последним марксистом».

\* \* \*

В шестидесятые родители бывали по-молодому захвачены многими стихами (в данном случае говорю не об эстетических потрясениях – о других), спектаклями в «Современнике» и на «Таганке», жадно ловили сквозящие между строк намеки. Помню, как весело, с мягкой иронией, хорошо знакомой всем, кто его помнит, папа воскликнул: «Смотрите! Окуджава написал про Хрущева!» И прочел сейчас почти забытые, не ставшие песней стихи Б. Окуджавы про Павла Первого, знающего цену своему окружению и всему в России происходящему, и если бы его воля, но... «И золотую шпагу нервно / Готов я выхватить, грозя, / Но нет – нельзя, я ж Павел Первый! / Мне бунт устраивать нельзя!»

Но и открытые – без подтекстов – важные высказывания поэтов часто волновали. Огромным событием стал для родителей и для меня, как для многих и многих, «Бабий Яр» Евгения Евтушенко. А тот факт, что эти стихи были опубликованы в центральной газете, безусловно, говорил о важных изменениях в общественной атмосфере. Но степень разрешенной свободы все же определялась сверху, и потому совсем уж безоглядно обольщаться, конечно, не приходилось. Так, строки Бориса Слуцкого о евреях в те годы и долго еще потом оставались в самиздате: «Евреи хлеба не сеют, / Евреи в лавках торгуют, /

Евреи рано лысеют, / Евреи много воруют. / Давно уж кончилось детство, / И скоро я постарею, / Но мне никуда не деться / От крика: «Евреи! Евреи! / И пуля меня миновала, / Выходит, молва не лжива: / Евреев не убивало. / Все возвратились живы». Это волновало по-иному, чем «Бабий Яр», но не менее (в чем-то даже более) остро. В таком сильном и мужественном поэте, умеющем о самом трагичном говорить с суровой сдержанностью, обнаженная беззащитность страдания как-то особенно поразила.

Сейчас вдруг подумалось – широкая волна самиздата шестидесятых годов, конечно, говорит о несвободном обществе.

Обмен самиздатом очень обогатил отношения между друзьями, которые делились новыми открытиями, а потом бурно обсуждали их. Хорошие друзья знали, кому что особенно интересно, и радостно дарили только что узнанное. Так, в одном из писем Брони (из Риги в Пермь) звучит обещание в следующем письме прислать два стихотворения Слуцкого, а третье – придержать до встречи, чтобы прочитать вместе. Мне кажется, что такое – тоже характерная черта времени. Муж Брони, математик Лев Ладыженский, был активным и страстным собирателем самиздата. В одно лето моих студенческих каникул, когда мы вместе отдыхали на Рижском Взморье, я так много переписала в свою тетрадь! И прозу Цветаевой, завораживающе и странно, на наш тогдашний слух, звучащую («Пленный дух», «Живое о Живом»), и большую поэму Наума Коржавина «Танька» об убежденной коммунистке, не отказавшейся от своих взглядов после многих лет в ГУЛАГе, после гибели любимого человека. Эта женщина – подруга юности «лирического героя», и он пытается хотя бы в «закатном» возрасте в чем-то переубедить ее, но... «Но внезапно я спор обрываю, я сдался – я понял, / Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать, / Все – возможность любви, мысль и чувство, и самую совесть, / Всю себя – без остатка! – а можно ли жить без себя?..» Все самиздатское в то отпускное лето мы читали вслух, помню очарованность родителей цветаевской прозой (о себе уж не говорю!). Папа убеждал нас, что, судя по тому, как она о нем пишет, у Марины не могло не быть романа с Андреем Белым – он, как и все мы, еще не знал степени цветаевской самоотдачи в самых разных отношениях... А финал

«Таньки» он слушал напряженно, вздрогнув, когда показалось, что «я спор обрываю – я сдался» означает сдачу поэтом своих позиций и его согласие с героиней. И облегченно вздохнул, дослушав до конца.

В то же лето вполне легально был опубликован «Теркин на том свете» А. Твардовского, где чего только о времени и о стране не было сказано! «Теркина» папа всегда любил, часто цитировал, этот юмор был ему тоже близок (не только английский!), и он давно был заинтригован слухами о каком-то запрещенном продолжении. Еще в 1954 году мама услышала от московских знакомых, вхожих «в высшие сферы», подробный пересказ этого продолжения, и взахлеб пересказала папе в письме (самиздатский список ей в руки не попал, иначе она бы непременно переписала – не поленилась бы! Она многое для папы и меня так переписывала).

«...Твардовский написал «Теркина на том свете», который был доведен чуть не до набора. Кто-то спохватился, дал сигнал в «Правду», оттуда в ЦК. Поспелов вызвал Твардовского и стал объяснять, что произведение вредное, порочное. Тот «залез в бутылку», сказал, что и с «Муравией» так начиналось, и что и это будет напечатано. На вопрос, понимает ли он, что не должен быть редактором «Нового мира», он сказал, что понимает, и пошел выпить.

Теркин там (на том свете!) заполняет карточку, пишет автобиографию, где указывает, что родители его нигде за границей не бывали, дед выпивал, но взыскания получал лишь от бабки, правда, растет он уже вниз, а не вверх. Пайки Теркин там получает, как в колхозах (только расписывается, а в руки – ничего), цензура в стенгазете того света бдительная, а в конце на Теркина заводится персональное дело. Этому (все это, конечно, крупницы со слов Виктора и Иры) предпослано авторское предисловие, что, может быть, следовало, по мнению редакторов, показать Теркина не на том свете, а в колхозах, на стройках, в армии, но он редакторов никогда не слушал (они могут захотеть и планчик проверить), а всегда писал и будет писать, что захочет. Вот так».

И вот через семь лет это было опубликовано! Кому-то удалось, минуя инстанции, показать поэму Хрущеву, и ему понравилось (похожая история предшествовала опубликованию

«Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына). Мы читали «Теркина на том свете», потом на годы ушедшего в неизвестность, в той газете 1963 года, надолго ставшей библиографической редкостью, вслух и не один раз! Каждому приходящему, кто еще не читал! (Это было летом на Рижском взморье, где мы отдыхали по приглашению Брони и Лёвы.) «Крупницы» переказа оказались не во всем точными – Теркин в конце из последних сил бежал из мертвого царства в живую жизнь – он был тяжело ранен, но не погиб. На него при каждом естественном порыве смотрят с подозрением, и это переходит в гонения и розыск: «Есть опасность, что живой / Просочился сверху!» А про деда – прелесть!

Дед мой сеял рожь, пшеницу,  
Обрабатывал надел,  
Он не ездил за границу,  
Связей тоже не имел,  
Пить – пивал, порой без шапки  
Приходил, в ночи шумел,  
Но помимо как от бабки  
Он взысканий не имел.  
Не представлен он к награде,  
Не был дед передовой  
И ответчу правды ради –  
Не работал над собой!  
Уклонялся, и постольку  
Близ восьмидесяти лет  
Он не рос уже нисколько –  
Укорачивался дед!

Смогут ли читатели других поколений почувствовать, какой ободряющей внутренней свободой веяло на нас от этих строк? Пестрое было время.

Когда слышу сейчас некоторые – на самом деле многие! – вещи, о которых тогда страшно было даже подумать, не то что произнести вслух, вспоминаю, что впервые слышала обо всем этом именно от отца.

Например, о поразительном сходстве архитектуры, моды, физкультурных парадов в гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.

Впрочем, здесь мне необходимо поправить саму себя. В последнее время все так стремительно и нерадостно меняется, что вовсе не такие уж это и сейчас легальные вещи, во всяком случае, далеко не общепризнанные, поэтому настойчиво напоминаю, что не всех фронтовиков оскорбляли подобные сближения, и многие вовсе не за Сталина воевали.

Мой отец сам напряженно приходил к этим тяжелым открытиям, и они вызывали острые переживания, даже потрясения. О внутренней близости Сталина и Гитлера папа взволнованно говорил мне задолго до первых смелых намеков на это в очень понравившемся ему фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм». Папа говорил, что Сталину были органически чужды западные демократии, он твердо предпочитал им немецкий порядок. Как сказано было в каком-то анекдоте или апокрифе: «Одному человеку в жизни поверил – Гитлеру», за что целой стране пришлось расплачиваться такой страшной ценой. Папа написал о фильме «Обыкновенный фашизм» статью под названием «Думайте, люди!», она была опубликована в пермской газете «Звезда».

«В идеологической борьбе нашего времени <...> вопрос о памяти народной, о правде, которую обязан знать каждый современник, занимает едва ли не самое центральное место. И как бы субъективно честен ни был тот или иной сторонник лозунга «не ворошить прошлое», в этой борьбе он невольно становится на сторону тех, кому дорого забвение.

<...> Реакция не любит вспоминать: под покровом забвения ей легче готовить новые преступления <...> От обязанности думать человек не вправе отказываться, если он хочет остаться человеком. А если он останется человеком, он не станет фашистом и не доверит свою судьбу, судьбу своих детей, судьбу родины, человечества никакому фюреру.

<...> Народы помнят ужасы фашистской диктатуры, Освенцима и Майданека, но необходимо помнить и самую суть фашизма, который может выступить и в ином конкретном облике, обходиться без повторения слишком хорошо известных его внешних атрибутов и все-таки оставаться фашизмом».

И в другой статье («Память – личная и народная», «Звезда», 1975 год): «...помнить надо просто правду – не хорошую и не дурную, а правду, какова она есть».

Как актуально звучали сейчас эти слова, особенно на фоне споров о «правильных» школьных учебниках истории!

Мы много говорили дома обо всем этом. Помню, как еще в конце пятидесятых, когда к нам в гости в последний раз вместе приехали бабушка с дедом, по радио прозвучали слова в тот момент «сдавшего назад» Хрущева: «Но мы Сталина врагам не отдадим!». Дед с отцом переглянулись, и, хотя это не было свойственно характеру деда, более спокойного и уравновешенного, чем отец, в тот раз именно дед скрипнул зубами: «Вот сволочь!» Я потому и запомнила, что очень не похоже на него это было.

Но больше мы с родителями все же говорили не напрямую о политике. Очень много – о стихах, часто читающихся вслух. Хотя, пожалуй, я не совсем точна, пытаюсь отделить эти разговоры от политики. Многое спрятано было в подтекстах оказавшихся тогда на слуху строк, и мы с родителями и с друзьями «перебрасывались» ими как паролями. Например: «А если что не так – не наше дело: / Как говорится, родина велела!» Недавно Евгений Евтушенко «сознался», что это он посоветовал Булату Окуджаве назвать эту песню (чтобы ее возможно было исполнять) «Песенкой американского солдата». Написана она была за восемь лет до ввода советских войск в Чехословакию и сейчас известна как «Песенка веселого солдата».

Или еще: «Ученый – сверстник Галилея / Был Галилея не глупее. / Он знал, что вертится Земля, / Но у него была семья». Хорошо помню, как сильно эти строки Евтушенко эмоционально «зацепили» папу и киевских друзей родителей, среди которых были и физики, и лирики. В какой-то степени это было и про них – про их вынужденные компромиссы, про горечь от многолетнего молчания, когда многое уже было понято и иллюзий почти не оставалось. Все они «знали, что вертится Земля», но чтобы говорить открыто, надо было стать бесстрашным героем. Из уст в уста передавалась едкая шутка Хрущева на эту тему. После ошеломительных разоблачений «культы личности» в знаменитом докладе на XX съезде на какой-то встрече Хрущева с народом из зала выкрикнули очень смелый по тем временам вопрос: «А что же лично вы и все вы молчали тогда?!» Никита Сергеевич грозно спросил: «Кто это сказал?» В ответ – молчание. Выдержав напряженную паузу, он еще более резко

повторил вопрос – результат тот же. «Вот и мы так же», – на смешливо заключил Никита Сергеич, и возразить было нечего.

Да, бесстрашными героями мои родители и их друзья не были. Они не были такими, как воспетый в стихах Евтушенко кубинский «паренек по имени Монтано», что прорвался на радио и, зная, что потом убьют, говорил «три минуты правды» (папе очень нравились эти стихи). Но все же стихи про «сверстника Галилея» – не про них. Они никого не предавали и старались жить без фальши – не говорить того, чего не думали, сказать хоть часть правды. Она звучала в подтекстах их лекций, статей, книг на совсем другие, казалось бы, темы, но слушатели и читатели – во всяком случае, те, кто хоть в какой-то степени мыслил в том же направлении, а таких было немало – все понимали.

Так моя мама в самые опасные годы прочла в Киеве лекцию о постановлении о Зощенко и Ахматовой, сделав эмоциональный упор на стихи Анны Андреевны. В одном из воспоминаний о маме (Ольги Купрюшиной) читаю: «Советская литература сегодня синоним партийной литературы. Шла ли Сарра Яковлевна на компромисс? С ее-то чутьем на правду, тонким литературным вкусом? Оглядываясь назад, я не припомню ни одного момента неловкости. Значит, акценты были расставлены ею точно».

Евтушенко обращался к понимающим, и когда писал об «ученом сверстнике Галилея», и когда начал свой «Монолог битников» словами: «Двадцатый век нас часто одурачивал, / Нас, как налогом, ложью облагали, / Идеи с быстротою одуванчиков / От дуновенья жизни облетали», и когда назвал явно свою собственную исповедь «Монолог американского писателя»: «Устоев никаких не потрясал, / Смеялся просто над фальшивым, дутым. / Писал стихи. Доносов не писал. / И говорить старался все, что думал. / Да, защищал талантливых людей...» Вряд ли хоть один читатель поверил тогда, что это стихи об Америке, слишком ясно все было.

Подобное мы с родителями воспринимали на одной волне. Тем не менее отец настойчиво напоминал мне: нельзя утрачивать критериев, и надо помнить, что многие стихи, которыми я бурно восхищалась (особенно Евтушенко и других «гремящих шестидесятников»), мягко говоря, «далеки от гениальности». Он иногда устраивал «блиц-проверку» моего вкуса, наугад открывая сборники Евтушенко или Вознесенского и спрашивая, талантливо или халтурно написана та или иная строфа. Часто

мы совпадали, иногда бурно спорили. Неизменное исключение делал он для Беллы Ахмадулиной, которой восхищался и говорил, что у нее бесталанных стихов нет и не может быть.

Его-то критерии были неизменно высоки: навсегда любимым поэтом оставался Борис Пастернак, которым он был «опьянен» с ранней юности.

Чтобы примирить свою глубокую любовь к большой поэзии со способностью душевно откликаться на строки иного уровня, папа изобрел оригинальное выражение: «хорошие плохие стихи». Он был убежден, что такие существуют и имеют безусловное право на существование. Он, например, с энтузиазмом распевал песню Утесова про «Одессу – мой солнечный город», искренне любил стихи К. Ваншенкина.

В папином пении (только в домашнем или узко дружеском кругу, так как слуха у него, как у всей нашей семьи, совсем не было, о чем он отлично знал!) было особое обаяние, пожалуй, в чем-то близкое обаянию его юмора. Однажды он перефразировал в письме моему тогда совсем маленькому брату: «Есть Герка, которого вижу во сне, / Мой добрый товарищ по песням, / Лежит на песке он, как пышка в огне, / А писем не пишет, хоть тресни! / У Черного моря...»

Раз уж зашла речь о юморе, да еще в связи с летними купаниями, не могу не вспомнить, в какой форме папа предлагал моему младшему брату, упорно не желающему вылезать из прекрасной реки Десны, все же выйти оттуда: «Герка, почему бы тебе не поступить, как Катюша?!»

Папу могли внезапно тронуть и совсем неожиданные строки. Мне запомнилось, как однажды его взволновали опубликованные в «Юности» стихи какого-то немолодого поэта (я и сейчас не знаю, к сожалению, его фамилии), в которых звучала запредельная усталость от вечной необходимости тянуть ляжку и всяческой суеты, от невозможности ни во что углубиться, ни о чем подумать всерьез, ничего написать не по долгу службы: «Мне часа для вечности нет!» И в последней строфе: «Но, горько глотая обиды, / И беды, и боли свои, / Мужчины не сходят с орбиты / Работы, заботы, семьи». За давностью лет не ручаюсь за точность цитирования, но две последние строки четко врезались в память. И еще – с каким пониманием, уважением и сочувствием, как «по-братски» вглядывался папа в неболь-

шую фотографию этого человека. Я тогда уже не в первый раз подумала, что после гибели на фронте двух его самых близких друзей папе остро не хватало в жизни настоящей мужской дружбы. Были, правда, очень теплые отношения с двоюродными братьями мамы, но все же друзей юности это не могло заменить.

А «хорошими плохими стихами» он называл и многие строки Евтушенко и Вознесенского, и даже гораздо более по-человечески близкого ему Наума Коржавина. Свои стихи он тоже называл, думаю, не всегда справедливо, «хорошими плохими».

В отличие от многих мужчин, папа определенно и неизменно предпочитал ахматовской сдержанности цветаяевскую безмерную открытость. Мама же долго предпочитала лирику Ахматовой, но постепенно, все больше узнавая Цветаеву, в конце концов поддалась нашим с папой убеждениям. Папа однажды и навсегда был потрясен цветаяевским «вопьем женщин всех времен» (имею в виду и стихи с этой строкой, и ее поэзию в целом). Он глубоко чувствовал ее единственность в мире – настолько, что был уверен: стихи Арсения Тарковского «Марина стирает белье» – о любви. «Ты думаешь? Но ведь ей тогда было уже 48 лет!» – наивно восклицала я в свои 25. «Да, но это была Марина!» – отвечал отец.

Вообще мы много говорили о Цветаевой. Я рассказывала обо всем новом, что удавалось узнать, отца все это тоже волновало. Цветаяевская открытость не отпугивала его, наоборот, безмерно трогала, а вот некоторые высокомерные высказывания Ахматовой резко не нравились. Например, такое: «Чтобы остаться Прекрасной Дамой, от нее требовалось одно – промолчать!» – это сказано о воспоминаниях Любви Менделеевой. Но в том-то и дело, что Любовь Дмитриевна не хотела оставаться Прекрасной дамой! «И холодно ей озареньем служить!» – как сказано у Наума Коржавина.

Кстати, о теории «вечной женственности» папа не мог говорить иначе, чем насмешливо. Все, что А. Блок и А. Белый «под дурным влиянием Зинаиды Гиппиус», по его словам, «накрутили» вокруг этого, он называл «вымученной философией». Подобное было ему бесконечно чуждо: «Лучше Магдалина – даже и не кающаяся – чем весталка! Не для того все это – вся жизнь земная – придумано...» – однажды написал он мне в своем

«лирико-философском» письме. И не потому ли еще, думаю я сейчас, бесконечно ближе Блока всю жизнь был ему Борис Пастернак, в чьей лирике «женская тема» всегда звучала совсем по-иному. Папа с большим сочувствием говорил о Любе Менделеевой, жалея «бедную девушку», полюбившую великого поэта и попавшую в эту противоестественную ситуацию. Блок, как известно, с юных лет был убежден, что к боготворимой им Прекрасной Даме нельзя относиться, как к земной женщине, и что, даже женившись на ней, следует соблюдать обет целомудрия. Отец высоко оценил воспоминания Л. Менделеевой именно за искренность без приукрашивания себя, и недобрый комментарий Ахматовой был ему активно неприятен.

В живой жизни папа был потрясен встречей с Ольгой Берггольц, о которой писал маме.

*18 марта 1962 года, Кисловодск*

*Наиболее интересный здесь человек – это Ольга Берггольц. <...> Она – комок нервов, горя, большой любви и ненависти. <...> Недавно я привез ее в гости к Иосифу (киевскому другу юности, после 1949 года живущему в Пятигорске. – Л. К.). Мы провели много часов (в основном за ресторанным столиком), она была в ударе (не без влияния выпитого), много рассказывала и читала стихи, которые вряд ли попадут в печать. Временами на нее страшно смотреть – так она обнажена душевно. <...> Если через чье-нибудь сердце прошла трещина мира, то именно через ее. Во всяком случае, в числе самых интересных недолгих знакомств, которые мне приходилось иметь, это, пожалуй, наиболее значительное. Сквозь нее «история орет».*

Много говорили мы с родителями о фильмах, спектаклях, книгах. Папа восхищался Смоктуновским не столько в признанной на тот момент его вершине – знаменитом «Гамлете», сколько в «Девяти днях одного года». Был в восторге от его интонации в смелом по тем временам монологе о «наших дураках» и их отличиях от дураков зарубежных. Он надолго запоминал в фильмах какие-то поразившие реплики, иногда самые мимолетные. Например, ответ героя Баталова в фильме «Дорогой мой человек» на слова положившей на него глаз докторши, которая уговаривала его оставаться в рамках своих обязанностей врача и не бегать самому на передовую за ранеными. «Какой смысл?



Вас просто убьют!» – «На войне, случается, убивают». Очень папу впечатлило, как Баталов это произнес, часто вспоминал.

А в старом фильме «Идиот» с Юрием Яковлевым и Юлией Борисовой в главных ролях был больше всего потрясен одним эпизодом. Ганя Иволгин дает князю Мышкину пощечину, и тот, схватившись за щеку, долго смотрит на него с беззащитно детским изумлением и после паузы тихо произносит: «Когда-нибудь вам будет очень стыдно...». Папа говорил, что глаза Яковлева в ту минуту – это что-то запредельное. И у него – тогда еще сравнительно молодого – буквально заболело сердце.

Очень важной частью жизни было чтение. О книгах, любимых или не очень, мы говорили, как о живой жизни, о героях – как о живых людях, фразы из романов тоже становились паролями и звучали в разговорах совсем не о литературе. Это ощутимо во многих письмах родителей, особенно 1960–1970-х годов. Вдруг подумала: такие письма тоже говорят о каком-то внутреннем освобождении. В годы перед защитой диссертации, не говоря уж о времени потери работы, не находилось в душе пространства для подобной переписки, а теперь хотелось всем подробно делиться.

Вот несколько фрагментов переписки.

Из писем папы.

*Февраль 1967 года, Кисловодск*

*Читаю Фолкнера – «Город», ты его помнишь по «Иностранной», и я помню, но его надо читать и читать, чтобы взять все пласты психологии Гэвина. И, кажется, в его раздумьях есть очень много близкого мне, настолько тонкого, что до этого надо еще тянуться, но он несчастный, а я так не хочу.*

*9 марта 1971 года, из Перми в Кисловодск*

*<...> Я никак не могу понять, почему «большой роман Хемингуэя» вызывает у тебя именно данный строй мысли. Правда, я читал только концовку (№ 1), но не может быть, чтобы я «не понял ничего». А если понимать, то там, наоборот, не такой должен быть, мне кажется, поворот чувства. Не мог он, главный герой, всю жизнь понимать, кто его по-настоящему любит – вот что сказал ему под конец его друг!*

Мама отвечает.

*1972 год, из Кисловодска в Пермь*

*<...> Что же касается Хемингуэя, интересно мы с тобой обменялись: я – прочтя только первые два (части, опубликованные в двух номерах «Иностранной литературы», которую, как и «Новый мир», и «Дружбу народов», и «Юность», а иногда и «Театр», выписывали. – Л. К.), а ты – только третий. Лучше бы, милый, читать целиком. Во-первых, роман этого заслуживает. Во-вторых, Хемингуэй не из авторов, пишущих произведение во имя последней фразы – мироощущение героя не определяется тем, что он не понимает, чем был для главных своих людей.*

*Мне-то дорога и мою реакцию (и не без основания, хотя тональность в № 1 отличается от предыдущей) вызвала именно система ценностей героя, умеющего видеть за частным единственно главное – проявление жизни. Вероятно, самый большой человеческий талант в том, чтобы ее, жизнь, не выплескивать коту под хвост.*

Мама рассуждала в письмах о книгах, пожалуй, больше, чем папа, и часто – о разных своих настроениях, с чтением связанных: «По ночам я сейчас часто читаю классику, настоящую. И думала, и плакала над «Обрывом». На таком страшном напряжении чувства перестрадать свой «обрыв» – это значит навсегда подняться из него».

Так она писала папе в начале пятидесятых годов – совсем еще молодая! У меня в молодости «Обрыв» стал на какое-то время одной из любимых книг, но воспринимала я его совсем по-другому. Я вовсе не считала все связанное с обрывом падением героини, и огорчалась, что она исключила из своей жизни живую страсть.

Когда много лет спустя я впервые прочла в письме Марины Цветаевой обращенный к новому знакомому вопрос – «Живете в книгах?», в моей памяти, прежде всего, всплыли книги, в которых мы с родителями «жили» (и это стало последним толчком, чтобы я решилась писать книгу о Цветаевой). У папы всегда была книга, в которой он «жил» в данный момент, на которую находил хоть полчаса в день. Иногда даже делал перерыв в работе за столом и открывал «Новый мир» со свежей повестью или перечитывал что-нибудь давно любимое. Мог под настро-

ение открыть на любом месте почти наизусть знакомого «Кола Брюньона» Ромена Роллана или «Трех товарищей» Эриха Марии Ремарка.

Наверное, это очень субъективное ощущение, но, когда я сейчас оглядываюсь назад на те невообразимо далекие времена (хотя в это как раз и не верится!), мне начинает казаться, что в оттепельное время мы с друзьями и родителями настолько «утопали» в стихах, что на прозу (во всяком случае, на разговоры о ней) оставалось меньше времени. А вот в более суровые и трезвые (точнее, пожалуй, сказать, в отрезвляющие) семидесятые стали больше читать прозу и, конечно, обсуждать ее. И в самом деле, в маминых письмах 1970-х годов эта тема занимает больше места.

Сама понимаю, что даю упрощенно схематичную картину (сама же писала в шестидесятые работу о Голсуорси, еще как «живя» в нем!), но все же главу о 1960-х годах мне хочется закончить воспоминанием о поэзии в нашей жизни, а о прозе – потом...

В 1967 году ярким событием культурной жизни Перми стали гастроли Ивановского театра. Привезли «Параболу» по А. Вознесенскому.

Бессменным режиссером этого театра была Регина Гринберг, старшая дочь Ханы. Об этом стоит рассказать подробнее. После большого перерыва в школьном обучении (во время эвакуации и долгой жизни в деревне) в 1944 году Регина сдала экстерном школьные выпускные экзамены и уехала из Казани в Москву. Она поступила на экономический факультет МГУ, после чего оказалась по распределению в Иваново. Двенадцать лет она преподавала там в техникуме, но другое – настоящее! – призвание делало невозможной жизнь без театра. Регина и в студенческие годы была активной участницей Театрального коллектива Дома культуры МГУ, на базе которого через несколько лет возник знаменитый Студенческий театр Московского университета, который возглавил Ролан Быков.

В 1961 году Регина перешла в штат фабкома фабрики им. Балашова на ставку режиссера народного театра. (До этого, как и все участники студии, работала в театре на общественных началах.) Потом она окончила в Москве режиссерские курсы и создала в Иваново Молодежный театр, первые же спектакли

которого стали популярны не только у ивановцев, но и получили высокую оценку московских критиков.

Вскоре Регина со своими артистами сосредоточилась на постановке ярких поэтических представлений. Именно в качестве уникального Театра поэзии этот самоотверженный коллектив обрел всесоюзную известность. Это был Любительский театр, и все актеры днем работали, были профессионалами в разных областях (некоторые даже защитили диссертации по химии, физике и другим не имеющим отношения к театральному искусству предметам), но каждый вечер, часто до глубокой ночи, собирались они на репетиции, отдаваясь творчеству самоотверженно и увлеченно.

Многие поставленные Региной спектакли стали легендарными, особенно по поэзии Вознесенского. «Парабола» (1966), одноактный спектакль по поэме «Оза» (1969) «Мозаика» (1976) – этот спектакль игрался до 1994 года и выдержал более 500 показов! Многие зрители, по их признанию, смотрели его не по одному разу. Все сценическое оформление «Параболы» делал Эрнст Неизвестный. Однажды Регина привела моего папу в его мастерскую (они бывали рады, когда их приезды в Москву совпадали), и папа оказался под сильнейшим впечатлением от работ, а еще больше – от самого Мастера.

Были постановки по Булату Окуджаве («Замок Надежды», 1971–1976), по Владимиру Высоцкому (трилогия «Мы возвращаем землю», 1985–1995), по Марине Цветаевой («Настал черед», 1982–1995), литературный концерт «Лирическое наступление» и др. На многие спектакли Регины приезжали из разных городов известные критики и сами поэты, которых постепенно связали с театром самые нежные отношения. У ивановцев бывали Е. Евтушенко, Г. Поженян, А. Володин, А. Крон, но особенно близкими друзьями и частыми гостями театра стали Андрей Вознесенский и Булат Окуджава. Булат Шалвович приглашал театр на свои 60-летний и 70-летний юбилеи. Помню, что в поздравительных куплетах артисты тонко и остроумно обыгрывали известные слова Окуджавы. Они пели: «Булатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа».

Одно только перечисление поставленного Региной впечатляет! Нельзя не заметить фантастические сроки жизни многих спектаклей – мало какой профессиональный театр может похвастаться чем-то подобным.

Бывший актер и многолетний директор ивановского театра Андрей Афанасьев написал замечательную книгу «Регина. Театр нашей молодости». И в этой книге, и в письмах мне он рассказал о жизни театра много интересного и волнующего.

Приведу несколько отзывов о постановках ивановского Театра поэзии.

И. Золотусский, литературовед, критик, г. Москва:

– Только сейчас я понял: Вознесенского надо играть. Это поэт сцены, поэт, пишущий для актера. Вознесенский, прочитанный наедине, «не тот» Вознесенский. Он спрятан в строке, как огонь в спичке. Спичка должна чиркнуть о коробок – Вознесенскому нужно столкновение. «Разыгранный» Вознесенский – не только оживший Вознесенский. Это и Вознесенский, ставший понятным. Неясное становится ясным, он раскрывается, как код, к которому подобрали ключ.

Александр Володин, драматург, писатель, поэт:

– Со многими народными театрами в Ленинграде, Москве, Челябинске дружу давно. Много наслышан и об ивановцах, но, как ни странно, популярность театра, высокие награды как-то... настораживали. Но, приехав в Иваново, я был просто потрясен, увидев «Мозаику» и «Бертольд Брехт говорит». <...> Меня поразило вот что: в этом маленьком зале, в маленькой, затянутой черным комнате ко мне были обращены глаза, голоса, души нескольких людей, которые общались непосредственно с тем, что у меня в душе болит, что у меня в душе неспокойно, что меня мучит, за что мне стыдно. Спектакль оказался разговором, который обращен лично ко мне, – от людей, которые это сами лично пережили.

И интеллигентность их, которая передается зрителю, меня поразила. Я давно не видел столько интеллигентных лиц в зале.... Этот театр – духовное явление, он поднимает духовный уровень, во всяком случае, очень большой части населения...

Высоко оценил режиссерский уровень спектаклей ивановского театра Юрий Любимов. Он говорил, что в работе Регины с актерами есть какое-то необъяснимое чудо, и поражался, как ей удается вызывать в них такие естественные, непосредственные эмоции.

Нас в Перми тоже поразили и очаровали эти лица и голоса. Помню, что папа с благоговением смотрел на Светлану Трохинову, потрясающе читавшую стихи Вознесенского.

Ивановцы тогда очень подружились с пермским Народным театром, которым руководил Лев Футлик – и актеры, и режиссеры ощутили большую родственность и близость направлений, в которых шли их творческие поиски. Совпали и первые выбранные ими пьесы, и восприятие многих авторов, так что на взаимно подаренных книгах они, не сговариваясь (!), написали – «Нашим побратимам».

К сожалению, признания высочайшего уровня спектаклей ивановского Театра поэзии, звучавшие в столичной прессе, не помогали Регине в борьбе с некоторыми влиятельными ивановскими чиновниками. То и дело «безыдейные и оторванные от народа» постановки пытались запретить, а режиссера, не вписывающегося в принятые рамки, уволить. При каждой такой попытке актеры дружно заявляли, что уйдут вместе с Региной и театра не будет, эта угроза действовала. Все закончилось, когда сгорел клуб, где располагался театр. Артисты еще иногда выступали на чужих площадках, делали радиоспектакли, но здоровье Регины было непоправимо подточено. Ее не стало в 2005 году.

Актеры каждый год собираются в памятные дни у могилы Регины, а потом в чьем-нибудь доме читают стихи, вспоминают яркую жизнь театра, по-молодому веселятся, радуясь встречам друг с другом. Иногда проводят и вечера в больших залах, где воспроизводят яркие фрагменты спектаклей. Так было и в этом – 2017 году – в год 90-летия Регины Гринберг. Андрей Афанасьев, всегда прилагающий много сил для организации таких сборов, прислал мне волнующую запись вечера, где выступали и молодые актеры, и ветераны.

Эта ивановская традиция кажется мне очень близкой к тому, как преданно бывшие ученики и коллеги моего отца в Перми хранят его память.

\* \* \*

Так шли наши шестидесятые годы. Была еще Таганка с «Антимирами», с «Павшими и живыми», где Юрий Любимов не поддавался давлению верхов и не убрал из спектакля редкий

по тем временам эпизод: на одном конце сцены – гибнущий на фронте молодой поэт Всеволод Багрицкий, на другом – его мать в лагере, ничего не знающая о сыне. А как гневно летели в зал страстные куплеты в «Добром человеке...» Бертольда Брехта: «Стадом бараны идут, / Бьют барабаны, / Кожу на них дают / Сами бараны!»

Была шедшая три вчера подряд трилогия в «Современнике»: «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики». Там утверждался новый взгляд на цену отдельной человеческой жизни. Папа воспринимал все это со страстным интересом, особенно якобы ведущиеся в 1918 году диалоги о французской революции как об уроке истории, требующем серьезного осмысления. Все это рождало смутные надежды на очеловечивание режима.

А потом наступил 1968 год. Родители были тогда в Доме отдыха в подмосковной Рузе. Так совпало, что я захала их навестить в тот самый вечер, когда «голоса» сообщили о вводе советских войск в Чехословакию. Оба они были взволнованы, но папу я никогда в жизни – ни прежде, ни после – не видела в таком состоянии. Он сидел у приемника, согнувшись, горестно обхватив руками голову, и сдавленным голосом говорил: «Боже мой, какой позор! В какой ужасной стране мы живем!»

И началось совсем другое десятилетие.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*В 1968 г. вышла моя книга «Творчество К. Симонова» (Москва), в 1975 г. – «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны» (Пермь), в 1984 г. – учебное пособие «Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940–1980-х гг. (по материалам прозы о Великой Отечественной войне» (Пермь).*

*...До настоящего времени работаю заведующим кафедрой – сначала всеобщей истории, а с 1973 г., после разделения кафедры, – новой и новейшей истории. Под моим руководством защищено 17 кандидатских диссертаций. Имею 73 научные работы общим объемом 135 п. л. Являюсь членом Национального комитета историков*

*СССР, исторической секции Научно-технического совета Минвуза СССР, Научного совета по истории исторической науки.*

*Женат, имею двоих детей.*

*Жена – Фрадкина Сарра Яковлевна, 1917 г. рождения, доцент Пермского университета; дочь Кертман Лина Львовна, 1944 г. рождения, ассистент Пермского института культуры; сын – Кертман Григорий Львович, 1955 г. рождения, младший научный сотрудник Института Международного рабочего движения (Москва).*

*20 ноября 1982 г.*

Так обстояло дело со мной и с братом в том году. В следующие годы и в моей, и в его жизни многое не раз менялось, но это уже совсем другие сюжеты, выходящие за рамки этого повествования.

О главных книгах в этой официальной биографии моего отца ничего не сказано – до их окончания было еще далеко. Медленно вынашивались обе – и о Культуре, и самая сокровенная – о Чемберленах. Многочисленные нагрузки надолго не отпускали, редко удавалось вырывать продолжительное свободное время, ничем другим не занятое. А работа над книгами требовала полного погружения. Не получалось...

Много времени и душевных сил отдавалось аспирантам, с каждым из которых складывались свои неповторимые отношения, окрашенные душевной теплотой. Разумеется, эта сфера во многом осталась скрытой от меня, но некоторые отрывочные папины реплики, особенно касающиеся аспирантов первого поколения, запомнились. Высшей похвалой в устах отца было: «Понимает, о чем речь!» Имелось в виду «быстрое схватывание» внезапно рождающегося в беседе нового поворота мысли, что требовало включения широкого ассоциативного мышления, творческого развития.

В папиной киевской поэме об университете (речь о которой шла выше) есть такие строки:

Всегда получалось – не просто задание  
Давалось Антоном, а вместе с другими  
Он словно продумывал контуры зданья,  
Которое будет воздвигнуто ими.

Другому Антон разъяснял бы детали,  
И мысль уточнял бы снова и снова.  
Любил, чтоб его до конца понимали,  
Но э т а могла понимать с полуслова...

Помню, что почти такими словами папа говорил о Гале Алпатовой, радуясь высокому уровню ее мышления.

«Евгений Викторович (Тарле. – Л. К.) учил, по крайней мере, меня, только таким способом, беседуя на самые разнообразные темы, вызывая на возражения, вскрывая все новые и новые пласты неизвестного...» – думается, неслучайно Павел Рахшмир особо выделил в воспоминаниях моего отца именно этот момент. Всю жизнь папа бережно хранил память о тех старомодно неторопливых беседах, далеко уводящих от узко прагматических задач, когда волнующе оживали люди других эпох и шел горячий и доброжелательный обмен мыслями.

...И кто их не знал, подобных минут,  
Тот многого в жизни не знал хорошего...

*Из поэмы*

Мой отец всегда высоко ценил радость общения с умным собеседником. И он получал большое удовольствие, когда такая радость возникала по ходу работы с аспирантами. Каждый, думаю, может вспомнить на эту тему что-то свое. Многие и написали об этом в вышедшей через три года после смерти отца книге «Мир Личности». Там, в частности, воспроизведен остроумный «адрес», поднесенный в день его семидесятилетия сотрудниками кафедры всеобщей истории, многие из которых были его бывшими или нынешними аспирантами:

«В последние годы появились повести известных авторов И. Грековой «Фазан» и Д. Гранина – «Зубр». Творческий коллектив кафедры, замахнувшийся было на сотворение грандиозной эпопеи под названием «Лев», вскоре обнаружил свою литературную несостоятельность и решил ограничиться сугубо научным трактатом:

<...> Новизна исследования состоит, прежде всего, в опровержении псевдонаучного представления о хищном характере Льва...

– Лев – вегетарианец, т. к. не употребляет в пищу ни студентов, ни аспирантов, ни ассистентов...

– Обилие духовной пищи обуславливает специфический способ существования Льва.

– Лев не ставит своей подписи под научными трудами своих учеников, более того, великодушно дарит им собственные идеи и мысли.

– В среде его обитания особая атмосфера, в которой не приживаются вирусы вздорности, суетности, мелочности, зато царит благожелательность, дружелюбие, взаимопонимание...».

Взаимопонимание, кстати, могло быть связано не только со сферой чистой науки. Помню, как одна папина энергичная аспирантка рассказала, что весь отпуск просидела, не отрываясь от стола, благодаря чему успела очень многое сделать. Она не сомневалась, что научный руководитель похвалит ее за такое «результативное» рвение, а папа, к ее изумлению, спросил, как реагировал на это муж. Услышав ожидаемый ответ – что муж «почему-то» ходит мрачный, он сказал, что так нельзя – подобный отпуск может необратимо испортить отношения.

Рассказывая об аспирантах папы, мне кажется очень важным вспомнить о человеке, слишком рано ушедшем и не успевшем написать воспоминаний.

Не знаю, всех ли своих аспирантов папа обучал «только таким способом», как Евгений Викторович Тарле (может быть, некоторым все же требовалось и более «прагматическое» руководство работой), но с этим человеком было именно и только так.

Лёню Малинского папа по-особому выделял и уважал, высоко оценивал его творческий потенциал, глубокий ум, педагогический талант, широту эрудиции и интересов. Одно время я работала в Институте культуры вместе с ним и помню, как студенты любили лекции Леонида Михайловича. Папе нравилась читательская жадность Лёни, его свободное ориентирование в самых неожиданных областях. Однажды, например, он вдруг пылко заговорил о русском «антинигилистическом» романе XIX века, о своей резкой неприязни к этому направлению, обнаружив при этом доскональное знание сюжетов далеко не всем образованным людям известных романов Писемского, Лескова, Крестовского... Они тогда пылко проспорили весь вечер.

Лёня тоже был родом из Киева, и с этим связаны тонкие нити особого эмоционального взаимопонимания – иногда у них с папой как-то спонтанно получались «вечера воспоминаний». Вообще папе всегда было интересно с этим нестандартным аспирантом, часто вольно или невольно провоцировавшим его на отвлечение от конкретной деловой цели встречи – отчета о продвижении той или иной главы Лёниной кандидатской диссертации. Впрочем, и о своей теме Лёня мог увлеченно рассуждать со все новыми творческими поворотами, слушал его папа всегда с интересом. Оба искренне увлекались и воспаряли, открывая возможные более широкие перспективы исследования, но после ухода Лёни папа часто спохватывался и чуть ли не хватался за голову: «Он же опять ничего не принес! И я опять не спросил, когда он закончит первую главу!» Другие аспиранты искренне ценили Лёню и болели за него, они пробовали убеждать папу быть с ним строже, заставлять что-то конкретное приносить к назначенному сроку – иначе он никогда не закончит и не защитит! Но папа отвечал, что с Лёней так нельзя, да и не получится. Так этот яркий человек и не завершил диссертацию – слишком много интересов у него было, и слишком противоречили его богатой натуре узкие рамки, в которые требовалось на какое-то время вогнать себя. Был в этой судьбе свой трагизм.

Нечего и говорить, что мой отец, при всей широте его интересов и склонности к интеллектуальным воспарениям, считал очень важным воплощение задуманного замысла. Однажды он сказал мне, что, когда еще в подростковом возрасте в первый раз читал «Обрыв» Гончарова, возмущался талантливым Райским, который за многое увлеченно хватался (в живописи, литературе, скульптуре) и ничего не доводил до конца. (Кстати, поразительно, насколько значимым, – но совсем по-разному! – оказался этот роман для мамы, папы и меня.)

У отца много переживаний было связано с частой невозможностью сосредоточиться, так что иногда он приходил к довольно жестким решениям.

*1970-е годы, Кисловодск*

*Пока больше времени провожу в одиночестве и премного этим доволен.*

*Все-таки очень меня выматывает эта система работы, при которой мозги мои как бы под прессом; надо непременно иметь возможность не спеша думать для себя. Вот я и пользуюсь пока возможностью в тишине подумать и даже написал рецензию на Виноградова. А главное – немного приводятся в порядок хаотичные мысли мои по культуре и даже приходят новые. <...> И пришло твердое убеждение, что я с момента приезда резко изменю стиль работы с моими недоносками. Это, конечно, замедлит темп их работы, но этим надо пренебречь.*

Нечего и говорить, что суровой последовательности в выполнении таких жестких решений не наблюдалось. Уверена, что все помнящие моего отца ни на секунду не будут шокированы непарламентским выражением, потому что услышат в нем неповторимую его интонацию, окрашенную неизменно теплым юмором.

И все же потребность «не спеша думать для себя» на свободе была острой. Творческий подход, безусловно, всегда присутствовал в подготовке к лекционным курсам. Как вспоминает П. Ю. Рахшмир, «он не мог читать курс в следующем году так, как читал его в предшествующем, потому что всегда приходил к каким-то свежим идеям. <...> Студенты разных курсов, обмениваясь впечатлениями и конспектами лекций, видели всякий раз нового Кертмана. Преподавательская работа доставляла ему не меньшее интеллектуальное наслаждение, чем работа научно-исследовательская. Возможно, еще и потому, что он не отделял одну от другой».

Но на самом деле далеко не всегда это происходило так гармонично. Иногда эти две сферы интенсивной деятельности приходили в естественное противоречие. На эту тему мне вспоминаются два комических случая.

Увлеченный работой над статьей, папа однажды забыл о назначенной вечерней лекции (может быть, внеочередной или связанной с какой-то переменной в расписании, но договоренность существовала), и когда ему позвонили из деканата с удивленным напоминанием о том, что студенты уже минут 15 ждут, он как-то растерянно, очень искренне (и все же с неизбытым юмором!) ответил: «Я как-то сегодня мыслил в дру-

гом направлении...» Эта фраза потом стала у нас в семье своеобразным паролем.

Другой случай. Возникла запланированная пауза в преподавании (не помню, были это студенческие каникулы или просто окончание его курса), на которую папа давно рассчитывал, чтобы сосредоточиться на большой работе за столом. Но из-за какой-то раздражающей суеты пришлось несколько дней подряд приходить в университет (кажется, дело было в мелком ремонте на кафедре). Это вызвало естественное раздражение, которое папа не стал скрывать, возмущенно отчитав лаборанток: «Да что же это такое? Третий день из-за этой ерунды мотаюсь сюда!». Но дальше... Придя в тот вечер домой, он весело рассказал, как Марина Оболонкова, бывшая тогда лаборанткой, сходу отреагировала (якобы соглашаясь!): «Действительно безобразие! Как на работу!» Папе очень понравилась эта реплика – он всегда бывал рад умному юмору.

Но как поднималось настроение отца, когда хоть на какое-то время получалось желанное «отключение»!

В сентябре 1974 года мама писала мне из Перми в Свердловск: «Папа меня сейчас в письме бесконечно обрадовал чуть ли не детской увлеченностью своими Чемберленами, в каждом из которых, даже скучных, он откапывает изюминки, и восторгом от интереснейшей книги протоколов заседаний кабинета министров за 1937–1940 гг. – тем, как впервые в истории опубликована вся английская кухня...»

Переходя непосредственно к «папиным Чемберленам», я отступаю (хотя и мы с его подачи были увлечены ими) – здесь необходимо предоставить слово профессиональному историку П. Рахшмиру, чтобы разговор шел на достойном Книги уровне.

«Параллельно с подготовкой фундаментального труда по истории культуры Л. Е. Кертман работал над масштабным историко-биографическим исследованием, которое можно по праву назвать «Сагой о Чемберленах». В обращении Л. Е. Кертмана к биографическому жанру была глубинная логика. Английскую историю он рассматривал до того либо в широком историко-культурном плане, либо через проблематику рабочего движения. Биографический подход открывал новую перспективу. Ведь личность – своего рода микрокосм общества. Когда же речь идет о государственных деятелях, то

особенно остро встает извечный методологический вопрос о роли личности в истории.

Заслуживают внимания взгляды Л. Е. Кертмана на специфику биографического жанра, изложенные им в одном из вариантов введения к «Чемберленам», претерпевшим затем некоторую переработку. Это главным образом суждения методологического характера, отражавшие основные принципы исследовательского подхода Л. Е. Кертмана к своеобразному жанру исторического прошлого.

Отец и сыновья Чемберлены интересны, прежде всего, тем, что они были «историческими деятелями, независимо от того, соответствовали ли их способности, интеллект, волевые качества тому положению, которое они занимали в государстве и обществе, или они оказывались на высоком посту волею обстоятельств».

Хотя исторические закономерности и объективны, «но конкретный ход истории... большая или меньшая цена, которую приходится платить народам за экономический и социальный прогресс, все неповторимые зигзаги исторического развития во многом определяются политикой ведущих политических деятелей. <...> Если данный рабочий не примет участия в стачке, стачка не сорвется, как и если данный капиталист не проголосует за свою партию, она не проиграет выборы и не потеряет власть. Если же лидер партии примет ошибочное решение, оно может существенно повлиять на судьбу партии, а при определенных обстоятельствах и всей страны». В исторической реальности тот или иной образ поведения, те или иные решения конкретных политических деятелей оказывались важнейшими факторами, предопределявшими складывание и разрешение различных ситуаций. Поэтому анализа социально-экономических и политических явлений и процессов, пусть даже с учетом роли отдельных личностей, явно недостаточно для исторического познания.

«Только специальное изучение биографии государственного деятеля позволяет понять мотивы его поведения в конкретных ситуациях, поскольку они лежат не в одной лишь сфере непосредственных сиюминутных интересов его класса, или социальной группы, или его личного «я». Эти мотивы нередко кроются в его мировоззрении, в системе ценностей, во взаимо-

отношениях с другими представителями политической элиты. <...> Ни одна сторона личности, жизненного пути, мировосприятия человека, обладающего значительным влиянием на политику государства, не остается нейтральной по отношению к профессиональной биографии».

Политический портрет должен быть многомерным. От работающего в биографическом жанре требуется глубокое проникновение в психологию изучаемого персонажа, доскональное знание его характера. <...> «Нетрудно понять, сколь существенное влияние на характер законодательства, на политические решения, формирование и эволюцию правящей элиты, выбор альтернатив... могут оказать такие черты, как способность прислушиваться к чужому мнению или нетерпимость, широта мышления или догматический конформизм, уважение к накопленному опыту или административный нигилизм, человечность или жестокость.

Но задача историка осложняется тем, что каждое из таких свойств «связано с целым комплексом более глубоко заправятых характеристик личности, сложившихся под влиянием родителей, собственной семьи, друзей и, возможно, своеобразия жизненного пути. Удачлив ли был человек на всех этапах своей карьеры или переживал жестокие падения и разочарования, сразу ли выбрался наверх... или долго ждал своего часа, имел верных друзей или был одинок, счастливо ли сложилась его интимная жизнь или приносила одни огорчения – тут все приходится принимать в расчет».

Для Л. Е. Кертмана биографический жанр был во многом привлекателен и тем, что создавал великолепную возможность совместить в одном лице историка-исследователя и беллетриста. Именно в этой книге наиболее ярко нашли выход литературные дарования автора. Персоналии книги, причём не только главные, предстают живыми людьми со своими характерами, страстями, убеждениями. Конечно, главное – их профессиональная политическая деятельность. Но если замкнуться только на ней, то персонаж так и может остаться «вещью в себе» (П. Рахшмир).

Здесь мне кажется необходимым предоставить слово и моему брату – историку Григорию Кертману:

«Над этой книгой отец работал многие годы, и она была ему очень дорога. Помимо прочего, дорога и тем, что, занимаясь ею, он имел дело с причудливой фактурой живой истории, где все вариативно и вероятно, где есть закономерности, но нет «железобетонных» причинно-следственных связей, где ход судьбоносных событий нередко зависит от мелочей и частных случаев, где страсти и расчеты равно значимы, где логика поведения персонажей может определяться переплетением сословных предрассудков, борьбы амбиций, зигзагов рыночной конъюнктуры и интеллектуальной моды – и мало ли чем еще.

Всматриваться в нюансы, изучать изнанку событий столь близкой ему английской истории отцу было бесконечно интересно, он занимался этим с азартом и радовался локальным открытиям (когда какая-нибудь фраза в письме или воспоминаниях кого-либо из участников событий позволяет лучше понять происшедшее или хотя бы выстроить интересную гипотезу).

<...> Многие годы – чуть ли не с молодости – отец мечтал о большом романе, который он напишет когда-то, на склоне лет. Он писал стихи, а в сороковые-пятидесятые годы – и пьесы, к роману же лишь подступался: у него были наброски, замыслы, у героев даже, кажется, были имена. Причем еще в начале восьмидесятых отец верил, что эта мечта может сбыться. Но к 70-летию он не без горечи смирился с тем, что замысел останется неосуществленным: годы шли, свободного времени не прибавлялось, сил – тоже. Так вот, в работе над «Чемберленами» (повествованием, представляющем собой, помимо прочего, семейную сагу на фоне истории – с обширной портретной галереей исторических персонажей) отец мог в значительной мере реализовать свою потребность в литературном творчестве».

Если Павел Ефимович Рахшмир, безусловно, справедливо увидел в авторской работе над «Чемберленами» редкую возможность совместить талант историка-исследователя и беллетриста, то в этой части статьи моего брата я вижу сочетание подходов профессионально владеющего темой монографии рецензента и мемуариста, глубоко изнутри посвященного в самые личные авторские мотивы.



Мне запомнился один случай, подтверждающий слова о приближении этой книги к жанру семейной саги. Закончив большой отрывок (или главу?), папа вышел из своего кабинета расстроенный, долго молчал и не сразу открыл нам, что писал о смерти жены одного из Чемберленов, и это очень тяжело подействовало на него, долго не мог отойти. Позднее, правда, с неизбывной самоиронией сравнивал себя с Флобером, вспоминая его известное восклицание про Эмму Бовари, и даже... с Ричардсоном, заболевшим после описания смерти героини. Но это не перечеркнуло того острого и серьезного впечатления.

Думаю, что глубокое погружение отца в характеры, судьбы и самые личные переживания Чемберленов (в данном случае – их, но и шире – политических деятелей, от которых многое в судьбах народов зависело) обострило в нем порою очень не стандартное восприятие поведения лидеров нашей страны. В связи с этим мне хочется напомнить один почти всеми забытый эпизод (в забвении этого случая я убедилась, специально опросив очень многих людей!) и рассказать о папиной, ни на чью другую не похожей, реакции на него.

Примерно в середине семидесятых годов (точный год не помню) мрачный голос диктора начал торжественно сообщать о чьей-то смерти, и в долгую первую минуту всем подумалось, что речь идет о Брежневе, так как «дорогой Леонид Ильич» уже тогда находился в достаточно преклонном возрасте и, главное, в видном всем состоянии. Но оказалось, что умерла мать Брежнева (она была всего на 17 лет старше сына). Был траур, были речи партийных соратников, народ же смеялся над навязываемым ему «всенародным горем». Помню шутку нашего друга Бориса Гашева: «Значит, он у нас теперь сирота!» Были анекдоты, ехидные замечания. А папа сказал: хорошо, что политический деятель, сколько бы лет ему ни было, не скрывает свое сыновнее горе (искренность этого горя в самом деле чувствовалась). Это гораздо человечнее, чем то, что было при людоедском сталинском режиме, когда не позволялось упоминать ни о чем и ни о ком, связанном с личной жизнью вождя народов. Такие естественные человеческие проявления обнадеживают, позволяют верить, что режим все же не станет настолько антигуманным, как можно опасаться.

\* \* \*

Я закончила предыдущую главу словами: «Начиналось совсем другое десятилетие». В самом деле, работа папы с аспирантами, над лекционными курсами, над книгами – и все, о чем еще пойдет речь, происходило в годы, вошедшие в историю под названием «застойные». Надо сказать, влияли все мы в застойное время очень постепенно, не сразу осознав степень изменения общественного климата. Впрочем, события 1968 года (танки в Праге) сильно разделили общество. Одни, как мы, с горьким восхищением читали в самиздате стихи Евтушенко. Стихи заканчивались просьбой написать на его могиле: «Русский писатель. Раздавлен / русскими танками в Праге» (о героях, вышедших на площадь, мы узнали гораздо позже). Другие утверждали, что это была необходимая мера.

Но шла и обычная частная жизнь, и так противоречиво все в ней было... Ожидали большого цензурного и всякого зажима, к тому в самом деле шло, такие настроения не были беспочвенной паникой. И на подобном фоне вдруг поразительное событие папиной жизни. В 1969 году выпала неожиданная возможность впервые – единственный раз в жизни! – отправиться в заграничный вояж. Два не выездных человека – «безродный космополит» Лев Ефимович Кертман и побывавший в немецком плену Иван Григорьевич Шапошников, чудом спасенные когда-то Александром Ильичом Букиревым, при первом разговоре о путевках отмахнулись, пожав плечами. Но поездка оказалась реально возможной – и от начала до конца воспринималась как радостная, но и немного тревожная фантастика, как чудо. Нынешнему свободно путешествующему поколению этого, наверное, уже не понять.

Сохранилось несколько почтовых посланий отца.

*7 мая 1969 года, между Одессой и Измаилом*

*...Сидячий поезд с авиационными креслами медленно (почти 8 часов в целом) тянется от Одессы. Иван Григорьевич рядом читает французскую книжку (5 страниц в час), молодежь из пермской группы время от времени чего-то поет, происходит первичная притирка в рамках группы, а в 8 часов с минутами (сейчас 5.30) мы прибудем в Измаил. И я решил выдать первое послание из рейса и последнее – с отечественной территории.*

Нам выданы уже иностранные паспорта, мы заполнили таможенные декларации и, таким образом, уже частично за границей. Но вокруг знакомый украинско-молдавский пейзаж, только что проехали Белгород-Днестровский (мы там отдыхали с большой родственной и дружеской компанией в 1962 году, осталось яркое впечатление. – Л. К.), и вообще все идет, как обычно в поездках, так что трудно еще осмыслить, что рейс все-таки непривычный для меня, и знакомство с «мягким подбрюшьем Европы» вот-вот начнется.

Отдыхать я начал (внутренне) с момента выезда из Москвы. До этого, разумеется, были и хлопоты, и мысли, и настроения. <...> Все-таки стараюсь эгоистически выключиться из всего, что портит отдых.

<...> Трепались, немного выпили, поиграли в шахматы и приехали в Одессу. Там нас поместили в Лондонской (ныне гостиница «Одесса») в двухместном номере с ванной. Но было уже поздно, и по Одессе походили немного. <...> А утром – вскоре оформление и отъезд. Только и успели толком душ принять – а то жарко. Жарко и сейчас – в пути, но пока не мучительно.

<...> А вообще хорошо бы получить пространные телеграммы – не отрываться чтобы.

Вот я и целую тебя в первый раз с отъезда, и привет маме и ребятам.

Твой Лев

Телеграмма – ответ на нашу поздравительную телеграмму ко Дню Победы:

Благодарю поздравление. Покидаем Болгарию. Настроение бодрое. Нежно целую.

Открытки.

Привет всем, родненькие, из чудесной страны Болгарии. Путешествие развивается по графику и, конечно, интересно, хотя и не без недостатков.

Румыния впечатления не произвела, зато Болгария очень и сразу полюбилась.

Сегодня уезжаем дальше. Привет всем друзьям – и на кафедре. Целую всех вас нежно.

Вот и Белград уже немного знаком, дорогие, – город интересный и исторически, и эстетически. А вообще-то знакомство и здесь, и везде – чисто шапочное. Сейчас уезжаем на день в горы, а вечером – курс на Будапешт.

Спасибо за телеграммы, особенно ту, где Линка. Путешествовать все же надо, Саррунька, и по Отечеству, и вне – м. б., это добавит нечто к жизни, круг которой, увы, сужается.

Целую всех из 35-градусного далека.

Телеграмма.

Наконец Дунай поголубел. Идем венгерскими водами. Целую. Лёва.

Открытка.

Самое смешное, дорогие мои, заключается в том, что теперь я все время иностранец, а все иностранцы, оказывается, живут у себя дома. Надо же!

Величественный Будапешт скоро останется позади.

Целую вас, мои заснеженные.

Телеграмма из Чопа.

Наконец дома. Завтра позвоню. Целую всех очень любовно. Лёва

Умилило меня это «наконец»! Ведь всего-то недели две, если не меньше, они путешествовали. При гораздо более длинных поездках внутри страны такого чувства, по-моему, не возникало... Видимо, было какое-то подспудное ощущение необычного приключения – немного авантюрного, немного опасного.

Только сейчас заметила, что из Праги папа не прислал ни телеграммы, ни открытки. Тяжелое и сложное впечатление оставило у него то короткое (кажется, более короткое, чем другие) посещение. А говорил об этом едва ли не больше, чем о других странах. Они столкнулись с нескрываемой враждебностью чехов (ведь всего год прошел с августа 1968-го). О каком-то общении и речи не могло быть, и хотя папа, конечно же, все понимал (не он ли сидел в тот страшный августовский день буквально раздавленный), но его остро огорчила эта враждеб-

ность, даже как-то по-детски обидела: «Ну как они могут так механически соединять простых граждан с преступным правительством – неужели не понимают?!» Ему очень хотелось поговорить с интеллигентными чехами, как со своими. Сейчас думаю: неужели решился бы высказать им свои истинные взгляды?! Папе казалось, что решился бы... Может быть, он рассчитывал дать им понять, что не все в СССР агрессивны и оболванены, на давно привычном ему, как и всем нам, эзоповском языке? Но вряд ли чехи поняли бы этот язык...

А вот разговором с югославскими студентами папа был сильно впечатлен – восхищен их внешней и внутренней свободой. Ребята были раскованно доброжелательны и охотно отвечали на вопросы, рассказали, как проводят каникулы – путешествуют автостопом по разным странам, ездят в другие страны подработать (теперь-то этим никого не удивить, а тогда...). И главное – им даже в голову не приходит, что в этих естественных вещах можно усмотреть что-то нелегитимное и опасаться какого-то наказания. «Вот такой нормальной жизни и хотели чехи!» – горько восклицал он. Тогда это еще воспринималось как возможность «социализма с человеческим лицом»... Впрочем, о жизни в Будапеште, о нормальных горожанах, утром едущих на работу, а вечерами – празднично нарядных, гуляющих в парках и на бульварах, папа сказал (пародийно театральным шепотом, как об открытом им большом секрете): «Да нет никакого капитализма, и социализма тоже нет!»

Каким благодарным, заинтересованным путешественником он был! Как открыт был новым впечатлениям! И так грустно, что нигде больше папа не побывал – ни... ни... ни... но особенно больно, что не был в Англии, которую так любил, о которой столько думал и писал.

К середине семидесятых годов стало окончательно ясно, что от свободы «оттепели» ничего не осталось. Конечно, в шестидесятые был суд над Иосифом Бродским и его ссылка, арест и лагерь Синявского и Даниэля, но были и протестные эмоции в стихах и на театральные сцены. Семидесятые обрушили на нас высылку Солженицына и Бродского, вынужденные отъезды Аксенова, Войновича и Гладиллина, арест

рукописи романа «Жизнь и судьба» Гроссмана, после которой поистине «простерший над Россией совиные крыла» Сулов сказал якобы «пророческие» – слава Богу, не оправдавшиеся! – слова о том, что эта книга не будет опубликована в ближайшие 200 лет.

Душилась свободная мысль, усиливался государственный антисемитизм. И даже в подтекстах более или менее смелых спектаклей в зал посылались иные знаки, чем в шестидесятые годы. Если со сцены «Таганки» в «брехтовском» спектакле звучали темпераментные куплеты, должны «встряхнуть», заставить опомниться и перестать «быть баранами», то в театре на Малой Бронной в спектакле «Лунин» самым ярким эпизодом оказался воображаемый диалог сидящего в застенке в Сибири Лунина и царя. Лунин посылает своей сестре смелые письма, которые она мужественно распространяет, за что ее начинают считать ненормальной (явный намек на диссидентов, которых запирали в психушки). В блестящем исполнении Броневой царь цинично флегматичен и этак скептически интересуется, чего Лунин с сестрой добиваются, почему никак не успокоятся. Лунин пылко отвечает, что хочет разбудить народ, открыть ему глаза и т.д. «Ну и как? – лениво интересуется Николай Первый. – Разбудил?» (Смех в зале.) Не таким уж веселым был этот смех.

И все же мы держались – читали, думали... Многие сильные впечатления тех лет оживают в памяти сейчас, когда перечитываю старые письма.

*8 марта 1971 года, Кисловодск*

*Прочла в № 1-2 «Звезды» за 1971-й «роман в письмах» В. Каверина «Перед зеркалом». Обеспечу это дома и тебе. Вначале мне это показалось немного стилизаторством, странным для Каверина, потом захватило силой чувства, связавшего двух самобытных людей, прошедших почти всю жизнь в разлуке, любовью, ставшей больше творчества (но и творчеством тоже). И вдруг в конце выяснилось, что это – человеческие документы. Каверин ищет сейчас не капитанов и не 10-ю главу (имеется в виду 10-я глава «Онегина», отрывки которой находит, точнее, расшифровывает, герой романа Каверина «Исполнение желаний». – Л. К.), а человеческие сердца. Мне захотелось, чтобы ты прочел это, зная Каверина, и подтвердил (или нет) мое чувство, что многое здесь по-особому близко ему.*

*А мне, сегодняшней, по-особому близка мысль о неразрывности любви и работы (не совсем по Смелякову), о том, как много настоящие любящие могут дать друг другу и как они обкрадывают себя, когда не дают, когда мало общаются сердцем и умом...*

Тут многое необходимо объяснить. Папа познакомился с Кавериным в Кисловодске в пятидесятые годы. У них было много интересных бесед: и о брате Каверина – ученом, с историей которого связана трилогия «Открытая книга», и о молодости писателя, и о «Серапионовых братьях». Достаточно откровенно поговорили они о тридцатых годах и пострадавших близких. Было и совсем забавное – личное, связанное со мной, тринадцатилетней девицей. Я в ту пору вступила в лирическую переписку с призванным в армию девятнадцатилетним украинским парубком, с которым познакомилась на украинской даче. Зная мою способность сильно привязываться к людям и мои «преувеличенные» представления о верности, папа заволновался и, как написал маме, «советовался по этому поводу с инженером душ, и тот сказал – не соваться!»

А роман «Перед зеркалом» я хорошо помню – очень взволновал он тогда. Я еще смотрела литературную композицию по нему (режиссер Еланская), где эзоповским языком очень выразительно сказано было о причинах пожизненной разлуки любящих людей. Художница Лиза эмигрировала – стихийно, «унесло потоком» – и советуется с оставшимся в советской России другом, талантливым физиком Владимиром, о возможности возвращения, пытается выяснить степень несвободы в новой стране. В первой половине двадцатых годов он отвечает относительно оптимистично: мол, нет оснований для страхов, живопись и поэзия расцветают, выходит много журналов самых разных направлений. Потом проходит какое-то время – недолгое, и она спрашивает, почему закрыли такой-то и такой-то журнал, что случилось. Он стоит в другом конце сцены спиной к залу и молчит. Она «пишет» снова: «Я спрашивала Вас в том письме – может быть, оно не дошло до Вас? – Ну, что же Вы молчите, Володя?!» Я подробно рассказывала родителям об этом спектакле.

В том же марте 1971 года, когда мама писала свое полное впечатление от романа Каверина письмо из Кисловодска, у нее была там очень значимая и волнующая встреча с Ольгой Берг-

гольц – через 10 лет после папиной встречи, о которой он так сильно написал («сквозь нее «история орет»). Об этой встрече мама подробно «отчиталась» именно мне.

«...С Ольгой Берггольц первый разговор у меня был довольно беглый и, как мне показалось, натянутый. Она отвечала на мои вопросы (мама писала тогда большую книгу «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны», которая вышла в Перми в 1975 году. – Л. К.). Второй том «Дневных звезд» – о 1937–1939 гг. в ее жизни – который был не закончен тогда, когда Твардовский торопил ее, сейчас уже не напечатают; Твардовский при смерти – к раку еще инсульт прибавился; Костя Симонов был у нее здесь пару дней назад перед своим отъездом; Панова не оправилась после тяжелого инсульта и уже ничего не пишет. <...>

Она предложила зайти к ней еще раз, и я сказала, что зайду, а сама сомневалась. Мне казалось, что я была ей немножко в тягость, не нашла нужного тона, и тактичнее будет не показаться. А получив сегодня перед обедом твое письмо, вдруг оделась и отправилась к ней (в подсознании здесь сработало два обстоятельства: 1) тебе интересно; 2) не надо быть инертной). Получилось очень хорошо. Я провела у нее минут 40–50; потом пришли какие-то знакомые-почитательницы, и она по-хорошему не стала меня удерживать, когда я поднялась, и очень искренне сказала: «Как хорошо, что вы пришли, а то я уже уезжаю – за 5 дней до положенного» (ее забирают в г. Орджоникидзе, где она не была 30 лет и где было очень многое, в том числе и первая любовь).

А когда пришедшие защebetали, что они ненадолго и, может, не стоит мне уходить, она сказала, что такие разговоры, как был у нас, не могут быть очень долгими – они дорого обходятся – и попросила мой адрес. А говорила она много, откровенно (у нее удивительно обнажены нервы), с болью о предвоенных своих годах, о рассыпанных наборах книг, о Ленинграде военных лет...

Интересно, когда ее в 37-м исключили из партии, райком послал («надо же кушать») преподавательницей литературы в 6–7-е классы. Она не сразу нашла общий язык с учениками, но нашла уже всерьез и надолго. И в начале июня 41-го года перед их выпуском пришла к ним и читала свои стихи:



Я утверждала: не только каждый человек (все мы) многое «должен миру и людям», но и наоборот, на этом мир держится, по-другому было бы невозможно. Мне даже казалось ханжеством утверждать обратное... Это так и осталось одним из не многих наших «мировоззренческих расхождений». Но гораздо больше предпочтений и отталкиваний – и в литературе, и в жизни – я унаследовала от отца. Он часто обращал внимание на «не главные» эпизоды романов. Например, в «Звездном билете» В. Аксенова, который был тогда у всех на слуху, выделил мало кем замеченный момент, очень нас развеселивший: Алик собирается стать писателем, всюду таскает за собой пишущую машинку и на каждом шагу цитирует Хэма и Ремарка, но, повзрослев за описанное в романе лето, вдруг покаянно восклицает: «Ребята! А ведь «Анну Каренину» я не читал!» Это тоже стало у нас своеобразным паролем – папа вполне мог сказать о ком-нибудь из студентов или новых знакомых: «Да он «Анну Каренину» не читал!» (Так Твардовский говорил про молодых писателей, не читавших «Капитанскую дочку», что бывало сразу видно по их текстам.)

Особый сюжет – любимые героини моего отца. «Хождение по мукам» А. Толстого отнюдь не было его любимым произведением, но, вопреки неприятию многого там, героини с такими милыми домашними именами – Катя и Даша – оказались неожиданно близки его идеалу «вечной женственности». В основном, разумеется, это относится к первой, дореволюционной, части трилогии «Сестры», пока героини живут в мире общечеловеческих ценностей и до того, как они (впрочем, как и их любимые мужчины) ни с того ни с сего полюбили советскую власть.

Насчет истинного отношения автора к большевикам у папы было одно давнее «подозрение». С юмором вспоминая реплику белогвардейца, предсказавшего скорую измену Рощина: «Рощин – большевик и дерьмо!» (эта фраза почему-то ужасно смешила нас), он уверенно восклицал: «Проговорился граф!» Каковы бы ни были моральные качества «красного графа», как известно, «талант не спрячешь!» И как любовался отец этими несовременными женщинами, когда они расслабленно, никуда не спеша, «чистили перышки». Сами эти слова умиляли его, и он часто произносил их, говоря о женщинах, которые долго

готовятся к какому-нибудь парадному выходу. Если папа говорил о сходстве знакомых женщин с героинями «Хождения по мукам», это было в его устах комплиментом. Помню, как любовался он Катериной Ивановной Соколовой (будущей тещей моего брата Геры) и ее сестрой Викторией, мягко женственными, обаятельно хрупкими. Было в них что-то напоминающее о начале века, о Кате и Даше. И все они были так молоды летом конца 1950-х на украинской даче!

В «Хождении по мукам» есть несколько по-особому растрогавших отца эпизодов. Один из них, когда Катя, по настоянию младшей сестры, не терпящей лицемерия, признается мужу в измене. Ей трудно решиться на признание, но она делает его честно, прямо, и в то же время, мягко, виновато, искренне огорчаясь, что причиняет мужу боль. Это умиляло и вызывало сочувствие.

И – по контрасту! – резко не любил папа Анну Каренину. Не за саму измену, не за любовь к другому, но за высокомерие, за то, что ощущала себя вправе не считаться со страданиями ни в чем не виноватого перед ней мужа. По тем же причинам еще больше не любил он Ирэн в «Саге о Форсайтах». Настолько, что не мог понять симпатичного ему автора, так настойчиво стремящегося воплотить в этой героине свой идеал. Удивлялся, как может он не видеть запредельного эгоизма и даже «элементарного хамства» своей любимой героини, проявляющегося во многих эпизодах, особенно когда она – счастливая, поглощенная не изведанными прежде чувствами, с ощущением полета в душе – возвращается с любовного свидания и на вопрос мужа: «Где была?» – бросает ему в лицо: «В раю – не у вас в доме!» Папа не раз говорил о безобразном звучании этих слов (особенно потому, что Ирэн говорит это, возвращаясь в дом мужа, не виноватого в том, что она его не любит). И никакая ослепительная красота не компенсировала в его глазах такое. Тут мы с ним полностью совпадали.

Надолго стали нашим паролем слова «убить пересмешника». Когда один наш знакомый неожиданно оставил молодую жену, очень любящую его и всегда как-то беззащитно-восторженно на него глядящую, папа был буквально потрясен. И я снова услышала: «Это все равно что убить пересмешника!». Папа не понимал, как мог не остановить того человека ее взгляд –

такой незащищенный... Тогда в нем вдруг оживило одно страшное воспоминание, о котором никогда прежде не рассказывал. В море в шторм утонула маленькая девочка (незнакомая). Это случилось чуть ли не на его глазах. Он и другие мужчины бросились спасать, ныряли, захлебывались, но найти и вытащить не смогли. Один из них чуть не погиб: рассказал, что в какой-то момент видел девочку, но не сумел ухватить – выскользнула из рук, он нырял снова и снова, и когда еле вышел на берег, потерял сознание. Папа говорил, что долго не мог смотреть на море – ненавидел, и теперь (при всей несопоставимости) его начинает тошнить от жизни, где есть такие предательства.

Но продолжу о любимых героинях. Восхищаясь теми, кто обладал «аурой вечной женственности», более глубокую общечеловеческую симпатию (тоже, впрочем, не отделимую от мужской) папа испытывал к героиням, которых ценил за другое, гораздо более важное в его системе ценностей: за благородство, понимание, умение сочувствовать, умение дружить с мужчиной. Просто дружить, вне любви. Но и «внутри любви» тоже. Об этом однажды очень хорошо сказала моя подруга Надежда Гашева в своей прекрасной песне, которую спела в нашей «знаменитой» квартире на Компресе. Как строго-загораживающе она пела! И с каким восхищением папа слушал!

Прошло очень много лет. Сейчас я помню из этой песни всего две строки (те самые, что вызвали папин одобрительный вздох): «Мы были друзьями / За несколько слов до любви...»

Были друзьями, способными многое понять в мужской душе и жизни, даже то, что традиционно считается психологически недоступным для женщин... В русской классической литературе, как ни странно, таких героинь не находилось. Мы однажды тест устроили: кто кого назовет. Не получилось! Очень уж русские героини строги и требовательны к своим избранникам, нетерпимы к слабостям человеческим! Помню, я пыталась спорить и назвала Наташу Ростову, которую в строгости упрекнуть трудно, но отец отмахнулся – что-то в ней почти безотчетно раздражало его. «Да и с юмором у них плоховато! – продолжал он «обличать». – Ты только посмотри: ни одной героини с живым чувством юмора в русской классике! Нет в ней таких, как Динни Черрел, как Патриция Хольман».

Патриция Хольман из «Трех товарищей» Ремарка... Сколько в ней мудрой терпимости и милого юмора! А как сумела она почувствовать и оценить мужскую дружбу, как чутко старалась ничего в ней не испортить! Наша любимая сцена: «Кестер и Ленц, не оглянувшись, сразу же помчались дальше. Я посмотрел им вслед. На минуту мне это показалось странным. Они уехали, – мои товарищи уехали, а я остался. <...> Она смотрела на меня, словно о чем-то догадываясь. – Поезжай с ними, – сказала она <...> – Не хочу, чтобы ты из-за меня от чего-нибудь отказывался. – О чем ты говоришь? От чего я отказываюсь? – От своих товарищей...»

«Мой добрый старый дружище...» – говорит Роберт своей Пат в их самую тяжелую и самую нежную минуту... Только такую – как сама она говорит о себе, «не совершенную» женщину, так глубоко понявшую, что значили для него товарищи, смог он (надорванный, душевно опустошенный и мало во что верящий после такой войны) полюбить так, как никогда не любил бы «законченную и совершенную», самим этим «совершенством» неизбежно чуждую ему...

Так и у Голсуорси. Уилфрид Дезерт – прошедший ту же войну летчик (но еще и поэт) – сумел полюбить поразительную девушку Динни, как не смог бы никого другого. Папа не ошибся, дав мне в 15 лет эту книгу и сказав, что Динни, как ему кажется, должна мне очень понравиться. И история ее любви – тоже. Это осталось со мной на всю жизнь.

А в папином отношении к этой героине – в том, как он восхищался и любовался ею, ее юмором и душевной тонкостью – было что-то трогательно похожее на отношение к ней в самом романе мудрых старших родственников, братьев ее отца, которым Динни очень доверяет и с которыми говорит откровенно. Похожие отношения и разговоры бывали и в жизни моего папы – с детьми родных и друзей, говоривших с ним более раскованно, чем со своими родителями...

Патриция Хольман, Динни Черрел, Мэри Глостер – редкие женщины, которых, вопреки давнему морскому обычаю, можно взять с собой на корабль. Роберт и его друзья в «Трех товарищах» поняли и оценили это – и были «на одной палубе» с Пат до самого конца. Герой «Мэри Глостер» тоже понимал. А Уилфрид Дезерт не понял. Как раздражающе слеп и погло-

щен своими переживаниями человек, так и не увидевший самого главного в любящей женщине! Эта слепота возмущала кузена Динни Майкла Монту – самого любимого папиного героя не только в «Саге о Форсайтах», но едва ли не во всей мировой литературе.

Чуть позже я расскажу, какую парадоксальную роль в моей судьбе сыграла эта любовь к Майклу Монту, сначала унаследованная от отца, а потом горячо мною присвоенная. Так горячо, что, когда я выходила замуж за своего первого мужа, друзья написали большую поэму о нашей истории, где была такая строфа: «Был октябрь, а быть может, май, / Далеко был братишка Гриша, / По-английски подумала – «Майкл!», / И по-русски промолвила – «Миша...»

...К Майклу у папы было особенно сокровенное отношение. Этот герой, с его живым обаянием и очень близким папе чувством юмора, оставался для него в чем-то недостижимым идеалом. Восхищала редкая чуткость Майкла, терпимость даже к причинившим ему страдания людям, способность сочувственно понять их переживания. «Птица подстрелена из обоих стволов и все-таки живет; так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, причинит ей еще боль? Ничего не оставалось, как поднять ее и по мере сил починить ей крылья...» – так думает и чувствует Майкл, узнав об измене любимой жены и о том, что она до их встречи и всю жизнь потом любила другого и страдала от вынужденной разлуки с ним. Фронтные воспоминания (как большинство молодых героев литературы тех – после 1918 года – лет, Майкл прошел войну), придав горькой ироничности его уму, не ожесточили его душу.

Верность фронтовой дружбе. Эта тема по-особому волновала отца. И потому очень дорог был ему один эпизод из «Трех товарищей». Роберт уже знает, что Пат смертельно больна. Санаторный врач растерян, не зная, как справиться с сильным горловым кровотечением, лечащий врач Пат далеко, до него не удастся дозвониться... «И вдруг я сообразил, как поступить. Я снял трубку и назвал номер Кестера. Его-то уж я застану на месте. Иначе быть не может. И вот из хаоса ночи выплыл спокойный голос Кестера. Я сразу же успокоился и рассказал ему все. Я чувствовал, что он слушает и записывает. – Хорошо, –

сказал он, – сейчас же еду искать его. Позвоню. Не беспокойся. Найду. Вот все и кончилось. Весь мир успокоился. Кошмар прошел. <...> Я уже не был один. Теперь где-то там, на юге, за горизонтом, ревел мотор. За туманом по бледно-серым дорогам летела помощь. <...> Две руки сжимали рулевое колесо, два глаза холодным уверенным взглядом сверлили темноту: глаза моего друга».

Но надо мне остановиться. Я вдруг остро ощутила одну опасность: для объективности картины необходимо вспомнить, что далеко не всегда нравилась папе та крайняя степень погружения в мир книг, при которой возникает угроза побега от реальной жизни, чем я грешила. Запомнился один случай. Это было летом в Прибалтике, мы с большой компанией друзей родителей и их детей ехали в экскурсионном автобусе и бурно спорили о какой-то книге, пока не раздался папин возмущенный призыв смотреть по сторонам, «а то любые места делают просто не замечаемым фоном, на котором люди читают и говорят о книгах!» В самом деле, мы ехали по очень красивым местам.

Сам папа, как и герои Ремарка, всегда был готов прийти на помощь: поговорить с чьим-то сыном – трудным подростком (такие подростки, в определенном возрасте утрачивающие доверие к взрослым, для папы всегда делали исключение); поддержать брата перед опасной операцией; порадовать любимую тетю в ее юбилейный день – так однажды он сюрпризом прилетел из Молотова в Киев. Сколько радости было!

А вот к нему не всегда приходили так (в метафорическом смысле слова). Мне запомнилось одно горькое разочарование отца. Это было осенью в Москве. Он очень ждал телеграммы или письма из далекого города – от друзей, с которыми незадолго до этого, съехавшись семьями, провели вместе чудесное лето. Был у них тогда некий взлет молодого романтизма, и казалась несомненной возможность обратиться друг к другу за помощью в трудных обстоятельствах, о чем много и возвышенно говорилось. И вскоре такая необходимость возникла. Папа отправил телеграмму с важной просьбой, каждый день ходил на Центральный телеграф, и вот долгожданная телеграмма пришла... Если отбросить все оговорки, это был отказ. Отец был



ошеломлен. Сам он столько раз в жизни бросался на помощь гораздо более далеким людям, что не был готов к подобному. Он был так сильно травмирован, что даже как-то стеснялся остроты переживания. Мы долго ходили тогда вверх и вниз по многолюдной Тверской, почему-то не догадываясь свернуть в тихий переулок, и папа с горькой иронией говорил, что в его возрасте (ему было тогда 50 лет) уже «не полагается» так реагировать – разочаровываться в друзьях, пора, наконец, становиться «совсем взрослым». Я точно помню, что он сказал именно так.

Представляю, как удивят эти слова многих людей, помнящих моего отца – в то самое время, о котором пишу! – взрослым и мудрым, именно умудренным немалым жизненным опытом, уверенным, способным дать глубокий тонкий совет. Его неформальные, очень конкретные советы многим помогали. Все это тоже правда. Но не вся. Мало кто знал другую сторону его внутренней жизни. На самом деле этот мотив – что значит быть «совсем взрослым» – не раз звучал в его письмах мне и разговорах.

Та памятная беседа в долгой прогулке с папой по Тверской состоялась не в лучшую минуту моей жизни. Меня преследовали разные невезения, и в них, если вдуматься, тоже был знак времени. Особенно ясно это стало годы спустя. («А прошлое – ясней, ясней, ясней...») За несколько лет до того я успешно защитила диплом, работа была выдвинута на всесоюзный конкурс, заняла там первое место, получила золотую медаль.

Был в этих событиях один важный и неожиданный поворот. В разные годы комиссии конкурса заседали в разных городах, и оказалось, что в том году (едва ли не в первый раз за все время!) – в киевском университете, где еще работали те самые люди, что клеймили моих родителей на разгромных собраниях 1949 года! И вот именно там принято было решение о присуждении мне первого места и награды! Скорее всего, этого бы не случилось, если бы дипломы не шли под девизами. Фамилии авторов стали известны только после принятия решения, когда члены комиссии – при всем их желании! – уже не могли ничего изменить. Как веселились мы с родителями, представляя реакцию этих людей, неожиданно увидевших давно знакомую фамилию! «Пусть знают, что вы и сами не пропали, и даже не самых дурных детей вырастили!» – ликовала я.

Однако потом все пошло далеко не так празднично. Хватило нам с родителями волнений с не быстрым и не легким моим поступлением в аспирантуру. Мне очень хотелось поступить в Москву, к хорошему филологу и чудесному человеку Н. Фридману, и он хотел взять меня. Но нам было открытым текстом сказано, что поступление невозможно из-за неподходящей фамилии. Только через три года после первой попытки я поступила в аспирантуру в Свердловске и написала работу о Голсуорси, но дальше... С моей кандидатской диссертацией приключилась, в сущности, трагикомическая история. (Так все это видится мне теперь, за давностью лет, тогда же никакого комизма мы «почему-то» не замечали.) Дело в том, что меня сильно подвела та самая, унаследованная от отца, любовь к Майклу Монту. В значительной степени ему были посвящены и моя дипломная работа, и диссертация, где «Сага...» рассматривалась на фоне всей английской литературы XIX и начала XX веков. Я стремилась доказать, что в Майкле воплощен высокий нравственный идеал Голсуорси и что героя такого уровня (в интеллектуальном и эмоциональном плане, в высоте гуманистической позиции) не было во всей предшествовавшей «Саге» английской литературе.

В результате в Ленинграде работу не приняли к защите (в уральских вузах в те годы не было Ученых советов по зарубежной литературе), меня обвинили в «абстрактном гуманизме» и «отсутствии классового подхода» к «социально незрелому» автору и его героям. Впрочем, мне было предложено «переработать» диссертацию – так в обтекаемой форме обозначался совет, по сути, «сменить плюсы на минусы».

Суть данного мне в итоге обсуждения совета: «подумать о социальной ограниченности Джона Голсуорси, приведшей к неудаче образов Майкла Монта и Динни Черрел». Но я не захотела отрешаться от личных симпатий: «Не буду я предавать Майкла!» В тот момент отец не сознался, что в глубине души эта позиция была ему симпатична. Он сказал это много лет спустя, а тогда вновь заговорил о моей «затянувшейся незрелости». Папу очень огорчала моя «относительная неустроенность»... «Совсем взрослой» я так и не стала. Впрочем, на самом деле папа этого и не хотел.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Что может спасти человека при самых тяжелых бедах и разочарованиях? Папа ответил на это себе и своим ровесникам еще в далекой молодости стихами.

Все, что будет нужно,  
В нас навеки втерто:  
Крепкий запах дружбы,  
Соль большой земли,  
Ярких глаз сиянье,  
Остальное – к черту!  
Пусть горят в тумане  
Наши корабли!

«Крепкий запах дружбы...» Это оставалось с родителями до конца. Более того, в трудные годы испытаний в них (во всяком случае, в маме) происходила глубокая переоценка ценностей, при которой эти важные жизненные связи не только не обрывались, как часто случается с уходом молодости, но возвращались, укрепляясь и занимая все большее место. Неслучайно в 1972 году мама писала папе: «И не раздражайся, милый, тем, что в жизни Линки такое место занимает человеческое общение (иногда и не без потерь – в дурацких формах). Это такая огромная ценность, которой «с годами дорожить вдвойне» надо».

Долго продолжалось в их жизни коржавинское «Ведь каждый из нас современник / Всего, что бывает с другим!» Особенно с Броней Райзман, самой близкой после Раи Кун подругой обоих родителей.

Многие интеллигенты-гуманитарии в 1970-е теряли работу. Броня, когда-то так поразившая маму своей эрудицией и блестящими способностями, билась из последних сил. О своей непростой жизни она подробно писала друзьям, которые переживали за нее, моим родителям.

*Начало 1970-х годов, Рига*

...Единственное радостное событие за это время связано у меня с Адой Давиденко, ныне писательницей-фантасткой Ариадной Громовой. В конце декабря Лёва (Лев Ладыженский, муж Брони. –

Л. К.) был в Москве и зашел к ней с моей запиской. Она прислала мне для перевода с польского один рассказ, который должен войти в сборник научной фантастики, выходящий в этом году под ее редакцией. Я сделала перевод, она осталась им довольна, но сейчас у нее, к сожалению, нет больше ничего для меня. Она пишет, что будет стараться что-нибудь придумать или, во всяком случае, будет помнить обо мне при любой okazji. За это же время я сделала еще один рассказ для местной молодежной газеты, которая помирала от желания получить своего Лема. Рассказ подобрали мы с Лёвой с большим трудом – все из Лема переводится сходу. Сделан был перевод и доставлен в редакцию к сроку – 4-го января. И в тот же день пришел № 12 «Знания и силы» с этим же рассказом в авторизованном (м. б. поэтому худшем, чем мой) переводе. 17 страниц на машинке текста – работа в основном ночью (т.к. Сашка болел) вместе с Лёвой. И пропало, т.к. им, конечно, надо рассказ, нигде не публиковавшийся. Потом я проделала каторжную работу по составлению картотеки на все из Лема и вообще польской фантастики переведенное и занялась поисками рассказов, не опубликованных еще. Сейчас закончила перевод одного плохого очень рассказа, вряд ли он подойдет им, и принялась тут же за второй – почти такой же, первый отпечатаю и завтра им попробую предложить. Есть хорошая сатирико-фантастико-детективная пьеса Лема, но большая, и жанр их не устраивает. Но, в общем, работа эта довольно интересная, и, надеюсь, в конце концов что-нибудь «пробить» удастся. Я хочу попробовать какой-нибудь сатирический или юмористический рассказ из польских журналов, но пока они помешались на фантастике.

*Дорогая Саррочка!*

Большое спасибо за письма, большое спасибо за книги. «Оляпкой» я осчастливила нашего большого друга, которому многим обязана. Твою книгу начала читать, предварительно подробно ее пролистав (даже на стр. 48 заметила опечатку – Элюра вместо Элюара).

По первому впечатлению – меня немного пришибает огромное количество критического и собственно литературного материала, которое ты используешь. Даже из этого литературного материала я многого не читала, а что уж говорить о критических и литературоведческих работах...

*«...» Сашка более или менее прилично окончил 8-й класс. По сочинению (экзаменационному) получил тройку. «...» На тему «Их имена и подвиги бессмертны» написал сочинение о Кнуте Хаугланде. Ты не знаешь, кто это такой? Как я выяснила путем опроса знакомых – никто не знает. Хоть личность действительно замечательная. Это один из руководителей небольшой группы норвежцев, которые в 1943 году взорвали охраняемый немцами, как зеницу ока, завод тяжелой воды в Норвегии. Потом Хаугланд был спутником Хейердала на «Кон-Тики». Балл Сашке снизили за то, что сочинение посчитали «не на тему»...*

*«...» Кончаю. Надо кормить Сашку ужином и приниматься за стирку.*

*Сашка и мама передают тебе и всем вам привет, а я целую тебя и твоих. Очень, обратно же, хотела бы всех вас увидеть.*

*Броня*

*А перед сном я еще буду читать очень хорошую и забавную книжку – Цицерон – О старости. О дружбе. Об обязанностях. Отнюдь не устаревшая книга.*

В самых трудных обстоятельствах думающие люди продолжали «говорить и спорить». Любопытный штрих времени – восприятие Броней и ее друзьями «Зеркала» Тарковского:

*«...И отправилась вечером не спать, как следовало бы, а на «Зеркало» Тарковского, которое, наконец, пошло в Риге. Думаю, вы видели фильм. Меня здесь все клюют за него – Оксана и прочие друзья, смотревшие уже по второму и третьему разу. Мне он понравился не меньше, чем им, но... у меня есть эти самые «но», а у них – нет. Я применила к ним пастернаковскую формулу – «сложное понятней им» – и считаю, что этот путь в дальнейшем может завести в тупик. И никакие «потoki сознания» этого не могут оправдать. При всем его великолепии у меня фильм не оставил впечатления завершенности, законченности – не сюжетной, разумеется, а той, которая должна быть в произведении искусства. Допускаю, что я консерватор, м.б., уже и от возраста. Но ничего с этим поделать не могу. Собираюсь, правда, посмотреть еще раз. За последние годы я была в кино раз пять, так что могу и увеличить счет».*

Но вскоре в жизнь Брони вошли такие тяжелые испытания, что ей надолго стало не до фильмов.

Ее семейная жизнь оказалась неудачной и мучительной. Муж требовал безграничного терпения: не скрывая, что любит другую женщину, хотел сохранить видимость семьи. Отчуждение нарастало. В конце концов, Броня решила на развод, и он был почти оформлен (осталось поставить какую-то последнюю печать), когда к ним пришли с обыском и с ордером на арест Брониного мужа (на самом деле уже бывшего!). Льву Ладыженскому предъявили обвинение в хранении и распространении запрещенной литературы. Во время обыска в ящике стола было обнаружено постановление о разводе, и последовал вопрос об этом. Если бы Броня подтвердила, что они разведены, Лев был бы лишен права на свидания и надолго (ему дали пять лет) остался бы без всякой помощи в безвоздушном пространстве, а он был не слишком здоровым человеком. Другая женщина ездить к нему на свидания не могла, у нее не было никаких юридических прав.

Оба, и Броня и Лев, мгновенно сообразили все это и – не стовариваясь! – почти «хором» сказали: «Нет, нет! Был момент, когда мы поссорились, но потом раздумали и помирились».

Когда Льва уводили, один из «сопровождающих» вдруг обернулся и сказал Броне: «Ну вот, теперь ваш муж убедится, как много клеветы в книгах, которые он читает. Увидит, что эти места вовсе не так страшны».

Броня не раз ездила к мужу в лагерь, возила еду и лекарства, привозила на свидания его старую больную мать, которая не могла бы ехать одна. Перечитывая сегодня Бронины письма того периода, я ясно вижу, насколько они «конспиративны» – тогда нам все было понятно, а сейчас многие вообще могли бы не понять, что это были за поездки...

Письма датированы 1972–1975 годами (через три года Лёву активировали по болезни).

*«Теперь о поездке. Письмо, которое должно все окончательно прояснить, еще не пришло, м.б., будет сегодня или завтра. Пока думаю выехать из Риги 2 или 3 февраля, 4 февраля из Москвы, соликамским, к которому в Чусовом подходят такси, и, если все пойдет хорошо, 9-го вечером каким-нибудь московским из Чусового. Сложность*

в том еще, что из Чусового практически нельзя ни позвонить, ни дать телеграмму. (Имеется в виду телеграмма моим родителям в Пермь, чтобы как-то согласовать возможность встречи. – Л. К.). На вокзале там почта и телеграф работают до 5 вечера, а потом – ближайшее почтовое отделение – на другом конце города. А транспорт там – не дай Бог, я в прошлый раз ходила уже туда, потратив в теплую сентябрьскую погоду более трех часов на это. Попытаюсь и на этот раз, м. б, что-нибудь получится. В Москву, если выедем 9-го из Чусового, приеду 11-го утром и буду там максимум до 14-го вечера. О том, как мне хочется вас повидать, – писать не надо. Если Ф. Л. (Фаня Львовна, мать ее мужа. – Л. К.) будет хоть в сколько-нибудь приличном состоянии – я сойду в Перми на один день до вечернего московского поезда – есть такие? А ее в Москве встретят. О том, чтобы она согласилась задержаться, говорить, как я понимаю, нельзя, но все же попробую. Вдруг так или иначе что-нибудь выйдет?»

Открытка.

*Дорогие друзья!*

*Горячо поздравляем вас с Новым годом!*

Желаем здоровья и, как водится, счастья. По трезвому размышлению я пришла к выводу, что у вас от «сей несбыточной мечты» все же кое-что, слава Богу, есть, и, как помотришь вокруг, совсем немало. Думаю, что не надо при этом определять само понятие «счастья»? У вас многое от главного в нем, и я от души желаю вам сохранить это.

Возможно, через месяц или чуть больше буду в ваших краях. Если буду знать к этому времени, где вы (каникулы), сделаю попытку на день застрять у вас или повидать в Москве. Дайте координаты. Целую крепко.

*Ваша Броня.*

29 декабря 1975 года

*Саррочка, дорогая!*

Мы попали в Чусовой настолько поздно, что ни возможности позвонить, ни дать телеграмму тебе уже не было – даже центральный

их телеграф работает до 8 вечера, а мы приехали в половине десятого – местного. А в 23 ч. 26 мин. московского нижнетагильским уехали. Мне было ужасно жаль, но сделать ничего нельзя было. Поездка наша прошла хорошо, хотя все решительно шло гораздо труднее, чем всегда раньше – м. б. потому, что в последний раз. Устала я зверски, т.к. основная часть трудностей была, так сказать, транспортного характера – поезда опаздывали, такси не было, автобус не хотел везти к вокзалу и т.д. Слава богу, все уже позади. Живем надеждой, что через два месяца все уже действительно будет позади.

<...> Как-то и когда мы сможем теперь видеться? Я опять становлюсь человеком оседлым. Одна надежда – что вы все же как-нибудь в Ригу завернете.

<...> Если вы знаете новую пластинку Окуджавы, которую мне здесь подарил один наш друг (он попал на продажу и купил на все имевшиеся у него деньги девять штук для подарков), то в смысле строки из его старинной студенческой песни – «возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

Ну, в общем, тебе ясно – напиши.

<...> Ох, как мне хочется повидать всех вас – и Линку с мужем, и Геру с женой! Написала – а перед глазами – Линка, которую уведят спать, и ты с Геркой на руках – почему-то в коридорчике вашей квартиры в общежитии, а в комнате слева за столом – подготовка к преферансу... <...>

А тут вдруг – муж, жена. Не совсем постижимо. <...> Для них – Линки и Герки – время двигалось медленно, они выросли и очеловечивались. А мы – просто жили и старели, и время пролетало. <...>

Пора кончать – как всегда, очень поздно, и усталость уже просто валит.

Целую всех вас.

Один раз мама ночью ходила к поезду, полчаса стоявшему на Перми Второй, повидались с Броней (папы тогда не было в городе). Мама была под тяжелым впечатлением от этой встречи: она очень любила Броню и считала, что Лёва не заслуживает такой самоотверженности.

И вот Лёва освободился... Мама надеялась (ради Брони), что после всего пережитого ситуация изменится, и они будут «доживать» (мамино слово) вместе. Оказалось не так.

*Дорогие мои!*

*Не слала телеграммы, не посылала заранее формальной новогодней открытки, – все потому, что хотела «урвать» время для нормального письма, которое прежде всего нужно мне самой. Пока это время не «урвалось», и я пишу сейчас, чтобы хоть как-то высказаться. Так вот. Как вы, очевидно, уяснили из нашей телеграммы к 26-му, Лёва в Риге. <...>*

*По приезде Лёва прожил 10 дней у нас, а потом они с Вивой переехали в комнатушку, освободившуюся у ее подруги, где и живут сейчас. Внешне все это выглядит довольно нелепо, т.к. целые дни он проводит здесь, много занимается с Сашкой (чего раньше не было), очень корректен и предупредителен с мамой (чего тоже не было раньше), и прямо-таки идеален в отношении меня. <...>*

*Я испытываю огромное чувство освобождения от всего, что было не только за эти 3 года, но и за предшествующие им годы. А за эти же 3 года я вообще как-то «перестроилась». <...> Новый год мы встречали у меня в оригинальном составе – Лёва, Вива и еще пара очень близких друзей. Сашка ушел в компанию классную уже со складчиной (и даже шампанским!) – только звонил и поздравлял.*

*<...> Еще раз хочу только добавить, что не надо это переживать за меня и не надо меня жалеть. Мне так лучше – и это правда.*

*Ужас до чего хочется повидать вас, но теперь поездки в Москву мне, слава Богу, не нужны, и я уж просто не знаю, как мы сможем увидеться, если вы не решитесь все же как-то приехать, хоть заехать на день, в Ригу. И, в конце концов, здесь в Дубулт, на взморье, есть тоже прекрасный Дом творчества – м. б., вы смогли бы как-нибудь в него попасть? Он функционирует круглый год, и Рита Яковлевна (Рита Райт-Ковалева, известная переводчица, Броня тепло дружила с ней. – Л. К.), например, приезжает туда в марте, в октябре и даже зимой. Вот бы и вам!..*

Родители все трудное время, да и раньше, много помогали Броне, очень переживали за нее и досадовали.

Она была глубже и талантливее Лёвы, но он, по мнению родителей, подавил ее как личность. Они говорили, что Броня не должна была «пускать свою жизнь на самотек», непременно защитит диссертацию и т. д. – «тогда Лёва не утратил бы уважение к ней, и все могло сложиться по-другому». Я спорила, мне казалась дикой сама мысль о том, что отношения мужа

и жены могут зависеть от защиты или незащиты диссертации.

Все закончилось трагично. Сыну Брони Саше поставили роковой диагноз. Ему ампутировали ногу, но болезнь продолжала висеть дамокловым мечом. Мама из Москвы заезжала к ним в Ригу и потом рассказывала, что Саша и в страшной болезни оставался наивно доброжелательным, каким был в детстве.

А Лёва уехал в Америку с новой женой. Тут уж мы с родителями вместе были возмущены – так бросить больного ребенка! А Броня в письмах оправдывала бывшего мужа, объясняя, что хлопоты об отъезде начались задолго до болезни Саши, а попав в этот капкан, уже ничего невозможно было изменить, даже хоть немного отодвинуть сроки отъезда. В таких ситуациях люди действительно не принадлежали себе, и это тоже знак времени.

Вскоре заболела страшной болезнью и сама Броня. Впрочем, может быть, она и раньше была больна, но в этих жутких стрессовых испытаниях совсем не замечала себя, все пропустила – сгорела.

Телеграмма о ее смерти пришла при мне. Я никогда в жизни не видела, чтобы родители (оба!) так рыдали.

Потом мы узнали о последнем разговоре Брони с Лёвой. Он позвонил из Америки, и Броня сказала, что обречена, что Лёва должен будет забрать сына в Америку, может быть, там он поправится, и добавила: «Не ругай себя. Ты ни в чем не виноват». Лёва плакал. Через несколько лет после смерти Брони мама написала мне.

*Зима 1983 года, Кисловодск*

*...Может быть, от отдельной комнаты, а может, от возраста, больше, чем обычно на отдыхе, думаю, вспоминаю, преимущественно далекое, и часто-часто – Броню... Как бесконечно далеки были мы с ней летом (прощаясь до следующего лета) от мысли, что это – наша последняя встреча...*

*Еще и еще раз продумывая ее жизнь, убеждаюсь, каким же самобытным человеком была она. И каким цельным. И как во всех сложнейших ситуациях своей жизни (от отношений с Давидом Евсеевичем Тмарченко до последнего разговора с Лёвой) она ни разу не изменила себе. И я – человек иной системы ценностей, воспринимавшая многое в ее поведении как нарушение элементарных норм человеческого*

*достоинства, – сейчас не то чтобы пересматриваю свои взгляды, но не могу не преклониться перед такой абсолютной, убежденной и неизменной верностью собственному пониманию и мироощущению, для которого естественно было умение полностью стать на точку зрения другого человека, понять, прочувствовать за него и органично принять это в себя. Я несвязно выражаюсь, но ты поймешь, тем более что всегда диалектичнее реагировала на ее бытие...*

Смерть Брони завершила череду уходов самых близких друзей. Ничем не восполнима была пустота. Вскоре не стало Юзика. В последний при его жизни наш приезд в Киев мы с родителями просидели у них с Ниной всю долгую украинскую ночь... Несколько раз мама порывалась подняться, а Юзик мягко останавливал: «Сиди, девочка! В кои-то веки... И кто знает, когда еще выйдет – так, не спеша?» Самые грустные мысли вслух не проговаривались, наоборот, было много молодого веселья, особенно в начале встречи. Точнее, началось оно раньше, когда мы позвонили Юзику и Нине из автомата, и Юзик, не дожидаясь встречи, рассказал, что их сын отлично окончил музыкальное училище, и у него уже есть невеста, которая училась вместе с ним. «А на чем он играет?» – было плохо слышно, и папа громко кричал. Мама пыталась утянуть его: «Зачем кричать? Завтра все узнаем!» Но Юзик уже ответил: «На трубе!» И папа не унимался: «А невеста? Она тоже играет на трубе?!» Проходящий мимо народ оглядывался.

Как все они молодели, когда видели и слышали друг друга! И как я любовалась ими! Мне все казалось: дело было не только в прекрасном Киеве, казалось, что, если бы они жили в одном каком-то месте (на любой территории!), жизнь родителей была бы совсем по-другому окрашена. И не так уж важно, о чем именно говорили они в ту чудесную ночь...

Запомнилось, как Юзик шутливо спросил, овладела ли я за первые годы своей семейной жизни какими-нибудь хозяйственными навыками, и когда родители хором произнесли что-то критическое на эту тему (не то чтобы несправедливое, любая критика меня на эту тему «пожизненно» справедлива!), я сказала, обороняясь, что у нас, в смысле у меня с мужем, никто ничего не делает. Юзик так ласково и мудро, как мало кто смог бы, снял остроту спора: «Ну вы же живете? Живете?! Значит,

кто-то что-то делает». Мне вспомнилась его остроумная свадебная телеграмма, где о незнакомом ему женихе было сказано: «Все мы шагаем по этому нелегкому пути. А чем он лучше нас?!»

Говорили и о возрасте. (Все они тогда или приближались к шестидесятилетию, или только что «перемахнули» его.) Женщины и Юзик «ужасались и вздрагивали», папа смеялся над ними: «Да бросьте вы! Я вот ничего такого не чувствую, не действую на меня эти цифры!» Позднее – единственный раз! – папа сказал другое, но об этом еще не здесь...

После смерти Юзика Киев совсем опустел. Семидесятые годы (и начало восьмидесятых) стали в жизни родителей годами многих утрат.

Зимой 1975 года мама писала мне: «Очень огорчает меня настроение, которое я ощутила в разговоре с папой – то самое нервное напряжение (когда что-то висит и не получается, а время идет), которое больше всего укорачивает жизнь. Его надо снимать сочетанием мудрости и положительных эмоций, но мудрость слишком часто изменяет, а эмоций этого типа явно не хватает...»

Летом 1975 года не стало моей мудрой бабушки – папиной мамы. Ей было 86 лет. (Примерно столько «добавочных лет» она загадала себе после семидесятилетнего юбилея – сбилось!)

Папа был очень подавлен.

*Июль 1975 года*

*...До чего папе необходим настоящий, полный отдых, но никакими силами сейчас не удастся его отправить. Обещает поехать в октябре, но я боюсь, что это будет у него разгаром работы над книгой. Кроме усталости, его, конечно, подкосила смерть Марии Самойловны. Он терзается, что ей было скучно в Перми (конечно, старость в Киеве была бы естественнее для нее, но что ж поделать) – его все время тянет на кладбище, и я очень рада, что его, наконец, просто вызвали в Москву на совещание.*

Это и в самом деле была полезная для его душевного здоровья поездка. В отличие от Киева, в Москве у папы еще было много друзей и приятелей, в общении с которыми он, если бы-

вал не слишком усталый, сбрасывал пару десятков лет и становился другим человеком. В такие минуты я радостно узнавала папу своего детства

Однажды они с Борисом позволили себе на Палихе довольно дерзкую шутку. Папе очень понравилась одна картина, висящая в комнате Зори, и он стал бурно хвалить ее, напомнив хозяину кавказский обычай: «Старик! Не будь пижоном!» Сам папа бывал способен на такую щедрость, но Азарий был негибаем. Тогда папа перешел к компромиссной просьбе: «Ну подари на месяц! Покажу в Перми, повисит у меня немного, в следующий раз привезу. Клянусь!» Когда Зоря не пошел и на это, папу охватило молодое авантюрное настроение – «Ах так?!» – и шепнул, подмигнув пришедшему повидаться с ними Борису: «Пижонов надо учить!» Мы быстро распределили роли: Борис попросил Зорю и Таню уединиться с ним в другой комнате, так как давно хочет посоветоваться по очень конфиденциальному вопросу. В это время нам с папой надлежало быстро снять картину и спрятать ее в чемодан, что мы и проделали. Впрочем, мы были вполне готовы к тому, что Зоря сразу заметит пропажу, и тогда мы «расколемся», признав, что он буквально физически не может ни на минуту расстаться с любимой картиной. Однако этого не произошло. Зоря с Таней вышли озабоченные: «Да, серьезный вопрос. Очень непростой...». Еле сдерживая смех, распрощались мы с хозяевами, взяли такси и поехали с Борисом на вокзал провожать папу (я еще на какое-то время оставалась в Москве).

Мы спросили, чем Борису удалось так озадачить Зорю и Таню. «Ну известно чем! Это же нескончаемая тема! Я спросил, что мне делать с Валькой, разводиться или дальше терпеть, вот они и задумались – ответственность-то какая! Святая простота! Я-то давно знаю, что мне с ней делать...» Посмеялись.

Уезжая, папа дал мне строгое задание – через некоторое время посетить Зорю с Таней (впрочем, я и без авантюрной ситуации еще зашла бы к ним, это входило в традицию) и проверить, заметил ли Зоря пропажу. Если нет, признаться во всем в конце визита. Задание я выполнила. Никто ничего не заметил, и даже когда я робко и без всякой лингвистической изобретательности спросила: «Дядя Зоря, вы ничего не замечаете?» – он непонимающе поглядел на меня. Пришлось подсказывать: «По-

смотрите направо, поднимите голову...» И вот... «Ну, гады!» – взревел он. Еле-еле успокоила, уверив, что папа картину вернет. И в самом деле, картина вскоре была водворена на место. Мир восстановлен.

А у мамы в конце 1960-х и особенно в 1970-е годы как-то вдруг ожила дружба с друзьями юности – зазвучали много лет не слышанные ею голоса. Поводом и толчком стала давно задуманная встреча их знаменитого класса.

*9 августа 1965 года, Плес на Волге*

*В Киев я не звонила, поговорила с Далькой. <...> Мишка Дейген сказал ему, что они хотят собраться между 15 июля, когда в Киеве появится Миля Бляшов и Леня (Емельянов. – Л. К.), и 17-м, когда уедет Юрка (Перлин. – Л. К.). Если бы отсюда было самолетное сообщение, я бы слетала, а так – не выйдет, вероятно, хотя и жалковато. Да и денег Москва, как всегда, «съела» много...*

Только из этого случайно обнаруженного в домашнем архиве письма я узнала, что встреча класса планировалась и к тридцатилетию выпуска! Может быть, названные мамой в этом письме люди тогда собирались (у нее вот не вышло), но настоящий – вошедший в легенды! – большой сбор состоялся только через десять лет – в 1975 году. Вот тогда бурно переписывались – и до, и после встречи. Это было уже сорокалетие выпуска. 57 лет исполнилось одноклассникам. Как потрясала тогда меня и моих подруг эта цифра, эта встреча! И какой помолодевшей, нарядной, оживленной мама отправилась в Киев, какой переполненной впечатлениями вернулась!

Собрались в доме Нюры Беккер – одноклассницы, которая, несмотря на болезнь, почти не дающую ей выходить из дома, стала главным организатором встречи. Потом Нюра, как Яковлев в пушкинском лицейском выпуске, со всеми поддерживала связь и добровольно взяла на себя обязанность держать товарищей в курсе главных событий жизни каждого.

Дочь и внук Нюры очень тепло всех принимали и были под большим впечатлением от этой встречи. В ответе на вопрос анкеты: «Рассказываешь ли ты своим детям о нашей школьной жизни?» Нюра написала: «Рассказываю немного. Но после

встречи нашей мои дети и особенно внук очень привязались к моим товарищам, живо интересуются всем, что относится к моим товарищам, рады письмам от товарищей, рады, когда товарищи к нам приходят, звонят и т.д.»

Анкеты почему-то решили заполнять анонимно, но не узнать по этим словам Нюру невозможно! После той их встречи я тоже много лет общалась с Нюриной дочкой и ее очень талантливым внуком.

Из рассказов мамы о том сборе особенно запомнилось, как каждый вновь пришедший не представлялся (так было задумано Нюрой), а ждал, «опознают» ли его, и если да, кто узнает первый. Отгадывали с азартом. Маму сразу узнали все!

Она привезла альбом выпускников с очень хорошим – и серьезным, и остроумным, и грустным – предисловием редакторов:

«В 1935 г. 22 девушки и 26 юношей закончили 10 класс. А сегодня нам уже 60 лет. И можно подвести предварительные (мы надеемся – сугубо предварительные!) итоги. Среди нас оказалось 70% «физиков» и 30% «лириков». Деление это более чем условно, так как внутри мы почти все были чистой воды лириками. Итак, мы стали:

- 18 – инженерами и конструкторами;
- 14 – преподавателями;
- 5 – врачами;
- 4 – профессиональными военными;
- 3 – работниками искусств.

Среди нас есть два члена-корреспондента Академии наук, 5 докторов – всяческих наук, 5 кандидатов, остальные – нормальные люди, но все с высшим образованием.

Мы народили 37 детей, а они 26 внуков (внучек). С детьми, видимо, мы закончили, а по внукам и внучкам есть еще резервы.

Живем мы в 8 городах нашей страны (в этом месте я «до конца» ощутила, какую глубоко затонувшую Атлантиду поднимаю! – Л. К.): в Киеве – 17 человек, в Москве – 2, в Минске – 2, во Львове – 1, в Перми – 2, в Свердловске – 1, в Кишиневе – 1, в Ленинграде – 3.

Максимальное расстояние между нами составляет 2250 км по прямой (Киев – Свердловск), а минимальное – два соседних дома на одной улице в Киеве (Соня Быкова – Миша Дейген).

На нашу молодость пришла война, и мы воевали.

26 человек из нашего класса воевали на фронте, в том числе: в авиации – 3, в артиллерии – 3, в Морфлоте – 1, в медслужбе (врачи) – 3, в связи – 1, в пехоте – 15.

Семеро наших товарищей не дожили до Победы, отдали за нее свою жизнь... Мы строили, лечили, учили, изобретали... Мы теряли на этом пути своих товарищей, и вместе с ними уходила наша собственная жизнь...

На нашей встрече были два наших дорогих учителя: Николай Андреевич Пушкарь и Анатолий Сергеевич Карамоско.

Мы жили трудно, весело и интересно.

Итак, вперед (в смысле назад), к воспоминаниям...»

Это предисловие предваряет ответы на вопросы изобретательной анкеты.

Приведу несколько ответов моей мамы.

**Твои первые впечатления от школы.**

– Добрый Алексей Николаевич, который согласился, вняв мольбам мамы, принять меня в свой 1 «Б» в середине года, когда мне, наконец, исполнилось 8 лет.

Дуся Глазберг с роскошным бантом и в бархатной юбочке, делающая реверанс при встрече с учителями.

**Твое самое яркое воспоминание о первых годах учебы.**

– На всю жизнь запомнила, как замерло и затрепетало мое сердце, когда Сёма Шифрин – моя первая и, разумеется, безответная любовь – перевернул чернильницу на мою тетрадь.

**Вспомни смешное и грустное.**

...Трагично было наше с Дусей Глазберг купание под занавес коллективного «сбегания» на пляж в 7-м классе (кажется, с географии). Я была связана словом, данным отцу, – не купаться в мае. Но соблазн меня одолел – и я ринулась. Дуся – со мной. Попали в яму, она бултыхнулась удачнее, а меня вытащили уже успевшей проститься с жизнью. Я не сразу пришла в себя и с тех пор плавать не научилась (страх одолевает, едва перестаю чувствовать дно, что немало веселых минут принесло моим детям).

**Был ли среди твоих товарищей кто-либо, кому ты хотел бы подражать?**



– В 10-м классе мечтала бы подражать неотразимой Надежде Загорской, но это было настолько выше моих возможностей...

**Что ты помнишь о наших поездках на село, работе на музфабрике, в мастерских?**

– На селе – как на нас спускали собак, когда мы вербовали не учившихся в школу. На музыкальной фабрике помню деки и прочие милые политехнические премудрости. В мастерской – как выключила станок, захвативший руку Дуси Глазберг (до сих пор счастлива, что не растерялась и схватила раньше рубильник, а потом – ее руку).

**Твое хобби?**

– Хорошие спектакли, хорошие стихи, интересные люди. На хобби в точном смысле слова времени – увы! – «не хватало»...

**Школьные привычки?**

– Болтливость, высказывание с целью самоутверждения (попробуй не орать среди «звезд» 45-й, чтоб тебя хоть чуточку слышали!), тяга к остроловию и т. п. вещи не самого изысканного вкуса. (В этой неожиданной «самокритике» – явное папино влияние! – Л. К.)

**«Яблоко от яблони...»: твои дети и ты?**

– Дочь – добрее и тоньше, сын – умнее и справедливее. Оба – талантливей. Впрочем, так и надо.

**Рассказываешь ли ты своим детям о нашей школьной жизни?**

– Еще бы!

Приведу и некоторые ответы маминых одноклассников, но тут не смогу преодолеть объективную трудность – ответы анонимны. Так решили организаторы: «...пусть они характеризуют нас всех, нас вместе, ведь, как учил старый мудрый Балу маленького Маугли: «Мы одной крови – я и ты».

– Приходится принять правила игры.

Запомнился мне стишок:

В 45-й школе,  
В 3-м классе «А»

Феня Шингарева

В Даю влюблена.

Стишок я запомнил, а вот Феню Шингареву забыл начисто. Ася Колчинская 47 лет спустя вспоминала, что я никому не давал сидеть на одной парте с Феней, из чего следует, что в стишке была только половина истины.

– В Киеве несколько школ первые открыли 8 класс. Мы трое пришли в 8 класс 45-й школы: Нина Браткова (школьное прозвище «кошка»), живая, не по годам развитая девочка, с длинной косой за плечами и обязательным бантом – была любимицей класса; Зина Спивак – милая, серьезная девочка, и я. Так как Нина Браткова умерла в 9-м классе, а Зина Спивак погибла во время войны, считаю своим долгом упомянуть о них...

Похоже говорила нам с мамой Дуся Глазберг об одном забытом мальчике, ушедшем после 8-го класса: он сидел с ней за одной партой, был тихим, скромным и очень хорошим – «и никто его не вспомнил – так грустно!». Они и в самом деле считали своим долгом напоминать, чтобы никто не был забыт.

– Смеялись часто. Смеялись много. В оперном театре на «Онегине» Юра Перлин просит Николая Андреевича в первом антракте: «Убедите, пожалуйста, Мишу, что Онегин убьет Ленского, а не наоборот», – Миша не хотел верить в такую несправедливость.

– Помню, как Сарра Фрадкина сидит на подоконнике в вешалке из ребят и сыплет анекдоты...

– Николаю Андреевичу Пушкарю я в значительной мере обязан тем, что стал конструктором. Он поддерживал мои увлечения радиотехникой и очень интересно вел физику. Анне Пантелеймоновне я обязан любовью к литературе, хотя вышел из школы совершенно безграмотным, в чем повинен, конечно, один я. (Здесь «анонимность» легко раскрывается: «безграмотный конструктор» – это, конечно, Даля Кунявский! В анкете он берет вину на себя, а в письме моей маме винил бригадный

метод и перекалывал ответственность на нее, писавшую всем сочинения. – Л. К.)

– Наша бригада изучала корову по всем предметам. Сейчас сказали бы, что это системный подход.

– Они (занятия в школьных мастерских. – Л. К.) помогли мне окончательно утвердиться в мысли, что, когда перегорает пробка, во избежание неприятностей для родных и близких следует вызвать монтера.

– Дипломником я сделал проект моста им. Щорса через Днепр (сейчас мост Патона), который по конкурсу оказался лучшим и был принят, но осуществление его из-за войны не было закончено. Вместе с управлением ЮЗЖД меня вывезли на строительство железной дороги Сталинград – Казань, где я в чине инженер-капитана руководил строительством № 62 тукшумского моста. В 1941–1942-м годах через этот мост была организована доставка к Сталинграду боеприпасов. В Киев вступил в 1943 году вслед за войсками».

На сорокалетие собрался почти весь класс – те, кто живы... Очень жалели, что не приехали из Ленинграда Галя Рощина и Таня Рекашова (обе подружки стали физиками), особенно возмущалась моя мама: «Пермь ведь дальше Ленинграда! А я приехала!». Не появился Жора Стешенко (инженер), которого вспоминали с теплым юмором: «Опять пропал, как в школе! Он всегда подолгу не появлялся, помните?».

У мамы сохранились многие письма одноклассников (самых разных лет). И по письмам этих «почтенных солидных» людей чувствуется, какими раскованными друг с другом они становились, как просыпалась в них (у кого больше, у меньше) живая память о том, «какими прежде были мы...»

Приведу несколько писем и расскажу, что смогу, об авто-рах. С некоторыми из них – Ньюрой Беккер, Дусей Глазберг, Асей Колчинской и, конечно, с Юрой Перлиным – я не раз тепло встречалась. И всех их, на поколение старших, благодаря маминим воспоминаниям долго воспринимала как молодых людей, так что отчеств многих до сих пор не знаю.

*С Новым годом!  
Дорогие!*

*Чувствую себя бесконечно виноватой, но... Свинья ты был, таким же и остался.*

*С большой радостью я прочла, Саррочка, твою книжку. Молодчина ты. <...> Я не писала все это время, т.к. сама была занята монографией. Только сейчас (два дня назад) ее кончила. Называться она будет «Недостаточность кислорода и возраст» (абсолютно не поэтично, не романтично, не героично...).*

*Отняла она у меня массу времени и энергии. В отличие от ваших специальностей, моя требует большого количества иллюстративного материала: фотографий, электрокардиограмм, таблиц и проч. С трудом из всего этого кошмара я вылезла.*

*Как бы мне хотелось с вами увидеться и вдоволь наговориться! Было бы здорово встретиться на курорте. Я-то вообще уже два года и в отпуске не была. <...> Монография моя – она же докторская. Если сама не подкачаю, то все должно быть в блеске.*

*Летом была у Мишки и Нади. Встретились так, как будто и не расставались.*

*Крепко целую.*

*Ася (Колчинская. – Л. К.)*

*Даты на письме нет, но раз речь о маминной книге о Вере Пановой, значит, это еще начало шестидесятых годов.*

*Еще от Аси. С подножья Эльбруса.*

*27 ноября 1967 года*

*Дорогая Фрадкинюшенька!*

*Носит меня нелегкая по белу свету и мешает своевременно получать ценную информацию. Из-за каких-то мотаний пропустить такое милое послание! Но если ты думаешь, что я сейчас дома, то не думай. Сажу на высоте 2000 м + 3 этажа. Мой номер в отеле «Иткол» находится на третьем этаже, а сам отель – у подножья Эльбруса.*

*На твой вопрос – «какой черт занес тебя к ведьмам в гости», я, как армянское радио, отвечаю: во-первых, не черт, а комитет по акклиматизации, во-вторых, не к ведьмам, а к очень милым*

горнолыжникам, в-третьих, я сама пожелала удалиться из своей киевской обители в Терскольский монастырь, т.к. я хочу начать писать книгу, а для этого нужно выключиться из привычных обязанностей.

Все это отступления от главной темы – выражения горячей благодарности за поздравления и пожелания. Этот юбилейный год (который «в 45-й... и Ша», как ее называет Мишка Лерман, будет тянуться два года) порядочно-таки истощает запас поздравительных и пожелательных слов. И только на тебя вся надежда, авось не подведешь и в приличных выражениях обратишься к каждому. <...>

Наши с тобой юбилеи впереди. К 24-му постараюсь из столицы Советской Украины отбить тебе поздравительную телеграммку. <...> Очень хотелось бы лично облобызать дорогую именинницу, да от наших гор до ваших гор далеко.

Крепко тебя целую. Сердечный привет Лёве и юным фрадкниатам.

Ася

Так и слышу, читая это письмо, их молодое озорство, подростковые шутки. В один из наших приездов в Киев, когда к маме зашли Ася с другой одноклассницей, раздался телефонный звонок, и кто-то явно не туда попавший спросил: «Это столовая?» И мама как-то почти машинально, как будто только так и надо, ответила: «Нет, это спальня!» На подобное могли вдохновить только друзья детства!

Ася Колчинская – фантастическая женщина! Крупный ученый – профессор-биолог, автор больших научных монографий, она изучала изменения давления (и другие изменения в организме) на большой высоте и под водой, сама взбиралась на высокие горы и спускалась под воду с аквалангом, была очень спортивной и держалась на таком уровне чуть ли не до 70 лет, да и позже была очень подтянутой.

Ася рассказывала мне об их детстве много интересного: какой смешной была мама в 5–6-м классах и как преобразилась в 9–10-м... А еще очень удивили меня ее рассказы про уроки обществоведения. Учительница рассаживала школьников по разным рядам – делились на «большевиков» и «меньшевиков», а внутри рядов – на представителей разных платформ, и выступали, отстаивая платформы Бухарина, Шляпникова...

Увлеченно и жаростно дискутировали. Такой был творческий подход. Ася уверяла, что ни о каких страхах не думалось, было интересно и весело.

Ее письмо с Эльбруса писалось в 1967 году, шла полоса пятидесятилетних юбилеев: все они были, как это тогда называлось, «ровесниками Октября» (даже колонны такие составляли на демонстрациях в праздничные даты).

«Неожиданно нагрывавшие» пятидесятилетия смущали вообще и, в частности, несовпадением с внутренним ощущением. Вот телеграмма Юры Перлина к пятидесятилетию моего папы, с которым он подружился не меньше, если не больше, чем с мамой: «Дорогой старик. Законы физики допускают единственную возможность остаться молодым Быстро двигаться относительно системы отсчета ТЧК Это качество присуще тебе в высокой степени так что утешения излишни Прими наши лучшие пожелания горячие поцелуи нежную любовь и стихи Полстолетия Полстолетия Полстолетия С вами пить хочу столько лет и я Перлины».

Из откровенных разговоров с «дядей Юрой» – мне было 14–15 лет – очень запомнилось (заставило обо многом задуматься) следующее: «Я вообще считаю себя однолюбом: всех своих женщин помню и люблю». И еще рассказ о встрече с его первой любовью. Кажется, это была девочка из параллельного класса, его любовь была безответной. Кого-то она предпочла ему, он долго страдал и остро помнил это. И вот – через много лет неожиданная встреча в Ленинграде, и он чувствует, что сейчас вполне мог бы состояться роман, но... «Понимаешь, Линка, я, как ты догадываешься, не ханжа, и хороша она была по-прежнему, даже еще красивее стала с годами, но... сам себе удивлялся, а тормоза какие-то сработали. Первая любовь все-таки, и столько лет сидел у меня этот гвоздь в сердце, и я решил – пусть он и дальше сидит во мне, а взрослый роман – еще один! – с ней мне не нужен».

Во взрослые годы, несмотря на разницу в возрасте, я очень подружилась с двоюродной сестрой Юры Перлина, по-домашнему Тисей, Валентиной Ефимовной Шура-Бура (женой известного академика) – той самой девочкой, что когда-то в киевском дворе показывала «странному человеку» (Борису Пастернаку!) дорогу к нужному ему дому.

Дружила она, разумеется, с моими родителями, но у нас с ней сложились отдельные отношения. Мы много говорили и о литературных героях (Тися тоже умела «жить в книгах»), и о живой жизни. Ее мудрые и тонкие психологические наблюдения были мне очень интересны и, как ни странно, иногда чем-то напоминали рассуждения Юры, хотя и были они очень разными людьми.

Мне запомнились слова Тиси о моих родителях. Мама написала ей что-то об их с папой наблюдениях и выводах относительно общих знакомых (в чем они совпали, в чем нет, о чем поспорили). И Тися сказала мне, как приятно ей представлять «Сарру и Лёву», гуляющих или сидящих друг напротив друга за столом и увлеченно обсуждающих что-то обоим интересное и важное. И с грустью добавила, что ей очень не хватает такого, в ее семейной жизни этого нет: «Разве что с дочкой иногда получается, а Миша не гуманитарный человек, он все такое считает потерей времени и презрительно называет «разговор-рами»».

После встречи 1975 года маме захотелось послать одноклассникам свою книгу о Симонове. Она была уверена, что в их пережившем войну поколении этот автор никого не оставил равнодушным. И вот отклик Нади Загорской и Миши Лермана – эти одноклассники поженились вскоре после школы и были вместе все годы. В альбоме есть их школьная фотография, где они, видимо, прощаются у ее порога, и надпись: «Это рукопожатие длится сорок лет».

14 июля 1975 года, Минск

*Саррочка, дорогая ты наша умница!*

*Большое спасибо тебе за книжку, за трогательную надпись на ней, за посвящение, за добрые воспоминания, вызванные ими.*

*Обнимаем и целуем тебя. И Лёвушку, конечно, так же.*

*И все пока: несколько дней тому назад похоронили мы нашу Галочку, жизнь которой, по существу, была начата в том самом Малине.*

*Еще раз благодарим. Еще раз целуем.*

*Твои Надюша и Миша*

«В том самом Малине...» В этом киевском пригороде все они жили летом 1937 года, мои родители еще не поженились. Папа воспел это место: «Если был бы я небом Малина...».

Не знаю, что случилось с дочкой Нади и Миши, в чем причина такой ранней смерти. Поистине, радость и горе шли рядом.

Мама посылала свою книгу о Симонове и другим киевлянам (не только одноклассникам) – близким друзьям юности. Чудесный отклик получила она еще в начале 1970-х годов от приятельницы киевской молодости.

1 марта 1971 года

*Дорогая Саррочка!*

*Твой и Лёвин подарок меня очень-очень обрадовал и растрогал. <...> Книжка твоя, Саррочка, мне очень понравилась. Написана она хорошо, умно, вдумчиво, интересно, аналитично, спокойно и объективно. Не чувствуется в ней «пота», усилий, нажима, а доказательная, раздумчивая манера изложения, приближая нас к истокам симоновского творчества, незримо как-то включает в круг бывлых горестных ощущений. Впрочем, не только горестных, потому что касаешься ты и тридцатых годов, а тогда была молодость. В общем, вся атмосфера книжки твоей тревожит, зовет к воспоминаниям об ушедшем и ушедших. Для меня это – комнатуха, похожая на ящик, холод, сугробы за окном, мальчик, спящий в корыте, и отец мой с книжечкой Симонова «С тобой и без тебя». Он читал мне вслух, я покачивала корыто, и мы отвлекались от нашей беды. <...>*

*Лёвину книгу читаю медленно, хотя она, на мой взгляд, и яркая, и увлекательная, и мне даже обидно, что не могу я сейчас поступить на исторический факультет! По правде говоря, мне еще не встречались такие замечательные учебники! (Речь о папином учебнике: Л. Е. Кертман «География, история и культура Англии». М., «Высшая школа». – Л. К.) Как легко, без навязывания, преподносится материал, какая колоссальная эрудиция «у нашего автора», причем, более умные люди уже высказались на сей счет! Книгу я читаю с удовольствием, «образовываюсь» и пока не тороплюсь послать сыну. Он должен еще заслужить ее!*

*Еще раз большое-пребольшое вам обоим спасибо за книги! И пусть пишутся и издаются у вас новые!*

*<...> Такие дела... Кто произносит каждые пять минут эти слова? Ах, это из «Бойни номер пять»! А «Новый Мир» как-то даже (А ргггг) с некоторых пор перестала открывать. (После ухода Твардовского и насильственных попыток изменить направление журнала. – Л. К.) Впрочем, «Предварительные итоги» прочитала, как и прежнюю вещь Ю. Трифонова – «Обмен», с интересом. Точно, очень точно написано – ничего не скажешь!*

*Саррочка, мы тогда расстались у Золотых ворот, и я тебе, естественно, не смогла передать своего впечатления о твоих детях. Виделись-то мы всего каких-нибудь пять-семь минут, тем не менее, впечатление у меня очень приятное. В мальчишке чувствуется спокойная уверенность, решительность и деловитость, он очень красивый и обаятельный... А дочка у вас совсем не деловая и этим на вас не похожа... У нее милое, выразительное лицо, она эмоциональна и впечатлительна, ну что ж, и это хорошо, потому как без этих качеств заниматься литературой нельзя. Дай ей Бог счастья!*

*Кончаю. Наболтала вам всякого...*

*Посылаю свою книжечку, вышедшую недавно. Препных, вышедших в 65–66–68 гг. послать, к сожалению, не могу, так как у меня по одному экземпляру. А в этой – старые (за исключением трех) рассказы. Писала их еще десять лет назад и читала их на Жилинской покойной Рае Кун... Такие дела... Так что не судите строго.*

*Желаю вам и деткам здоровья, удач, великих свершений и, как говаривал Антон Павлович, «будьте благополучны и денежны».*

*Ваша Ира*

Ира Шкаровская. Короткая встреча у Золотых Ворот мне очень запомнилась какой-то поразительно молодой искренностью этой обаятельной женщины.

Рая Кун за несколько лет до этой встречи писала маме: «Кстати, забыла в прошлом письме передать тебе привет от Иры Шкаровской, с которой я довольно часто встречаюсь в последнее время. Она собирается выслать тебе свою новую книгу – «Никогда не угаснет». Она – о нашем пионерском детстве (1928–1930 годы). Написано свежо, искренне и, по-моему, по-настоящему талантливо».

Я помню эту книгу, мне она тоже понравилась и даже покорила: обаятельное впечатление от нее было похоже на человеческое впечатление от самой «живой писательницы». К момен-

ту той неожиданной встречи у Золотых ворот я уже читала эту книгу и что-то сказала о запомнившемся герое – «синеглазом хулигане» Степке, первой любви лирической героини, и меня поразило, что взрослая писательница явно была смущена (даже покраснела!) и рада такому живому отклику.

Переписка с одноклассниками шла до конца. Мудрые письма Нюры Беккер приходили к маме в самое тяжелое время. Об этом еще не здесь – еще не пора...

В отдельном большом конверте хранила мама письма от Дуси Глазбер, очень мягкая, ласковая, поистине родственная интонация отличает их. Дусе не было близко острословие 45-й школы, да и юмор некоторых одноклассников, не умеющих обходиться без красного словца, не всегда доходил до нее. Она не вступала в соревновательные диалоги, в которых моя мама бывала так находчива. В чем-то главном Дуся и во взрослые годы, когда стала нежной женой и матерью, оставалась очень воспитанной домашней девочкой, которую в детстве научили делать книксен, всегда быть вежливой и не дружить «с плохими мальчиками». Я ощутила в ней это, когда гостила однажды у них во Львове. Мне было тогда уже больше тридцати лет, и до этого я ни разу не встречалась с Дусей, но столько слышала о ней, так живо ее себе представляла, что сразу почувствовала себя у них как дома. И она так заботливо расспрашивала меня о моем прошлом и настоящем...

В их дружбе мама моя так и осталась «старшей» и опекающей – с тех самых пор, как Дусина мама в первый день их первого класса попросила ее заботиться о Дусе, которая после тихой домашней жизни с любящими мамой и бабушкой оказалась в окружении шумных детей – «и их так много, и они так неосторожно бегают – с ног собьют!» И мама в самом деле заботилась – в школе спасла Дусину чуть не отрезанную станком руку, а в студенческие годы не пустила подругу в машину со взрослым писателем, явно положившим на нее глаз. Намерения писателя Дуся плохо понимала – ей просто хотелось покататься по вечернему Киеву, да еще и со знаменитостью. Но мою маму она привыкла слушаться.

*Саррочка, дорогая ты моя!*

*Чувствую себя взрослым поросенком, что так долго собиралась тебе написать. Каждый день думала, что уж сегодня обязательно напишу... А дела, если бы дела, а то делишки, захлестывали... то всякие домашние неурядицы, а меня очень легко выбить из колеи. В общем, причины всегда находятся. Вот теперь приедешь домой из Москвы и застанешь письмо.*

*Я не перестаю жалеть, что так получилось, и ни с тобой, ни с Лёвушкой мы не повидались. А Лёвушка еще отчитал меня на вокзале, когда я сказала, что хоть 10 минут, но повидаемся, неизвестно, когда еще придется. Обвинил меня в пессимизме.*

*Что тебе написать о встрече? Конечно, наше 40-летие было значительно ярче и праздничнее. Это и понятно. Впервые за столько лет, мы тоже были моложе, нас было больше – 28, а теперь 12 человек. Приехали Миша Кагановский и Леня Емельянов из Ленинграда и я (из Львова. – Л. К.). Киевляне были почти все. <...>*

*Вечер начался печальной поминальной минутой. Скольких и каких потеряли и раньше и за последние 10 лет!*

*Было много шума, на столе много бутылок (с минеральной водой главным образом). <...> Расходясь, решили уменьшить срок и до следующей встречи не ждать 10 лет. Такие свидания со старыми друзьями очень согревают сердце...*

*Родная моя! Что у тебя, как съездила? Что собираешься делать летом? Может быть, увидимся? Очень этого хочу.*

*Крепко обнимаю и целую тебя и Лёвушку.*

*Твоя Дуся  
22 мая 1985 года*

Это письмо, как и многие другие, я обнаружила недавно, из него ясно, что одноклассники собирались и на 50-летие выпуска! Мама тогда не смогла поехать.

А та короткая встреча на вокзале, которую упоминает Дуся, была, видимо, в конце лета, когда родители через Львов возвращались с Карпат, куда несколько раз ездили на лечение. Это не так уж близко от Львова, но помню, что однажды мама вырвалась оттуда к Дусе дня на два, вот тогда уж они наговорились!

Валя Козлова не была маминой одноклассницей, она училась двумя классами младше (я уже упоминала об этом, да

она и не дала бы забыть!), но все же хочется привести ее очень колоритные письма. В них тоже ощущается дух 45-й школы.

Даже самые легкомысленные выпускники 45-й были очень способными, мама не раз говорила об этом. А папа чуть ли не всех своих и маминых друзей подталкивал к углубленным занятиям определенной темой, которая выросла бы в диссертацию, и часто ему удавалось по-настоящему увлечь. И вот Валя, еще недавно сетовавшая, до чего не хочется ей писать диссертацию, которую требуют на кафедре иностранных языков, где она работает, пишет совсем другое.

*Дорогой Лёва!*

*Только что получила твое письмо и отвечаю тебе незамедлительно. Давно хотела написать тебе, но хотела написать уже нечто реальное, а так как такового все не было, то и писать было стыдновато. А дела мои обстоят так. Приехала в Киев и под впечатлением наших с тобой разговоров стала заниматься изучением биографии Морриса и очень заинтересовалась. Затем пришлось на некоторое время приостановить эти занятия, ибо курс мой мне пришлось читать (а, следовательно, и переводить его) на англ. языке. Затем я решила как-нибудь официально отбрыкнуться от моей злосчастной бывшей темы (неактуальная, дескать, дублеж etc.) и себе заполучить в любой форме разрешение работать над Моррисом, скажем, язык его, или стиль и т.д., а направление «в процессе работы», дескать, изменилось. Но... мой лучший друг Близниченко (эта фамилия мне не знакома, но контекст явно иронический. – Л. К.) сказал, что диссертации по языку автора сейчас не рекомендованы, а если я хочу Морриса как такового, то это тема литературная и предварительно нужно сдать канд. экзамен по литературному циклу. Ну, у меня руки и опустились. Перестала заниматься. Просто надеюсь осуществить свой переход в другой вуз и там заново все себе запланировать. Так что жду у моря погоды, жуирую понемногу (и помногу) и т. д. и т. д. и т. д.*

*Твое письмо меня очень разволновало (жив курилка!), и просто не знаю, как быть. Посоветуй! В нашем институте мне не разрешат менять тему, я уже чувствую, что завязла со своей бывшей темой*

*по уши, а они говорят: «Много сделано, кончайте». Ну а если я не хочу? Словом, жду от тебя радикального совета и сделаю, как ты скажешь. (Видишь, какая я хорошая!)*

О том, что мягкость и тем более покорность кому бы то ни было отнюдь не входили в число Валиных добродетелей, всем было хорошо известно, она и не скрывала.

Эта «история с диссертацией» тянулась много лет, и в конце концов Валя защитилась в Пермском университете. (Папа порой досадовал, что приходится отдавать этому какое-то время и силы, но чувствовал ответственность за то, что втянул Валю в науку.) Диссертация была не по Моррису, но и не по навязываемой теме. Смутно помню, что тема была связана с языковой дискриминацией на каком-то острове, бывшей британской колонии, и Валя с юмористическим восторгом восклицала: «Ух, как их – дискриминируют!»

После ее защиты папа с удовлетворением написал маме, что Валька держалась очень хорошо, с достоинством, на вопросы отвечала живо и умно. «Не уронила знамя 45-й школы!» – откликнулась мама, поздравляя ее.

Много лет спустя, когда родителей уже не было в живых, а я одна жила в Москве, мы иногда встречались с «тетей Валей». Она болела и уже редко выходила из дома, но сохранила юмор и эмоциональную живость. С интересом расспрашивала, чем я занимаюсь, и когда я рассказала – в то время я писала статью о разном восприятии Пушкина в стихах и прозе Цветаевой и Ахматовой, Валя очень похвалила идею: «Молодец!» И вдруг задумчиво, как-то неожиданно и в то же время ожидаемо добавила: «Это у тебя от папы...»

А в том письме, где она просит совета о диссертации, многого не договаривая, Валя написала и о более глубинном и болевом: «Самое страшное для меня в жизни – неопределенность. А ведь она является девизом моей нынешней жизни, и не только в научной работе, а и вообще. Ясно? <...> Надоела мне такая жизнь смертельно, и не вижу ни выхода, ни исхода...»

Все более нервной становилась любовь Вали и Бориса, накапливалось раздражение, тем не менее – вдруг! «А вообще я уже

не Козлова, а... (фамилия Бориса), и никак к этому обстоятельству не могу попривыкнуть. И чего это я поменяла фамилию на старости лет, дура!»

Скорее всего, это было связано с тем, что у них с Борисом родилась дочка, а старшую – Алю – он удочерил. Кстати, и к этому обстоятельству – «новому статусу многодетных родителей» – они тоже долго не могли привыкнуть. Валя очень кокетничала своей «многодетностью». В женщине другого типа это могло бы раздражать, но ее интонация обезоруживала неизбыточным юмористическим удивлением: «Моя младшая дочь капризничает в связи с прорезыванием зубов и привитием оспы. <...> Теперь о нашей жизни. Ну, как может жить многодетное семейство?! Если здорова Ира, то хворает Аля, если они обе здоровы, то у меня ангина, если же вся женская половина нашей семьи не болеет, то надо же Борису поддержать свою честь, и он немедленно заболевает гриппом...»

Это было еще в прежней уютной жизни, когда Борис жил дома, а потом...

«...Борис будет (если будет) в отпуску или в конце мая, или в июне. Будем, вероятно, в Киеве. Отпуск же летний мне предстоит проводить, видимо, без него. Если мне удастся определить детей в оздоровительные учреждения, то я «свободна от любви и от плакатов».

Оставался в силе девиз «Детям нужна здоровая красивая мама». Валя никогда и не пыталась казаться другой.

«В Киеве весна. <...> Я бездельничаю, пью (!) и страстно гоняюсь за всеми книжными новинками. Хотите «Сагу о Форсайтах»? Возможно, смогу достать. Впрочем, вы, верно, «книжные боги» и все себе достаете подряд. А Грина тоже? А К. Дойля?»

Дети мои (наконец дошла до детей. Но ведь Аля всегда говорит, что я не мать, а...) растут, умнеют, скучают без Бориса. Аля – чертовски умная и способная, но зануда ужасная. Ирочка – милая, спокойная, прелестная девочка (вся в меня!).»

В закатные годы жизни Борис немало рефлексировал. Ради чего жил, чему отдавал силы и талант? Нет, он не пришел к тотальному отрицанию всего, что столько лет было для него смыслом жизни, но все же...

## ЛИЧНОЕ

Не в том я доме поселился,  
Не ту работу я любил,  
Не в ту я женщину влюбился,  
Не той я улицей ходил.

Простых решений не увидел,  
Нелепых сложностей искал,  
Людей хороших ненавидел,  
Хороших слов недосказал...

Стихов хороших недослышал,  
Хороших книг недочитал,  
К началу музыки я вышел,  
Но сам ее недоиграл.

Над всем смешным недосмеялся,  
А непорядочность прощал.  
Я злобой недовозмущался,  
А подлость недоузнавал.

А может, просто все, что видел,  
Что чувствовал, что пережил,  
Не я любил иль ненавидел,  
А кто-то за меня решил.

Мне кажется, многие люди его поколения могли бы найти в этих строках близкое себе.

Валя переписала эти стихи и прислала нам с припиской: «Хотя здесь есть «несколько» в мой огород («Не в ту я женщину влюбился») – все равно мне очень нравится. Впрочем, Б. утверждает, что речь идет о какой-то иной (первой) любви. Сомнительно! Обнимаю. Валя».

Все же очень яркой и колоритной парой они были, при всей, мягко говоря, не идеальности отношений. На очень хорошей их фотографии, присланной родителям после рождения второй (их общей) дочки, надпись: «Были когда-то и мы рысаками... От солидных и многодетных».

Между тем приближались шестидесятилетия, и хотя было это в самые глухие застойные годы – конец 1970-х, когда особенно радоваться было нечему, могу засвидетельствовать, что известные мне люди поколения родителей встречали эту дату бодро и, я бы сказала, удивленно. Как и 10 лет назад, цифры никак не совпадали с их внутренним самоощущением. Мама периодически «удивлялась», вспоминая, сколько лет было «пожилым» Гаеву и Раневской или как доктор Дорн говорит Сорину, что в 62 года уже немудро заботиться о здоровье. Папа посмеивался: «Ну и что ты хочешь? Да, мы в самом деле достигли этого возраста». Однажды на Палихе я убедила их всех, что в моих глазах они вовсе не старики, сравнив их поколение с поколением бабушек и дедов. Нельзя было не признать, что братья Герчиковы смотрелись совсем по-другому, чем дед Яков, а моя мама была не сравнима с бабушкой Ривой в том же возрасте.

С неувядающим юмором звучал голос Дали Кунявского.

*12 апреля 1977 года, Москва*

*Дорогая Сарра!*

*Спасибо за поздравление (опоздание пошло впрок – уже никто не поздравлял, и вдруг приятная неожиданность). В который раз я убедился в правильности тезиса «Не высовывайся!» Сейчас я пожиная плоды собственного легкомыслия. У меня уже 13 (число-то какое!) анкет, и вместо того, чтобы закончить 3 начатые статьи, я занимаюсь...*

*Поручение тебе. Подбери остроумные и к месту цитаты – эпиграфы к вопросам анкеты – не ко всем, конечно, а к основным. Только быстро, а то все уже в работе.*

*Зачем тебе тромбофлебит? Что за фокусы?*

*Привет Лёве.*

*Целую. Даля.*

*P.S. Привет от Марка Г.*

Значит, одноклассники готовили новые анкеты – к шестидесятилетиям, и вот такие «серьезные люди», хоть и посмеиваясь над собой, отодвигали ради этого свои научные труды.

А Марк Г. – знаменитый летчик Марк Галлай, друг Г. Куняв-



ского. Мама познакомилась с ним в одну из своих московских командировок в доме Дали и была под сильным впечатлением от этого человека: мужественного летчика и умного ироничного интеллигента. Между ними возникло заинтересованное взаимопонимание.

Еще бодрее прозвучало поздравление Алика Герчикова.

*Дорогая и любимая сестричка!*

*Мы тебя поздравляем с 60-летием и скромно присоединяемся к бесконечному потоку приветствий советского народа по этому случаю. Конечно, 60 – не 30 и даже не 50, но это как-то тебя не касается. Ты всегда такая молодая и красивая, что нам всем вместе (авансом) наплевать на те 100, которые мы отметим вместе. Мы шлем сердечные поздравления всему милому семейству с Новым годом и пожелания детям – кандидатам, родителям – докторам и членкам соответственно. Впрочем, к черту чины – ЗДОРОВЬЯ вам. Крепко целуем.  
Зина, Алик.*

Помню, кстати, как в их 50 лет одна приятельница сказала, что этот возраст ей, пожалуй, нравится, но и хватит! – «Чтоб уже так и было!».

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Но время шло, и постепенно приближались совсем иные времена. Мало кто догадывался о том, что наступит через пять-семь лет...

Пока что собрались в дальний путь Шляпентохи.

Уходят, уходят, уходят друзья,  
Одни в никуда, а другие – в князья, –

пел Галич, чьи запрещенные песни, записанные на магнитофонные пленки, тайно хранились в наших домах. Мы с волнением слушали их в те годы.

Знать бы загодя, кого сторониться,  
А кому была улыбка – причастьем,  
Есть – уходят на последней странице,  
Но которые на первой – те чаще.

В этих сильных строках ничего не сказано о третьем пути, по которому все чаще уходили друзья, – об эмиграции. В те времена этот путь был столь же необратим, как уход в никуда («на последней странице»).

Прощались навсегда, без надежды встретиться вновь, поэтому таким ударом стало для нас известие о решении Володи и Любы. За прошедшие с их студенческих лет годы их отношения с моими родителями переросли в настоящую дружбу на равных, и этой глубокой и крепкой внутренней связи не прерывала жизнь в разных городах. Володю и Любу с сыном и дочкой помотало по разным городам (Черновцы, Саратов, Академгородок под Новосибирском, Москва). Был момент, когда Володя пытался перетянуть папу и всех нас в Академгородок. Папа ездил туда с курсом лекций, вернулся очарованный атмосферой. Трудно сказать, состоялся бы этот переезд или нет (были серьезные колебания, уже многое привязывало родителей к пермскому университету), но вопрос автоматически отпал – с середины семидесятых, если не раньше, атмосфера и в Новосибирске ощутимо изменилась, многие очаги свободы были потушены, Шляпентохи и сами вскоре уехали оттуда.

Где бы мы ни встречались, будь то несколько часов остановки парохода в Саратове или месяц жизни на соседних дачах под Киевом или под Москвой, общение всегда бывало интеллектуально и эмоционально насыщенным. Это радостно предвкушалось, и с первой минуты встречи чувствовалось, что предвкушение не обманет. Насколько беднее были бы мои детство, отрочество, юность без бурно темпераментных монологов «дяди Володи», мягко насмешливых интонаций его жены, тонко корректирующей его бурю и натиск, и папиного остроумного подтрунивания над его перегибами. Я всегда слушала их беседы с наслаждением. Мне очень нравились и неожиданные вопросы Володи, и то, что папа всегда как-то особенно оживлялся в этих спорах, и даже если иногда Володя говорил, с па-

пиной точки зрения, глупости, эти глупости никогда не были банальными. Я уверена, что с ним папе всегда было весело и интересно, намного интереснее, чем в обществе каких-нибудь занудных умников. Я же просто очень любила Володю и Любочку, как все мы ее звали. И вот они решили уехать. Это было настоящим потрясением. Папа пытался отговорить их – была бессонная ночь...

Главный аргумент моего отца – безвозвратность этого шага: слишком многое придется резать по живому. С этим и я была всей душой согласна, но у Любы и Володи были свои аргументы. Любу окончательно сразила новая волна антисемитизма семидесятых годов, при которой их очень способным детям были перекрыты многие пути. Володя же, кроме этого безусловного факта, сделал эмоциональное ударение и на другом: «Мне уже 52 года, сейчас или никогда! У меня нет времени ждать каких-то перемен. Я хочу успеть мир посмотреть! И поработать хочу в атмосфере свободы». Тяжелым был тот спор – у каждого была своя правота.

Я очень переживала их отъезд и то, что даже не могла поехать попрощаться – кормила грудного ребенка. Папа ездил в Москву на их проводы и рассказывал нам с мамой о забавной шутке, которой Володя попытался разрядить почти траурную атмосферу за столом: «Ну что вы все такие грустные? Вот увидите, мы еще вернемся! Заработаем там и купим себе квартиру на улице Горького». Разумеется, ни Володя, ни провожающие не верили тогда ни во что подобное, это звучало как что-то абсолютно нереальное, как грустный юмор, призванный развеять именно своей нереальностью.

Но прошло не так уж много лет с их отъезда в конце 1970-х годов, и грянула горбачевская перестройка. Володя и Люба не сразу поверили в отмену безвозвратности, но потом (хотя квартиру на улице Горького покупать не стали) начали приезжать в гости. Первой приехала «на разведку» Люба, она еще успела встретиться с моим отцом. Но Володя с ним уже не увиделся. Моего отца не стало в ноябре 1987 года. Эту безвозвратность не может изменить никакой поворот истории. Думая о такой безвозвратности, я и сейчас не могу понять, как решались люди в те страшные годы уезжать, оставляя родителей... Но это совсем другая тема.

1985 год. Папа застал только самое начало горбачевской перестройки, когда никто еще не мог предвидеть, насколько далеко зайдет это дело (и вообще, в каком направлении оно пойдет), но первым «звоночкам» ее успел порадоваться. Помню, как взволнованно он показал мне на последней странице «Аргументов и фактов», где печатались тогда короткие вопросы и ответы еще непривычной остроты, вопрос о возможности пересмотра установившегося взгляда на чешские события 1968 года и ответ: «Да, это возможно!» – «Видела?!» – потрясенно восклицал он, почти не веря глазам своим.

Я тоже была потрясена, и не только за себя, но в большой степени за него, слишком хорошо помнила состояние отца в ту жуткую ночь на 21 августа 1968 года.

Происходящее с 1985 по 1987 год ощущалось им как постепенное освобождение от так долго давящего плечи груза. Похожее чувство он испытывал и в далекие шестидесятые, сам замечал сходство, и, когда эту преемственность начали напрямую озвучивать в прессе перестроечных лет, радостно воскликнул: «Ты смотри, какую прямую линию оттуда ведут! Заметила?!»

К Горбачеву отец присматривался с симпатией, хотя говорил, что до того, как сделать окончательный вывод, «имеет к нему тест» из трех пунктов. Я помню два: Афганистан (решится ли вывести войска) и выборы («изменит ли, наконец, эту идиотскую систему с одним кандидатом, позорящую страну перед миром»). Больно, что всего этого, как и освобождения Сахарова, и отмены шестой статьи Конституции (о руководящей роли партии), папа уже не застал. Особенно горько было нам с мамой (брату, конечно, тоже – просто он жил в другом городе, и с ним не могло быть такого повседневного обмена эмоциями) в дни знаменитого съезда 1989 года, когда вся страна много дней не отрывалась от телевизионных экранов. Как радовали бы папу свободные смелые речи А. Собчака, Ю. Карякина, Ю. Афанасьева (с которым он был шапочно знаком и с уважением говорил о его «лихих» взглядах)! Честно признаюсь, я тогда шла в своих горьких мыслях и дальше: как органично прозвучал бы на этом съезде и его голос! Ведь вот – наступило его время, которого он так долго... Нет, даже не могу сказать: «ждал» – такого не ждал, да такого и никто не ждал! Но часто

говорил о том, какой бывает нормальная, не унижительная политическая жизнь в других странах, особенно в его любимой Англии. Как несправедливо, что происходил глобальный исторический поворот, а историк его не увидел!

1985–1987 годы были последним рубежом борьбы за «социализм с человеческим лицом». Папа в эту возможность еще верил – он всегда говорил, что «стоит на социал-демократической платформе».

Если я со сравнительно большой точностью могу представить, как реагировал бы отец на главные события до августа 1991 года, то дальше – очень трудно. Впрочем, как раз в самые последние годы все опять «упростилось», и мне легче представлять возможные его реакции... Правда, о таком варианте, как переход к капитализму, мы никогда не говорили.

В годы перестройки, как и в годы застоя, шла и «просто жизнь». Снова съезжались на дачи, и на прощальном ужине Юра Перлин произносил юмористический тост: «Перед тем, как автобус умчит нас в фиолетовую даль...»

Приближался 1987 год – семидесятилетие обоих родителей и их золотая свадьба. День рождения папы – Первое сентября, но в Москве собрались раньше. Календарный день рождения отмечали уже дома со всей папиной кафедрой... Очень тепло и растроганно все было. А первый тур состоялся в московском ресторане «Прага». Юру Перлина мы все очень ждали, он не приехал, и папа написал стихи, не такие уж шуточные...

Об этом, смотри, никому ни гу-гу,  
Жонглируя рифмой в «России»,  
Хороших стихов написать не могу.  
Ну что же – сойдут и плохие.  
По горло я сыт этой древней игрой,  
И к Богу иду все смелее.  
Но все же смятенье приходит порой, –  
Приходит пора юбилеев.  
Пусть будет коряв, неудобен мой стих,  
И портит кому-нибудь нервы,  
Но следует только одно обрести –  
Готовность под номером первым.

К полуночи это созрело во мне,  
Слилось в смехотворное соло.  
Я кредо свое сообщил – и конец,  
Отбросим сюжет невеселый.  
Вернемся к истоку: неясным был он,  
Хоть спорили долго и пылко.  
Тот спор был нелеп, и предлог был смешон,  
Чтоб кинул пижон мне бутылку.  
Сюжет этот будет, друзья, веселей:  
Все в толк не возьму – почему бы  
Пижон игнорировал мой юбилей,  
Все зубы, все зубы, все зубы.  
Идут сообщения с лесов и полей –  
Случилось, случилось ведь это:  
Пижон не явился на мой юбилей –  
Билеты, билеты, билеты.  
Никто не увидит – при свете ль, во мгле,  
Что это поступок мужчины.  
Пижон не явился на мой юбилей –  
Причины, причины, причины.  
Но впрочем, покинем и этот сюжет:  
Вся жизнь состоит из сюжетов.  
Примите сегодня мой твердый обет,  
Что больше не вспомню об этом.  
Что ж спор? Этой строчкой окончился он,  
И дело не в букве, конечно,  
Но в том, что бутылки лишился пижон –  
Пижоном пребудет он вечно.

Спор на бутылку был о том, возможно ли написать стихи так, чтобы ни в одном слове не было буквы «А».

Очень ярким был тот вечер... Собралось москвичи и много киевлян – бывших и настоящих (на тот момент): семья папиного брата; Миша Лойберг с женой; Алексей Леонтьевич Нарочницкий, папин первый серьезный учитель истории в киевском техникуме (они много общались, но в тот вечер в своем заключительном тосте папа вспоминал именно об этом! Рассказывал, что ученики были уверены: случись пожар, наводнение, землетрясение – Алексей Леонтьевич не выйдет

без галстука); все братья Герчиковы с женами; мамина двоюродная сестра Ляля Герчикова (актриса, потом театровед) с супругом – известным ученым, философом Захаром Каменским; Валя с Борисом, Вадим Павлович и Катерина Ивановна Соколовы – давние друзья, после женитьбы Геры на их дочери ставшие родственниками. Может быть, все же забыла кого-то, хотя тот день, тот зал, тот стол стоят у меня перед глазами, как будто это было вчера.

Было много прекрасных тостов, много стихов... Борис С. отдельно отметил и папину юбилейную дату, и золотую свадьбу родителей – с изящным юмором, за которым – искренняя растроганность:

Друзья, прекрасен ваш союз –  
Полсотни лет без перестройки,  
Пример пленительнейших уз  
Любви и убеждений стойких!

На папин юбилей он «размахнулся» шире – написал оду!  
Мы с братом сочинили не слишком почтительное стихотворение – на самом деле и в шутку, и всерьез – об истории семьи.

Со слов папы с детства помню я  
Мысль, что разрушается семья  
Современная, всем привычная...  
Мол, отрыл нам эти законы,  
Подтверждающиеся неуклонно  
Фридрих Энгельс – работа отличная!  
Он разъяснял, не тая,  
Не подслащая лекарство,  
Как происходит семья,  
Собственность и государство.

С детства также помню речи мамы –  
Это быть не может преуменьшено –  
Против современной моногамии,  
Сильно так поработившей женщину.  
Жизнь в своем естественном течении  
Экстремизм отбросить их заставила.

Пусть блистательные исключения  
Даже только подтверждают правило,  
Все ж нынешний день позволяет мне смело –  
Пусть нынче сей лозунг не моден, не прост:  
За несоответствие слова и дела  
Поднять не стандартный, но пламенный тост!

В начале горбачевской перестройки был моден лозунг, призывающий привести, наконец, в соответствие «слово и дело», а я тут поднимаю парадоксально «наоборотный» тост!

Очень продуманный, глубокий и лиричный заключительный тост произнес папа – для каждого сидящего за столом нашел неповторимые слова. Но никому и в голову не могло прийти, что этот тост – прощальный.

Через несколько дней мы с Герой и его женой, несколько друзей и братья Герчиковы (Зоря, Алик и Юра – по-прежнему эффектные, особенно когда стояли вот так рядом, все вместе) провожали родителей, «золотых молодоженов», из Москвы в Пермь. Оживленно шутили, но в какую-то минуту, отведя братьев чуть в сторону, папа тихо сказал им (я случайно услышала): «До таких лет дожил, и смотрите-ка – еще живые рядом! С ума сойти!»

«Готовность под номером первым» подспудно присутствовала...

\* \* \*

Это случилось через три месяца. 30 ноября 1987 года. Папа снова был в Москве. Второй инфаркт настиг его в московской гостинице, где он напряженно работал над корректурой книги о Культуре. До выхода ее – как и до выхода Чемберленов – он не дожил.

...Я никогда не видела маму такой растерянной. Ее семидесятилетие (26 декабря) наступило уже без папы. Пришло множество телеграмм, было много звонков. Зашли пермские друзья, папины аспиранты. Когда мы остались одни, мама записала имена всех, кто звонил, медленно вспоминая, и было чувство, что хватается за соломинку...

Потом были тяжелые, но важные для нее письма. Приведу лишь одно – письмо Нюры Беккер.

*Дорогая Саррочка!*

*Сегодня Юра Перлин мне сообщил эту ужасную новость – о смерти Лёвы. Ужасно, что его не стало. Ведь это умер большой ученый, прекрасный человек, а для тебя – друг, с которым ты прожила 50 лет. Как тебе все это тяжело, кажется, никто так не понимает, как я. Ведь я осталась вдовой в 33 года. А любила я своего мужа так, что после его смерти и до сих пор люблю его и ни на кого не могла его поменять. Поэтому я тебе бесконечно сочувствую. Утрата ужасная, но держись, дорогая! Знаю, что тебе сейчас будет очень трудно. Если бы я могла, я бы сейчас все сделала, чтобы тебе помочь. Так рассуждают все наши товарищи. Но, к сожалению, мы, кроме соболезнования, ничем не можем помочь.*

*<...> Очень бы я хотела быть сейчас с тобой. Но увы... Нас разделяет огромное расстояние, которое мои ноги преодолеть не могут.*

*Я тебе звонила. Телефон не отвечал. Потом мне позвонила твоя родственница... и сказала, что вы с Линой выехали в Москву. Поэтому я решила тебе написать.*

*Саррочка! Крепись, держись, старайся быть здоровой, насколько это возможно.*

*Все мы тебя любим, и, если сумеешь, приезжай к нам. Помни, что мой дом, мои дети и я всегда хотим быть с тобой.*

*Целуем тебя и твоих детей.*

*Нюра, дети*

Через четыре года вышла книга о папе «Мир личности», подготовленная близкими всем нам людьми – Ниной Васильевой, Надей Гашевой, Павлом Рахшмиром. Мама очень ждала выхода этой книги. В ней многие воспели наш уже уходящий Дом и царящего в нем Хозяина, это было ей по-особому дорого...

Нина Горланова: «Волшебный дом – он был для нас в Перми сразу и Английским клубом, и Президентским клубом, где мы – мальчик и девочка (Нина и ее муж Вячеслав Букур. – Л. К.), приехавшие из провинции, впитали атмосферу высокого веселья, которое окрыляло».

«Помню свое первое, на всю жизнь поразившее меня впе-

чатление от самого Льва Ефимовича, – вспоминает мой друг Володя Винниченко. – Он сидел по праву хозяина дома во главе стола, мудрый и высоколобый, в венчике седых волос, придававших ему сходство с Богом на рисунках Жана Эффеля. <...> Осмелев, я даже прочитал что-то свое. (Впрочем, стихи в тот день читали почти все участники застолья.) И Лев Ефимович щедро обнаруживал в них какие-то достоинства. Разомлев от такого неожиданного и лестного внимания, я готов был излить свои чувства почти что словами житомирского кузена Лариосика: «Многоуважаемый Лев Ефимович! Не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Эти кремовые шторы (шторы, кажется, были другого цвета)... За ними отдыхаешь душой. Впрочем, извините, я человек невоенный... Эх, налейте мне еще рюмочку!»

Когда мы вышли шумной возбужденной компанией на балкон покурить, разговор с фатальной предопределенностью шел только о Льве Ефимовиче. И я вдруг понял, что каждый из нас сегодня был в центре его внимания, каждый был внимательно выслушан и обласкан. Позднее, узнав Льва Ефимовича чуть ближе, я понял, что это был его замечательный, столь редкий ныне талант общения...»

Нина Васильева глубинно – изнутри, именно как тонко посвященный в не видимые со стороны нюансы человек – сказала о том, какой ценой все это давалось: «Как много давало всем нам общение с ним! И как мало все мы, претендовавшие на его время, и, несомненно, «заедавшие» его, понимали, каким напряжением для него лично может быть это благодатное «наедине со всеми». Казалось, так должно быть... Мы видели и принимали то, что было нам открыто, не задумываясь о скрытом и скрываемом, прежде всего о его самочувствии, усталости, задерганности. Понимали это его домашние...; «Не становясь рабом вещей, он от души радовался, если удавалось с их помощью впустить струю бытия в интерьер быта. Помню, как он дотошно и «аналитически» подыскивал на стенах своей просторной квартиры место для репродукции с картины Ван-Гога, растянув это, в общем-то, пустяковое дело на несколько дней. И когда нашел – радовался и гордился долго, чисто-сердечно, проникновенно. Отсутствие эстетического хлама и присутствие эстетического смысла – так бы я определила и тот царский аскетизм, который был духом и душой его кабине-

та, не перегруженного «предметами домашнего обихода», но удивлявшего точностью «интеллектуальных мелочей».

Это написано в книге уже о маме... А статья Н. Е. Васильевой о моем отце «Личность – тайна одного» переполнена такими глубокими прозрениями, что из нее невозможно что-то вырывать, нужно воспринимать ее во всей цельности... Позволю себе все же подхватить одну очень важную мысль Нины Евгеньевны: «...в большинстве своем мы бежим по жизни, и в ощущении ее скоростей и темпов... обесцениваем отдельные незначительные мгновения, кажущиеся нам лишь ступеньками к цели. <...> Умение же ощущать жизнь как состояние делает равноценными и драгоценными решительно все ее мгновения. <...> Лев Ефимович был тем редким человеком, которому было в равной степени доступно наслаждение бегом жизни... и способность углубленно погружаться в состояние жизни».

Могу подтвердить это одним своим немудреным воспоминанием (рискуя возможным несоответствием его процитированному сложному теоретическому построению). Домашнее застолье (не многолюдное). Мама суетится: «Наверное, пора подавать горячее? Или принести другую закуску?» А папа – расслабленно: «Ничего не надо. Мне хорошо вот именно здесь и сейчас – сидеть, смотреть на вас, пить вино. И ты тоже посиди...» Мне кажется, это о том самом.

Мария Лаптева, бывшая аспирантка отца, ныне доцент Пермского университета, по-своему осмыслила «тайну личности» его: «Ирония судьбы: если бы не пресловутая борьба с «космополитизмом» в конце сороковых годов, не видать бы пермскому университету такого профессора, каким был Лев Ефимович Кертман! Трудно писать в прошедшем времени о человеке, столь щедро наделенном жизнелюбием и оптимизмом, в такой мере полном творческих замыслов, что уход его из жизни воспринимается как поистине трагический обрыв совсем не обветшавших нитей. <...>

В чем секрет обаяния Льва Ефимовича? Почему к нему тянулись люди? Контактность, открытость, щедрость – это не главное, это лишь своеобразные средства, обеспечивающие доступ к сути, к богатой натуре. Применительно к Кертману выражение «роскошь человеческого общения» кажется чем-

то вроде абсолюта, во всяком случае, оценить и почувствовать это мог почти каждый, кому посчастливилось по службе, по должности, либо просто по жизни ощутить интеллектуальную и нравственную суть этого человека. (Эти слова – «роскошь человеческого общения» – встречаются в очень многих воспоминаниях о папе! – Л. К.) Поразительно другое – как глубоко смог он загнать внутрь себя то неизбежное чувство горечи и тоски по иной среде, чтобы никто не был обижен его проявлением.

Можно даже посомневаться, было ли это чувство вообще, но к чему лукавить, ведь всякому ясно, что должность заведующего кафедрой провинциального вуза ни в коей мере не была потолком возможностей Кертмана. Как он бывал счастлив, общаясь с подобными себе – М. В. Нечкиной, А. З. Манфредом, И. Д. Ковальченко и другими крупнейшими советскими историками!

Если когда-нибудь будет выработана общая типология интеллигентности, то оптимальный ее вариант станет слепком с качеств и проявлений натуры Льва Ефимовича Кертмана <...> Одни называют его англоведом, другие культурологом. Можно выделить и другие самостоятельные аспекты его творчества. <...> И все же самое яркое его дарование – способность непрерывного, каждодневного Рождения Мысли. Исторической науке невероятно повезло – в лице Кертмана к ней прикоснулся Поэт и Философ».

Одна мысль в воспоминаниях Марии Лаптевой кажется мне особенно точной и важной: «Ни одна нить, ни одна линия жизни – ни интеллект, ни память, ни эмоциональный заряд не шли на убыль, не перешли в нисходящую стадию».

Это подтверждается воспоминаниями двух очень разных ровесников папы. Вот отрывок из письма физика Юры Перлина: «Лёва делился со мной некоторыми из своих научных идей. В частности, я запомнил, что речь шла о его «теории ситуаций». Я усмотрел в этой теории некоторое сходство с подходом современной физики. Мы даже обсуждали в этой связи возможность написать совместный опус – в рамках его занятий по истории культуры. Замысел не был осуществлен, но следы этих бесед просматриваются в его последней книге».

О другом их с папой общем замысле рассказал Вадим Павлович Соколов (журналист, литературный критик):

«Год назад родилась шальная мысль: а не взяться ли нам с Кертманом за новый школьный учебник по литературе (промелькнуло объявление об очередном конкурсе). Конкурс-то был очередной, а фантазия наша была явно внеочередная. Запахло революцией. Об унижительном положении литературы в школе Лев Ефимович уже немало наслушался и от меня, и от Сарры Яковлевны, хорошо знающей, куда мы здесь ка- тимся. <...> Смысл его рассуждений выглядел примерно так: к богатствам литературы растущая в школе душа должна обра- щаться трижды и каждый раз как бы заново. <...> Пушкин прост, как Михалков... Откуда такая уверенность у сегодняш- него десятиклассника? – горячился Лев Ефимович. – Очень просто: «Зима, крестьянин, торжествуя...» он учил наизусть вместе с «Дядей Степой». С «Евгением Онегиным» – с «энци- клопедией русской жизни» – он покончил в восьмом классе. А вот покопаться в этой простоте, почувствовать ее общечело- веческую гениальность он, узнавший иные закономерности истории и литературы, уже не может – некогда... <...> В даль- нейшей жизни такая простота быстро обнаруживает свою пра- ктическую бесполезность – и он ее отбрасывает со всей литера- турой, прошлой и нынешней...

Мы разъехались в сентябре, отпраздновав 70-летие Льва Ефимовича, с твердой договоренностью до конца года обме- няться первыми набросками плана будущего учебника... До конца года Льва Ефимовича не стало. И вдохновенно проду- манная им наша маленькая революция для школьников не со- стоится. А жаль».

На другом витке своих воспоминаний о папе Вадим Павло- вич Соколов рассказал об одном удивительном дне. Это было летом в Переделкино, куда съехались многие друзья. Они от- правлялись в большие «отдыхательные» прогулки, на которых папа «проветривал мозги», отрываясь от своих Чемберленов, но от предложений подняться к могиле Пастернака неизменно отказывался, а в тот незабываемый день – вдруг...

«Незаметно поднимаясь от реки, вышли к пастернаковским соснам. И тут Лев Ефимович предложил: «Пойдем, посидим...»

Возле могильного холмика... какой-то седоватый мужчина в ватнике, показавшийся мне кладбищенским сторожем, пере- ставлял банки с цветами, выбрасывал засохшие букеты, сметал их вниз, в кучу мусора. Мы расселись, за деревьями мерцало

каплями дождя кукурузное поле... Кто-то из ребят процитиро- вал в затаенном молчании:

Ты здесь, мы в воздухе одном.  
Твое присутствие как дом...

– Как город! – решительно поправил обернувшийся сторож.

...Как тихий Киев за окном,  
Который в зной лучей обернут, –

продолжил вдруг Лев Ефимович.

Станным показалось мне – откуда столько знатоков дале- ко не самого известного стихотворения Пастернака? Впрочем, в отношении Кертманов это еще объяснимо: все относящееся к Киеву, тихому и не тихому, им особенно близко и памятно. А сторож уже дочитывал в полный голос, как с эстрады, стихи до конца:

Ты вся, как мысль, что этот Днепр  
В зеленой коже рвов и стежек,  
Как жалобная книга недр  
Для наших записей расхожих.  
Твое присутствие как зов  
За полдень поскорей усесться  
И, перечтя его с азов,  
Вписать в него твое соседство.

На поверку «сторож» оказался московским инженером, уже вышедшим на пенсию и, не имея никакого родственного от- ношения к покойному поэту, аккуратно приезжающим сюда два-три раза в неделю, чтобы ухаживать за могилой, а заодно и приобщать всех проходящих к биографии и творчеству своего любимца. Делал он это ревностно, почти агрессивно, с полной уверенностью в абсолютном знании каждой строки и каждой даты. Он был явно рад открывшейся возможности проэкзаме- новать новобранцев по всему курсу. И тут началось...

Вышагивая перед скамейкой, он начинал очередной стих, выбирая вразброс, позаковыристей – то из самых давних, еще дореволюционных, а то из тех, что только что печатались

в «Дне поэзии», а Лев Ефимович с тихим озорством подхватывал, заканчивал и тут же предлагал свое, и теперь уже старик заканчивал с обязательной сноской: «Лето 1917-го», «Сестра моя жизнь», «На ранних поездах». <...> Чем дальше, тем больше это становилось рыцарским турниром, когда вместе с выпадом была и чуткая готовность помочь, спасти, если противник споткнулся, ошибся, выронил шпагу. Начинался спор о точности строки, о вариантах в разных изданиях...

Стал накрапывать дождь, пора было возвращаться, и «хранитель Пастернака» явно приустал, присел рядом с нами. А Лев Ефимович стоял впереди, за могильной плитой с профилем поэта и, не поворачиваясь к нам, туда, навстречу пастернаковской даче, вспоминал что-то самое заветное, полузабытое. <...> Всю оставшуюся дорогу они уже не спорили (победа Кертмана в турнире была очевидной), а мирно договаривали, докапывали свое общее сокровище, словно боялись не вспомнить, утаить, не оценить по достоинству что-то самое важное, самое любимое...

Откуда, из каких глубин души Лев Ефимович так нежданно-негаданно выплеснул на нас «своего Пастернака»? У таких вдохновенных минут не бывает логического объяснения. Вдруг накатило...»

Как важно, чтобы такое оставалось в памяти!

Очень хорошо сказал об этом юрист Валерий Похмелкин: «И нельзя, чтобы личность Льва Ефимовича сохранялась только в памяти людей, знавших его. Эти люди тоже уйдут, а память о нем, о его личности, о его делах должна остаться».

Близко знавшие отца люди продолжают не только хранить, но и все глубже осмысливать эту память.

Мама старалась держаться. Много у нее получалось, но хорошо знающие наш дом (и скорбящие по нему – уходящему) чувствовали, что она именно старалась, и это требовало все больше сил.

Очень проникновенно написал об этом Володя Винниченко:

«Нет ничего грустнее покинутого дома, когда опустели любовно обжитые стены, и только немногие оставленные вещи напоминают о прошедшей здесь большой и богатой событиями жизни. С таким грустным чувством я ходил весной 2002 года по покинутому дому Сарры Яковлевны Фрадкиной и Льва Ефимовича Кертмана, Дому, где мне приходилось бывать более тридцати лет и в праздничные, и в трагические для него

дни. <...> Подружившись в середине шестидесятых годов с Линой, я оказался вхож в Дом Кертманов. И в те годы, когда Дом еще стойко держался среди тонущей книжной цивилизации, и в те годы, когда после смерти Льва Ефимовича он почти незаметно, храня благородное достоинство, погружался в пучину небытия.

<...> Сарра Яковлевна ничуть не уступала молодым неофитам в страстной любви к своим избранникам в литературе. <...> И в наших литературных спорах «своих» героев и любимцев не сдавала.

Помню наш спор о ее любимом Константине Симонове, чью книгу «Глазами человека моего поколения» я только что прочитал и был несказанно разочарован. Любимый с юности поэт и прозаик так и не решился рассказать в ней о многом, что мог бы поведать как свидетель и участник важнейших моментов советской истории. <...> Но Сарра Яковлевна снисходительно слушала мои упреки и со свойственной ей мудрой мягкостью убеждала: «Человека надо судить по законам его времени, а не с позиций уже неведомого ему последующего хода истории».

<...> Как жадно держалась Сарра Яковлевна за домашний ритуал, который был ей необходим, как последний стержень...»

При чтении этих слов мне снова вспомнился финал старого фильма «Леди Гамильтон», который мы часто вспоминали в те дни. Когда в рассказе о ее любви с адмиралом Нельсоном леди Гамильтон доходит до его гибели и слушатель спрашивает: «А потом что было?» – она внезапно усталым глухим голосом отвечает: «Ничего не было, ничего!»

Знаю, что все знавшие маму воспротивятся этому моему ощущению – еще многое было! Но ничего не могу с собой поделать – вспоминается...

Закончил Володя свое трогательное эссе словами о хорошо известных мне фактах (сама готовила журналы, чтобы отдать ему и Тане Тихоновец!), но мне радостно, что он и это запечатлел: «Сегодня у нас на даче хранятся старые кертмановские (или фрадкинские?) подшивки «Нового мира». Летом я часто сижу за их старым добротным столом, некогда перекочевавшим в Пермь из Киева и долгие годы простоявшим на кухне,



а ныне оставленным нам «на память». Перелистывая пыльные журнальные страницы, я вспоминаю наши застольные разговоры о старых публикациях и благодарю судьбу за то, что в нашей жизни были такие люди, оставившие сильный, не затертый временем след».

Здесь я обязана сказать, что в самый тяжелый год моей жизни, когда я осталась одна, все пермские друзья очень поддержали меня – без них я тогда просто пропала бы... Не перечисляю, боясь невольно обидеть кого-нибудь, но все же не могу не сказать, что много дней помогали мне в трудных сборах к переезду в Москву преданные друзья – однокурсник Игорь Ивакин (к глубокому прискорбию, недавно ушедший) и Авенир Юшков.

О том, что важное еще БЫЛО в последнем трагическом отрезке маминой жизни, замечательно сказала Надя Гашева, чьим рассказом (и стихами!) я и закончу это повествование, которое все никак не хочет кончаться....

«У меня есть разрозненные страницы архива Сарры Яковлевны, которые оставила мне Лина. Основной архив она увезла и над ним уже основательно поработала. И вот я читаю написанные от руки или набранные на машинке тексты. Есть там стихи, частью пришедшие в далекие теперь уже годы из самиздата, частью переписанные для себя из периодики. Пастернак, Заболоцкий, Ахматова, Левитанский, Галич... (Левитанским был очень увлечен в свои последние годы отец, с наслаждением заучивал наизусть «Жизнь моя – кинематограф, / Черно-белое кино» и еще многое. – Л. К.) Отдельные двустихия, четверостишия...

Душа моя, печальница  
О всех в кругу моем,  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем...

И далее – по тексту – про время шкурное, поглотившее лучшие порывы, перемоловшее все в погостный перегной...

И – уже дрожащим почерком больного человека:

И нет уже свидетелей событий,  
И не с кем плакать, не с кем говорить...

Нет, Сарра не сдавалась. На излете ее жизни и судьбы начались публикации тех страниц поэзии и прозы, которые прежде были под спудом, под глыбами тоталитаризма. Приходили в литературу и новые авторы. Она старалась успеть, дать студентам все лучшее. Вот составленные ею списки необходимого чтения для студентов 5-го курса: проза Набокова, Шмелева, Булгакова, Платонова, Пастернака, Солженицына, Шаламова, Домбровского, Быкова, Кондратьева, Воробьева, Астафьева, Гроссмана (очень помню радость, потрясение и боль, с какими читали мы с мамой его великий роман, наконец-то ставший доступным. Первый журнал с ним вышел через два месяца после смерти папы, и, обмениваясь впечатлениями, мы все время горевали от того, что он этого уже не узнает. – Л. К.), Шукшина, Битова, Войновича, Довлатова, Ерофеева... Стихи Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Ходасевича, Лисянской, Липкина, Самойлова, Окуджавы, Высоцкого, Рубцова, Ахмадулиной... Список авторов – велик, список вопросов и тем для рефератов очень серьезен, а ведь прилагается к этому еще и внушительный список критической литературы. И все это она сама уже прочитала, обдумала, решила, как показать студентам, людям иного поколения, вал ГУЛАГа, свинцовый ветер войны, боль прошлого, острые вопросы современности....»

На мамино восьмидесятилетие Надя написала очень сильные стихи.

Уголочек жизни – прекрасной, жестокой, милой –  
На ветру декабря трепещет, горит, бьется,  
Освещается даль – это было, все это было,  
И, конечно, не так, как об этом в песнях поется.  
Это было, было, а не промчалось мимо.  
Эти восемь десятков лет в двадцатом веке:  
И высокая речь, и запах несчастья и дыма,  
Звезды южных ночей, январский снег на ветке.  
Как остаться достойным счастливо-горького дара  
В роковые годы на этой Земле рожденным?  
Для чего-то дано Вам библейское имя Сарра,  
Что навряд ли созвучно ритмам революционным.  
И младенческий сон уберечь уже не удастся,

Потому что все слышит душа на самом рассвете.  
Восемнадцатый год. Красно-белый разлом гражданской,  
И – крутой поворот под самый конец столетья.  
Ну а меж ними – Днепр при тихой погоде,  
Не убитых еще друзей молодые лица,  
И прощанье с солдатом, который на бой уходит,  
И прощание с родиной – ныне чужой столицей.  
И еще – драгоценные встречи с людьми и морем,  
И просторы мысли, и писем летящий почерк,  
Красноречье застолья и молчаливость горя.  
И сырая даль под взглядами белой ночи.  
Это было, было... И вспомнить об этом нужно!  
Ну, а что оказалось дороже всего на свете?  
Только совестный деготь труда да мгновенья дружбы.  
Да большая любовь. Да чудесные ваши дети.  
Никакая жизнь мне не кажется нынче длинной.  
Только с Бродским я нынче чувствую солидарность.  
Ведь пока еще нам рот не забили глиной,  
Из него раздаваться будет лишь благодарность.  
О, как много всего в одну судьбу уместилось!  
В огонечек жизни, таким напоенный жаром.  
Так поднимем бокалы за то, чтоб подольше длилось  
Это счастье общенья с библейски мудрою Саррой!  
В этот дом мы всегда счастливой звездой ведомы,  
Мы поднимем бокалы, и мы их содвинем разом!  
И за Час Ученичества! И за хозяйку Дома!  
Да хранит Вас господь! И да здравствуют Музы и Разум!

## ЭПИЛОГ

Давным-давно – в середине шестидесятых годов – я увидела фильм «Обыкновенное чудо», еще старый, с Олегом Видовым. Я тогда случайно забрела в кино одна, совсем не зная, что меня ожидает. И через минуту забыла обо всем...

Обычно в том возрасте делиться сильными впечатлениями тянет скорее с друзьями-ровесниками, чем с родителями, и я, несмотря на все рассказанное в этой книге, не была исключением, но в тот раз... Почему-то с первых реплик волшебника подумала о родителях, и весь фильм – и наслаждаясь тонким юмором в сценах с королем, оберегающим нежную дочку от «повседневной будничной жизни», где «люди дают друг друга, режут родных братьев, сестер душат», и когда король объясняет свои «милые недостатки» дурной наследственностью, и когда уговаривает принцессу не огорчаться, если юноша превратится в медведя («Подумаешь, медведь!») – думала о них. Но до финала думала как-то отвлеченно и только после него окончательно решила: «Им необходимо это увидеть!»

И сразу купила билеты на следующий вечер.

Родители сдержанно, с легким пожатием плеч, встретили мой энтузиазм – как-то совсем не до того было им в те дни. Но пошли. И тоже сразу забыли обо всем, и мама шепнула: «Молодец, что вытащила нас!» Но я знала, что главное впереди. И вот прозвучали слова волшебника: «Спи, родная моя, и пусть я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. А пока – ты со мной и я с тобой...»

И потом – финальные... В том фильме они звучали как-то сильнее. Или просто все мы были моложе и восприимчивее? Это в одной моей любимой книге есть такие слова: «Мне кажется, все были моложе, когда ты была молода».

Так вот – финал: «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны...»

Я и сейчас не могу спокойно слышать и читать эти слова, а тогда... Расскажу правду, не боясь сентиментальности. Когда зажегся свет в зале, я увидела залитое слезами лицо мамы и подозрительно покрасневшие глаза отца. Он сказал только одно: «Это фантастика!» И еще шепнул мне: «Да, ты понимаешь...». И это было что-то гораздо большее, чем простая благодарность за хороший фильм.

Очень переключается с финалом этого фильма последняя страница папиной поэмы, которую я много здесь цитировала. Во всяком случае, в моем восприятии это навсегда так. И другого финала своей книги я и представить себе не могу.

Я в юности выдумал Лину несмело,  
Не ведал путей, не отыскивал слов,  
Но сердце крылом, пролетая, задела  
Святая, бессмертная птица – любовь.

Но сердца коснулась бессмертная птица,  
И с ней моя выдумка взвихрилась ввысь,  
И вдруг имена, и повадки, и лица –  
Живые и выдуманные – слились...

Я выдумал Лину, но имя другое  
Твердил по ночам, и другое лицо  
Вставало моей беспокойной судьбою,  
Началом пути и далеким концом.

И если б к началу пути я низринут  
Был силой чудовищной снова к борьбе,  
Я, может быть, создал бы вновь мою Лину,  
Но я бы женился опять на тебе.

Жена моя, верный мой спутник, мой лучший  
Товарищ, сбываются наши мечты.  
Подходит свершенье. И в мире грядущем  
Навеки со мною останешься ты.

И выйдя на солнечный берег с тобою  
Я вижу сквозь лет поредевшую мглу,  
Останется сердце твое молодое,  
Останется глаз неизбывная глубь.

Бросало нас врозь, но века расстояний  
От встречи до встречи легли, как мосты.  
Твой дрогнувший голос в минуту признанья  
Запомню, как символ твоей чистоты.

Запомню весь лад твой, весь девичий строй твой,  
Запомню, как все говоришь, не тая...  
Останешься ты и твое беспокойство,  
Твое ожиданье и жажда твоя.

Останешься ты – молодая, как прежде,  
И сколько бы лет ни прошло и эпох, –  
Ты свет моей жизни, любви и надежды,  
Ты первый мой стих и последний мой вздох.

## ГРИГОРИЙ КЕРТМАН ОБ ОТЦЕ

Давно понял, что мне не дано написать цельных воспоминаний об отце – хоть и задумывался об этом неоднократно. Мешает многое. Помимо прочего, опасение ненароком пересечь черту между публичным и частным, рассказать что-то «лишнее», «ненужное»: хотя отец отнюдь не был «закрытым» и тем более скрытным человеком (скорее наоборот), но, как и все мы, не каждый свой шаг и не каждое слово предназначал для «города и мира». И сомнение в том, что сама «естественная» оптика сыновних воспоминаний (всегда с предельно близкого расстояния, часто – снизу вверх, и уж точно – без всяких признаков объективности) позволит отделить интересное и важное для людей, знавших и любивших его, от неинтересного и неважного. И необходимость в какой-то мере рассказывать о себе. Все эти и иные сложности, комплексы, предрассудки и препятствия, конечно, преодолимы при наличии должного устройства памяти и интуиции, «мемуарного таланта», но я им, в отличие от моей сестры, не обладаю.

Поэтому ограничусь рассказом о нескольких эпизодах, врезавшихся мне в память. Объединяет их только одно: в каждом случае что-то в поведении или словах отца произвело тогда на меня, сына, сильное впечатление, было в той или иной мере неожиданным. А раз так, то есть вероятность, что и другим людям, помнящим его, эти эпизоды расскажут о нем что-то новое.

1981 год, декабрь, заседание Ученого совета истфака МГУ. Я защищаю кандидатскую, отец – «болеет». Тут важно подчеркнуть, что он очень волновался по поводу моей защиты, наверное, больше, чем я. Вроде бы особых оснований для беспокойства не было: я учился в аспирантуре МГУ – разумеется, поступив туда благодаря имени и связям отца, и был, соответственно, «своим» (по крайней мере, для кафедры новой и новейшей истории). Диссертация у меня при этом была неплохая, и публикации, и репутация... Но отец все равно очень



обычно. Кто-то «на галерке» даже заплодировал. И еще кто-то из «посторонних» поддержал диссертанта короткой репликой, но уже с места. А потом было голосование. Диссертант получил 5 «черных шаров» из 17, почти треть. Одним больше – и диссертация была бы отклонена. И очень даже вероятно, что так бы оно и случилось, не выступи там мой отец. Если он переубедил хотя бы одного члена совета, то это и решило дело.

Это был поступок. Учтем: речь шла не об истории культуры и не об английской истории, где он по определению был бы одним из наиболее компетентных и авторитетных специалистов в зале, и даже не о новой истории вообще. Но он не убоился ни попасть впросак, ни вмешаться в «разборку» (говоря языком нынешним), подтекста которой не знал. А ведь он, как уже сказано, очень волновался за меня и – тут я абсолютно уверен, я достаточно хорошо знаю своего отца – не мог не подумать вскользь, что его выступление может вызвать раздражение у кого-то из членов Ученого совета из числа медиевистов, которое, в свою очередь, может обернуться «черным шаром» уже на следующей защите, моей: благо, фамилия редкая. Но он почувствовал запах несправедливости и травли – и среагировал мгновенно, как должно.

Еще одна история – по сути созвучная первой, несмотря на вопиющее несходство обстоятельств. Пермь, начало 70-х. Вечер, отец возвращается домой из университета относительно поздно (то ли Ученый совет, то ли праздник какой-то, то ли чей-то юбилей – неважно) и как-то крадучись проходит в ванную, жестом приглашая меня последовать за ним, но так, чтобы мама не слышала. Там он пристально рассматривает себя в зеркале и просит осмотреть его голову со всех сторон. Обнаруживается царапина и небольшой синяк на виске, но не особо заметные под дужкой очков. Вполголоса, чтобы мама не услышала, рассказывает, что случилось. Оказывается, в нашем подъезде, когда он туда вошел, было темно; отец повернул выключатель, и там обнаружили двое парней (не только с бутылкой, но и с девицами), каковым это вторжение очень не понравились. Они повели себя весьма агрессивно – хамили, угрожали и оттесняли от выключателя, намереваясь свет выключить.

Что в такой ситуации делает солидный человек, профессор, которому уже за 50 – будучи застигнут врасплох, не очень отчетливо видя супостатов (вошел из уличной темноты в крошечную темноту подъезда и только что включил свет), да еще и с нелегким портфелем в левой руке? Пытается урезонить нападающих, выскочить обратно на улицу, позвать на помощь? Нет, бьет правой в челюсть того, кто ближе, отталкивает второго и бросается мимо лифта (ждать, естественно, невозможно). На первом лестничном пролете, будучи настигнут вторым парнем, бьет его что есть силы ногой и, видимо, попадает удачно, поскольку преследование на этом прекращается. Поднявшись же на пятый этаж, озабочен, прежде всего, тем, чтобы не напугать жену, да и сыну рассказывает о произошедшем, видимо, только потому, что нуждается в помощи при осмотре повреждений. Абсолютно точная и единственно верная реакция, но, честно говоря, не уверен, что в подобной ситуации действовал бы так же, причем и в более раннем возрасте.

Но вернемся в Москву – в конец 70-х. На истфаке МГУ проходит совещание заведующих кафедр исторических факультетов чуть ли не всех вузов СССР. Огромная аудитория амфитеатром, 400 участников совещания (преподавателей и аспирантов МГУ тоже пускают). К слову, при оглашении данных о составе участников совещания выясняется, что 99,5% – члены КПСС; иначе говоря, оказывается, что отец – все же не единственный беспартийный (решаем, что вторая «белая ворона» – кто-то очень молодой, просто еще не успевший вступить в ряды). Но речь не о том. Отец выступает с докладом о преподавании истории культуры. Выступает замечательно легко, в своей «фирменной» манере – когда слушателю предоставляется возможность наблюдать свободное течение мысли и подключаться к этому процессу. Слушают внимательно, принимают хорошо. Закончив выступление, отец возвращается на свое место в аудитории (сидим мы довольно далеко от трибуны), а слово предоставляется содокладчику – заведующему кафедрой, кажется, «научного коммунизма» одного из московских вузов. Сомлев от сыновней гордости и пермского патриотизма, я не сразу улавливаю, какая ахинея звучит с трибуны, но по какой-то фразе становится очевидно, что в понимании содокладчика

«культура» – это «культурность поведения» (чтобы окурки на пол не бросали и в занавески не сморкались), а смысл преподавания истории культуры в вузах – в воспитании у студентов соответствующих навыков. Вот в этот момент отец во весь голос с каким-то даже восхищением восклицает: «Какой болван!» Содокладчик, возможно, и не слышит, но добрых ползала – несомненно. Во всяком случае, сидящий в президиуме Владислав Павлович Смирнов – блестящий специалист по истории Франции и добрый приятель отца – реагирует чрезвычайно выразительно: на его лице написано и полное согласие с прозвучавшей характеристикой, и призыв к сдержанности, и явный упрек (читалось примерно так: «Вы-то, Лев Ефимович, в зале сидите, не на виду, а мне легко ли «держат лицо» перед публикой, слушая такую чушь? А тут еще Ваша реакция!»). Но в целом выдержка президиума меня поразила – почти все остались невозмутимы. Между тем никаких признаков раскаяния у отца я не обнаружил – ни в тот момент, ни несколько позже, когда попытался выяснить, что на него нашло.

Частично – даже главным образом – это объяснялось, конечно, тем, что отец многие годы боролся за то, чтобы история культуры в учебных курсах, в школьных и вузовских учебниках преподавалась всерьез, системно, чтобы дело не сводилось к перечислению и бессмысленному зазубриванию отдельных имен классиков. Он видел в этом свою миссию (по сути, просветительскую) и в разных ситуациях и контекстах отстаивал свое видение культуры – как духовной жизни общества. Советские заведующие кафедр в Москве были в этом плане едва ли не идеальной «площадкой». Его выступление явно произвело должное впечатление на аудиторию; очевидно, многие так или иначе приняли сказанное к сведению, а некоторые – задумались, как учесть это в практике преподавания. И тут же – совершенно «дремучее» выступление содокладчика, смазывающее достигнутый эффект и к тому же демонстрирующее «провинциалам», как проблематика истории культуры трактуется «столицей» (а привычка оглядываться на Москву, как на образец, в подобных ситуациях тогда еще была очень сильна). Было от чего возмутиться! Но в реакции отца присутствовало не только возмущение. Будучи вообще-то человеком более чем толеран-

тным, он иногда весьма эмоционально откликался на крайние проявления глупости, порой запоминал и пересказывал соответствующий эпизод как хороший анекдот (а хорошие анекдоты он любил). Причем эмоция относилась не столько к «автору», сколько к самому ходу мысли, и была, как ни странно, в чем-то позитивной: он умел удивляться неожиданным, парадоксальным, выдающимся поворотам как человеческого ума, так и человеческой глупости – и ценить, хоть и по-разному, и то, и другое.

Но ни грамма интеллектуального снобизма – не говоря уже об иных разновидностях снобизма – в отце не было, и это качество в людях он вообще переносил плохо. А мне оно по молодости было очень не чуждо, в связи с чем я получил в аспирантские годы прекрасный урок. Отец всегда интересовался моими учебно-научными делами и расспрашивал о них во всех подробностях. Так вот, я рассказываю об обсуждении моей статьи в лаборатории американистики истфака МГУ (моя работа была посвящена эпохе «просперити» – середине 1920-х годов в США) и, в частности, о несправедливых, по моему мнению, замечаниях кого-то из коллег-аспирантов или старших товарищей. О чем там шла речь, естественно, не помню, но в конце я привел довод, который, как мне, видимо, казалось, окончательно доказывал, что мнение оппонента не заслуживает внимания: он даже не знал, кто был тогда министром финансов США. Отца этот аргумент явно покорило, и он сказал не без раздражения, что вообще-то совершенно необязательно помнить каждого министра, и это никак не дает оснований ставить под сомнение компетентность моего критика. Но я уперся: да, любого – необязательно, но тут речь идет не о ком-нибудь, а о самом Эндрю Меллоне (миллиардере, влиятельнейшей фигуре в финансовом мире, известном филантропе)... Говорил я это, видимо, с апломбом классического советского водопроводчика, искренне убежденного, что мужчина, не способный поменять прокладку в смесителе, в принципе неполноценен. И тогда отец спросил: «Хорошо, а кто в это время был министром финансов (канцлером казначейства) в Англии?» Я пожал плечами – ну невозможно же помнить всех министров. Отец выдержал короткую паузу и чуть укоризненно произнес: «Черчилль». Выдержал еще одну короткую паузу, чтобы я осознал глубину своего паде-

ния, а затем великодушно сменил тему. И с тех пор, когда бы у меня ни возник соблазн уличить кого-либо в невежестве (сейчас такого уже почти не случается), я слышу – «Черчилль».

В августе 1987 года – в последнее лето отца – мы вместе жили на даче в Переделкино. Отец, как обычно, много работал – и над «Историей культуры», и над «Чемберленами». Работы с рукописями оставалось еще немало, но ситуация с издательскими планами была неопределенной: сроки неоднократно переносились и, надо признать, отнюдь не всегда по вине издательств. Отец с его многообразными обязательствами, с одной стороны, и предельной требовательностью к себе, с другой, периодически не укладывался во временные рамки. И вот где-то в самом конце этого лета – кажется, за несколько дней до золотой свадьбы родителей и отцовского 70-летия (в один день, 1 сентября), вдруг выяснилось, что надо сдать обе рукописи до Нового года, и тогда книги выйдут довольно быстро. Казалось бы, это была хорошая новость, но отец воспринял ее, мягко говоря, нервно: он не был уверен, что выдержит такой штурм (это было сказано гораздо определеннее). Немного позже я завел с ним разговор о сложившейся ситуации. Хотелось хоть чем-то помочь, да и отец явно был не прочь посоветоваться. Вопрос, собственно, стоял просто: надо, по возможности не надрываясь, доделывать одну рукопись, а другую отложить и надеяться, что задержка не поставит на ней крест; вот только неясно, какую именно.

Я советовал сосредоточиться на «Чемберленах». Там не был еще написан самый последний параграф, да и в целом последними главами рукописи отец был недоволен и хотел еще над ними поработать (они и вправду не так хороши, как первые). К тому же требовались значительные сокращения. Над этой книгой отец работал многие годы, и она была ему очень дорога. Помимо прочего, дорога и тем, что, занимаясь ей, он имел дело с причудливой фактурой живой истории, где все вариативно и вероятно, где есть закономерности, но нет «железобетонных» причинно-следственных связей, где ход судьбоносных событий нередко зависит от мелочей и частных случаев, где страсти и расчеты равно значимы, где логика поведения персонажей может определяться переплетением

сословных предрассудков, борьбы амбиций, зигзагов рыночной конъюнктуры и интеллектуальной моды – и мало ли чем еще. Всматриваться в нюансы, изучать изнанку событий столь близкой ему английской истории отцу было бесконечно интересно, он занимался этим с азартом и радовался локальным открытиям (когда какая-нибудь фраза в письме или воспоминаниях кого-либо из участников событий позволяет лучше понять происшедшее или хотя бы выстроить интересную гипотезу). Причем отцу этого явно не хватало в последние годы жизни. Нет, он никогда не сожалел о том, что погрузился в проблемы методологии истории и истории культуры, и не думал о том, чтобы бросить эти штудии, но с какого-то момента стал ощутимо скучать по ткани истории, которую можно «пощупать пальцами». Как-то, описывая свою занятость и жалуясь на перегрузку, он сказал, что, помимо прочего, стал после многолетнего перерыва читать студентам курс новой истории (кажется, 1-й период – до франко-прусской войны). А когда я усомнился, стоило ли, если работы невпроворот, брать, кроме истории культуры и методологии, еще и этот курс, отец ответил, что получает такое удовольствие, снова рассказывая студентам об истории, «как она есть», что отказаться от него не в силах. Работа над «Чемберленами», когда он к ней обращался – а шла она с большими перерывами, приносила ему уж точно не меньшее удовольствие.

Была и еще одна сторона дела. Многие годы – чуть ли не с молодости – отец мечтал о большом романе, который он напишет когда-то, на склоне лет. Он писал стихи, а в 40–50-е годы – и пьесы. К роману же лишь подступался: у него были наброски, замыслы, у героев даже, кажется, были имена. Причем еще в начале 1980-х отец верил, что эта мечта может сбыться. Но к 70-летию он не без горечи смирился с тем, что замысел останется неосуществленным: годы шли, свободного времени не прибавлялось, сил – тоже. Так вот, в работе над «Чемберленами» (повествованием, представляющим собой, помимо прочего, семейную сагу на фоне истории – с обширной портретной галереей исторических персонажей) отец мог в значительной мере реализовать свою потребность в литературном творчестве.

Завершение же работы над «Историей культуры» особых творческих радостей не сулило: в рукописи необходимо было, главным образом, заполнить лакуны, оставшиеся при описании некоторых, не самых близких и интересных отцу культурных феноменов.

Вот примерно об этом я и говорил ему, советуя предпочесть «Чемберленов». И даже добавил: «Раз у тебя есть ощущение, что ты можешь не успеть закончить обе книги (речь шла не о сроках сдачи рукописей, а о совсем иных сроках – такой уж вышел разговор), то лучше взяться за то, что хочется, что ты будешь делать со вкусом, себе в радость – т. е. за Чемберленов». Отец выслушал мой монолог и ответил примерно так: «Да, все верно. Но, с другой стороны, я столько времени всем рассказываю, что такое история культуры и как ее преподавать, что пора предъявить результат – учебное пособие. Сама по себе идея уже принимается на всяких форумах более или менее нормально, но пока нет пособия – а никто, кроме меня, его не напишет, – нет и шансов, что дело пойдет».

То есть тут был в чистом виде конфликт между чувством и долгом. Кажется, отец немного поколебался, но выбор сделал быстро. И умер он 30 ноября, просматривая верстку «Истории культуры». А «Чемберленов» окончательно подготовить к печати действительно не успел.

Следующий эпизод – с привкусом тайны. Осень, сентябрь или начало октября того же 1987 года, родители – в Перми, я из Москвы говорю с отцом по телефону. У меня важная новость: только что моей беременной жене сделали УЗИ, и пол нашего ребенка с высокой степенью вероятности установлен. Но закончить я не успеваю, отец перебивает и уверенно говорит, что будет мальчик – он это точно знает. Я, растерявшись, выражаю какое-то сомнение (не в прогнозе – УЗИ так и предсказывало, а в том, что отец может это знать наверняка). И слышу в ответ слегка раздраженное и почти слитное: «Ай, оставь, пожалуйста!» Эту фразу, и именно с такой, как тогда, интонацией, мне не раз доводилось слышать от отца обращенной и ко мне, и к сестре, а когда-то – и к маме. Наверное, звучала она иногда и вне семейного круга, но вряд ли кто-то особо ее фиксировал – ничего особенного в этой фразе нет. Но произносилась она

в строго определенном контексте и означала у отца всегда одно и то же. Дело в том, что его, любившего умные, содержательные споры (кстати, однажды он сказал, что, по его мнению, разговор – это всегда спор; а если люди обмениваются репликами, информацией без обмена мнениями – т. е. без спора, то и считать это разговором нельзя), всегда удручало, когда кто-то возражал против самоочевидного, спорил из чистого упрямства. И вот именно это выражалось слитным «Ай, оставь, пожалуйста!»: не надо спорить с бесспорным. То есть я услышал абсолютную уверенность, но все же не мог не возразить: «Ну откуда ты можешь это знать?» И тогда отец ответил: «Хорошо, я тебе потом скажу» – и решительно сменил тему. Я так и не узнал (пока не узнал?), что он имел в виду, но ему действительно было доподлинно известно, что у него будет именно внук. И внук родился – через полтора месяца после его ухода.

И еще один эпизод из той же осени – но уже без всякой мистической окраски. Отец рассказал мне сон, который ему приснился. Вообще-то не припомню, чтобы подобное случилось когда-либо раньше: в информативную ценность снов отец никогда не верил, а повышенное внимание к ним воспринимал иронически. Но тут был совершенно особый случай – не поделиться таким сном было никак невозможно. Напомню: осень 1987 года, перестройка набирает обороты, многое изменилось до неузнаваемости, но многие устои еще держатся – до 1-го съезда народных депутатов СССР еще полтора года. И вот – сон (пересказываю, как запомнил, но запомнил хорошо): «В Кремлевском дворце съездов идет конференция КПСС, произносятся лихие речи, запреты падают, говорят уже такое... Только что закончился перерыв, делегаты уже в зале, начинается очередное заседание, а я почему-то задержался (наяву отец, напомню, беспартийный, но это неважно). Стою один в огромном фойе – и вдруг появляется Сталин. Во френче, в мягких сапогах и с трубкой в руке. Направляется прямо ко мне и спрашивает, указывая трубкой в открытую дверь зала: «Нет, ну как Вам это нравится, Лев Ефимович?» Я теряюсь, не могу сообразить, что отвечать, но ответа он, собственно, и не ждет. Он направляется в зал, жестом приглашая меня за собой и приговаривая: «Распоясались. Но ничего, сейчас я им покажу». И вот он не спеша



идет по проходу, выступающий замолкает на полуслове, все головы поворачиваются. Немая сцена. А я иду за ним какими-то мелкими шажками и вполголоса приговариваю: «Помягче, товарищ Сталин, помягче». И тут просыпаюсь». Отец от души изумлялся этой игре подсознания, но, кажется, слегка стеснялся того, что именно ему привиделась во сне такая картина – как бы «экранизация» комплексов целого поколения интеллигенции.

А самое первое мое воспоминание об отце, которое, возможно, заслуживает упоминания, датировано предельно четко. Мне 6 лет, и отец забирает меня из детского сада (что вообще-то случалось нечасто), приехав на такси (!). Он в приподнятом, праздничном настроении, водитель такси тоже как-то возбужден. И отец говорит мне, что сегодня – великий день, потому что человек впервые полетел в космос, и человек этот – наш, Юрий Гагарин. А я бы и рад разделить торжество, но есть одна проблема. «Папа, а что такое космос?» – спрашиваю я. Почему-то с абсолютной четкостью помню: такси поворачивает с улицы Полины Осипенко на Компрос, отец на несколько секунд задумывается (водитель с любопытством прислушивается) и начинает объяснять: «Старик, высоко над землей...»

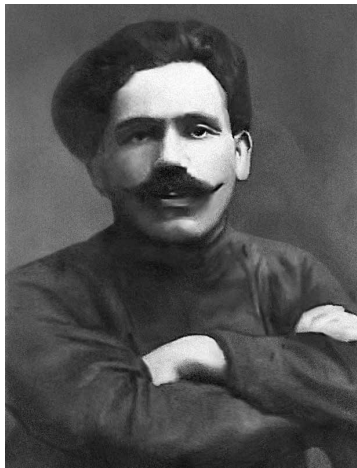
Мне 15 или, скорее, 16 лет. По случаю несчастной любви и под сильнейшим впечатлением от «Облака в штанах» я пишу исповедальную и, видимо, гениальную лирическую поэму. Хватает меня, впрочем, только на небольшое введение, которое начинается скромно: «Я расскажу вам о том, что было, / И немного о том, что будет». Были там и такие строки: «Только немногие... (забыл), / Болью выведенные в поэты, / И, разумеется, мои родители / Это поймут – но не мало этого!» Читаю родителям и замечаю, как они одновременно взглянули друг на друга – причем как-то по-особому. Чувствую, что во взглядах этих, удивленных и растроганных, – не только сочувствие к моим терзаниям и не только высокая оценка моих поэтических талантов; главное тут – что-то иное. Позже догадываюсь: благодарность друг к другу. Но еще долго не понимаю – почему.

А понять, вроде бы, несложно. Мало того, что сын в самом что ни на есть возрасте бунта против старших, бегства, низвер-

жения авторитетов читает родителям только что написанные лирические стихи, явно воспринимая это как нечто совершенно естественное, так еще и упоминает их в этих стихах – и в таком контексте. Но я-то действительно воспринимал это как должное (хотя инфантилизмом не отличался – точно не мой недостаток), и лишь годы и годы спустя понял, что вообще-то такие отношения с родителями далеко не «сами собой разумеющиеся». Так что эта история не про меня – про них.

Ну и еще один эпизод, тоже связанный с поэзией, но на этот раз с хорошей. Мы с отцом всегда делились поэтическими «открытиями», и как-то в Москве, за год или два до его смерти, я читал ему В. Шефнера: находился тогда под сильнейшим впечатлением от сборника «Северный склон» и многие стихи помнил наизусть. Стихи эти – как я и сейчас считаю, замечательные – были пропитаны предощущением ухода и на разные лады разыгрывали, перепевали эту тему. Например, так: «Ночью в Иокогаме, стоя на берегу, / Корабельных названий разглядеть не могу. / Мрак – на многие мили, молчаливая высь... / Теплоходы забыли, как при свете звались. / Невеселое чудо я провижу вдали: / Я ведь тоже забуду, как меня нарекли. / И от хлеба, от соли, от земного труда / Я в тот день поневоле уплыву навсегда – / Не в заморские страны, не к добру и не злу – / Корабль безымянным в безымянную мглу».

Отец слушал внимательно, вчувствовался, кивал, в какой-то момент попросил: «Давай еще». А когда я прочел все, что запомнил, он, немного подумав, медленно сказал: «Да, сильно. Но знаешь, если бы я так мог – я писал бы о жизни».



Ефим Семёнович Кертман  
(дед Хаим), 1914 год



Мария Самойловна Кертман.  
Надпись: *«Лёвонька, родимый!  
Хоть ты меня такой не знаешь,  
пусть это тебе напоминает  
«по-мамовски» любящую тебя маму.  
1947 год, 3 сентября, Киев»*



Семья Кертманов. Слева направо: старший брат  
Семён, отец, Лёва, мать. 1920-е годы



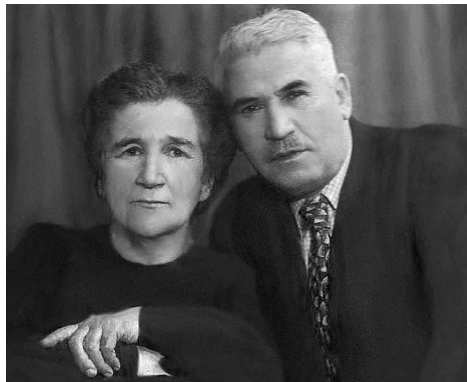
Ревекка Григорьевна Фрадкина  
с детьми – Герой и Саррой  
перед отъездом Геры в Хабаровск.  
1936 год



Сарра с братом Герой. 1936 год



Гера Фрадкин в Хабаровске.  
1937 год



Р. Г. Фрадкина (бабушка Рива)  
и Я. Г. Фрадкин (дед Яков).  
Надпись: «Дорогим детям  
и безмерно любимой  
Линочке от любящих  
родителей». 1949 год

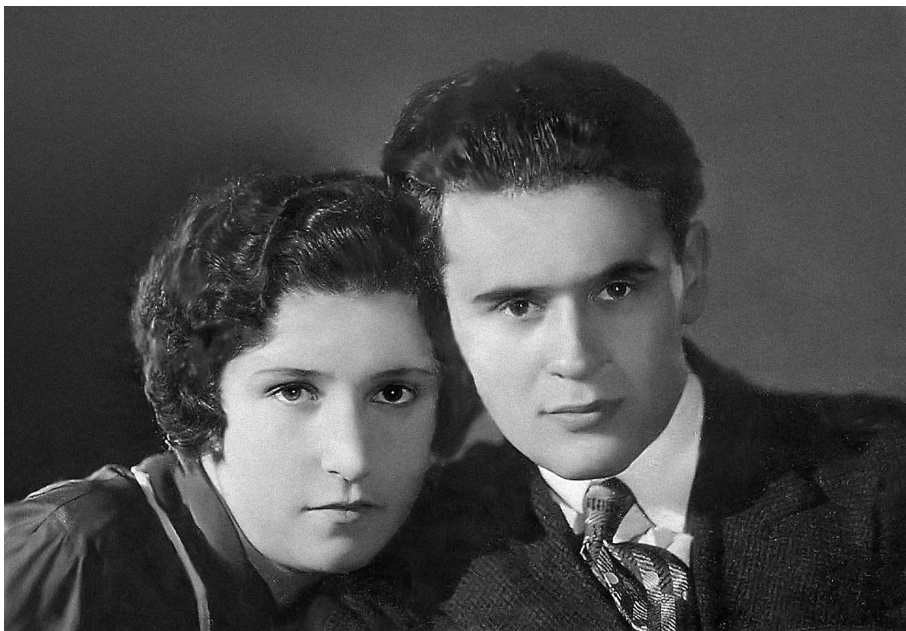


Л. Кертман.  
Надпись: «*Может  
быть, тебе будет легче  
жить, если ты будешь  
знать, что есть  
человек, который всегда  
и при всех обстоятель-  
ствах будет желать  
тебе настоящего  
и большого счастья. Лев.  
Киев, 1936 год*»



Бабушка с внуками. Слева направо: стоят Лев,  
Фира, Семен; сидят Самуил, Нома. Киев, 1935 год

Л. Кертман и С. Фрадкина. Киев, 1937 год





Сарра Фрадкина.  
Надпись: «*Самым  
родным и близким  
от горячо любящей  
Сарры. 1941 год,  
18 января*»



Лина Кертман.  
1945 год



Л. Кертман и С. Фрадкина.  
Киев, 1946 год



С. Фрадкина с дочкой Линой.  
Лето под Киевом. 1947 год



Александр Герчиков.  
Надпись: *«На память  
моим родным. Алик.  
Венгрия, декабрь  
1944 года»*



Александр Герчиков  
с женой Зиной.  
Начало 50-х годов



Лев Кертман с другом Юрием  
Герчиковым (двоюродным  
братом Сарры Яковлевны).  
Москва, 50-е годы



Азарий Герчиков  
(Зоря). Надпись:  
*«Бери, раз нравится!»*  
1949 год



Друзья юности Льва Кертмана –  
Валя Козлова и Борис С. 1952 год



С. Фрадкина и Л. Кертман  
с дочкой Линой.  
Пермь, 50-е годы



Л. Кертман сыном  
Герой. Надпись:  
«Как-никак – сын!»  
6 апреля 1956 года



Александр Ильич Букирев  
с супругой Александрой  
Прокофьевной и дочерью  
Галей. 1946 год



Семья Букиревых. 1960 год





На первомайской демонстрации.  
Пермь, 50-е годы



Л. Е. Кертман.  
Пермь, 50-е годы



Л. Е. Кертман и ректор ПГУ Ф. С. Горовой



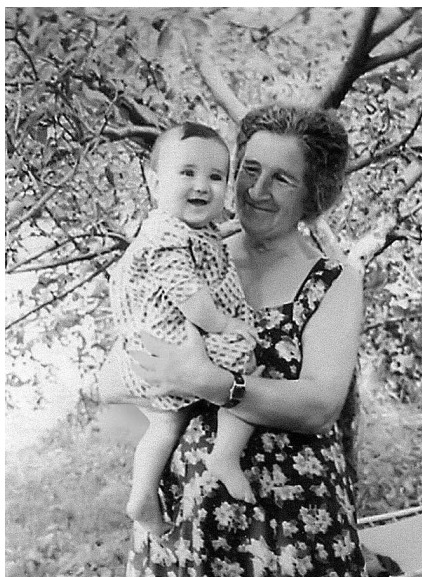
Л. Кертман. 50-е годы



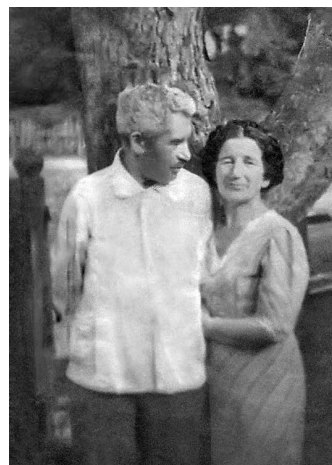
Л. Кертман с дочерью Линой. 50-е годы



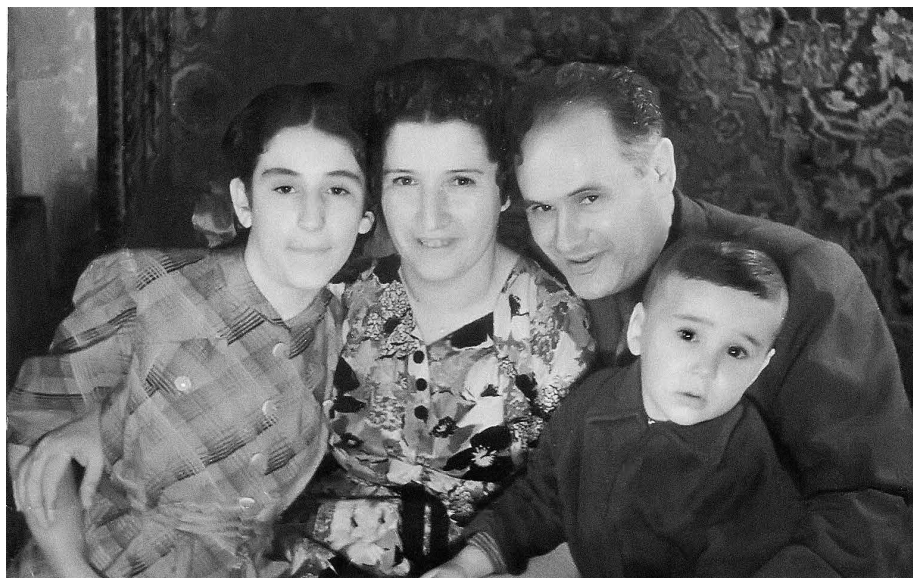
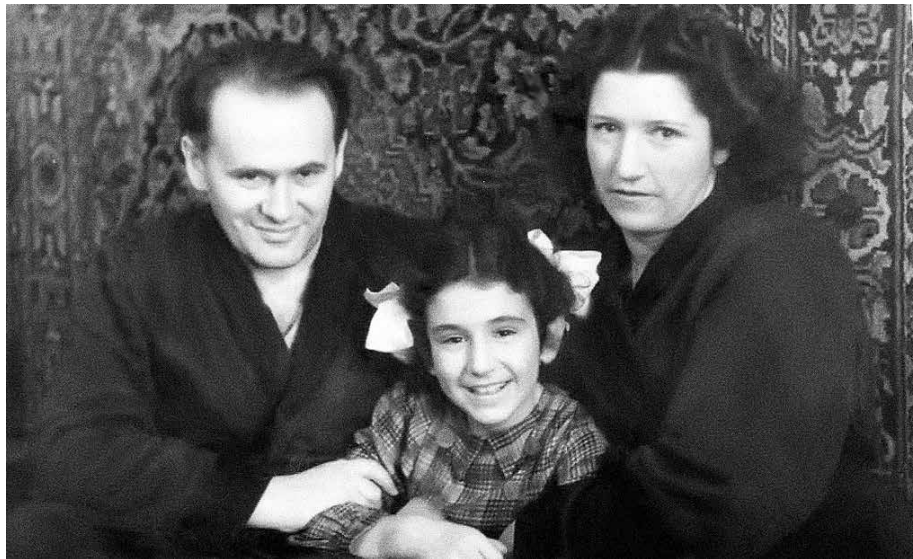
Большая семья на украинской даче.  
Слева направо: С. Я. Фрадкина,  
Л. Е. Кертман, Я. Г. и Р. Г. Фрадкины,  
М. С. Кертман, Лина



Бабушка Рива с внуком Герой.  
Середина 50-х годов



Дед Яков и бабушка Рива  
летом на даче.  
Середина 50-х годов



Семья Кертманов. Пермь, 50-е годы

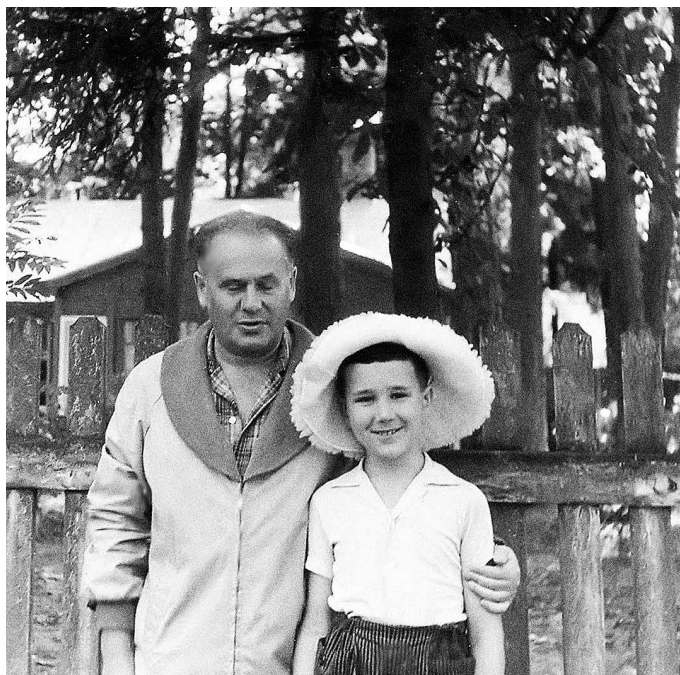


Л. Е. Кертман. 60-е годы

Сарра Фрадкина с одноклассниками  
Юрой Перлиным и Лёней  
Емельяновым. 60-е годы



С сыном Герой.  
Начало 60-х годов





Мария Самойловна  
Кертман. 60-е годы

М. С. Кертман с внуками  
Инной, Герой и Линой.  
1968 год





Лина Кертман.  
1963 год

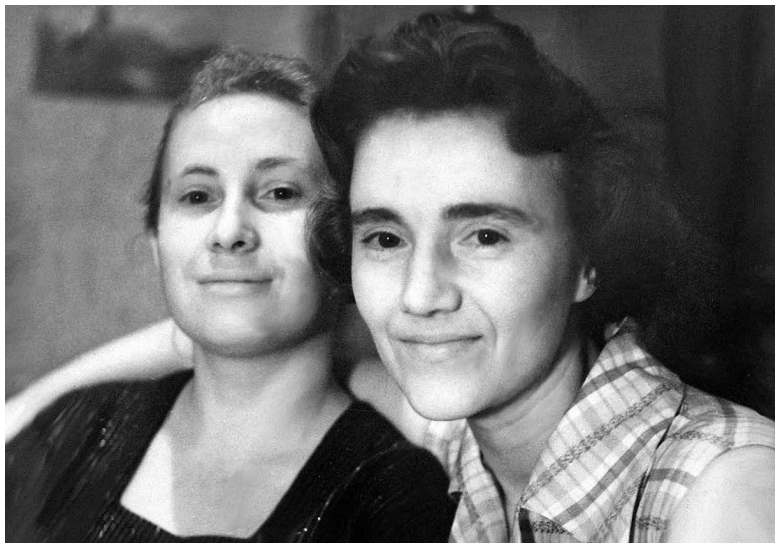


Лина Кертман со своими учениками – выпускниками школы № 47.  
Пермь, 1969 год





Зинаида Васильевна  
Станкеева



Надежда Николаевна Гашева и Нина Евгеньевна Васильева.  
1963 год

На студенческой  
научной конференции.  
В. К. Шеншин,  
С. Я. Фрадкина.  
Пермь, 60-е годы



Возле Дома ученых. Пермь, 1967 год



На Комсомольском проспекте. Пермь, 1967 год



В доме Кертманов. С. Я. Фрадкина, Г. Г. Телятникова,  
Р. В. Комина. Середина 60-х годов



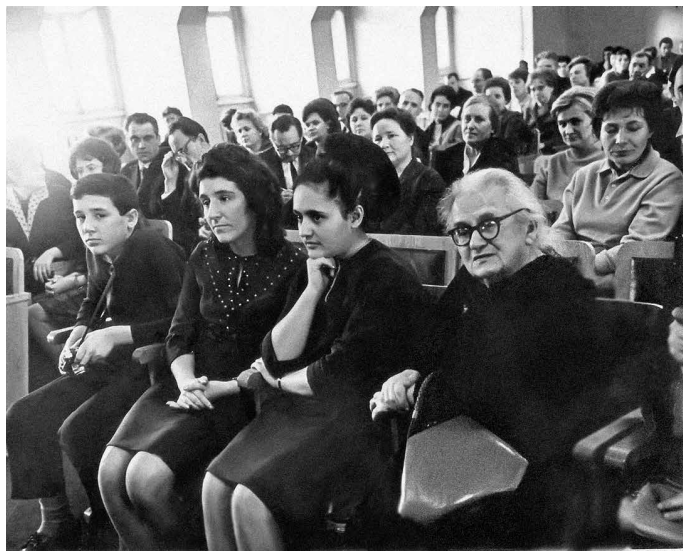
Слева направо: С. Я. Фрадкина, Р. В. Комина,  
профессор математик  
Л. И. Волковысский, Н. Е. Васильева



Дружеские посиделки. 60-е годы



Ноябрьская демонстрация. Слева направо: Р. Я. Гельфанд, С. Я. Фрадкина, Н. Е. Васильева, Л. Н. Мурзин, Л. А. Грузберг, Н. П. Потапова.  
Пермь, конец 60-х годов



50-летний юбилей Л. Е. Кертмана в актовом зале ПГУ.  
В первом ряду сидят (слева направо): Гера, Лина,  
племянница Инна Кертман, М. С. Кертман. Пермь. 1967 год



Слева направо: Л. Е. Кертман, С. Я. Фрадкина,  
проректор по учебной работе В. Э. Колла



Ответное слово юбиляра на торжественном заседании



Ответное слово юбиляра на банкете



Л. Е. Кертман и С. Я. Фрадкина.  
70-е годы



Преподаватели, студенты и гости филфака:  
Р. В. Комина, С. Я. Фрадкина, З. В. Станкеева, С. Ю. Аддиванкин, Р. С. Спивак,  
Н. Е. Васильева, А. М. Домнин и другие. Пермь. 1971 год



На торжественном собрании, посвященном Дню победы.  
Слева направо: В. Н. Мухин, Л. Е. Кертман, Ю. М. Рекка. 1975 год





С. Я. Фрадкина на встрече одноклассников – выпускников школы № 45.  
Киев, 1975 год



На юбилее Р. В. Коминой.  
С. Я. Фрадкина, В. Р. Комин,  
А. М. Домнин. 1977 год



Сарра Яковлевна Фрадкина



Л. Е. Кертман и А. З. Нюркаева со студентами



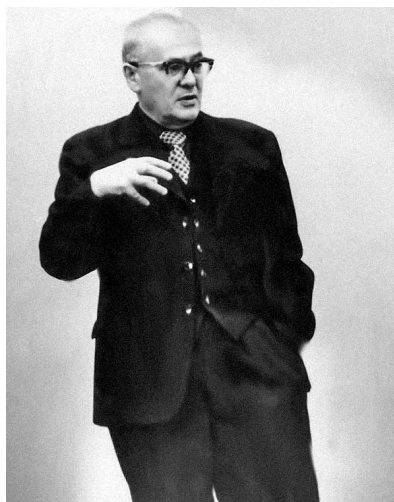
Стоят (слева направо): В. Р. Золотых, П. Ю. Рахшмир, Б. И. Ровный,  
М. П. Лаптева, О. П. Малис, Н. Ф. Ушкевич, Л. Е. Кертман, Л. А. Фадеева,  
Е. Н. Югова, С. Н. Дементьева, К. И. Ларкина.  
Сидят: Т. Р. Сайкина (справа), рядом Т. Лихачева



Л. Е. Кертман  
и С. Я. Фрадкина  
за работой.  
70-е годы



С. Я. Фрадкина и Л. Е. Кертман  
на лекциях. 80-е годы





С. Я. Фрадкина со студентами-дипломниками



Выпускники филологического факультета с преподавателями Н. Е. Васильевой и С. Я. Фрадкиной. 1976 год



Владимир Эммануилович  
Шляпентох. Москва, 70-е годы



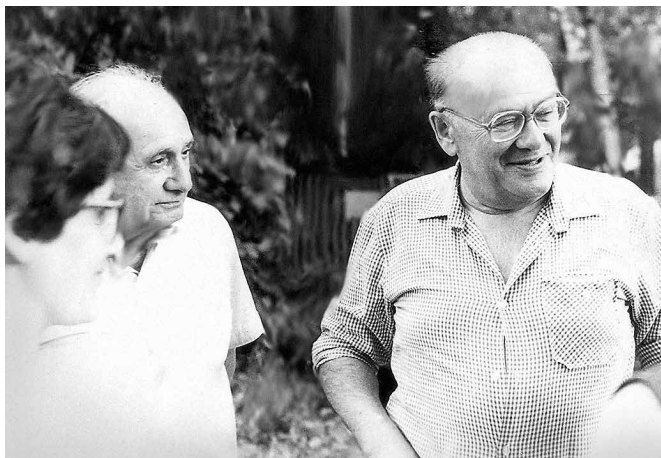
Азарий Семенович  
Герчиков



Л. Е. Кертман, А. С. Герчиков, С. Я. Фрадкина.  
Пермь, 80-е годы

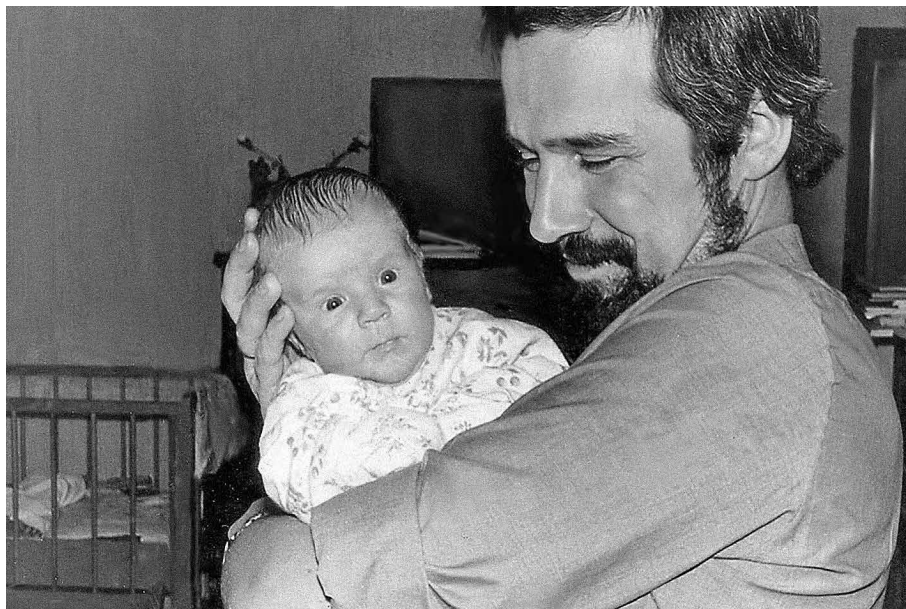
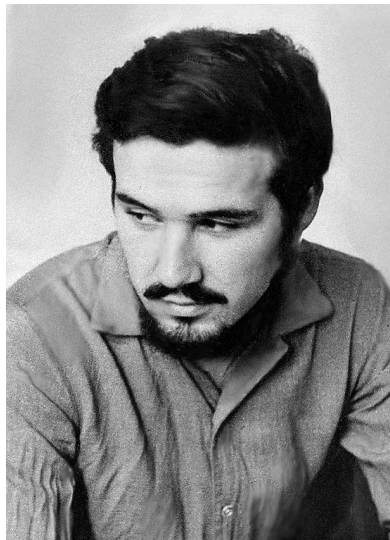


Л. Е. Кертман с внуком Костей.  
1979 год



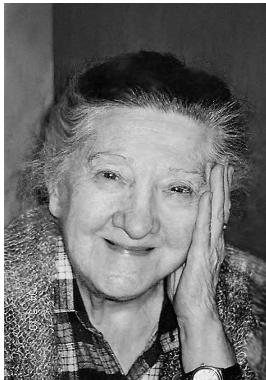
Лев Ефимович Кертман с братом  
Семёном Ефимовичем и племянницей Инной.  
Загорянка, 1987 год

Григорий Львович Кертман.  
Конец 70-х годов



Г. Л. Кертман с сыном Лёвой. 1988 год





Лидия Михайловна  
Герчикова (тетя Ляля).  
90-е годы



Лев Кертман-младший



Л. М. Герчикова, Лина Кертман, Равиль Муртазин.  
Москва, 90-е годы

*Литературно-художественное издание*

Лиана Львовна Кертман

## **КНИГА ДОЧЕРИ**

**К 100-летию со дня рождения  
Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной**

Редактор *К. Гашева*

Художественное оформление, дизайн обложки *Л. Пенягина*

Верстка *Л. Романьшевская*

Обработка фотографий, разработка вклейки *Л. Клюева*

Корректор *Н. Дорофеева*

Куратор проекта *С. Караваева*

Директор издательства *О. Данилова*

**Кертман Л. Л.**

**К 36 Книга дочери.** К 100-летию со дня рождения Л. Е. Кертмана и С. Я. Фрадкиной. – Пермь, ИЦ «Титул», 2017. – 416 с. + 32 с. вкл.

ISBN 978-5-905546-29-7

ББК 83

Подписано в печать 12.12.2017. Формат 60\*84 1/16.  
Бумага офсетная. Гарнитура Permian. Физ печ. л. 28.  
Усл. печ. л. 28. Тираж 100 экз.

ООО «Издательский центр «Титул».  
614000, г. Пермь, ул. Осинская, 2а, тел. (342) 237-55-25,  
8912-482-28-24